Несторъ.

Ломоносовъ. Карамзинъ.

Державинъ. Жуковскій.

РУКОВОДСТВО

КЪ ИЗУЧЕНІЮ

ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

СОСТАВЛЕННОЕ

Василіемъ Плаксинымъ.

Второе изданіе, оконченное и во многихъ частяхъ совсѣмъ передѣланное.

Санктпетербургъ,

въ типографіи Константина Жернакова.

1856.

Крыловъ. Пушкинъ.

Полевой.

РУКОВОДСТВО

КЪ ИЗУЧЕНІЮ

ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

РК
404
Гл

194748

БИБЛИОТЕКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ

ПРЕДИСЛОВІЕ.

—

Человѣкъ, какъ высшее выраженіе жизни въ цѣпи мірозданія, вообще прекрасенъ и во всемъ совершенъ. Но частныя дѣйствія отдѣльныхъ лицъ естественно и необходимо должны различаться между собою множествомъ ошибокъ, погрѣшностей и признаковъ слабости; потому что они выражаютъ идеи умовъ, ограниченныхъ самою природой, стѣсненныхъ предразсудками, духомъ вѣка, и житейскими отношеніями; они выражаютъ рѣшимость воли, возмущаемой личными и общими страстями.—Частная дѣятельность, даже значительныхъ умовъ, — не болѣе какъ только одна мысль, одно рѣченіе, а иногда только одно дополнительное слово въ этой огромной поэмѣ общей дѣятельности народнаго духа. Нѣсколько ошибочныхъ выраженій и, неудачно употребленныхъ, словъ не уменьшатъ достоинства поэмы;

однако мы должны видѣть эти ошибки, что бы не дать ложнаго значенія мыслямъ; но при томъ должны помнить, что совершенство и безошибочность не доступны человѣку. Слѣдовательно историкъ на большую часть ошибокъ дѣйствователей долженъ указывать, какъ на необходимое слѣдствіе природы человѣческой или увлеченія обстоятельственнаго. Такъ я смотрѣлъ на нашихъ писателей! Ежели они въ область нашей духовной дѣятельности внесли нѣсколько новыхъ идей, указали новыя формы выраженія мыслей, или дали значеніе и ходъ старымъ мыслямъ, или подвинули искуство впередъ; значитъ, они уже достойны памятованія; потому что служили человѣчеству и содѣйствовали обновленію внутренней жизни народа. Но ежели я вижу, что писатель по силамъ своимъ и по обстоятельствамъ могъ сдѣлать болѣе и лучше, а не сдѣлалъ; тогда рѣшаюсь присвоить себѣ право осуждать его, сохраняя, впрочемъ, уваженіе къ его заслугамъ. Этимъ я хотѣлъ выполнить общія условія Исторіи литературы. Выполнилъ ли я ихъ? — Не знаю!

Но на мнѣ лежитъ и другая обязанность; я пишу руководство для молодыхъ людей. Слѣдовательно, знакомя ихъ съ развитіемъ Русскаго слова и возбуждая любовь и довѣріе къ Русской дѣятельности ума, я долженъ согласовать свое сочиненіе съ устройствомъ нашихъ учебныхъ заве-

деній, съ общимъ характеромъ предварительнаго воспитанія и съ степенью готовности общей массы молодыхъ людей — объ изключеніяхъ нѣтъ надобности говорить. — Но болѣе всего сочинитель руководства долженъ помнить, что всякое ученіе имѣетъ двѣ цѣли: *положительное знаніе* и *развитіе ума;* или лучше сказать: главная цѣль ученія — *развитіе познавательныхъ силъ*, или *возбужденіе самосознанія*, а главное средство для достиженія этой цѣли — *положительное знаніе*, и преимущественно связное, систематическое изложеніе знаній. Въ этомъ случаѣ и мнимыя истины могутъ быть полезны, ежели онѣ передаются съ убѣжденіемъ и въ логической послѣдовательности; онѣ изощряютъ и утверждаютъ умъ и пробуждаютъ самосознаніе. Безусловныхъ истинъ немного; большая же часть нашихъ знаній принадлежитъ времени; когда минуетъ ихъ періодъ, они или замѣняются другими новыми знаніями, или превращаются въ предразсудки.

При этомъ образѣ мыслей можно находить достоинства и въ такихъ писателяхъ, которые намъ не нравятся и съ которыми мы не согласны въ мнѣніяхъ; и наоборотъ, можно видѣть недостатки въ тѣхъ, которыхъ мы уважаемъ и которые даже возхищаютъ насъ. Надѣюсь, что всякій образованный и благомыслящій читатель согласится со мною въ этомъ мнѣніи; надѣюсь также, что

живые писатели уважатъ мои откровенныя объ нихъ сужденія, которыя, по убѣжденію моему, я почитаю вѣрными, но никому не навязываю и не выдаю ихъ за законъ. По какому либо увлеченію или недоразумѣнію я могу ошибаться; но говорю то, что чувствую; при томъ, показывая недостатки писателей, я вовсе не хочу ронять ихъ въ мнѣніи молодыхъ людей; я сказалъ бы это и о самомъ себѣ, если бы могъ видѣть свои недостатки. Правда, многія изъ этихъ погрѣшностей я вижу, и очень ясно, напримѣръ: разбирая новѣйшихъ писателей, я невсегда объяснялъ зависимость ихъ отъ современныхъ обстоятельствъ; но чтожь дѣлать? — Обо всемъ современномъ мы всегда имѣемъ понятіе неясное и одностороннее; а потому, я думаю, лучше не досказать, нежели пересказать. По этой же самой причинѣ о нѣкоторыхъ (живыхъ) писателяхъ говорю слишкомъ мало.

Нѣтъ сомнѣнія, что не принадлежать ни къ какой литературной партіи, не хвалить безусловно однихъ и не порицать также безусловно другихъ, значитъ—возбуждать противъ себя многихъ, ежели не всѣхъ, а за себя почти никого. Но эти многіе, обвиняя меня въ ошибкахъ, а можетъ быть, и въ незнаніи, не могутъ обвинить ни въ пріязненномъ, ни въ непріязненномъ пристрастіи. Горячо любя свое дѣло и глубоко уважая читающее

общество, я желалъ бы угодить многимъ — отъ угожденія всѣмъ избави меня Богъ!— но ежели это угожденіе многимъ требуетъ пожертвованія истиною; — я отъ него отказываюсь и отдаюсь подъ защиту немногихъ, какъ бы мало ни было число ихъ! Вмѣстѣ съ тѣмъ, считая не приличнымъ входить здѣсь въ полемику, смѣло прошу и довольныхъ и не довольныхъ читателей оправдать меня въ одномъ обвиненіи. Одинъ изъ *ученыхъ цѣнителей* перваго изданія этой книги—которая вышла въ 1835 году безъ окончанія, т. е. безъ пятаго періода — находя въ ней много хорошаго, *письменно сказалъ*, что она *вся составлена изъ чужихъ мнѣній*. Извѣстно всѣмъ, что до 1835 года можно было пользоваться только разборами (многихъ писателей) *Мерзлякова* и Полеваго; но съ первымъ я не согласенъ въ общихъ его началахъ, а со вторымъ — въ частныхъ примѣненіяхъ началъ его критики. Короче: хороша ли эта книга, или дурна? — она вся моя! Хороша? — радуюсь! Дурна? — Увы! *сама себя раба бьетъ, коли нечисто жнетъ!*

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Вступленіе. 1

Отношеніе слова къ природѣ человѣка (1). — Назначеніе языка (2).—Отношеніе языка къ литературѣ (3).—Опредѣленіе литературы (4).—Начало ея (6).—Отношеніе литературы къ гражданственности (7).—Общія черты образованія и литературы Грековъ (7). — Главныя черты древнихъ литературъ (9).—Главныя черты литературъ Новоевропейскихъ (10).—Древній Классицизмъ (12).—Новый или ложный Классицизмъ (13).—Романтизмъ (15).

ГЛАВА I.

Опредѣленіе Русскаго характера и образованія первоначальныхъ идей 17

Отношенія Россіи къ востоку и западу (17).—Дѣйствіе природы и обстоятельствъ на Русскій характеръ (18).—Общія черты нашего баснословія (20).—Характеръ Русской литературы (22).

ГЛАВА II.

Измѣненіе идей и языка въ Россіи 23

Отношеніе мысли къ слову (23).—Ходъ идей въ Россіи (24).—Начало производныхъ языковъ (28).—Происхожденіе Русскаго языка (28).

ГЛАВА III.

Раздѣленіе Исторіи литературы Русской на періоды. 36

Эпохи (36).—Характеристика эпохъ (37).—Характеристика періодовъ (37).

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

Языческая литература 38

Народныя пѣсни (38).—Баснословіе (40).—Преданія (42).—Пословицы и поговорки (43).—Письменные памятники Словесности (44).—Рѣчи Святослава (46).—Достовѣрность ихъ (47).—Заключеніе (48).

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

Преобладаніе Христіанской литературы предъ языческою 49

Идея Христіанства въ Россіи (49).—Разпространеніе ея (50).—Остатки язычества (51).—Тройственное направленіе литературы (52).—Начало духовной (54).—Проповѣдники (55).—Измѣненіе характера проповѣдниковъ (57).—Духовнополитическіе орато-

ры (57).—Лѣтописцы: Несторъ (62).—Послѣдователи его (64).—Завѣщаніе Владиміра Мономаха (64).—Степенныя книги (65).—Исторія Курбскаго (66.—Путешествія (68).—Народная Поэзія (69).—Сказски богатырскія (70).—Слово о полку Игоря (72).—Повѣсть о нашествіи Мамая (74).—Письменныя Сказски (75)—Переводъ басенъ Эзопа (76).—Языкоученіе (76).—Законодательство (78).

ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.

Ученобогословное направленіе литературы . . . 79

Начало ученаго образованія въ Россіи (79).—Лазарь Барановичъ (82).—Симеонъ Полоцкій (83).—Исправленіе церковныхъ книгъ (84).—Святой Димитрій Ростовскій (85).—Стефанъ Яворскій (86).—Ѳеофанъ Прокоповичъ (86).—Гавріилъ Бужинскій (89).—Языкоученіе (89).—Историческіе писатели (90).—Татищевъ (92).—Кошихинъ (94)·—Поэтическое искуство (95).—Начало Драмы (97).—Тредьяковскій (99).—Народные поэты (100).—Сатира и Кантемиръ (100).

ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Ложноклассическая Словесность 103

Развитіе вкуса (103).—Направленіе ума (104).—Характеръ заимствованнаго образованія (105).—Народная пѣсня (108).—Ломоносовъ (110).—Языкъ, образованный имъ (112).—Ученыя занятія (113).—Лирическая поэзія (113).—Петріада (118).—Учебныя его сочиненія (120).—Похвальныя слова (121).—Су-

мароковъ (125).—Лирическіе Поэты (137).—Державинъ (138). — Долгоруковъ (154). — Нелединскій-Мелецкій (155). — Капнистъ и Дмитріевъ (156). — Эпопея (157). — Херасковъ (158). — Богдановичъ 165). — Бобровъ (170). — Панкратій Сумароковъ (172). — Сказски Дмитріева (174). — Повѣсти Карамзина (178). — Сатирики (181). — Басня (187). — Хемницеръ (188). — Дмитріевъ (190). — Измайловъ (191). — Драматическая Поэзія (192). — Визинъ (193). — Княжнинъ (195). — Аблесимовъ (198). — Озеровъ (199). — Прозаическіе писатели (209). — Визинъ (210). — Муравьевъ М. Н. (214). — Подшиваловъ (216). — Карамзинъ (218). — Ораторство (234). — Проповѣдники (234). — Ученая литература (241). — Журналистика (242).

ПЕРІОДЪ ПЯТЫЙ.

Романтическая Литература или возвращеніе ея къ народности 245

Сравненіе всѣхъ періодовъ (245). — Общее участіе Жуковскаго въ измѣненіи Словесности (248). — Общій ходъ Словесности (250). — Характеръ произведеній Жуковскаго (255). — Переводы Жуковскаго (258). — Подражанія (264). — Собственныя его созданія (267). — Батюшковъ (280). — Гнѣдичъ (289). — Мерзляковъ (292). — Давыдовъ (295). — Вяземскій (296). — Ѳ. Глинка (298). — Басня до Крылова (300). — Крыловъ (302). — Пушкинъ (340). — Современники Пушкина (388). — Баратынскій (388). — Дельвигъ (390). — Козловъ (392). — Послѣдователи Пушкина: Языковъ (394). — Подолинскій (395). — Лермантовъ (396). — Кольцевъ (399). — Романъ (401). — Нарѣжный (403). — Булга-

рынъ и Загоскинъ (406),—Послѣдующіе Романисты (409).—Лажечниковъ (410).—Н. Полевой (412).—К. Полевой (417).—Марлинскій (418).—Гоголь и Кукольникъ (420).—Зенаида Р.—Ганъ (422).—Драма и театръ (423).—К. Шаховской (424).—Загоскинъ, Хмѣльницкій и Кокошкинъ (426).—Грибоѣдовъ (427).—Гоголь (429).—Водевиль (431).—Трагедія (433).—Журналистика (434).—Измѣненія Прозы (447).—Исторія (450).—Путешествія (451).—Учебно-словесныя книги (455).—Энциклопедическій Лексиконъ (487).—Духовная литература (459).—Проповѣдники (460).

ВСТУПЛЕНІЕ.

Слово есть форма духа человѣческаго, который, облекая въ звуки свою внутреннюю, тайную дѣятельность, становится доступенъ чувствамъ. Раздробленный до безконечности отдѣльнымъ бытіемъ и личною жизнію единицъ-человѣковъ, духъ человѣческій, посредствомъ слова такъ обобщается, что становится чѣмъ-то единымъ цѣлымъ, уничтожая пространство и время вѣковъ, раздѣляющія народы и лица; только слово можетъ ввести человѣка въ общую жизнь народа и народъ въ общую жизнь человѣчества въ потомствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, сколько народовъ—нужно ли говорить о лицахъ—поглощено временемъ и покрыто забвеніемъ съ ихъ бытомъ, правами и дѣлами, съ ихъ пороками и добродѣтелями!—Они изключены изъ всемірнаго семейства, мы ихъ не знаемъ. Отчужденіе тяжкое для сердца, ужасное, но естественное, необходимое! Однако эти народы жили и дѣйствовали; вѣроятно и среди ихъ являлись умы сильные и смѣлые, въ которыхъ раждались

Отношенія слова къ природѣ человѣка.

помыслы возвышенные; но гдѣ эти умы, гдѣ ихъ мысли?—Они исчезли, потому что не выразились въ стройномъ искуствѣ слова.

Но есть счастливые народы, жизнь которыхъ составляетъ для насъ особый предметъ ученія. Съ какимъ тщаніемъ мы изучаемъ всѣ труды и дѣятельность ихъ! Съ какою неутомимою заботливостію изыскиваемъ каждую черту ихъ характера, хотимъ знать ихъ привычки, занятія, самую одежду; съ какимъ жаромъ споримъ о значеніи и даже о произношеніи каждаго слова ихъ! Оживляемъ ихъ въ нашей памяти, бесѣдуемъ съ ними; часто вызываемъ ихъ героевъ на новую чреду бытія, и на зрѣлищахъ заставляемъ повторять ихъ дѣйствія, ихъ житіе.

Гдѣ же кроется причина сей кажущейся несправедливости нашей? Гдѣ причина того, что время, въ разрушительномъ своемъ полетѣ, къ однимъ столь неумолимо, что стираетъ самые слѣды бытія ихъ; къ другимъ столь снисходительно, что, отнявъ только вещественное бытіе, тщательно блюдетъ лучшую сторону ихъ жизни? Причина всего этого кроется въ природѣ человѣческой.

Назначеніе языка.

Всякій человѣкъ живетъ и дѣйствуетъ какъ отдѣльная, самостоятельная единица, и какъ членъ общества, народа; такъ и народы живутъ для себя и для человѣчества; и въ томъ и въ другомъ случаѣ *частная* жизнь есть средство жизни *общей*. Слѣдовательно вѣки первобытные и всѣ вообще минувшіе съ ихъ мыслителями и дѣйствователями суть нижнія ступени въ лѣстницѣ человѣчества, ведущія къ вѣкамъ послѣдующимъ; мысли и чувствованія, успѣхи просвѣщенія и застой невѣжества, добродѣтели и пороки первыхъ съ ихъ причинами, слѣдствіями, должны служить урокомъ послѣднимъ. Все это можетъ перейдти отъ однихъ къ другимъ только въ словѣ,

возведенномъ на степень искуства, подъ которымъ, между прочими родами произведеній словесности, разумѣется и Исторія. И такъ одни для насъ назидательны всѣмъ: мудростью и заблужденіями, добродѣтелями и пороками, величіемъ и паденіемъ; другіе поучительны только своимъ невѣжествомъ, которое погрузило ихъ въ забытіе. Однако всѣ эти народы имѣли языкъ, (всѣ дѣйствовали). Но языкъ безъ Литературы есть только матеріялъ, которому не дана еще форма; это бродящій хаосъ, которому предназначено образовать изъ себя изящный идеальный міръ; онъ удовлетворяетъ только мелочнымъ житейскимъ сношеніямъ, не достигая высочайшаго своего назначенія — быть органомъ *завѣта предковъ къ потомству*, быть, такъ сказать, ковчегомъ, хранящимъ опыты мудрости и заблужденія вѣковъ прошедшихъ, да вѣдаютъ то вѣки грядущіе;—это уже дѣло Литературы.

Отношеніе языка къ Литературѣ.

Что жъ такое Литература, въ отношеніи къ языку, если она столь много отличается отъ него? — Она есть свидѣтельство силы, дѣятельности и характера народнаго духа, который выражается въ произведеніяхъ представителей его. Вездѣ, во всѣхъ вѣкахъ, у всѣхъ народовъ являлись люди, въ душахъ коихъ таилось, хотя темное, но сильно зовущее ихъ къ дѣйствованію, безкорыстное чувство изящнаго, скрывались искры генія любознательнаго, сосредоточивались современныя знанія и чувствованія, подобно какъ собираются разсѣянные лучи въ одну точку — въ фокусѣ; и сіи-то люди, выражая умственные взгляды на Творца, природу и человѣка, выражая духъ свой роднымъ современнымъ языкомъ въ формахъ, правящихся вѣку ихъ, творятъ Литературу, которая содержится къ языку, какъ форма, какъ изящное искуство къ матеріялу произведенія. Вотъ, почему всякая Литература имѣетъ свой характеръ, выражаетъ духъ вѣка, духъ народа и душу каждаго писателя отдѣльно.

И такъ всѣ языки могутъ или могли имѣть Литературу; ибо и самая грубая масса подъ дѣйствіемъ искусной, опытной и послушной идеямъ руки, которая отдѣлитъ все лишнее, ненужное, можетъ быть приведена въ прекрасную форму; и самый тяжелый, необразованный языкъ можетъ выражать свѣтлыя идеи, высокіе помыслы и благородныя чувствованія; пусть явятся Омиры, Шекспиры и Ломоносовы — и грубые нестройные звуки сольются въ прекрасное цѣлое. Такъ визглявая скрипка, хриплый фаготъ, шумный барабанъ, послушные власти артиста, дробясь въ безконечномъ множествѣ звуковъ, и сливаясь въ гармонію, овладѣваютъ нашимъ сердцемъ, заставляютъ насъ и грустить и радоваться безъ произвольнаго съ нашей стороны предрасположенія.

Но мы должны ли разумѣть подъ словомъ собственно *Литература*, въ тѣсномъ значеніи его, всякое начальное лепетаніе народа, или уже совершившійся кругъ полной жизни его, выраженной языкомъ, такъ же докончаннымъ въ образованіи? Какъ начинается, и какъ идетъ вообще Литература?

Опредѣленіе Литературы.

Ежели принять за Литературу всякія изустнословесныя произведенія, появляющіяся вскорѣ по рожденіи народа, какъ напримѣръ: разсказы о первоначальныхъ приключеніяхъ полуобщественной жизни, которыя ниже всякой Исторіи и которыя, между прочимъ, суть необходимые сопутники всякаго и частнаго и общественнаго младенчества; то конечно всякій народъ имѣлъ свою Литературу. А ежели мы будемъ разумѣть подъ симъ словомъ свершившійся кругъ Словесности и языка, который, дошедъ до извѣстной степени совершенства, или остался только въ Литературѣ, не имѣя уже живаго употребленія, какъ напримѣръ: древне Греческій и Латинскій языки, или остановился непо-

движно, принявъ опредѣленныя формы; то въ семъ случаѣ мы немного найдемъ языковъ Литературныхъ. Наконецъ, ежели, основываясь на буквальномъ значеніи слова: *Литература*, будемъ разумѣть подъ нимъ только письменныя произведенія словесности; то впадемъ въ большія противорѣчія, допуская въ составъ Литературы произведенія слова, вовсе немѣющія литературнаго значенія, и исключая изъ нея народную поэзію, которая сохраняется изустно, и которую всегда можно написать, напечатать. Этимъ предположеніямъ я потому только даю здѣсь мѣсто, что они уже существуютъ въ Исторіяхъ Литературы и въ разсужденіяхъ о ней; но нужны ли они? объясняютъ ли дѣло? Нѣтъ! Напротивъ они только затрудняютъ оное; ибо требуютъ соглашенія. А мы можемъ достигнуть нашей цѣли гораздо прямѣе, ежели вспомнимъ требованіе наше отъ Литературы и опредѣлимъ мѣсто ея въ ряду знаній. То и другое само собою опредѣляется разсмотрѣніемъ нашей темы: какъ въ Гражданской Исторіи мы разсматриваемъ внѣшнее бытіе народовъ, такъ, напротивъ, въ Исторіи Литературы мы видимъ жизнь внутреннюю; и притомъ онѣ взаимно объясняютъ одна другую; онѣ имѣютъ свой ходъ, возрастъ. Слѣдовательно каждый періодъ той и другой жизни имѣетъ свое выраженіе и свою Исторію. Конечно, ежели народъ остановится на первой степени бытія своего, въ дикости, въ младенчествѣ, то онъ не заслуживаетъ Исторіи; но ежели онъ идетъ въ своемъ возрастѣ выше и выше, то и низшая степень необходима, какъ основа будущаго величія, какъ первый ростокъ, могущій развиться до огромнаго древа. И такъ, ежели бытіе народовъ, имѣющихъ нѣсколько значительную степень образованія и устроенной дѣятельности, называется политическою *жизнію*, и достойно Исторіи; то и соотвѣтствующія этой образованности и дѣятельности словесныя произведенія, составляютъ Литературу,

— хотя и бѣдную; — ибо они выражаютъ внутреннюю жизнь народа.

Начало ея. Всегда личность предшествовала народности, которая есть слѣдствіе первой, и раздѣльность вездѣ была прежде общности, которая проистекаетъ изъ нея, какъ гармонія изъ разногласія, какъ языкъ изъ звуковъ, какъ Литература изъ языка; но доколѣ нѣтъ народности, нѣтъ общности, дотолѣ и нѣтъ Исторіи и нѣтъ Литературы; ибо тогда и жизнь и слово выражаютъ только частныя прихоти, раздѣльныя мысли, единичныя мечты и чувствованія, которыя ни для кого не занимательны; они изливаются изъ души, чуждой человѣчества. Являются общія опасности, — сосредоточивается жизнь внѣшняя, выражая согласіе мыслей и чувствованій; всѣ терпять одно несчастіе и у всѣхъ одна грусть; уничтоженіе общей заботы и бѣдствія раждаетъ общую радость, торжество. Онѣ воспламеняютъ геніевъ пѣснопѣвцевъ, въ душахъ которыхъ отражается общій духъ раждающейся народности; и она выражается въ пѣсняхъ, въ разсказахъ, которые служатъ началомъ народной Миѳологіи, Исторіи и Эпопеи; выражается въ пословицахъ и поговоркахъ, въ которыхъ сохраняется первоначальная народная Философія и правовѣдѣніе; самыя сповидѣнія людей необыкновенныхъ часто входятъ въ составъ Литературы. Однако доколѣ нѣтъ письменныхъ произведеній, доколѣ не составилось общее мнѣніе, хотя молчаливая теорія и изустная критика или взыскательность; дотолѣ Словесность не можетъ похвалиться изяществомъ, правильностію; но въ замѣну сихъ достоинствъ она тогда отличается простотою, особенностію: она въ то время есть истинное достояніе народнаго духа, какъ точное безыскуственное выраженіе его. И ежели образованіе народа и просвѣщеніе его идетъ постепенно, естественнымъ порядкомъ, развиваясь само изъ себя и изъ хода жизни общественной; то

Литература, возходя выше и выше, всегда сохранитъ свой собственный характеръ, свою народность. Когда же гражданственность или другія стихіи общежитія и совершенствованія бываютъ привиты, или навязаны и привиты извнѣ; то и Словесность, удаляясь отъ своего первообраза, теряетъ свою особенность, и дѣлается подражательною, а съ тѣмъ вмѣстѣ безхарактерною. Она поступаетъ въ область учености — и бываетъ достояніемъ ученыхъ немногихъ; — таковы всѣ Литературы новоклассическія. И такъ ежели Литература имѣетъ свое начало и возрастъ; то она можетъ имѣть свою Исторію, которая должна излагать въ непрерывной и послѣдовательной связи всѣ измѣненія словеснаго искуства.

Отношеніе Литературы къ Гражданственности.

Но не всегда Исторія гражданства согласно идетъ съ Исторіею Литературы; ибо перевороты первой, какъ и вообще событія внѣшней жизни, совершаются быстро, часто силами посторонними, привходящими; а измѣненія послѣдней, какъ проявленія жизни внутренней, требуютъ духовной готовности, которая созрѣваетъ медленно, возрастая естественнымъ порядкомъ; здѣсь все случайное, все насильственное остается чуждымъ, или по крайней мѣрѣ принимается на немногихъ. Не всегда блестящія славныя событія Исторіи имѣютъ благодѣтельное вліяніе въ Литературѣ; счастіе внѣшнее часто не благопріятствуетъ внутреннему развитію духа, часто даетъ кривое направленіе ему, часто сообщаетъ чуждый характеръ и проч.

Однако и то вѣрно, что съ возрастомъ народа ростетъ и просвѣщеніе; а по мѣрѣ развитія сего развивается и Словесность, которая ясно свидѣтельствуетъ о степени просвѣщенія и нравственной силы, о возрастѣ и упадкѣ народовъ.

Общія черты образованія и Литературы Грековъ.

Человѣкъ начинаетъ дѣйствовать, какъ лице, какъ самостоятельное нравственное существо, безъ сомнѣнія, въ періодѣ юношескомъ; — доселѣ онъ на все смотритъ гла-

зами родителя или вообще живетъ умомъ и въ духѣ руководителей; въ этомъ возрастѣ онъ имѣетъ слишкомъ много самонадѣянности; онъ хочетъ все развить изъ самого себя; свои познанія, свой идеалъ, составленный по окружающимъ его обстоятельствамъ изъ впечатлѣній, полученныхъ въ дѣтствѣ, почитаетъ безошибочными, поставляетъ непреложнымъ закономъ, которому подчиняетъ все, самыя горнія силы. Такъ Грецiя—на юговостокѣ Европы—представляетъ юность человѣчества. Здѣсь своевольная прихотливая фантазія сводитъ небожителей съ чуднаго неба на естественно величественный Олимпъ; тамъ на востокѣ человѣкъ хотѣлъ вознестись до Божества, подъ непосредственнымъ покровительствомъ котораго онъ находился; здѣсь боги являются въ видахъ человѣка со всѣми его слабостями, не исключая даже мелочныхъ затѣй, сплетней и удальства. Здѣсь человѣкъ, сдружась съ окружающею его природою, находилъ въ ней силу предопредѣленія, судьбу, которой онъ подчинялъ все, даже *всемощнаго отца боговъ и человѣковъ*. Сей произвольный идеалъ служилъ источникомъ всѣхъ дѣйствій человѣческихъ и божескихъ; онъ былъ главнымъ дѣйствователемъ. Всѣ идеи и даже дѣйствительныя понятія, полученныя Греками отъ народовъ первобытныхъ для нихъ, усвоены, перелиты въ форму, соотвѣтствующую ихъ природѣ и устроенному по ней идеалу, такъ какъ будто бы они ничего не имѣли привитаго, потому что въ самомъ дѣлѣ у нихъ ничего не было навязаннаго. Греки, точно также какъ и народы Азійскіе, жили еще въ области поэзіи; но они уже не довольствовались, какъ тѣ, настоящими восторгами, дивясь дѣламъ руководящаго ихъ промысла, который былъ независимо всемогущъ; они жаждали дѣлъ, слѣдовательно имѣли прошедшее и имѣли воспоминанія; здѣсь является эпопея въ совершенствѣ; она есть торжество ихъ искуства; да и вся поэзія здѣсь получаетъ образованіе своихъ формъ до самой

драмы; здѣсь, въ періодѣ ихъ полнаго развитія, мы видимъ и прозу, начавшуюся полу-исторіею и Философіею, которыя растворяемы были поэзіею; но она не дошла здѣсь до науки, до полной совершенной системы. Знаніе Греціи и Греческой Литературы есть полное знаніе древне-языческаго міра.

Главныя черты древнихъ литературъ.

Народы древнаго міра въ жизни и во всѣхъ формахъ образованія своего были ближе къ природѣ, нежели новоевропейскіе народы. Они представляютъ первые возрасты человѣчества, которое естественно мало сохранило воспоминаній о первобытныхъ временахъ, о своемъ младенчествѣ. — Дѣтствовавшее человѣчество, подобно младенцу-человѣку, возрастало подъ непосредственнымъ отеческимъ руководствомъ Божества, сначала единнаго истиннаго, по томъ то истиннаго, какъ напримѣръ: *Евреи*, то ложнаго, придуманнаго, какъ наприм: *Индійцы*, *Египтяне*, *Греки* и др. Отсюда непосредственное вмѣшательство боговъ въ самыя мелкія дѣла людей, и отсутствіе нравственной свободы человѣка. Все это полно и ясно выражалось въ словесныхъ произведеніяхъ и все это составляло общія черты всѣхъ древнихъ литературъ; но каждая изъ нихъ имѣла свои особенности; напримѣръ: Еврейская отличалась младенческою простотою мыслей и выраженій и высокою безусловною вѣрою; въ Греціи литература взошла на степень искуства сложнаго и разнообразнаго, которое въ выборѣ предметовъ, въ мысляхъ и въ формахъ носитъ печать первоначальной, смѣлой, страстной юности, которая холодную существенность превращаетъ въ поэзію. Римъ, имѣя общія съ Греціею вѣрованія, не могъ имѣть ту же простоту въ литературѣ; здѣсь искуство взяло перевѣсъ передъ простымъ естественнымъ творчествомъ; 1) потому что здѣсь было уже подражаніе; и мужественный Римъ превратилъ сказку жрецовъ въ дѣйствительную жизнь — въ исторію; 2) потому что

здѣсь человѣчество представляло переходъ отъ юности къ мужеству.

Главныя черты Литературъ Новоевропейскихъ.

Въ жизнь новыхъ народовъ вошли такія начала, которыхъ древніе не имѣли и не знали; умъ, подкрѣпляемый Откровеніемъ, позналъ единство, необъятность *Бога* и созданія Его — *Вселенной;* позналъ нравственную свободу человѣка; — Отсюда явилась неопредѣлимость идей, для полнаго выраженія которыхъ недостаточны старыя формы выраженія. Въ древнихъ литературахъ форма совершенно соотвѣтствовала значенію идей опредѣленныхъ; въ новѣйшихъ, преобладаніе идей предъ выраженіемъ сдѣлалось такъ велико, что всѣ литературы Христіанскія получили какую-то *недосказанность, таинственность.*

Общая господствующая черта Христіанской Литературы — отрадная мысль о вѣчности; такъ что самое трагическое окончаніе есть только предѣлъ земныхъ страданій, послѣ котораго предстоитъ вѣчная радость.

Таковъ, говоря вообще, характеръ Византійской Литературы, которая составилась изъ остатковъ отжившихъ Литературъ Еврейской, Греческой и Римской; но оживившись вѣчно мужественнымъ сильнымъ духомъ Христіанства, она проявляетъ иногда впрочемъ и юношескую смѣлость, и мужественную силу. Доселѣ рядъ геніальныхъ писателей представлялъ ходъ словесности; но здѣсь общая борьба идей и смѣшеніе древняго духа съ новымъ составляютъ Исторію Литературы; изъ развалинъ вѣрованій, системъ и мнѣній старыхъ возникала новая Литература въ защиту новаго духа; здѣсь всѣ обратились къ изслѣдованіямъ небесной истины, низшедшей на землю для обновленія падшаго духа человѣчества; — отселѣ возникла борьба удвоившихся въ человѣчествѣ заблужденій съ сею Божественною пришелицей — истиной. Въ Литературѣ, какъ и во всемъ изя-

щномъ, двѣ стихіи: *творчество* и *искусство*, которыя рѣдко являются оба въ гармоническомъ, слитно въ полномъ развитіи. Здѣсь господствовало первое при совершенномъ недостаткѣ втораго. Здѣсь особенно являются великіе философы рапсодическіе, ораторы — Богословы.

Съ одной стороны мечтательная таинственность, дошедшая въ Германіи до мистицизма, духъ рыцарства, доведенный Трубадурами до волокитства, величіе идей и смѣлость помысловъ, выражающихъ современную жизнь; съ другой искуственное, рабское, школьное подражаніе древнимъ раздѣляютъ ново-Европейскую Литературу на два рода: первая родилась у Провансаловъ, развилась прежде всего до возможнаго совершенства, въ этомъ отношеніи, у Испанцевъ; вторая родилась въ Италіи подъ вліяніемъ *Медицисовъ;* утвердилась болѣе или менѣе во всей Европѣ, но преимущественно во Франціи. Здѣсь страсть къ безхарактерной Поэзіи дошла до какого-то изступленія, которое оковывало и самые сильные умы; и отсюда она распространилась въ другія стороны Европы; особенно сильно свирѣпствовала у насъ въ Россіи, какъ мы увидимъ въ послѣдствіи.

Напрасно думаютъ, что Словесность Арабовъ имѣла сильное вліяніе въ такъ называемомъ Романтизмѣ, т. е. первомъ родѣ Литературы, особенно въ Испаніи. Аравійская Поэзія имѣетъ предметомъ всегда такія особенности, которыя едва ли можно привить къ какой либо другой націи: — кочеваніе разныхъ племенъ, ихъ взаимную родовую месть, ихъ презрѣніе ко всему, кромѣ своего племени, ихъ простосердечное, но гордое самохвальство, дружбу съ лошадьми! Все же героическое, все, что имѣетъ малѣйшій видъ баснословія, перешло къ нимъ отъ Персовъ. И Испанцы и Порту-

гальцы заняли отъ Арабовъ только гордость, которая, впрочемъ, послужила источникомъ и Литературной ихъ самостоятельности. *Камоэнсъ*, *Сервантесъ* и другіе лучшіе ихъ писатели столько же оригинальны, какъ и неподражаемы.

И такъ всякій вѣкъ, каждая страна и народъ имѣютъ свой духъ, свой характеръ. Естественно ли думать и желать, чтобы всѣ люди и народы выражали свои мысли и чувствованія одинаково, чтобы всѣ Литературы міра не имѣли различія, кромѣ языка! — Нѣтъ! Доколѣ мы будемъ зависѣть отъ внѣшней природы, отъ внѣшнихъ обстоятельствъ; доколѣ не возвысимся до тѣхъ свѣтлыхъ, истинныхъ идей, которыя бы могли уровнять насъ въ способѣ воззрѣнія на предметы и образѣ мыслей; дотолѣ мы всѣ будемъ отличаться другъ отъ друга. Но возможно ли выполнить сіе требованіе? — Возможно тамъ, за предѣлами міра сего!

Древній классицизмъ.

Мы видѣли, что каждая изъ древнихъ Литературъ имѣла свой характеръ; каждая, выражая бытъ, духъ и вѣрованія своего народа, естественно отличается отъ другихъ; это различіе весьма замѣтно и въ степени искусства, которое возрастало съ вѣками и съ возрастомъ человѣчества. Но всѣ онѣ имѣютъ много общихъ свойствъ, которыми, сходствуя между собою, отличаются отъ всѣхъ новѣйшихъ. Такъ, напримѣръ, чувственное изображеніе самой духовной природы составляетъ общую черту оныхъ; такъ Божество изображается у всѣхъ древнихъ народовъ въ безпрестанной, всегдашней связи съ человѣчествомъ, въ какихъ-то патріархальныхъ съ нимъ сношеніяхъ. Но какъ у Евреевъ и Индійцевъ, самодревнѣйшихъ народовъ, Литература была слишкомъ проста, далека отъ искуства, такъ что она существовала въ какомъ-то совершенномъ сліяніи Прозы съ Поэзіею, проявляя собою дѣтскую смѣшанность занятій съ играми, въ которыхъ скрывается

подъ забавами начало великаго развитія будущей жизни; какъ у Римлянъ она не имѣла самостоятельности; то Греческая Литература, бывъ развита и обработана болѣе, нежели первыя, бывъ совершенно оригинальна, самостоятельна, служитъ представительницею древняго міра, въ отношеніи искуства и изящества. Между тѣмъ, какъ древній міръ кончался въ Греціи и Италіи, новый возставя въ сихъ и въ сосѣдственныхъ имъ странахъ, при самомъ рожденіи получилъ свой тѣлесный составъ, свое вещественное бытіе и первыя свои впечатлѣнія и, такъ сказать, большую часть своего темперамента отъ сего дряхлѣющаго старца. Потому-то и въ то время, когда уже борьба была кончена, все еще воспоминанія минувшей славы Греціи и Рима плѣняли мнимыхъ Грековъ (Византійцевъ) и Римлянъ (Итальянцевъ), особенно послѣднихъ потому, что въ нихъ осталось болѣе древняго.

Новый или ложный классицизмъ.

Отсюда началось подражаніе древнимъ писателямъ, которые названы *классическими;* потому что во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ они приняты были въ руководство и за образцы *въ классахъ;* а послѣдователи ихъ въ позднѣйшія времена названы *классиками;* по тѣ, которые выражали и выражаютъ свои мысли и чувствованія въ духѣ народномъ, по направленію вѣка, называются *Романтиками*, вѣроятно, потому, что прежде всего Исторія нашла такого рода сочиненія на языкахъ, происшедшихъ отъ Римскаго. Новоклассическая Литература, стремясь уподобиться во всемъ своему первообразу (Древне-классической), не находила въ новомъ мірѣ ничего піитическаго, и оставляла его для прозы; а посему всѣ роды Поэзіи изображали міръ древній, который, впрочемъ, по существу своему былъ для нея доступнѣе. А ежели иногда поэты и рѣшались выбирать предметы для своихъ произведеній изъ ново-Европейскаго быта и Исторіи; то облекали ихъ въ

форму классическую, и заставляли дѣйствовать героевъ нашего міра такъ, чтобъ они уподоблялись Ахилламъ, Орестамъ, Пиладамъ и т. п. Но какъ всякій вѣкъ и народъ имѣетъ свои вѣрованія, нравы, добродѣтели, пороки, достоинства и слабости; то не все Греческое могло быть допущено у насъ въ Литературу по нашимъ правамъ, вѣроисповѣданіямъ и Гражданскимъ постановленіямъ. Съ другой стороны, бытъ, вѣрованія новыхъ народовъ совсѣмъ изключены изъ области изящныхъ искуствъ — Поэзіи. По сему поэты и художники, особливо первые, принуждены были изображать только тѣ предметы и въ тѣхъ отношеніяхъ, которыя общи всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ; отсюда новый классицизмъ отличается какимъ-то однообразіемъ; и при томъ все общее есть дѣло ума, а не сердца; посему произведенія нашихъ классиковъ всегда холодны, сухи: всѣ герои ихъ поэмъ и трагедій, всегда ознаменованные общими добродѣтелями и пороками, чрезвычайно сходствуютъ между собою; отъ того и произведенія эти утомительны. Многія попытки облечь героевъ новаго міра въ классическія формы, показали, какъ трудно, даже невозможно, избѣжать въ этомъ случаѣ смѣшенія древнихъ вѣрованій съ новыми — отъ чего часто высокое является въ смѣшномъ видѣ. Герои же древняго міра отливаются въ формахъ нашего классицизма не съ тою пластическою округленностію и полнотою, каковыми они изображались въ древности; опущеніе того, что для насъ неприлично, дѣлаетъ ихъ неполными, даетъ имъ плоскую односторонность. Сверхъ того, какое они могутъ возбудить въ насъ участіе? — Мы познакомились съ ними въ школѣ; представленія ихъ тѣсно соединены съ привычными школьными воспоминаніями о мелочныхъ дѣлахъ; и потому они не могутъ имѣть никакой власти надъ душею читателя. Такая скудная ограниченность идей

побудила писателей прибѣгать къ щегольству формами; а эта принужденная, такъ сказать, уборка мыслей внесла въ новоклассическую Литературу новый недостатокъ противъ древней: тамъ простыя, легкія, для всякаго доступныя, идеи облекались въ простыя легкія формы, и тѣмъ самымъ представляли стройное согласіе стихъ двухъ стихій изящнаго; здѣсь тѣ же идеи, и притомъ еще стѣсненныя условіями вѣка и страны, являются въ огромныхъ, пышныхъ, величественныхъ формахъ, которыя отъ такой несоотвѣтственности остаются почти пустыми, надутыми.

Романтизмъ.

И такъ все требовало преобразованія! Дѣтская затѣйливость и безпечная мечтательность были прилично только юной беззаботно говорливой Греціи; намъ нужны мысли, нужна важная истина; Греки плѣнялись удобообразимою идилліею; мы требуемъ Романа, вѣрнаго съ изображаемымъ въ немъ міромъ. Тамъ все, самая существенность и Исторія принимали видъ Поэзіи, сливались съ миѳологіею; у насъ же и Поэзія и миѳологія стремятся принять видъ истины и стать рядомъ съ Исторіей; тамъ Божество втѣснялось въ человѣчество; у насъ человѣкъ хочетъ сблизкаться съ Божествомъ безпредѣльнымъ. Такъ идеи нашихъ вѣковъ ширятся въ безкопечномъ, такъ геніи новаго міра парятъ надъ множествомъ вѣковъ и народовъ, созерцая безпредѣльно разнообразныя картины жизни и развитія человѣчества. Такое стремленіе современнаго намъ духа долго не было сознаваемо; но наконецъ оно отгадало само себя, и дало совсѣмъ другое направленіе Словесности, которая теперь хотя еще не установилась, но она уже выражаетъ вѣкъ. Хотя всѣ Литературы новаго міра сходствуютъ между собою въ этой основной своей стихіи; хотя сія необъятная обширность и безпредѣльность идей, разширяя формы выраженія, даетъ произведеніямъ

Словесности какую-то таинственность, которая въ большей или меньшей степени также всѣмъ имъ свойственна; однако каждая изъ нихъ, выражая народный духъ, мнѣнія, вѣрованія, степень образованія и духовныя нравственныя силы народа, имѣетъ свой особенный характеръ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ГЛАВА I.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ РУССКАГО ХАРАКТЕРА И ОБРАЗОВАНІЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХЪ ИДЕЙ.

Отношенія Россіи къ востоку и западу.

Всѣ народы Европейскаго Запада, при самомъ броженіи своемъ, при самомъ стремленіи къ общественности, получили въ большей или меньшей степени вліяніе внѣшняго, чуждаго образованія, какъ древне-западнаго: Римскаго, Гальскаго и Испанскаго, такъ и взаимно другъ отъ друга принятаго; да и самое удаленіе ихъ на западъ предполагаетъ уже больше встрѣчъ, больше жизни и развитія, подобно какъ это случается съ путешественникомъ. Отъ того у нихъ общественность и людкость, достигнувъ высшей степени, составляютъ главныя ихъ свойства; напротивъ того у восточныхъ народовъ личность преобладаетъ предъ общежитностію, народность подавляетъ стремленіе къ всеобщности; потому что они домосѣды, они знаютъ только окружающую ихъ природу; человѣчество видѣли только въ самихъ себѣ и въ немногихъ сосѣдахъ. Это, впрочемъ, не доказываетъ невозможности образованія ихъ, а только особенность его. Историческая судьба поставила насъ между Востокомъ, ко-

снѣющимъ въ дѣтствѣ, которое очаровательно по самымъ своимъ недостаткамъ, сопровождаемымъ простотою, и между Западомъ, преуспѣвающимъ въ дѣлѣ разумѣнія; мы раздѣляемъ эти два края міра; но мы уклонились отъ своего значенія, отъ призванія историческаго; мы живемъ, дѣйствуемъ, чувствуемъ, мыслимъ наперекоръ этого призванія, наперекоръ внѣшней нашей природѣ. Но самое уклоненіе это не свидѣтельствуетъ ли о нашей высшей самостоятельноотн? Нѣтъ, ибо оно подражательное; оно происходитъ не изъ внутренняго и произвольнаго стремленія господствовать надъ обстоятельствами. Здѣсь случай преодолѣлъ исторію, судьбу и природу; однако онъ уже изнемогаетъ отъ напора этихъ неутомимыхъ соперницъ.

Дѣйствіе природы и обстоятельствъ на Русскій характеръ.

Природа внѣшняя у насъ не такъ мрачна и сурова, чтобъ могла сдѣлать насъ таинственно-трагическими мечтателями, подобно Скандинавамъ; не такъ роскошна и предупредительна къ нашимъ желаніямъ, чтобъ образовать изъ насъ безпечно довѣрчивыхъ дѣтей судьбы, а тѣмъ болѣе покровительствующей добрымъ началамъ. Она не столь прелестна, или по крайней мѣрѣ красоты ея не столь открыты, чтобы пластическое очертаніе формъ ея, прельщая насъ, могло своимъ изяществомъ вступить въ споръ съ древнею Греческою Литературою; но и не такъ безжизненна, чтобъ, ужасая точнымъ своимъ изображеніемъ, заставляла безпрестанно оживлять ее иносказаніемъ.

Обширныя равнины, занимаемыя Россіею, разноклиматность страны, рѣдкое народонаселеніе отразились въ нашемъ характерѣ спокойствіемъ души, тихими, но упрямыми страстями, переимчивостію, способностію къ разнороднымъ занятіямъ, нелюдимостію въ странномъ смѣшеніи съ гостепріимствомъ и какою-то безпечностію къ усовершенію себя и средствъ жизни. Высокія

горы съ своими крутыми переломами, съ внезапно представляющимися препятствіями въ путяхъ, пріучаютъ человѣка къ смѣлости въ предпріятіяхъ, къ быстротѣ въ дѣйствіяхъ, дѣлаютъ его нетерпѣливымъ въ исполненіяхъ; единство почвы и климата образуютъ обитателя одинаковымъ въ желаніяхъ, одностороннимъ въ направленіи силъ тѣлесныхъ и душевныхъ; при большей населенности страны, люди, находясь въ безпрерывныхъ сношеніяхъ, пріобрѣтаютъ свѣтскую образованность и утонченность нравовъ. Напротивъ, обширныя равнины, заселяемыя народомъ, не противопоставляя ему никакихъ препятствій ни въ обработываніи, ни въ прохожденіи ихъ, представляя ему всегда открытый, одинакій до утомительности обзоръ, дѣлаютъ его неспособнымъ переносить неожиданныя препоны, обдумывать предварительные планы, разсчитывать непредвидѣнные случаи; но въ замѣнъ того онъ твердъ до упрямства, до непреклонности въ обстоятельствахъ очевидныхъ, какъ бы они ни были жестоки, откровененъ до грубости; разнообразіе климатовъ и вообще разность природы внѣшней, доставляя возможность вести разные образы жизни, даетъ разностороннее направленіе силъ и развиваетъ способность къ разнороднымъ занятіямъ; и наконецъ та же самая разноклиматность, та же способность къ разнороднымъ занятіямъ, обезпечивая народъ, дѣлаютъ его беззаботнымъ, отчуждаютъ отъ сосѣднихъ народовъ; а малонаселенность раздѣляетъ и съ соотчичами дальнихъ областей. Но это же самое отчужденіе, по гласу природы, зовущей его къ общежитію, внушаетъ ему гостепріимство. Въ такихъ-то обстоятельствахъ находились наши предки, которые, сверхъ того, съ незапамятныхъ временъ были окружены разноплеменными, разноязычными, разновѣрными, разноправными народами до того, что всѣ они ничего не имѣли общаго.

Общія черты нашего баснословія.

Таковъ первоначальный темпераментъ Русскаго народа, таковы стихіи его характера! И сей-то характеръ во времена миѳологическія развивался свободно, согласно свойствамъ этихъ стихій; въ героическомъ возрастѣ онъ хотя получилъ много случайнаго, чуждаго, но все это срослось съ природнымъ, такъ сказать, утонуло въ немъ; вся историческая жизнь была сцѣпленіемъ случайностей, которыя, подавивъ въ насъ все родное, уклонили ходъ нашъ отъ первоначальнаго направленія. Первобытные предки наши, какъ мы видѣли, имѣя столь разнообразное смѣшеніе склонностей, были близки къ безтемпераментности; ибо умѣренность и разнообразіе физической природы было уравновѣшено съ нравственно-разумною. Отсюда произошло то разномысліе Славянъ въ миѳологіи, по которому они въ этомъ отношеніи сходствуютъ со всѣми народами Востока, Запада, Юга и Сѣвера, и по которому ихъ баснословіе не имѣетъ тѣхъ младенческихъ нелѣпыхъ вѣрованій, коими отличаются всѣ восточныя; оно не столь безцвѣтно и сухо, каковы баснословія Западныя, убитыя вліяніемъ ума; оно было свободно отъ преобладанія той чувственности, которая господствовала на Югѣ, и той таинственности, которая свойственна Сѣверу. Здѣсь нѣтъ ни чувственно-земнаго сближенія человѣка съ Божествомъ, такъ чтобы боги непосредственно мѣшались во все человѣческое и имѣли съ людьми связи плотскія и житейскія; ни совершеннаго отчужденія, чтобъ Божество спокойно и беззаботно смотрѣло съ неба на дѣла человѣка, предоставленнаго земному ходу дѣлъ; — здѣсь мы видимъ, какъ и вездѣ почти, божество благодѣтельное и божество злое, которыя или покровительствуютъ или гонятъ человѣка посредствомъ земныхъ духовъ, домовыхъ, Лѣшихъ и Русалокъ, и посредствомъ людей вѣщихъ и досужихъ, волшебниковъ и волшебницъ, колдуновъ и колдуней; но ни Бѣлъ-богъ, ни Черно-

богъ не преодолѣваетъ другаго; и, кажется, каждый съ своими сообщниками или благопріятствуетъ или вредитъ человѣку, не вступая во взаимную между собою борьбу. Отсюда у насъ равнодушіе ко всему отечественному; ибо природа не производитъ въ насъ сильныхъ впечатлѣній, способныхъ долго удерживать вниманіе и часто возбуждать воспоминанія чувственныя; — отсюда подражательность въ жизни, въ искуствахъ, въ одеждѣ; ибо, видя вокругъ себя у всѣхъ народовъ рѣзкую внѣшнюю особенность, люди, не достигшіе высокаго образованія, не могли понять того, что природа и случай, отличивъ ихъ стройнымъ согласіемъ силъ душевныхъ и тѣлесныхъ и поставивъ въ безконечно и разнообразныя обстоятельства, предоставила имъ свободу, возможность и способы создать себѣ особенность высшую, идеальную, духовную. Мы лишены внѣшней особенности; разсматривая страну, не нашли ея. Всмотримся въ физіономію народа; — и здѣсь не найдемъ ея: всѣ народы имѣютъ свой особенный обликъ; но Русскіе носятъ на лицѣ своемъ точный отпечатокъ безконечно разнообразной своей природы, выраженіе чрезмѣрнаго протяженія странъ. Обратимъ ли вниманіе на нравы наши и повѣрья? — Здѣсь, съ одной стороны, мы совершенно сроднились съ вѣчными своими сосѣдами, тяжелыми, хладнокровными, мрачными, суевѣрными и съ тѣмъ вмѣстѣ самонадѣянными Финнами; съ другой, нѣсколько вѣковъ сряду не имѣя на югѣ постояннаго сосѣдства и мѣшаясь безпрестанно съ появлявшимися и исчезавшими народами, представляемъ удивительную смѣсь повѣрій, обычаевъ и обрядовъ Польскихъ, Византійскихъ, Мусульманскихъ и другихъ; но при всей смѣси, при всемъ безконечномъ разнообразіи нравовъ, обычаевъ и повѣрій, Славянизмъ во всемъ, вездѣ и всегда оставался и остается господствующимъ; онъ долго уступалъ навязаннымъ, привитымъ привычкамъ; но теперь вступаетъ въ

свои права. Мы увидимъ, какъ ходъ нашей народности уклонялся отъ своего назначенія въ продолженіе всей нашей исторической жизни; какъ снова была узнана эта народность, загроможденная чуждыми, насильственными введеніями, подавленная вліяніемъ Византіи, Татарскою властію, и, хотя кратковременнымъ, но убійственнымъ, господствованіемъ Поляковъ; увидимъ, какъ она величественно возникаетъ въ Литературѣ, на развалинахъ латино-школьной учености, подражательнаго классицизма и неестественной идиллической чувствительности, разрушенныхъ ею.

Характеръ Русской Литературы.

И такъ утвердимъ ли мы свое мнѣніе объ общемъ характерѣ нашей Литературы на разсматриваніи историческаго хода внѣшней жизни и измѣненія нравовъ? Будемъ ли судить о ней даже по отдѣльнымъ произведеніямъ Словесности? — Нѣтъ! Эти произведенія, не смотря на геніальное величіе ихъ творцевъ, суть только частныя явленія, событія, составляющія матеріальную часть системы, которая должна опредѣлить направленіе Словесности и то значеніе, которое она имѣетъ и должна имѣть въ общемъ кругу Литературъ; а знаніе гражданственности и нравовъ народа будетъ служить источникомъ объясненій какъ послѣдовательной связи между явленіями, такъ и уклоненія отъ естественнаго хода. Первоначальныя же свойства народа, естественное его положеніе, мѣстныя и временныя отношенія къ человѣчеству, составляя, такъ сказать, темпераментъ его или тотъ матеріялъ, изъ котораго Исторія образуетъ народный характеръ, послужатъ основою къ утвержденію мнѣнія о характерѣ, значеніи и отношеніи извѣстной Литературы къ человѣчеству. — Слѣдовательно Русская Литература, выражая умѣренную степень жизни и жизненности человѣка, должна показать, какъ онъ чувствуетъ, мыслитъ и дѣйствуетъ въ мірѣ изящномъ, житейскомъ и нравственномъ, независимо отъ сильныхъ

вліяній природы, какъ благопріятствующей, такъ и противящейся развитію духа; она должна познакомить будущее человѣчество съ выраженіемъ Русскаго духа, свободнаго отъ борьбы съ кипящими бурными страстями, но духа сильнаго, созрѣвшаго въ борьбѣ съ чувствованіями глубокими, тихими, но упорными; она должна представить будущему человѣчеству, какъ сей духъ, неогражденный отъ внѣшнихъ впечатлѣній природою, которая какъ бы предала его самому себѣ, смущаемый смѣшеніемъ постороннихъ вліяній, создалъ для себя характеръ; подавляемый безпрестанно чуждымъ игомъ то въ нравственномъ, то въ гражданскомъ, то въ учебно-умственномъ быту своемъ, сохранилъ свою народность, соблюлъ со всѣми особенностями, и очистилъ ее отъ всѣхъ порчъ восточныхъ и западныхъ. Она должна проявлять западную зрѣлость безъ дряхлой брюзливости, и школьной затѣйливости; восточную простоту, безъ ребяческой безсильной мелочности; она должна быть свободна знойной и хладной крайностей.

ГЛАВА II.

ИЗМѢНЕНІЕ ИДЕЙ И ЯЗЫКА ВЪ РОССІИ.

Отношеніе мысли къ слову.

Языкъ, какъ форма проявленія мыслей, какъ органъ выраженія внутренней жизни, какъ орудіе внѣшнихъ сношеній, какъ достояніе народа, идетъ врядъ съ просвѣщеніемъ, съ преуспѣяніемъ духа, съ измѣненіемъ идей; такъ что всякая эпоха Литературы непремѣнно вноситъ измѣненіе и въ ходъ языка, и богатство мы-

слей и знаній неминуемо расширяетъ кругъ его; ибо идея безъ соотвѣтственной формы для человѣчества то же, что мысль безплотныхъ духовъ; она исчезаетъ въ безпредѣльности духовной; да и форма безъ идеи есть пустое случайное стучаніе дитяти по струнамъ. Начало языка, или сила, вызывающая его къ бытію, есть самый умъ; такъ что, когда Творецъ далъ человѣку умъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ далъ и языкъ или слово. Но умъ данъ ему только въ возможности, въ сѣмени, въ зародышѣ, изъ котораго опъ, посредствомъ усиленной дѣятельности, развивается до изумительной обширности; такъ точно и слово дано человѣку не въ дѣйствительномъ бытіи, а только въ способности, которая развивается съ разширеніемъ мыслей, и приводится въ исполненіе гибкостію органовъ, дивно послушныхъ движеніямъ ума. Впрочемъ, при всей нераздѣльности двухъ составныхъ частей всякой рѣчи и самой Литературы, можно разсматривать успѣхи той и другой раздѣльно; ибо опѣ нераздѣльны только въ дѣйствованіи, такъ сказать, въ служеніи человѣчеству, а не въ бытіи своемъ: идея раждается сама по себѣ безъ слова; а слово, раждаясь, въ слѣдствіе тревожнаго существованія мысли, которая спѣшитъ разлиться въ мірѣ мыслящемъ, продолжаетъ матеріальное бытіе свое и безъ мысли, можетъ выражать новыя сродныя ему идеи, можетъ существовать, какъ памятникъ былой, забытой мысли. Конечно, подробное изображеніе успѣховъ ума составляетъ Исторію просвѣщенія; но для точнѣйшаго опредѣленія всѣхъ измѣненій Литературы, нужно предварительно знать и естественное развитіе первоначальныхъ впечатлѣній народа и, какъ благотворное, такъ и злокачественное, вліяніе извнѣ въ образованіи его.

Ходъ идей въ Россіи

Славянскія племена, составлявшія преобладающую стихію при первоначальномъ образованіи Россіи, имѣвъ

извѣстныя намъ свойства, нравы и вѣрованія, по естественному столкновенію съ сосѣдственными народами заимствовали отъ нихъ многое: Финны сообщили имъ, между прочимъ, страсть къ гаданіямъ и нѣкоторыя таинственныя и мрачныя вѣрованія; сношенія съ Скандинавами еще болѣе утвердили все это руническими письменами; разнородныя сношенія съ Византійцами, измѣнивъ вѣру, произвели сначала въ *немногихъ*, просвѣщенныхъ духомъ Христіанства, а потомъ мало по малу и во *всемъ народѣ*, совершенно новое направленіе духа. *Въ первыхъ* это направленіе было истинно Христіанское, независимое отъ земнаго міра; а *во второмъ* оно представляло смѣсь языческой чувственности съ Христіанскою таинственною духовностію. Кромѣ нравственнаго обновленія духа, совершился другой переворотъ ума: Русскіе дотолѣ были чужды идеи изящнаго; теперь, видя образцы живописи и изящнаго зодчества, полюбили ту и другое, и вскорѣ показали блестящіе успѣхи въ обоихъ искуствахъ; такъ что въ XII столѣтіи въ Сѣверной Россіи русскіе художники могли, безъ пособія иноземцевъ, воздвигать великолѣпные храмы и украшать ихъ живописью собственной школы; въ концѣ XII и въ началѣ XIII столѣтій Аѳонскіе монастыри любили украшать свои храмы образами русскаго произведенія. Школы, учрежденныя Владиміромъ въ Кіевѣ и Ярославомъ въ Новгородѣ, мало помалу распространяли знанія, умъ пробудился и обратился къ опытности народовъ старыхъ, отжившихъ. Въ доказательство быстраго распространенія просвѣщенія въ Россіи можно указать на слова Владиміра Мононаха, который говоритъ, что отецъ его говорилъ на пяти языкахъ; а еще болѣе Суздальскій лѣтописецъ говоритъ о внукѣ Мономаха, Михаилѣ Юрьевичѣ: «А при оныхъ отличіяхъ онъ Михалка былъ кротокъ, милостивъ и правосудливъ, да и въ воинскомъ дѣлѣ искуство вѣдалъ большее, а то все отъ книгъ въ

немъ было. Со всякими духовными и иными философами онъ любомудрствовалъ, и толкъ въ вещи различной крѣпко зналъ. Съ Греками онъ велъ слово по-гречески, а съ Латынью по ихнему, по-латинскому. Татарскіе и Чухонскіе языки тоже зналъ; да объ вѣрѣ и догматѣ Церковномъ ни съ ними Татарами и ни съ коими нѣмецкими людьми въ толкъ не шелъ, размышляя христіански, что «обще-де всякія спорованіи о святыхъ и святынѣ идутъ на разумъ человѣческій то-де отъ гордости бѣсовской, то-де отъ на-зло-учащихъ въ кривь православію.» А о княгинѣ его между прочимъ говоритъ: «подлѣ супруга-книжника, она сама изучалась хорошо книжному дѣлу.» — Замѣтимъ характеръ языка Лѣтописца!—За этимъ измѣненіемъ духа въ Россіи начинала уже водворяться Христіанская философія между духовными особами и князьями; и конечно патріархальная простота, сближавшая царей съ подданными, не замедлила бы усвоить эти знанія и самому народу; но внѣшнее порабощеніе подавило все народное; самое стремленіе къ совершенствованію не только пріостановлено, но даже совсѣмъ заглушено. Все древне-Славянское здѣсь, тѣснимое духовенствомъ, проявлялось только въ пѣсняхъ и игрищахъ, отправляемыхъ въ весенніе дни по темнымъ лѣсамъ; знанія и слабые отблески, нѣкогда ярко занимавшагося Христіанскаго просвѣщенія, прокрадывались только кой-гдѣ по монастырямъ. И движеніе подавленнаго духа хотя уже было слабо, едва, едва замѣтно; однако оно имѣло все тотъ же характеръ; оно не измѣнилось ни при возникшей самостоятельности народа, ни во время ужаснаго междуцарствія, ни даже во дни ужаснѣйшаго порабощенія Польскаго, которое грозило бо́льшимъ зломъ, нежели продолжительное иго Татарское, и которое, при всей кратковременности, успѣло разрушить еще неутвердившіяся благія предначинанія Бориса, заботившагося

о водвореніи просвѣщенія въ Россіи истинно Русскаго. Со времени утвержденія Христіанства въ Россіи умъ, подъ вліяніемъ сего Божественнаго путеводителя, спасшаго самобытность народную, на обломкамъ язычества, сохранившаго нѣкоторыя черты древней особенности, и подъ вліяніемъ унылаго народнаго генія, медленно подвигался въ своемъ развитіи до присоединенія Украйны къ Россіи; но послѣ того ученые Богословы, питомцы Кіевской, а въ послѣдствіи, и Московской Академій, Христіанскую простоту и естественную народную смѣтливость замѣнили затѣйливыми школьными тонкостями, которыя, нося характеръ первоначальнаго своего езуитскаго произхожденія, прямо противорѣчили народному прямодушію; и потому отдѣлили ученаго отъ простолюдина чертою непроходимою — схоластицизмомъ. Хотя послѣднее направленіе умовъ, по своей благовидности, казалось непоколебимо твердымъ и хотя размноженіе училищъ болѣе и болѣе утверждало его; однако геній Ломоносова поставилъ Русскій умъ на общій классико-Европейскій путь. Здѣсь все было подражательное; древнеклассическія понятія и Литература составляли тогда образцы, къ которымъ стремились всѣ писатели; — поэты и даже прозаики уравнивали идеи новаго міра по представленіямъ древней Миѳологіи и геропзма. Это просвѣщеніе было неестественно, натянуто, холодно; но всякая дѣятельность ума полезнѣе бездѣятельности и со временемъ превозможетъ всякое насиліе; посему и при таковомъ направленіи изрѣдка проявлялись умы самостоятельные, и образъ мыслей постепенно дѣлался свободнѣе, естественнѣе и ближе къ народному характеру, который, по мѣрѣ прояснения Исторіи, возторжествовалъ надъ всѣмъ внѣшнимъ, и ясно теперь отражается въ нашемъ Романтизмѣ—въ современной Литературѣ.

Начало производныхъ языковъ.

Произхожденіе производныхъ языковъ начинается отъ двухъ причинъ, и двумя способами совершается: Когда одинъ народъ или племя разходится въ двѣ или три страны, находящіяся въ разныхъ климатахъ и разныхъ естественныхъ обстоятельствахъ; то, при встрѣчѣ съ новыми предметами, при измѣненіи образа жизни и дѣятельности, они должны выдумывать новыя слова и забывать старыя; а вліяніе климата въ продолженіе вѣковъ измѣнитъ характеръ прежняго произношенія звуковъ; и такимъ образомъ одинъ языкъ раздѣлится на два или на три, которые конечно будутъ имѣть много общаго. Ко́гда же два народа разноязычные, по какимъ либо обстотельствамъ, соединяются; то ни одинъ изъ нихъ не можетъ сохранить свой языкъ неизмѣнно, а посредствомъ изкаженія словъ и формъ того и другаго составятъ третій новый языкъ. Чѣмъ разнохарактернѣе ихъ прежніе языки, тѣмъ большее произойдетъ измѣненіе; впрочемъ, во всякомъ случаѣ новый языкъ сохранитъ многія свойства обоихъ старыхъ. Древне-Славянскій языкъ, кажется, первымъ путемъ отдѣлился отъ Санскритскаго; а впослѣдствіи, посредствомъ различныхъ смѣшеній, отъ него произошло нѣсколько новыхъ языковъ.

Произхожденіе Русскаго языка.

Древне-Славянскій языкъ составляетъ главную стихію языка Русскаго; онъ почитается мертвымъ, ибо мы его знаемъ только по употребленію въ церковно-служебныхъ книгахъ. Но, кажется, это мнѣніе не совсѣмъ основательно; потому что въ Сербіи, и преимущественно въ Черногоріи, этотъ древній языкъ сохранилъ въ живомъ употребленіи свои первобытныя формы и свой характеръ; впрочемъ рѣшить этотъ вопросъ предлежитъ будущей Исторіи языка Славянскаго; а мы удовольствуемся опредѣленіемъ отношеній его къ нашему языку; ибо предполагаемъ изложить въ нѣсколькихъ словахъ рожденіе и ходъ языка Русскаго.

Около временъ политическаго образованія Россіи,

вѣроятно всѣ Славянскія нарѣчія были еще очень близки между собою; и, кажется, съ достовѣрностію можно утверждать, что въ это время было три главныхъ отрасли языка Славянскаго: *западная*, которою говорили Славянскія племена, окруженныя и частію порабощенныя Германцами, и которая отъ того болѣе другихъ утратила свою первопачальную особенность; — *юговосточная*, сохранившая дотолѣ всю первобытность свою; потому что этимъ нарѣчіемъ говорили племена Славянъ, непорабощенныя и чуждавшіяся всякаго смѣшенія; — и *сѣверовосточная*, изъ которой въ послѣдствіи образовался Русскій языкъ. Славяне сѣверовосточные, съ незапамятныхъ временъ находясь въ сосѣдствѣ съ разноплеменными народами, имѣя съ ними безпрерывныя разнородныя сношенія, безъ сомнѣнія мѣнялись взаимно понятіями; такимъ образомъ сообщали имъ и взаимно отъ нихъ принимали въ свой языкъ чуждыя слова, которыя, хотя по большей части подчинялись формамъ и законамъ языка туземнаго, но нерѣдко вносили съ собою свойства корня своего. Отсюда необходимо произошли различныя уклоненія отъ первопачальныхъ формъ, и языкъ Славянскій, смѣшавшись съ Хозарскимъ, Латышскимъ, а преимущественно съ разными нарѣчіями Финскаго, получилъ много новаго, какъ со стороны матеріи, такъ и со стороны формы, что отличало его отъ чисто Славянскаго. Вліяніе Финскаго языка, нетерпящаго стеченія согласныхъ буквъ, особенно замѣтно и благодѣтельно для нашего изгнаніемъ полугласныхъ буквъ изъ средины словъ и излишняго стеченія согласныхъ, чему, кажется, также способствовало и правильное Греческое пѣніе, въ послѣдствіи вошедшее въ употребленіе. Вѣковая привычка слышать свои слова умягченными посредствомъ вставленія гласныхъ буквъ между согласными, которыя въ Славянскихъ словахъ стекаются рядомъ иногда

по три и по четыре, научила Славянъ произносить свои слова близко къ произношенію Финскому; наприм: стржить—сторожить, плѣнъ—полонъ. Измѣнявшись такимъ образомъ, нашъ языкъ скоро раздѣлился на двѣ отрасли: на *церковно-книжный* и *народный*. Главною причиною этого раздѣленія было введеніе Христіанской вѣры. Византійскіе Греки, разпространяя Христіанство, старались, для большаго утвержденія его, чтобъ новые Христіане отправляли Богослуженіе на отечественномъ языкѣ; по сей-то причинѣ Кириллъ (Константинъ въ монашествѣ) и Меѳодій, проповѣдуя Божественное ученіе между Славянами, изобрѣли для ихъ языка письмена, или, лучше сказать, дали имъ Греческую азбуку; для выраженія же тѣхъ звуковъ, которыхъ Греки не имѣли, они заимствовали знаки или буквы изъ Азіатскихъ языковъ. Для той же цѣли переведены на Славянскій языкъ съ Греческаго прежде всего необходимѣйшія книги; какъ-то: Евангеліе, Апостолъ, Псалтирь и Октоихъ, а потомъ и другія. —Переводъ сей, кажется, сдѣланъ на Сербское нарѣчіе, или Булгарское; ибо онъ сходствуетъ съ этими нарѣчіями болѣе, нежели съ другими.—Со введеніемъ Христіанской вѣры въ Россію всѣ эти книги къ намъ принесены и приняты въ употребленіе при церковномъ Богослуженіи, а многія другія переведены уже въ Россіи на Булгарское нарѣчіе. Церковно-книжный языкъ, по извѣстнымъ причинамъ, и въ ту эпоху значительно уже отличался отъ народнаго русскаго; но въ послѣдствіи это различіе увеличивалось болѣе и болѣе; потому что первый, содержась только въ книгахъ, не подлежащихъ никакому измѣненію по священности своей, оставался неизмѣннымъ, неподвижнымъ, и сохранилъ всѣ Славянскія формы, кромѣ словотеченія, которое, по причинѣ буквальности перевода, было совершенно Греческое; и ежели въ эти книги вкрадывались какія либо перемѣны, то

они произходили или отъ невѣжества переписчиковъ, или отъ желанія изправить ошибки; прибавимъ къ тому и множество Греческихъ словъ, принятыхъ въ церковныя книги. При введеніи Греческихъ словъ въ Русскій языкъ, всѣ собственныя имена и большая часть другихъ словъ, которыя кончатся на ας, ες, ης, ις, ος, эти окончанія утратили, наприм.: Андрей, Василій, Лука, Филиппъ и проч. Слово же Христосъ, удержавъ свое окончаніе въ именительномъ, въ косвенныхъ падежахъ теряетъ его, подобно другимъ именамъ Греческимъ. — Но совсѣмъ въ другихъ обстоятельствахъ находился языкъ народный: онъ, кромѣ случайныхъ измѣненій, произходившихъ отъ внѣшняго вліянія, возрасталъ, расширялся и обогащался по мѣрѣ хода понятій; и при томъ сближеніе и раздробленіе областей сближало или раздробляло и нарѣчія оныхъ; а желаніе щеголять выраженіями и борьба съ трудностями языка и недостаткомъ словъ и формъ— оборотовъ, заставляли невольно прибѣгать къ новымъ произведеніямъ словъ и устройству выраженій. Впрочемъ, Греческія слова, вошедшія въ церковно-книжный языкъ, по свойству именуемыхъ предметовъ, впослѣдствіи перешли и въ народный языкъ; преимущественно же они размножились въ словахъ производныхъ и сложныхъ, образованныхъ по русскимъ формамъ; наприм.: *фонарь*, *фонарщикъ*, *фонарный; діяволъ*, *діявольскій*, *діявольщина*, *діяволенокъ* и проч. Мы не можемъ подробно показать всѣхъ переходовъ образованія языка народнаго; потому что письменные памятники нашей Словесности, дошедшіе до насъ, почти всѣ писаны языкомъ церковно-Славянскимъ или, по-крайней-мѣрѣ, смѣшаннымъ; но есть ясныя положительныя доказательства, какъ въ двѣнадцатомъ и тринадцатомъ столѣтіяхъ языкъ народный далеко различался съ церковнымъ; напримѣръ, возмемъ нѣсколько строкъ изъ Суздальскаго

Лѣтописца: «росту (Андрей Боголюбскій) невеликаго, въ оплечьи широкъ и весьма крѣпокъ и силенъ; никакой конь урваться отъ него не могъ... Волосомъ Князь Андрей Юрьичь былъ изсмоли черенъ и кудрявъ. Чело его высоко; по щекамъ румянъ, какъ бы съ морозу; носъ прямъ, немалъ и невеликъ; бровь черная, рисованная; очи велики и свѣтлы; говорилъ прямо и важно.» Вліяніе Татарскаго языка въ ходѣ нашего народнаго замѣчательно потому, что многія Татарскія слова, вошедъ во всеобщее употребленіе, не вытѣснили ни одного слова Русскаго, предоставивъ имъ высшее значеніе и благороднѣйшее употребленіе; большая часть изъ нихъ внесены въ языкъ со введеніемъ новыхъ вещей. То и другое нововведеніе словъ обогащало языкъ народный и отдѣляло его отъ церковнаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ не изкажало формъ и особенностей перваго; ибо языкъ Русскій былъ болѣе образованъ и болѣе устроенъ. — Татарскія слова вошли въ употребленіе только по дѣламъ житейскимъ и торговымъ сдѣлкамъ. Нѣкоторые историки нашей Литературы полагаютъ эпохою нашествіе Татаръ; но мы въ послѣдствіи увидимъ, что Литература ни сколько не измѣнилась въ эту политическую ужасную эпоху. Равно и послѣ освобожденія отъ рабства Татарскаго духъ и характеръ ея остался тотъ же самый; — но языкъ все мало по малу шелъ впередъ, особливо, когда возникла народная самостоятельность, и когда въ слѣдствіе того умножилось число писателей. Мы имѣемъ памятники словесности отъ временъ Іоанна Грознаго, междуцарствія и Михаила Ѳеодоровича, написанные языкомъ правильнымъ, чистымъ, сильнымъ, опредѣлительнымъ и цвѣтущимъ, языкомъ, показывающимъ удивительное богатство выраженій, какъ, напримѣръ, рѣчь Гермогена, о который мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Появленіе учепыхъ писателей было причиною самаго чу-

довищнаго засоренія языка иноязычными словами и выраженіями, которыя, уже не обогащали его, подобно словамъ и выраженіямъ Греческимъ и даже Татарскимъ, а вытѣсняли собою обороты Русскіе, родные: писатели, хвастаясь ученостію, пестрили свои произведенія словами Латинскими и Польскими; будучи же большею частію уроженцы Малороссійскіе, они употребляли Украинское нарѣчіе, изпорченное языками сосѣдними, а преимущественно Польскимъ; потомъ, когда уже начали писать питомцы Московской Академіи, то всякій изъ нихъ, кромѣ общихъ изкаженій языка, засорялъ его областными словами; наконецъ незнаніе точнаго различія между нарѣчіями Славянскимъ и народнымъ еще болѣе усиливало это странное смѣшеніе. — А потомъ водвореніе Петромъ Великимъ въ Россіи наукъ и искуствъ, преобразованіе правительственныхъ и судебныхъ мѣстъ и учрежденіе учебныхъ заведеній внесли въ нашъ языкъ много нужныхъ и ненужныхъ словъ и оборотовъ изъ иностранныхъ языковъ; выпишемъ нѣсколько строкъ изъ литературнаго разговора, сочиненнаго въ царствованіе Екатерины I: «Я бы, мои господа и древніе пріятели, за особенную честь имѣлъ продолженіе съ вами конверзаціи, дабы совсѣмъ вашу куріозиту удовольствовать; но понеже имѣю причину для управленія нѣкоторыхъ въ отечествѣ моемъ домашнихъ нуждъ поспѣшить, дабы могъ паки къ командѣ своей въ Россію возвратиться; того ради пріемлю отъ васъ прощеніе и прошу содержать меня въ добромъ своемъ напоминаніи, имѣть со мною въ Россію добрую корреспонденцію.» Ежели вспомнимъ, что при Дворѣ Имп. Анны, Итальянскій языкъ составлялъ особенное щегольство, который отъ Двора переходилъ уже и въ другія сословія, для выраженія тонкихъ вѣжливостей; то можемъ понять, почему часто люди разныхъ сословій не понимали другъ друга въ письменныхъ объясненіяхъ; можемъ понять, отъ чего

самые трудолюбивые и ученые писатели того времени, при довольно значительныхъ талантахъ, нынѣ кажутся намъ смѣшны и мало понятны. Но чѣмъ разительнѣе была замѣтна эта порча языка; тѣмъ отраднѣе встрѣтить писателя изъ тѣхъ временъ, который бы выражался языкомъ чистымъ и довольно правильнымъ, какъ, напримѣръ, писали люди неученые, но здравомыслящіе съ умомъ самостоятельнымъ; выпишемъ изъ *Меморіи* извѣстнаго *А. И. Вольинскаго:* «Посылать въ горы и другія мѣста для бобровъ и для барсовъ, чтобъ ихъ покупать молодыхъ и выбирать у нихъ ногти, также и зубы вытравливать спиртомъ витріольнымъ, или крѣпкою водкою; только беречь, чтобъ не мазать десны; и которые вылечатся, присылать въ Петебургъ; также присылать и прочихъ звѣрей, какъ оленей, такъ и другихъ родовъ, которые *курiозны.*»

Между неученными конечно были и другіе умные люди, которые не щеголяли испорченнымъ языкомъ; но иногда, противъ воли, поддавались этому искушенію, какъ и здѣсь на прим: *курiозны.* Явился *Ломоносовъ*, очистилъ языкъ Русскій; отдѣлилъ отъ него все иноязычное, чужое, обветшалое, грубое, низкое, невѣрное, частное и областное. Въ этомъ отношеніи послѣдователи сего великаго генія-преобразователя поняли его очень хорошо, и безпрестанно являлись писатели, которые продолжили начатое имъ. Ломоносовъ создалъ языкъ важный, давъ ему торжественность и періодическую правильность, часто доходящую до изліяества; *Богдановичъ*, *Фонъ-Визинъ* и князь *Долгорукій* придали ему легкость, живость, а иногда и свободное теченіе: —*Шишковъ*, съ своей школою, еще болѣе успѣлъ въ этомъ дѣлѣ. За нимъ непосредственно возникли двѣ новыя партіи, долго боровшіяся въ разработываніи языка: одна руководима и поддерживаема была сильнымъ та-

лантомъ, образовавшимся по Французскимъ писателямъ осемнадцатаго столѣтія, *Н. М. Карамзина*; другая—необыкновеннымъ трудолюбіемъ и основательнымъ умомъ, утвердившимся въ глубокомъ знаніи Славянскаго языка, *А. С. Шишкова;* первая, отличаясь тонкимъ вкусомъ, легкимъ, цвѣтущимъ выраженіемъ, часто впадала въ германизмы и галлицизмы; послѣдняя, превосходя ее силою и точностію выраженія, много проигрывала излишнимъ Славянизмомъ; одни вводили Французское, а другіе Латинское словотеченіе, забывъ, что Греческое словоустроиство совершенно сродно нашему языку—оно наше. Между ими выбралъ средину *И. И. Дмитріевъ*. Но языкъ Исторіи Государства Россійскаго примирилъ враждующихъ. Здѣсь мы видимъ его, хотя и въ одностороннемъ, но вѣрномъ своемъ развитіи. Наконецъ новѣйшіе писатели постигли, что весь нашъ книжный языкъ для немногихъ, и начали писать общепонятнымъ языкомъ: *И. А. Крыловъ* и *А. С. Пушкинъ* сдѣлали первые опыты въ этомъ, истинно полезномъ дѣлѣ, которое можетъ усвоить Литературу въ народѣ; а современные намъ романисты ревностно доканчиваютъ великое предпріятіе, разработывая областныя нарѣчія. Степень ихъ успѣховъ и ошибокъ надѣюсь опредѣлить въ послѣдствіи. Къ сожалѣнію, однако жъ, должно замѣтить, что многіе журнальные писатели пещадно терзаютъ нашъ языкъ введеніемъ словъ варварскихъ, которыя будто бы необходимы для разпространенія философическихъ знаній, и которыя на самомъ-то дѣлѣ вносятъ непроницаемую тьму и замедляютъ ходъ знаній, дѣлая ихъ неприступными для людей, незнакомыхъ съ этою обветшалою схоластическою терминологіею, которую они ломаютъ по Русскимъ формамъ. Напримѣръ, какія знанія могутъ внести въ общество, и кого не испугаютъ подобныя слова: «*гуманность* начинаетъ проявляться въ *индивидуальной субъективности*», или:

«противопоставьте *реальному обстрактивную идеальность*» и проч.?

ГЛАВА III.

РАЗДѢЛЕНІЕ ИСТОРІИ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПЕРІОДЫ.

Эпохи. Обозрѣвая ходъ ума и направленіе идей въ Россіи, видимъ, что: первопачально понятія естественныя, соотвѣтствующія обстоятельствамъ физическимъ, географическимъ и историческимъ, были господствующими знаніями; дѣла гражданскія не отдѣлялись отъ удовлетворенія наклонностямъ; дѣла вѣры сливались съ увеселеніями. Потомъ водвореніе Христіанской вѣры обратило умы внутрь самихъ себя; это отразилось и въ гражданской жизни народа; никакое внѣшнее стѣсненіе не могло измѣнить сего благочестиваго направленія духа; самыя грозныя потрясенія общественнаго благосостоянія, самые счастливые перевороты: ни безпрестанная борьба владѣтельныхъ домовъ, ни паденіе и возстаніе новыхъ княжествъ, ни самое лишеніе самостоятельности народной и возвращеніе ея, ни измѣненіе духа правительственнаго, не уничтожили борьбы Христіанства съ древнимъ язычествомъ, изъ коихъ первымъ одушевлялись сословія болѣе образованныя, а вторымъ простой народъ. Хотя Христіанское благочестіе укрѣпляло простой народъ во время бѣдствій; однако эта небесная сила никогда не была у него источникомъ творчества — пѣснопѣній и разсказовъ; въ этомъ отношеніи все еще господствовалъ въ немъ духъ язычества. А какъ онъ отъ времени ослабѣвалъ и — когда явились уче-

ные писатели,—давно уже лишился производящей творческой силы, такъ, что народъ только повторялъ большею частію старыя языческія пѣсни и разсказы, часто изкажая ихъ; то въ послѣдующемъ ходѣ Литературы должно принимать только ученую искуственную сторону ея до вторичнаго возрожденія народности. Послѣ того она принимала два различные характера, какъ въ отношеніи идей, такъ и въ отношеніи формъ: первый Кіево-академическій, въ которомъ преобладали учено-богословскія идеи и сбивчивая смѣшенность формъ; второй Ломоносовскій, въ которомъ господствовала классическая ученость.

Характеристика эпохъ.

Каждая изъ этихъ эпохъ имѣла вліяніе на всѣ стихіи словесности: до введенія Христіанства словесность выражала идеи чисто языческія языкомъ народнымъ, живымъ, различающимся по областямъ; сохранялись они изустно. Христіанство противопоставило новыя понятія о мірѣ духовномъ понятіямъ старымъ, чувственнымъ; ввело общій книжный языкъ, усвоившійся всѣмъ областямъ; а съ нимъ вошла и письменность, которая съ большею прочностію сохраняла произведенія слова. Съ появленіемъ ученыхъ писателей явились школьныя понятія, школьныя формы сочиненій и самыя выраженія; сохраненіе произведеній упрочилось книгопечатаніемъ. Ломоносовъ сблизилъ насъ съ идеями западной Европы и древняго міра, съ ученіемъ классическимъ; указалъ намъ языкъ книжносвѣтскій; далъ словесности изящныя формы. Новая школа обратила насъ къ самимъ себѣ, къ народности и современности.

Характеристика періодовъ.

Вотъ почему Исторія Русской Литературы, независимо отъ политическихъ эпохъ и гражданскихъ переворотовъ, должна быть раздѣлена, по свойству ея развитія, на четыре совершившихся періода, и пятый, продолжающійся теперь, который есть прямое слѣдствіе всѣхъ бывшихъ. *Первый* періодъ, объемля вѣка язы-

ческіе, выражаетъ первоначальныя впечатлѣнія, естественныя склонности, древне-языческія вѣрованія, миѳологическую жизнь и нравы народа богатырскихъ временъ; оканчивается онъ водвореніемъ Христіанскои вѣры; *второй*, начинаясь распространеніемъ Христіанства, продолжается до присоединенія Украйны къ Россіи, и выражаетъ двойственность направленія духа, смягченіе нравовъ отъ Христіанства, смѣшеніе вѣрованій, ихъ борьбу и торжество Христіанскихъ надъ языческими; *третій*, ограничиваясь появленіемъ ученыхъ писателей изъ Кіевской Академіи и успѣхами Ломоносова, выражаетъ паденіе простаго, естественнаго, безъискуственнаго благочестія въ Литературѣ подъ вліяніемъ искуственныхъ, школьныхъ тонкостей Богословскихъ и совершенное изнеможеніе народности; *четвертый*—оканчиваясь свободнымъ возрожденіемъ народности, отличается подражательностію и отсутствіемъ всякои особенности. Но эпоха, прекратившая этотъ періодъ, уже совершилась, и начало *пятому* періоду уже положено, которыи представляетъ странную смѣсь и борьбу самобытности народной съ разнородными подражаніями.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫІ

ЯЗЫЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Народныя пѣсни.

Нѣтъ сомнѣнія, что первыя сѣмена литературы народноі раждаются въ баснословныхъ вѣрованіяхъ, и что первыя произведенія народноі словесности составляютъ народныя *пѣсни*, и первѣйшія изъ нихъ *хороводныя*. Многіе писатели полагаютъ, что старинныя

наши пѣсни въ честь боговъ и богатырей, примѣненныя по большей части къ хороводнымъ играмъ, получили свое произхожденіе въ несчастныя времена Татарскаго господствованія. Карамзинъ говоритъ: «воображеніе, унывая подъ игомъ невѣрныхъ, любило обо«дряться воспоминаніемъ прошедшей славы отечества.» Но ежели воображеніе нашихъ предковъ *любило ободряться минувшей славой;* то неуже ли оно не воспламенялось славными подвигами современныхъ соотечественниковъ? — Народъ дѣйствующій, ознаменовывающій бытіе свое славными дѣлами, всегда любитъ ими гордиться;—а предковъ нашихъ, въ ознаменованіе этого свойства, Греки называли именно хвастунами (Ἀλαζονες). — Они имѣли своихъ пѣснотворцевъ, которые, воодушевляясь настоящей славой князей и богатырей, величали ихъ въ пѣсняхъ; минувшее обыкновенно, возбуждая воспоминанія, раждаетъ разсказъ, повѣсть, эпопею; и преимущественно это можно сказать о народахъ мало образованныхъ, слѣдующихъ внушеніямъ природы. И такъ всѣ хороводныя пѣсни, въ которыхъ упоминаются имена боговъ или богатырей, принадлежатъ временамъ языческимъ, баснословнымъ, богатырскимъ; разсказы объ Олегѣ и Ольгѣ, о Владиміровыхъ богатыряхъ и т. п. могли произойти послѣ; но вся Мѳологія, мѳологическія пѣсни и разсказы принадлежатъ этому до-историческому, такъ сказать, періоду. Конечно, наше баснословіе еще не объяснено археологами, не приведено въ систѣму поэтами; по-крайней-мѣрѣ не дошли до насъ творенія, опредѣляющія значеніе каждаго бога, ихъ отношенія къ міру и взаимно между собою; но народъ имѣлъ о каждомъ богѣ и божкѣ особое понятіе, приносилъ имъ, опредѣленныя обычаемъ, жертвы, представлялъ ихъ произхожденіе и разсказывалъ ихъ родословіе, и, вѣроятно были люди, которые умѣли оживлять эти разсказы цвѣтами Поэзіи.

Слѣды такой народной Поэзіи находимъ въ старинныхъ пѣсняхъ, въ темныхъ испорченныхъ народныхъ преданіяхъ, извѣстныхъ внутри Россіи, въ играхъ, отправляемыхъ въ честь *Коляды*, *Овсеня*, *Масляницы*, *Красныхъ Горокъ*, *Русалокъ*, *Купалы* и проч. Припоминовеніи покойниковъ много у насъ въ нѣкоторыхъ областяхъ совершается такихъ обрядовъ или обыкновеній, которыя произхожденіемъ своимъ одолжены языческимъ временамъ. Нѣкоторыя свадебныя пѣсни ясно говорятъ о своей современности первоначальному употребленію браковъ.

Отличительный признакъ нашихъ древнихъ пѣсень состоитъ въ томъ, что онѣ всегда начинаются уподобленіемъ или иносказаніемъ, и часто отрицательнымъ; наприм.: «Не огонь горитъ, не смола кипитъ; что кипитъ сердце молодецкое». Молодецъ обыкновенно уподобляется *орлу сизому*, *соколу ясному*, а дѣвица—*бѣлой лебедушкѣ* или *голубушкѣ;* въ похвалу молодцу говорятъ: *удалая голова;* а дѣвушкѣ: — *душа-красная дѣвица*. Непріятныя чувствованія и бѣды уподобляются грознымъ явленіямъ природы — *невзгодью*, а чувствованія сладостныя и счастіе – ясному дню. Многія особенности выраженія и доселѣ еще сохранились въ пѣсняхъ; между пѣснями преимущественно замѣчательны хороводныя.

Баснословіе. Здѣсь особенное вниманіе должно обратить на одно, весьма важное, явленіе въ нашей Исторіи, которое, вѣроятно, было причиною того, что до насъ не дошли преданія о родословіи боговъ: въ народѣ сохранилось до позднѣйшихъ временъ множество повѣрій, преданій и пѣсень о богахъ второстепенныхъ, о ихъ служебныхъ духахъ; но главные боги совсѣмъ забыты. Это могло произойдти: во-первыхъ — отъ жрецовъ, которые, содержа въ тайнѣ свойства сихъ послѣднихъ, народу позволяли обращаться непосредственно только къ малымъ богамъ—а тайны жрецовъ, начертанныя рунами, изчезли

для насъ; — во-вторыхъ — отъ запрещенія во время Христіанства чествовать преимущественно боговъ высшихъ; и наконецъ отъ того, что новые Христіане, не умѣя понять единство Божества, думали новою вѣрою замѣнить только главныхъ боговъ.—Понятіе о *Перунѣ*, какъ верховномъ божествѣ, равно и самое наименованіе его показываютъ, что грозныя явленія произвели первоначальное понятіе о божествѣ и о могуществѣ его; *Бѣль-Богъ* съ *Дажбогомъ*, и *Черно-Богъ* съ своими служебными силами, выражаютъ понятіе о двойственности враждебныхъ началъ, добраго и злаго; а независимость ихъ отъ Перуна даетъ частію понятіе о судьбѣ, хотя и не всемощной; соединеніе въ *Радегастѣ* бога гостепріимства, торговли и войны свидѣтельствуетъ о томъ, что Славяне не гнушались иноземцами, принимали ихъ, любили, угощали, имѣли торговыя или мѣновыя съ ними сношенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, вспомоществуемые тѣмъ же божествомъ, готовы были разить оскорбителей гостепріимства ихъ и правъ торговли. Впрочемъ, Миѳологія наша ждетъ полнаго систематическаго изложенія. Нельзя не упомянуть здѣсь объ одной новой теоріи объяснять нашу Миѳологію. Эта теорія утверждаетъ, что предки наши имѣли только семь боговъ. Основаніемъ системы семибожія толкователи ея принимаютъ извѣстіе Нестора; но они забываютъ, что преподобный Несторъ, разсказывая о постановленіи кумировъ Владиміромъ во время его язычества, вовсе не думалъ изчислять всѣхъ боговъ, которымъ молились наши предки, Славяне; а говоритъ только о тѣхъ, которымъ Владиміръ поставилъ или возобновилъ кумиры. А иначе зачѣмъ же онъ пропустилъ Волоса или Велеса, о которомъ упоминаетъ въ другомъ мѣстѣ, по другому поводу, даже не по своему желанію; потому что имя этого бога помѣщено въ клятвѣ Русскихъ о сохраненіи ихъ мирнаго договора съ Греками. А этотъ договоръ и клятву Несторъ пере-

водилъ съ Греческаго хронографа. Почему же мы, вопреки народнымъ сказаніямъ и чужеземнымъ лѣтописямъ, должны думать, что Славяне поклонялись только семи богамъ?—Ежели Несторъ пзчислялъ всѣхъ боговъ, то почему же пропущенъ Волосъ?—Ежели Владиміръ ставилъ кумиры всѣмъ богамъ, то зачѣмъ онъ обошелъ одного? Но если Владиміръ ставилъ кумиры только тѣмъ, которымъ вздумалось ему или которымъ нужно, казалось, и Несторъ говорилъ только о постановленіи кумировъ, не думая о количествѣ боговъ; то этимъ извѣстіемъ вовсе нельзя опредѣлять числа ихъ.

Преданія. Послѣ баснословія о богахъ, кажется, изъ сохранившихся преданій есть самое древнее—о Кіѣ, Щекѣ, Хоревѣ, о построеніи Кіева; есть еще одно важное преданіе о Новгородскомъ Князѣ—Христіанинѣ, совершившемъ походъ на Крымъ до пришествія Рюрика. Замѣчательна басня о Гостомысловомъ иносказательномъ снѣ, относительно произхожденія Рюрика: она, вѣроятно, есть произведеніе приверженцевъ пришельца-властителя, который долженъ былъ съ трудомъ удерживать власть, легко пріобрѣтенную; — здѣсь уже проявляется духъ народной философіи; но піитическая сторона сей сказки болѣе свойственна таинственной Скандинавіи. Наблюдательный умъ, разсматривая, принятые народомъ способы толковать сны, можетъ дѣлать очень вѣрныя умозаключенія о правахъ народа, о естественномъ остроуміи и обычной философіи его; то же можно сказать о снахъ, вымышленныхъ и внесенныхъ въ Исторію—историческихъ; ибо всѣ народные, самыя нелѣпые вымыслы, по содержанію и изложенію, въ идеѣ своей имѣютъ истинную сторону; и съ другой стороны, въ нихъ всегда обнаруживается господствующій духъ націи. — И такъ не только эти историческія басни, прямыя и иносказательныя, не только хороводныя пѣсни, но даже, такъ называемыя, причитанія, которыя обы-

кновенно при поминовеніи покойниковъ съ громкимъ, — истиннымъ или притворнымъ, — воплемъ протяжно и однотонно произносятся женщинами; и даже самыя изображенія боговъ: все это имѣетъ очевидное сходство, выражаемое полу-иносказательною формою; какъ наприм.: народныя пѣсни всегда начинаются или иносказаніемъ: «Что не ржавчинка во болотинкѣ «травку соѣдала. Не кручинушка добраго молодца со-«крушала...» — или постороннею мыслію: Катилося солнце красное посиню шатру небесному; ходила душа дѣвушка...» —И здѣсь уже видно, что мы не принадлежимъ ни Азіи, ни Европѣ!

Но ничто такъ не выражаетъ нашего духа, какъ пословицы и поговорки, которыя обыкновенно, въ минуту умственнаго затрудненія невольно изторгаются изъ души; и потому, рождаясь въ глубинѣ души, глубоко проникаютъ въ душу слушателя, и выражая родную истину, сродняются съ нашими чувствами; въ нихъ выливается вся народная философія и законовѣдѣніе. Многіе думаютъ, что нѣкоторыя пословицы и поговорки русскія совсѣмъ не имѣютъ смысла; но подобнымъ толкователямъ истинно народной мудрости надобно замѣтить, чтобъ они прислушались къ употребленію этихъ выраженій въ рѣчи смышленаго простолюдина. Конечно, нельзя рѣшительно опредѣлить, которыя изъ нихъ какому принадлежатъ вѣку; однако надобно думать, что большая часть ихъ выразилась въ тѣ времена, когда не было извѣстно Священное писаніе, и когда не было письменныхъ гражданскихъ законовъ; потому что всѣ онѣ выражаютъ или нравственныя или гражданскія правила. Въ тѣ *безза-конныя* времена народъ привыкъ рѣшать все мыслями умныхъ стариковъ, которые въ минуты сильной радости, горести, оскорбленія, удивленія или напряженія ума выражали свою мысль или догадку отрывисто, безъискуственно, но сильно, такъ, что эти выраженія врѣ-

Пословицы и поговорки

зывались въ память и передавались потомству. Безъ сомнѣнія, многія пословицы и поговорки, по мѣрѣ измѣненія языка, измѣняли форму выраженія; нѣкоторыя однако жъ носятъ слѣды глубокой древности, какъ въ мысли, такъ и въ выраженіи; наприм.: *погибоша, яко Обри — Умъ нажить, не городъ сгородить. — Обалую, какъ Грека. Съ чужаго коня среди грязи долой.—Правда старше старосты. — Какъ аукнется, такъ и откликнется*, и т. п.

Письменные памятники словесности.

Этотъ періодъ Литературы, какъ уже выше сказано, со стороны идей отличается язычествомъ и естественнымъ направленіемъ ума; а со стороны сообщенія и сохраненія произведеній—пзустностію. Впрочемъ, Исторія сохранила и письменные памятники Словесности, произведенные въ концѣ сего періода; это—договоры Великихъ Князей съ Византійскими Императорами. Какъ важны эти договоры для нашей Исторіи, еще доселѣ не разгадано; потомки наши будутъ изумлены нашимъ равнодушіемъ къ этому свѣтлому источнику историческихъ истинъ. — Отсюда, между прочимъ, знаемъ и о томъ, что въ Россіи уже принята была буквенная письменность. — Все содержаніе договоровъ составляетъ неотъемлемую часть Исторіи гражданской; а начала и заключенія ихъ, какъ выраженіе чувствованій въ клятвенномъ обѣщаніи о сохраненіи и выполненіи договора, подлежатъ нашему разбору. Изъ этихъ договоровъ видѣнъ въ Русскихъ духъ сильный, бодрый, алчущій дѣлъ и горящій славою; видно, что они допускали благородство въ врагахъ своихъ, даже побѣжденныхъ, вѣрили клятвамъ иновѣрцевъ: все это есть славное и вѣрное ручательство въ настоящей силѣ и въ будущемъ величіи народа. Въ отношеніи къ Литературѣ особенно замѣчателенъ договоръ Игоревъ, какъ потому, что здѣсь являются въ числѣ договаривающихся лицъ Русскіе Христіане и особенно Славянскіе Бояре

и полководцы, такъ и потому, что въ немъ мѣстами разбросано много поэзіи, да и самыя клятвы выражены полнѣе, разнообразнѣе и ближе къ характеру Русскому. Посланные обѣщаютъ вопреки ненавистнику добра и *враждолюбцу обновить ветхій миръ на всѣ лѣта, доколѣ сіяетъ солнце и стоитъ міръ. Да не дерзаютъ Русскіе, крещеные и некрещеные, нарушать союза съ Греками; или первыхъ да осудитъ Богъ Вседержитель на гибель вѣчную и временную, а вторые да не имутъ помощи отъ Бога Перуна; да не защитятся своими щитами; да падутъ отъ собственныхъ мечей, стрѣлъ и другаго оружія; да будутъ рабами въ сей вѣкъ и будущій!* — Такъ переложилъ это мѣсто договора Карамзинъ. Сіи не многія слова какъ много заключаютъ въ себѣ смысла! Они предполагаютъ вѣрованіе въ злое духовное *начало*, вѣчно враждующее противъ добра и человѣчества; они допускаютъ мысль о конечности міра, когда померкнетъ и солнца свѣтъ; они выражаютъ не только терпимость вѣръ, но и уваженіе къ святынѣ чуждой вѣры; показываютъ независимость вѣры Славянской отъ Скандинавской — ибо Перунъ призывается въ свидѣтели клятвъ, а не Оденъ; именуютъ роды оружій, употреблявшихся въ то время въ Россіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаютъ воинственную самоувѣренность народа; обличаютъ презрѣніе къ рабству; и наконецъ предполагаютъ вѣру въ безсмертіе души. И весь договоръ этотъ, болѣе нежели другіе, обнаруживаетъ глубокія соображенія, знаніе противника и собственныхъ средствъ удержать свое превосходство. Всякое выраженіе полно мысли здравой, сильной, свѣтлой и естественной, оживленной увѣренностію человѣка свободнаго, привыкшаго доказывать свое право мечемъ, мысли, согрѣтой огнемъ поэзіи роскошной, подобно Азійской чувственности, умно-задумчивой, какъ Европейская мечтательность. Договоръ Святослава, какъ выраженіе воли

властителя-героя, который силою непреклонной души своей приковалъ чувствованія подданныхъ къ собственнымъ желаніямъ, обнаруживаетъ только его духъ. А какъ этотъ сильный духъ есть истинный представитель современной ему Россіи, не столько по сознанію, сколько по внутренней силѣ; то мы должны обратить вниманіе на рѣчи Святослава, въ которыхъ душа его вылилась болѣе, нежели въ томъ договорѣ.

Рѣчи Святослава.

Представимъ себѣ властительнаго мужа, славолюбиваго воина, привыкшаго побѣждать сильныхъ враговъ, побѣждать только собственнымъ мужествомъ и увѣренностію воиновъ въ его непобѣдимости! Сей-то владыко-богатырь, встрѣтивъ неожиданно сильное сопротивленіе при завоеваніи новаго царства, при изполненіи любимой своей мечты, видитъ — или лучше, поставляетъ себя въ невозможность бѣжать, и окруженный огромными силами врага, воспламеняется жаромъ прежней славы и увѣренностію въ своихъ воиновъ, и призывая ихъ къ новой величайшей славѣ, говоритъ: «Уже «намъ некамо ся дѣти;волею и не волею стати противу; «да не посрамимъ земли Русскія, но ляжемъ костьми ту; «мертвыи бо срама не имутъ. Ащели побѣгнемъ, срамъ «имамъ. Не имамъ бѣжати, но станемъ крѣпко; язъ же «предъ вами пойду. Аще моя голова ляжетъ, то про«мышляйте о себѣ.» Сіи возвышенныя чувствованія, сіи великіе помыслы могли ль вмѣститься въ душѣ обыкновенной?—Могъ ли этотъ исполинъ духомъ обратиться съ этими словами къ робкимъ, бездушнымъ рабамъ? и могли ль они взволновать толпу равнодушныхъ къ славѣ и свободѣ, и заставить съ смѣлою увѣренностію возгласить: «идѣже глава твоя, ту и свои главы сложимъ!» Нѣтъ! здѣсь всякое слово свидѣтельствуетъ о душевной силѣ говорящаго и о привычкѣ слушателей внимать голосу, зовущему къ побѣдамъ. Другая рѣчь, произнесенная имъ въ обстоятельствахъ еще болѣе трудныхъ,

когда самые вожди его, привыкшіе преодолѣвать всѣ препятствія, презирать самыя ужаснѣйшія опасности, отчаявались, также достойна вниманія. Святославъ, видя, что мужественный и испытанный въ браняхъ Цимискій, воздвигъ противъ него всѣ силы Имперіи; видя, окруженный со всѣхъ сторонъ врагами, явными и тайными, что самые неустрашимые его сподвижники потеряли бодрость, и совѣтуютъ во время темной ночи, оставивъ станъ, бѣжать, взываетъ къ вождямъ и воинамъ своимъ: «Погибнетъ слава Русская, естьли устра«шимся смерти! пріятна ль жизнь, спасенная бѣгствомъ? «—Не будутъ ли презирать насъ тѣ сосѣди, которыхъ «доселѣ ужасало одно имя Русскихъ? Завоеватели мно«гихъ странъ и народовъ, мужество и непобѣдимость «мы наслѣдовали отъ предковъ нашихъ; и такъ или «побѣдимъ, или падемъ, подвизаясь славно за честь!» Рѣчь эта произвела чудо: она спасла и жизнь и честь не многихъ отважныхъ, которые, одушевясь ею, заставили побѣдителя, сильнаго и многочисленнаго, желать мира. Вотъ блестящіе опыты первопачальнаго нашего ораторства, опыты, на которые мы можемъ указывать съ народною гордостію: потому что они тѣсно сопряжены съ историческою славой нашихъ предковъ. Это не простыя строки, заключающія въ себѣ изображеніе мѣстъ, городовъ и зданій, или разсказъ, означающій годы и числа сраженій; это истинное *ораторство*,—лѣтопись души, въ которой отражаются чувствованія и помыслы давно минувшаго вѣка, давно истлѣвшихъ людей; въ этой рѣчи ихъ духъ, *ихъ подвиги предъ нами!*

Достовѣрность ихъ.

Многіе писатели, чтобы выказать свою смѣтливость, которая не допустила ихъ, на ряду съ прочими, впасть въ обманъ, стараются доказывать, что рѣчи эти вымышлены послѣ. Но напрасно они истощаютъ свое остроуміе на это сомнительное по своему успѣху — и совершенно—безполезное дѣло; потому что рѣшительно

доказать вымышленность сихъ рѣчей не возможно, тѣмъ болѣе, что онѣ точно выражаютъ характеръ Оратора-Полководца и обстоятельствъ; а могъ ли человѣкъ постороннiй, спокойно созерцающiй положенiе дѣлъ давно минувшихъ, проникнуться духомъ ихъ столь сильно, чтобъ оживить въ воспоминанiяхъ нашихъ героя съ его подвигами? — И притомъ, ежели допустимъ, что рѣчи эти вымышлены; то естественно родится самъ собою вопросъ: кѣмъ онѣ вымышлены? Несторомъ? — Но онъ, будучи всегда вѣренъ своему званiю, не имѣлъ причины придумывать рѣчи Святославу, изображая дѣйствiя другихъ Князей просто. Современниками сего Князя, увлеченными его славой?—Нѣтъ, этотъ вѣкъ простоты и безграмотности былъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобъ имѣть дерзость навязывать свои мысли и слова человѣку, слава котораго заставляла ихъ благоговѣть предъ нимъ; они могли украшать цвѣтами Поэзiи его подвиги, но не могли, не смѣли за него думать, чувствовать и говорить! Сверхъ того намъ нужно не имя сочинителя, а сила и значенiе словъ, сохранившихъ и донесшихъ до насъ мысли и чувствованiя, проявляющiя духъ вѣка. Ежели народъ изучилъ такъ хорошо душу героя, ежели охотно повторялъ въ разсказахъ внутреннiя движенiя души его; то тѣмъ болѣе мы обязаны изучать сiи благородныя движенiя народа.

Заключенiе. Этотъ перiодъ не имѣлъ сочинителей по званiю, по обязанности, по своекорыстнымъ видамъ, по мелочнымъ разсчетамъ и льстивой угодливости. Нѣтъ! только духъ народный, только генiй немногихъ любимцевъ природы, отражавшiй сводъ общихъ знанiй, помысловъ и чувствованiй, какъ гладкая зыбь озера отражаетъ всеобъемлющiй сводъ неба съ разбросанными по немъ мiрами, которые не могутъ ясно изображаться въ мелкихъ капляхъ, выражался въ словѣ для службы будущему человѣчеству. И эти–то естественные порывы

духа поучительнѣе для насъ, нежели томы, произведенные усиліями безталантности. И такъ изучимъ ихъ, и пожалѣемъ, что исчезли для насъ творенія Баяновъ.

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

ПРЕОБЛАДАНІЕ ХРИСТІАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДЪ ЯЗЫЧЕСКОЮ.

Идея Христіанства въ Россіи.

Знаніе внѣшней жизни Русскаго народа во времена вѣроизмѣненія требуетъ послѣдовательнаго изложенія всѣхъ событій, предшествовавшихъ и сопутствовавшихъ водворенію Христіанской вѣры въ Россіи; Исторія же Литературы, какъ выраженія жизни внутренней, должна показать, какъ сѣмя Христіанскихъ мнѣній брошено было на Русскую землю, какъ оно принялось и укоренялось на почвѣ Русскихъ нравовъ и языческихъ вѣрованій; какъ идея Христіанства медленно внѣдрялась въ умы немногихъ особъ, и какъ, наконецъ, утвердившись частію вытѣснила, частію подчинила своимъ законамъ самыя коренныя, первопачальныя идеи народа. Хотя это сѣмя давно уже пускало свои корни; ибо мы видѣли, что Христіане въ концѣ минувшаго періода уже находились при заключеніи договоровъ съ Государями сильными; но старыя мнѣнія и нравы столь еще, казалось, были тверды, что никто и не подозрѣвалъ скораго измѣненія ихъ. Вдругъ Божественная идея Христіанства проникла въ душу Владиміра, въ душу возвышенную, полную великихъ думъ, которая вмѣщала въ себѣ всѣ пороки и добродѣтели своего вѣка: и въ сей-то душѣ она возрастала и зрѣла,

съ одной стороны измѣняя и обновляя ее, а съ другой заимствуя отъ нея много чуждаго для себя, чувственнаго; и изъ сей-то души, вѣрной представительницы современнаго народа, она могла излиться въ духъ самаго народа столь тихо, столь успѣшно, столь быстро, что Исторія даже не примѣтила борьбы старыхъ вѣрованій съ новыми.

Разпространеніе ея.

Первые Христіане въ Россіи, принявшіе новую вѣру по внутреннему убѣжденію, занимались только собою и, по крайнему разумѣнію, исполненіемъ своихъ новыхъ обязанностей; самые обряды Богослуженія были слишкомъ ограничены; потому что недостатокъ книгъ церковныхъ и людей, знавшихъ многосложный церковный уставъ, заставлялъ ихъ довольствоваться, вѣроятно, чтеніемъ немногихъ молитвъ и пѣніемъ нѣсколькихъ общихъ стиховъ. При таковыхъ обстоятельствахъ мысль о Христіанствѣ была слишкомъ частна, и едва ли кто думалъ о всеобщемъ разпространеніи ея; впрочемъ, въ эти вѣка простоты и чувственности, при переимчивомъ, подражательномъ и способномъ къ разнороднымъ впечатлѣніямъ духѣ Русскихъ, рѣзкая противоположность Христіанскихъ обрядовъ Богослуженія съ языческими и величественныя формы первыхъ, сопровождаемыхъ глубокимъ чувствомъ набожнаго благоговѣнія молящихся Христіанъ, не могли не быть замѣчены очевидцами, не могли не оставить слѣдовъ въ сердцахъ ихъ. Такъ Христіанство начало укореняться въ Россіи; такъ оно проникло и въ пылкую душу Ольги, такъ оно озарило и умъ Владиміра, вѣроятно часто видавшаго, при дворѣ Бабки своей, величественное Богослуженіе Христіанъ; такъ Владиміръ, пресыщенный благами міра, увидѣвшій предѣлъ желанной имъ славы, оживлялъ въ воображеніи своемъ картины дѣтства, вспоминалъ блескъ свѣтлаго храма, стройное пѣніе и благоговѣйныя молитвы, возсылаемыя въ горняя съ таинственнымъ

для него страхомъ; — онъ жаждалъ все это узнать, изслѣдовать, и, пораженный *картиною страшнаго суда*, онъ изливаетъ свои чувствованія въ души людей близкихъ ему, всегда понимавшихъ его. А эти избранные, уже разположенные въ пользу предполагаемаго нововведенія сильною волею своего владыки, чувствованіями котораго они уже привыкли воспламеняться, когда увидѣли Богослуженіе Христіанъ въ великолѣпномъ — для нихъ неимовѣрно огромномъ — храмѣ Константинопольскомъ, совершаемое Патріархомъ съ такимъ блескомъ, съ такимъ величіемъ и съ такою красотою, при оглушающемъ звонѣ колоколовъ, каковыхъ они никогда и предполагать не могли; при стройномъ пѣніи хора, которое давало ихъ духу совершенно новую, доселѣ неизпытанную ими настроенность; то до такой степени были поражены всѣмъ видѣннымъ, что представленіе сего священнодѣйствія содѣлалось существенною потребностію ихъ душъ. А простая увѣренность этихъ новыхъ проповѣдниковъ Божественности вѣры, ихъ непритворный жаръ ревности къ тому ученію, котораго они еще недавно были чужды, безпредѣльная довѣрчивость народа въ безошибочности князя, который безпрестанно являлъ свидѣтельства великаго ума и доблести, сильно разположили духъ народа къ принятію новаго ученія о вѣрѣ; но народъ разумѣлъ и принималъ ее только со стороны обрядовъ.

Остатки язычества.

А какъ этотъ способъ утвержденія новой вѣры, сближая народъ съ новыми мнѣніями, не противупоставлялъ ихъ старымъ; то и облегчалъ и ускорялъ распространеніе Христіанства. Россіяне, принимая новую вѣру, долго не могли привыкнуть къ мысли о единствѣ Божества; потому они долго хотѣли замѣнять Св. Троицею только своихъ верховныхъ боговъ; и, молясь въ храмахъ Христа по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, отправляли празднества по извѣстнымъ днямъ и въ честь прежнихъ

боговъ, которыхъ они хотѣли почитать второстепенными, подчиняя имъ домашнихъ животныхъ, неодушевленныя вещи, имущество и самыя работы свои. Тѣмъ болѣе они старались удержать празднества и жертвоприношенія языческимъ богамъ, что все это сопряжено было съ различными играми и увеселеніями. Въ послѣдствіи языческія игрища были запрещаемы; тогда молодые люди, любя веселость, углублялись въ лѣса для отправленія игръ. И такъ у насъ борьба язычества съ Христіанствомъ началась далеко послѣ рѣшительнаго, всеобщаго водворенія Христіанской вѣры; продолжалась за существованіе народности, и состояла совсѣмъ не въ мнѣніяхъ, а въ томъ, что могутъ ли быть допущены языческія празднества, изъ коихъ многія уже смѣшались съ Христіанскими? Отъ того-то народъ нашъ во внутреннихъ областяхъ Государства удержалъ множество языческихъ обыкновеній; такъ что и въ самомъ набожномъ Христіанинѣ, при извѣстныхъ обычаяхъ, не трудно замѣтить еще нѣкоторыя черты язычества (*). Отъ запрещенія же пѣсень въ честь боговъ, и нынѣ многіе считаютъ грѣхомъ всякое свѣтское пѣніе.

Тройственное направленіе Литературы.

И такъ, въ началѣ этого періода, новыя мнѣнія не только не изтребляли старыхъ, но даже и мало измѣняли ихъ; такъ что у насъ явились двѣ совершенно разнородныя Литературы: — прибывшіе въ Россію изъ Греціи священники, славянскаго происхожденія, учредили здѣсь школы для наставленія новыхъ Христіанъ въ догматахъ вѣры и преимущественно для образованія Священнослужителей; эти-то люди, наставленные въ правилахъ Христіанскихъ и воодушевляемые благо-

(*) Вѣроятно, происки древнихъ жрецовъ, а въ послѣдствіи, такъ называемыхъ, колдуновъ имѣли въ томъ большое участіе; но объясненіе этого принадлежитъ Исторіи другаго рода.

честіемъ, создали у насъ новый родъ Литературы, въ которой они подражали Христіано-Греческимъ писателямъ; и дали нашей словесности Византійское направленіе. Эта отрасль Литературы, которую можно назвать *духовною*, въ продолженіе всего періода болѣе и болѣе утверждалась, теряя мало по малу все чуждое намъ; такъ что наконецъ можно было надѣяться, при возстановленіи самостоятельности народа, на совершенное сближеніе ея съ народнымъ духомъ. Это сближеніе было необходимо; потому что народность, простонравіе и поэзія жизни, тѣснимыя на ряду съ ложнымъ и вреднымъ, были почти совсѣмъ убиты, и требовали подпоры. Съ Христіанствомъ принята Русскими, какъ уже извѣстно, и письменность и древне-Славянскій языкъ; всѣ три эти обстоятельства составляютъ эпоху, и даютъ характеръ всему періоду, особенно въ отношеніи духовной Словесности; потому что она основывалась на Христіанскихъ идеяхъ, выражалась Славянскимъ языкомъ и сохранилась въ письменахъ. Но какъ внутренній духъ и сросшіяся съ нимъ вѣрованія все еще оставались въ народѣ, и какъ являлись геніи, не получившіе школьнаго образованія, и, обладаемые этимъ духомъ, пѣли свободно; то по временемъ раздавался голосъ прежней народности, прежняго пѣснопѣнія; правда, въ этихъ пѣсняхъ все еще не доставало изящнаго искуства; но, въ замѣнъ его, творчество и самобытность здѣсь были несравненно въ высшей степени, нежели въ духовныхъ произведеніяхъ. По мѣрѣ же преобладанія новаго духа, при убійственно тяжкихъ историческихъ обстоятельствахъ, творчество въ этой Литературѣ погасало; да и самыя произведенія съ теченіемъ времени теряли свою особенность; утрачивали цѣлость, и подвергались измѣненіямъ; потому что они почти всѣ были изустны по духу перваго періода, и съ ходомъ народнаго языка, принимали новѣйшія формы выраженія.

Были, между прочимъ, и такія произведенія Словесности, которыя, не смотря на Христіанскій духъ писателя, по своему предмету или по другимъ причинамъ, не могутъ быть причислены ни къ тому, ни къ другому разряду; таковы по большей части описательныя, повѣствовательныя и языко-учебныя сочиненія; они и форму имѣютъ всегда смѣшанную, такъ, что въ нихъ языкъ употреблялся народный съ большою примѣсью Славянскаго.

Начало духовной.

Можно принять рѣшительно за извѣстное, что первоначальные проповѣдники Христіанства въ Россіи мало по малу переводили церковно-служебныя книги на Славянскій, принятый въ Богослуженіи, языкъ. А какъ между новыми Христіанами могли возникать и конечно возникали многія недоумѣнія, относительно вѣроисповѣданія, могли случаться и часто случались отступленія въ пользу старой вѣры; то Священники и вѣроучители должны были прибѣгать къ объясненіямъ и поученіямъ. И это составляетъ начало духовной Словесности. Но изъ сихъ памятниковъ старины до насъ дошло слишкомъ мало. Кажется, утрата сихъ произведеній весьма естественна; народъ, еще недавно бывшій въ младенческой простотѣ и піитической безпечности, не могъ столь круто перейдти къ тому состоянію, въ которомъ человѣкъ любитъ глубокомысленныя размышленія о высокихъ нравственныхъ и религіозныхъ истинахъ;—духъ же Христіанства требуетъ возмужалости; требуетъ проповѣдничества, ораторства;—эти требованія тѣмъ сильнѣе обнаруживались тогда въ Россіи, что проповѣдники, прибывъ изъ царства отцвѣтшаго, руководились духомъ отечественнымъ — старческимъ, и сообщали его образованнымъ ими проповѣдникамъ Русскимъ. Вотъ почему у насъ этотъ періодъ начинается *поученіями* и *ораторствомъ*, которыми народъ еще не умѣлъ дорожить, и которыхъ не старался соблюдать; поученія и проповѣди сберегаемы были только учеными монахами.

Проповѣдники.

Въ этомъ родѣ сочиненій особенно заслуживаютъ наше вниманіе въ продолженіе этого періода слѣдующія духовныя произведенія, изъ которыхъ одни болѣе замѣчательны своею древностію, нежели внутреннимъ достоинствомъ, а другія, напротивъ, важностію мыслей, красотами современнаго языка и вліяніемъ или успѣхомъ своимъ:

1. Древнѣйшее изъ всѣхъ, дошедшихъ до насъ нравственно духовное сочиненіе есть: *Поученіе* къ *братіи*, *Луки*, Епископа Новгородскаго, современника Ярославу. Оно, кромѣ древности, замѣчательно тѣмъ, что обнаруживаетъ въ сочинителѣ нѣкоторыя черты духа, соотвѣтствующаго возрасту народа; въ немъ встрѣчаются мысли русско-языческія, которыя ясно свидѣтельствуютъ о Русскомъ произхожденіи сочинителя и о медленности измѣненія народныхъ нравовъ.

2. Въ противоположность ему встрѣчаемъ творенія *Никифора*, Митрополита Кіевскаго — Посланія ко Владиміру Мономаху: *1-е О раздѣленіи Восточной и Западной Церкви, 2-е О постѣ и воздержаніи чувствъ*. Эти произведенія носятъ на себѣ точный отпечатокъ Византійской Словесности, слѣды глубокой учености. Тамъ замѣчаемъ болѣе крайней простоты, а здѣсь школьной тонкости, изысканности.

3. Посланія, Поученія и Проповѣди *Кирилла*, Епископа Туровскаго, жившаго около половины двѣнадцатаго столѣтія, по многимъ отношеніямъ стоятъ выше всѣхъ памятниковъ нашей древней Словесности. — Ежели знаніе сердца человѣческаго и искуство трогать его составляютъ существенныя условія для нравоучителя и оратора: то Кириллъ можетъ съ честію носить эти два титла; потому что онъ обладалъ рѣдкимъ умѣньемъ дѣйствовать

вдругъ на сердце человѣка, на духъ гражданина и на помыслы Христіанина. Самое глубокомысліе его не имѣетъ школьной сухости; только въ способѣ выраженія замѣтна излишняя пышность, произшедшая отъ подражанія Византійскимъ писателямъ; а въ языкѣ являются признаки западнаго нарѣчія, обличающаго мѣсто рожденія и воспитанія сочинителя. Напримѣръ:

«О, блаженніи святители! Богонасажденнаго ви-«нограда добріи дѣлатели, отъ него же вселест-«ное искорените терніе, благоразуміе во вся чело-«вѣцы присадисте, и (олядѣвшую) заросшую грѣ-«хами землю сердецъ нашихъ Евангельскихъ сло-«весъ раломъ воздѣласте. Вы есте рѣки разум-«наго рая, напоившія міръ весь спасительнымъ «ученіемъ и грѣховную скверну струями вашего на-«казанія омывающе. О Богоблаженніи и преподоб-«ніи Святители! Чистіи сосуди, Божіе слово въ «себѣ носящіи, красныя обители, въ нихъ же «святая почиваетъ Троица, неувядаеміи цвѣти «райскаго сада, небеснаго винограда красныя лѣ-«торасли, благоплодныя древеса, паслаждающія «вѣрныхъ души и сердца, премудріи ловцы, міръ «весь благоразуміемъ объемше и полну церковную «мрежу къ Христови привлекосте. Самъ Іисусъ «Христосъ, яко финики доброплодны, въ мірскихъ «удоліяхъ избралъ вы есть, въ церквахъ дому «своего насадилъ.

Хотя рядъ Церковно-учителей и духовныхъ ораторовъ въ продолженіе этого періода довольно многочисленъ, и Исторія говоритъ о нихъ съ великою похвалою; но какъ сочиненія ихъ по большей части хранятся по библіотекамъ въ рукописяхъ, то мы и должны, по необходимости, оставить ихъ безъ замѣчаній.

Въ послѣдней половинѣ этого періода благочестіе Христіанское было обращено уже на утвержденіе добродѣтелей гражданскихъ и доблестей государственныхъ; по этому и ораторство, удерживая тотъ же благочестивый духъ, получило значеніе обширнѣе прежняго — религіозно-государственное; а въ западныхъ областяхъ, порабощенныхъ Поляками, ревность къ вѣроисповѣданію Грекороссійскому, терпѣвшему притѣсненіе отъ Католиковъ, дала ораторству свой характеръ, который обнаруживался защитою вѣры православной. Отъ того произведенія Словесности сдѣлались въ это время разнообразнѣе.

Измѣненіе характера проповѣдниковъ.

4. Забвеніе церковныхъ обязанностей Священно служителями заставило *Кирилла*, Митрополита Владимірскаго, созвать соборъ, на коемъ поставлены 12 *правилъ о церковныхъ дѣлахъ и исправленіи Духовенства*. При открытіи и закрытіи *Собора* Кириллъ произносилъ рѣчи, ознаменованныя необыкновенною силою краснорѣчія. Ораторъ съ особенною живостію, и съ пылкостію юноши изображаетъ бѣдствія Россіи, которыя приписывалъ Божію гнѣву за развращеніе нравовъ и забвеніе прародительскихъ обычаевъ и Христіанской простоты.

Духовно-политическіе ораторы.

5. Побѣда Димитрія Донскаго и, произшедшая отъ того, великая льгота для Русскаго народа произвели въ концѣ четырнадцатаго столѣтія *похвальное слово* Димитрію, написанное *Софроніемъ*, Священникомъ Рязанскимъ. Оно, кромѣ неоспоримой исторической важности, сохранило много такихъ мыслей, которыя всегда пребудутъ для насъ священны: здѣсь мы видимъ, какъ высоко цѣнили подвигъ Димитрія тѣ люди, которые, по мнѣнію многихъ историковъ, все еще были рабами Та-

таръ; здѣсь находимъ знанія и помыслы нашихъ предковъ о дѣлахъ государственныхъ; здѣсь мы знакомимся съ ихъ нравами и повѣрьями; напримѣръ, читая плачъ великой княгини въ этомъ словѣ, узнаемъ отношенія женъ къ мужьямъ; узнаемъ духъ народной плачевной поэзіи, слѣды которой и доселѣ еще сохранились въ поминовеніи покойниковъ. «Зайде свѣтъ отъ очію моею! «Гдѣ отходиши, сокровище живота моего? Почто «не промолвиши ко мнѣ, утроба моя, къ женѣ «своей? Цвѣте прекрасный! что рано увядаеши? «Виноградъ многоплодный! уже не подастъ плода «сердцу моему и сладости души моей! Чему, госпо- «дине мой милый, не воззриши на мя? Чему не обра- «тишися ко мнѣ на постели своей? Ужели мя еси «забылъ, мене, и дѣти свои? Чему имъ отвѣта не «даси? Кому ли мене приказываеши? Царю мой ми- «лый! Како пріиму тя? Како тя обойму? или како «ти послужю? Гдѣ, господине, честь и слава твоя? «Господинъ всей земли Русской былъ еси; нынѣ «мертвъ лежиши, ни кѣмъ же владѣеши! Многія «страны примирилъ еси; нынѣ же смертью по- «бѣжденъ.... Аще Богъ услышитъ молитву твою, «помолися о мнѣ, княгинѣ твоей: вкупѣ жихъ съ «тобою, да вкупѣ нынѣ и умру! Уность не отъиде «отъ насъ, а старость не постиже насъ... Крѣпко «еси, господине мой драгой, уснулъ... Звѣри зем- «ніи на ложе свое идутъ, а птица небесная ко «гнѣздомъ своимъ летятъ; ты же господине, отъ «дому своего некрасно отходиши. Кому уподоб- «люся? Како ся нареку? Вдова ли ся нареку?—Не «знаю азъ сего. Жена ли ся нареку! Отстала есмь «царя.—Старыя вдовы, потѣшайте мене; а младыя «вдовы, поплачте со мной! Вдовья бо бѣда горчае «всѣхъ... Великій мой Боже, Царь Царемъ! Заступ-

«никъ ми буди! Пречистая Богородице! не остави «мене во время печали моея!»

Въ продолженіе этого времени были и другіе замѣчательные учители церковные, какъ, напримѣръ, *Георгій Семивлакъ* или *Самвлакъ*, Кіевскій Митрополитъ, который (въ началѣ XV вѣка) написалъ много поученій для удержанія въ православіи Россійскихъ Христіанъ.

6. Робкая нерѣшимость Великаго Князя Іоанна III. противъ Хана Ахмата, воодушевила Пастыря церкви, *Вассіана*, Архіепископа Ростовскаго; онъ написалъ сильное, краснорѣчивое, пылающее любовію къ отечеству, *Посланіе* Государю, и потомъ при личной встрѣчѣ произнесъ предъ нимъ краткую, но истинно вдохновенную *рѣчь;*—Іоаннъ устыдился робости; Татары прогнаны, и освобожденная Россія перестала страшиться, долго ужасающаго ее, слова: *Татары!*—Сколько вспоминаній при одномъ поверхностномъ взглядѣ на эти произведенія геніевъ древности! Но какія глубокія тайны можетъ открыть изслѣдованіе и разборъ сихъ свидѣтелей нѣмой старины! Они разсказали бы намъ, что часто историческіе дѣйствователи, пріобрѣтшіе громкую славу, суть только пружины великихъ дѣлъ, приведенныя въ дѣйствіе мыслію, родившеюся въ головѣ человѣка, имя котораго дошло до насъ потому только, что оно скромно подписано подъ таящеюся въ пыли рукописью; разсказали бы намъ, что часто тѣ, которые несутъ проклятія вѣковъ, достойны благословеній, или покрайней-мѣрѣ, вздоха сожалѣнія! — Языкъ этихъ писателей смѣшенъ съ церковно-книжнымъ, но онъ и чище и ближе къ народному, нежели у Кирилла Туровскаго, который часто сбивается на западное нарѣчіе. Вотъ слова Вассіана: «Вся кровь падетъ

на тебя Христіанская, что выдалъ ихъ бѣжащь прочь, а бою съ Татары не поставилъ и небився съ ними; аще боишися смерти? Но вѣждь, яко не безсмертенъ еси; человѣкъ смертенъ; а безъ року смертнаго нѣту ни человѣка, ни птицы, ни звѣря. Дай сіи въ руку мою вои. Хотя азъ и старъ, но не пощажу себя, ниже отвращу лице противъ Татаръ.»

7. Смутныя и бѣдственныя для Россіи обстоятельства вывели на позорище Исторіи мужей сильныхъ духомъ; между ими особенно замѣчателенъ пастырь Церкви Гермогенъ, который, кромѣ извѣстнаго посланія окружнаго къ вождямъ и народу, произнесъ, по случаю коронованія Василія Ивановича Шуйскаго, *рѣчь*, исполненную истиннаго краснорѣчія. Рѣчь эта излилась изъ души полной помысловъ и думъ великихъ, обращенныхъ къ благодѣянію и славѣ отечества; она свидѣтельствуетъ, что духъ благочестія и геній гражданственности поняли другъ друга, что они уже, слившись почти во-едино, дружно дѣйствовали въ человѣчествѣ. Формы выраженія въ этой рѣчи совершенно соотвѣтствуютъ благородству и изяществу мыслей (*). Вотъ какъ Святитель заключаетъ рѣчь свою: «Да умножитъ Господь Богъ «лѣтъ царству твоему, и положитъ на главѣ твоей «царскій вѣнецъ отъ камени честнаго, и да«руетъ тебѣ долготу дни и въ вѣкъ вѣка, и въ «десницѣ твоей дастъ скипетръ царствія и поса«ждаетъ тебе на престолѣ правды, и ограждаетъ «тя нынѣ и въ предъ идущія лѣта живота твоего «всеоружествомъ Святаго Духа, и укрѣпитъ мыш-

(*) Разборъ этой рѣчи, написанный мною, былъ напечатанъ въ Сѣверной Пчелѣ 1832 года №№ 259 — 262.

«цу твою на вся видимыя и невидимыя враги, и «покорнтъ тебѣ вся варварскія языки, иже бранемъ «хотящія, и да вселитъ Господь въ сердцѣ твоемъ «божественный страхъ свой, еже къ послушнымъ «милостивое и къ повинующимся милосердое, и «соблюдетъ же тя Господь въ непорочнѣй истин- «нѣй Христіанстѣй вѣрѣ, и покажетъ тя опасна «хранителя святыя своея Соборныя Апостольскія «Церкви въ повелѣніяхъ, да судиши люди твоя «правдою и нищихъ твоихъ судомъ Божіимъ; да «возсіяетъ во днехъ твоихъ правда и множество «мира, да въ тихости твоей тихо и безмолвно «житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чисто- «тѣ; да здѣ добрѣ и благоугоднѣ поживеши и «наслѣдникъ будеши небеснаго царствія со всѣми «святыми и православными цари, нынѣ и въ без- «конечные вѣки. Аминь.»

8. Отступленіе многихъ Малороссіянъ и Литовцевъ отъ Грекороссійскаго исповѣданія, въ слѣдствіе гоненія, вызвало многихъ ревностныхъ поборниковъ православія; между ними особенно замѣчательны *Лаврентій Зизаній*, Протоіерей Корецкій, сочинитель Катихизиса (оглашенія или бесѣдословія), и Князь *Константинъ Константиновичъ Острожскій*. Оба они жили въ изходѣ шестнадцатаго вѣка и не щадили ничего для распространенія просвѣщенія; послѣдній учредилъ типографію для размноженія познаній и утвержденія православія; собственное его сочиненіе — *Окружное увѣщаніе ко всѣмъ Волынскимъ и Литовскимъ церквамъ* и проч., во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ уваженіе; болѣе же всего оно важно, какъ смѣлый памятникъ борьбы мнѣній.

9. Но *Петръ Могила*, Кіевскій Митрополитъ, далеко превзошелъ ихъ всѣхъ, какъ въ подвигахъ

просвѣщенія, такъ и въ борьбѣ благочестія; онъ преобразовалъ Кіевскую Академію; набралъ въ нее людей, благопріятствующихъ Русской вѣрѣ; подъ его руководствомъ переведены и сочинены многія по разнымъ частямъ книги; самъ онъ сочинилъ *краткій Катихизисъ;* написалъ многія стихотворенія силлабическимъ размѣромъ; но всѣ его сочиненія писаны Бѣлорусскимъ нарѣчіемъ. Онъ, заключая ходъ ораторства сего періода, уже предъизображаетъ будущій.

Лѣтописцы. Направленіе историческихъ писателей въ этомъ періодѣ было почти совершенно одинаково; такъ что произведенія этого рода въ продолженіе всего періода не представляютъ совсѣмъ никакого хода къ усовершенствованію, никакого измѣненія; и ежели найдется какая либо разность между сочинителями; то она произходила отъ разности умственныхъ силъ и отъ степени безпристрастія или пристрастія писателей, и очень, очень мало отъ измѣненія духа и общихъ идей.

Несторъ. 10. Образецъ всѣхъ этого рода сочиненій есть: *Лѣтописецъ Русскій или Временникъ, Нестора.* Ученый издатель Временника, Шлецеръ, говоритъ о первомъ нашемъ Лѣтописцѣ такъ: «Русскіе, слѣдуя его примѣру, «получили вкусъ къ чтенію и письму, и не теряли онаго «даже въ послѣдующіе смутные и дѣйствительно опять «въ варварство впавшіе вѣка.»—Вотъ точка, съ которой должно разсматривать это, истинно благодѣтельное для Исторіи нашей, литературное явленіе; ибо въ слѣдъ за нимъ идетъ непрерывный рядъ Лѣтописцевъ—продолжателей. Лѣтопись Нестора дѣйствительно составляетъ начальный источникъ нашей Исторіи; ибо древнѣе ея мы не знаемъ ни одной. Правда, есть причина думать, что Іоакимъ, первый Епископъ Новгородскій, цѣлымъ столѣтіемъ предупредилъ Нестора, что онъ собиралъ историческія извѣстія и составлялъ первую лѣто-

пись во время Владиміра Великаго; по мнѣнію Татищева, она была полнѣе *временника* Несторова. Но какъ эта лѣтопись утрачена, и списокъ ея, бывшій у Татищева, сгорѣлъ; то мы по необходимости должны почитать временникъ первымъ собраніемъ извѣстій о древней Руси. Слѣдовательно безъ Нестора вся древность Россіи была бы забыта; и можетъ быть, не скоро бы родилась мысль о сохраненіи сего священнаго для насъ достоянія — памяти о первобытной Россіи; но за нимъ являлись безпрерывно умные подражатели; и лѣтопись продолжали до позднѣйшихъ временъ. Несторъ далъ столь сильное движеніе историческому духу, что онъ въ послѣдствіи сдѣлался почти сильнѣе проповѣдническаго. Этотъ ученѣйшій своего времени монахъ увлекся, впрочемъ, современнымъ духомъ, и началъ свое сказаніе отъ потопныхъ временъ. Что жъ касается до событій близкихъ къ его вѣку, то онъ съ большею разборчивостію собиралъ извѣстія о нихъ; руководимый любовію къ отечеству, онъ умѣлъ, по возможности, сохранить безпристрастіе; знавъ хорошо Греческій языкъ, онъ пользовался Византійскими дѣписателями; имѣвъ товарищемъ монашествующаго старца *Яна*, человѣка съ умомъ наблюдательнымъ, и по долголѣтію своему, бывшаго свидѣтелемъ княженія Ярославова, употреблялъ въ пользу разсказы и совѣты его. Тонъ разсказа у него совершенно Библейскій: тотъ же взглядъ на предзнаменованія; таже простота выраженій, тѣ же повторенія, тотъ же языкъ. Всѣ продолжатели его старались сравняться съ нимъ; но не многіе успѣли приблизиться къ нему въ вѣрности содержанія и въ простодушіи изложенія. Несторъ довелъ свое повѣствованіе до 1111 года;—это, вѣроятно, время кончины его. Впрочемъ, нѣкоторые наши Историки думаютъ, что онъ остановился на 1096 году. Нынѣ нѣкоторые писатели обвиняютъ Нестора въ излишней нарядности слога,

заимствованной имъ отъ Византійскихъ Историковъ. Каченовскій и его послѣдователи усиливались поколебать его достовѣрность; но не успѣвъ сдѣлать невозможнаго, они успѣли только поколебать слѣпую довѣренность къ безошибочности Нестора, и тѣмъ принесли значительную пользу. Временникъ дошелъ до насъ во многихъ спискахъ, между которыми есть значительная разность; но который изъ нихъ лучше? — объ этомъ писатели не согласны.

Послѣдователи его.

11. Между продолжателями особенную извѣстность заслужили *Василій* Священникъ, описавшій междоусобіе Князей западной Россіи и ослѣпленіе Василька; — въ этомъ сказаніи весьма замѣчателенъ разговоръ сочинителя съ Васильком, несчастнымъ слѣпцемъ; — и *Симонъ*, Епископъ Суздальскій, который довелъ лѣтопись до 1226 года. Онъ, сверхъ того, написалъ двѣ книги жизнеописаній Святыхъ Отцевъ, извѣстныя подъ названіемъ *Кіевскаго Патерика*, и *Посланіе къ Поликарпу, Кіевскому* монаху, который, трудясь съ нимъ вмѣстѣ, сочинилъ третью книгу *Патерика*.

Завѣщаніе Владиміра Мономаха.

12. Хотя *Владиміръ Мономахъ* не былъ ни историкъ, ни лѣтописецъ, но его *поученіе* къ *дѣтямъ* содержитъ множество превосходнаго матеріала для Исторіи. Карамзинъ говоритъ: «безъ сего завѣщанія, столь умно «написаннаго, мы не знали бы всей прекрасной души «Владиміра...» Правда, предсмертное выраженіе думъ человѣка болѣе всего обнаруживаетъ его душу; но мы изъ этого завѣщанія узнаемъ не *одну прекрасную душу* Владиміра; мы узнаемъ прекрасный духъ древняго Русскаго правленія; его простоту патріархальную, образъ жизни Князей, образъ мыслей Русскихъ XII вѣка: вникните, напримѣръ, въ эти слова: «Путешествуя въ сво«ихъ областяхъ, не давайте жителей въ обиду княжес«кимъ отрокамъ; а гдѣ остановитесь, напойте, накормите «хозяина. Всего же болѣе чтите гостя, и знаменитаго

«и простаго, и купца и посла; если не можете одарить «его, то хотя брашномъ и питіемъ удовольствуйте; ибо «гости разпускаютъ въ чужихъ земляхъ и добрую и ху«дую объ насъ славу.—Привѣтствуйте всякаго человѣка, «когда идете мимо;—любите женъ своихъ, но не давайте «имъ надъ собою власти.—Все хорошее должно помнить; «чего не знаете, тому учитесь; ибо учиться никогда не«поздно. Отецъ мой, сидя дома, говорилъ пятью языка«ми: за это хвалятъ насъ чужестранцы.»—Это говоритъ умирающій Государь будущимъ властителямъ! Какое простое и поразительно истинное правоученіе! Какія высокія мысли, какія благородныя чувствованія родятся при сей рѣчи! и какая жатва для правописателя! И все это завѣщаніе преизполнено подобными мыслями.

Степенныя книги.

13. *Кипріанъ*, Митрополитъ Кіевскій, Сербскій уроженецъ, современникъ Димитрія Донскаго, обогатилъ нашу Литературу разнородными переводами и собственными сочиненіями; онъ заслуживаетъ уваженіе и какъ покровитель просвѣщенія и какъ ученый писатель, и какъ ораторъ, между прочимъ написавшій, за четыре дня до смерти, *прощальное Слово*, которое, по его завѣщанію, было произнесено надъ гробомъ его. Главная же его заслуга состоитъ въ томъ, что онъ положилъ начало *Степеннымъ книгамъ*, заключающимъ въ себѣ родословіе Князей, которое, безъ сомнѣнія, имѣетъ великую важность для Русской Исторіи. Въ Исторіи же Литературы этотъ историческій памятникъ достоинъ особеннаго вниманія потому, что въ немъ сохранились многія народныя преданія, мнѣнія о Князьяхъ и даже похвальныя Слова имъ. Недостатокъ единства въ образѣ мыслей, въ порядкѣ и въ языкѣ этого сочиненія свидѣтельствуетъ о томъ, что это есть сборникъ преданій письменныхъ и изустныхъ, составленный трудами многихъ людей;

и потомъ эти книги исправлены и продолжены до Іоанна Васильевича Грознаго, подъ надзоромъ знаменитаго оратора, при Дворѣ сего Царя, *Макарія*, Митрополита Московскаго. Макарій на собственномъ иждивеніи собралъ общество ученыхъ, и, кромѣ Степенныхъ книгъ, съ помощію этихъ людей составилъ *Четіи-Минеи* или житія Святыхъ, признанныхъ нашею Церковію.

Исторія Курбскаго.

14. Князь *Курбскій* другъ и сподвижникъ Іоанна Грознаго въ счастливые годы царствованія его, потомъ изгнанникъ и врагъ Царя и родины, изобразилъ рожденіе, воспитаніе и пятидесятилѣтнее царствованіе сего Государя. Это произведеніе, равно какъ и переписка Курбскаго съ Грознымъ, обнаруживаютъ высокій умъ и глубокую ученость сочинителя. Исторія Іоанна Васильевича, сочиненная Княземъ А. М. Курбскимъ, особенно тѣмъ замѣчательна: что дѣписатель очень хорошо изображаетъ переломъ характера, жизни и царствованія Іоанна. Слогъ Курбскаго обнаруживаетъ странное направленіе къ напыщенному выраженію, которое иногда такъ восокопарно, что трудно понимать его. Переписка Курбскаго съ Царемъ Іоанномъ В. написана тѣмъ же самымъ слогомъ, но она можетъ служить дополненіемъ и поясненіемъ его Исторіи. Мнѣнія о справедливости сказаній Курбскаго совершенно противоположны: одни вѣрятъ ему безусловно, другіе совершенно отвергаютъ все, что онъ повѣствуетъ объ Іоаннѣ; они приписываютъ это внушенію личной его враждѣ. Конечно Курбскій не могъ быть свободенъ отъ пристрастія, если бы даже онъ и не хотѣлъ быть пристрастнымъ; потому что Іоаннъ лишилъ его родины, друзей и самой славы, — и онъ охотно вѣрилъ всему худому объ немъ; но ежели мы вспомнимъ, что Курбскій писалъ свою исторію подъ старость, когда страсти умолкаютъ; ежели прочтемъ ихъ переписку, въ которой Грозный

вовсе не отказывается отъ своихъ злодѣйствъ: то невольно увѣримся во всемъ, что разсказываетъ Курбскій. (*) Послѣ того *Іовъ*, Патріархъ Россійскій, описалъ жизнь Царя Ѳеодора Іоанновича.

15. *Авраамій Палицинъ*, Келарь Троицкой Лавры, бывши однимъ изъ главнѣйшихъ дѣйствователей во время освобожденія Россіи отъ Поляковъ и внутреннихъ крамолъ и разпорядителемъ защиты Троицкаго Сергіева монастыря, весьма вѣрно и отчетисто изобразилъ эту ужасную годину.

16. Хронографъ *Сергѣя Кубасова* заключаетъ въ себѣ Всемірную Исторію; а въ концѣ кратко изображена Исторія *Славянскаго языка* и Русскаго народа, которая особенно отличается вѣрнымъ очертаніемъ характеровъ царей. Напримѣръ: «Царевичъ Ѳеодоръ, Царя Бориса отроча зѣло «чудно, благолѣпіемъ цвѣтущи, яко цвѣтъ дивной «на селѣ отъ Бога преукрашенъ, і яко кринъ «въ полѣ цвѣтущь; очи имѣя велики черны, лице «ему бѣло, млечною бѣлостію блистаяся; возрастомъ «средній, тѣломъ ізообиленъ; наученъ же отъ от- «ца своего книжному почитанію, во отвѣтехъ ди- «венъ и сладкорѣчивъ вельми, пустошное же и гни- «лое слово никогда же изоустъ его изхождаше, о «вѣре и о поученіи книжномъ со усердіемъ прилѣ- «жаше.»

17. *Никонъ*, Патріархъ Россійскій, снискавъ славную извѣстность въ гражданской и церковной Исторіи, успѣлъ прославить себя и въ Литературѣ: онъ былъ покровителемъ просвѣщенія, славнымъ ораторомъ, переводилъ многія историческія и гео-

(*) Произведеніе Князя Курбскаго, объясненное многими очень дѣльными и вѣрными примѣчаніями, недавно издано Академикомъ Устряловымъ.

графическія сочиненія, и составилъ сводъ всѣхъ извѣстныхъ въ то время Лѣтописей, слича ихъ съ Греческими Хронографами. Сей трудъ доведенъ до 1630 года, и извѣстенъ подъ названіемъ *Никонова Списка.*

Путешествія. 18. Къ этому роду Словесности могутъ принадлежать также нѣкоторыя описанія путешествій, которыя сообщаютъ намъ многія знанія о странахъ свѣта и о нравахъ народовъ тѣхъ вѣковъ: первое изъ нихъ — *Паломникъ или хожденіе Данінла Игумна,* относится къ началу XII столѣтія. Взглянемъ на смиренный образъ мыслей перваго нашего путешественника, или паломника, и на его способъ выраженія; вотъ какъ онъ начинаетъ описаніе своего *хожденія:* «Се азъ недостойный, Игуменъ «Данінлъ, худшій во всѣхъ мнисѣхъ, смиренъ сый грѣ- «хами многими, недоволенъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ, по- «нуженъ мыслію своею, нетерпѣніемъ своимъ, возхотѣхъ «видѣти св. градъ Іерусалимъ и землю обѣтованную и «мѣста святая; благодатію Божію съ миромъ дойдохъ, «и очима своима видѣхъ святая мѣста вся; обходихъ «всю ту землю обѣтованную, идѣже Христосъ Богъ «нашъ походи своими погами и многа чудеса показа по «мѣстомъ тѣмъ святымъ. То все видѣхъ очима своима «грѣшныма, и все показа ми Богъ видѣти. Братія и отци «и господіе мои! простите мя и не зазрите моему худо- «умію, и грубостію своею еже исписахъ о Іерусалимѣ «и о землѣ той святѣй, и о пути семъ святѣмъ, идѣже «ходихомъ путемъ симъ и написахомъ...» Второе путешествіе также ко святымъ мѣстамъ, совершенное въ концѣ XII вѣка Игуменьею, Княжною Полоцкою, Эвпраксіею. Третіе—путешествіе купца *Трифона Коробейкина* съ товарищами въ Ерусалимъ, Египетъ и къ Синайской горѣ въ 1583 году; и четвертое—записки *Аѳанасія Никитина* Тверскаго купца, бывшаго въ Индіи по торговымъ дѣламъ. Напрасно наши писатели укоряютъ

ихъ въ недостаткѣ наблюдательности; всякій вѣкъ имѣетъ свою наблюдательность; наши древніе путешественники, въ простотѣ сердецъ одобряя или охуждая видѣнное, этимъ самимъ сказали много о нравахъ своего отечества; по тому что они могли одобрять только то, что согласовались съ ихъ простодушными благочестивыми правами, и охуждали несогласное съ ихъ нравами. О языкѣ этихъ путешествій должно замѣтить, что первыя два описаны чисто церковно-Славянскимъ стилемъ; а послѣдніе обнаруживаютъ, только не совсѣмъ удачное, усиліе подражать церковно-книжному языку, который изпещренъ здѣсь народными словами, приведенными въ Славянскія формы.

Хотя въ началѣ этого періода древне-піитическое направленіе было весьма сильно; такъ что оно, сохраняя въ пѣсняхъ и сказкахъ народныя преданія, замѣняло Исторію; однако скоро лѣтопись, бывъ создана Несторомъ, сдѣлалась, какъ мы видѣли, почти господствующею отраслію Словесности. Вотъ почему народная поэзія здѣсь занимаетъ третіе мѣсто послѣ ораторства и Исторіи.

Народная поэзія.

И такъ остатки языческихъ вѣрованій и мнѣній долго были источникомъ творчества; и пѣсни въ честь боговъ раздавались на народныхъ празднествахъ. А какъ празднества эти мало по малу измѣнялись, принимали другой характеръ, и скоро превратились въ простыя игрища, иногда не въ чествованіе, а въ осмѣяніе боговъ; то и самыя пѣсни языческія сначала пріостановились, а потомъ мало по малу принимали и въ сердцѣ и въ устахъ народа другое значеніе, и сдѣлались просто знакомъ веселости. Но паденіе этого рода пѣснопѣній съ другой стороны умножило пѣсни и сказки богатырскія; ибо народъ, теряя миѳологію, вознаграждалъ это лишеніе историческою жизнію; и воображеніе прилѣплялось къ дѣйствительности, которая, — подъ вліяніемъ

фантазіи, стремящейся къ чудесности болѣе чувственной и земной, пластической, нежели Христіанская, дѣйствующая на разумъ и сердце совокупно, — принимала видъ грозной, величественной нелѣпости. Отсюда явились богатырскіе разсказы о временахъ Владиміра. Въ сказкахъ и пѣсняхъ сего времени высшій умъ и мудрость предоставляются людямъ облеченнымъ властію—Князьямъ или старцамъ; люди же, выходящіе изъ обыкновеннаго круга, мощные, рѣшали все силою внѣшнею, которая не выходила изъ законовъ естества, а превышая ихъ, доходила до чудовищнаго, нелѣпаго; они часто лишаемы были ума даже обыкновеннаго, часто руководились совѣтами людей дряхлыхъ, слабосильныхъ, иногда юродиво-мудрыхъ; здѣсь рокъ не имѣлъ власти, даже не имѣлъ мѣста; рѣдко, по старому духу, вмѣшивались вѣщіе колдуны; таковы сказки: объ *Ильѣ Муромцѣ и Калечищѣ прохожемъ*, *объ Алешѣ Поповичѣ и Добрынѣ Никитичѣ*, *о дурачкѣ Незнайкѣ*, и т. п. Здѣсь выражается уваженіе къ властямъ и простая имъ преданность; здѣсь мы видимъ что геніальные выскочки человѣчества трудятся, какъ работники, смѣло упираясь только на силы физическія, не смѣя сознавать въ себѣ силъ умственныхъ, потому что онѣ принадлежатъ опытной дряхлости и кроткому духу, который въ Христіанскомъ смиреніи кажется *нищимъ* (духомъ). Но вмѣсто того человѣкъ здѣсь не слѣпое орудіе судьбы и даже неба;—онъ дѣйствуетъ свободно самъ по себѣ, только подъ покровительствомъ горнихъ силъ — или земныхъ, но неестественныхъ. Здѣсь небесное только позволяетъ земному, и блюдетъ его; въ этомъ мы видимъ *Европейское — Западное;* а въ чувственномъ, въ чудовищной силѣ внѣшней—*Азіатское—Восточное;* въ самонадѣянной же простотѣ дѣйствій и жизни—нашу особенность Русскую. Вотъ признаки, по которымъ мы должны отличать внесенныя послѣ, чуждыя намъ, сказки, каковы,

Сказки богатырскія.

напримѣръ: о *Еруслань Лазаревичь*. о *Жаръ-птицѣ* и *сѣромъ Волкѣ*, о *золотой горѣ*, о *Бовѣ Королевичѣ* и т. п., въ которыхъ видны или Азіатская судьба, или Европейское рыцарство, или Византійское соединеніе того и другаго. Безъ сомнѣнія, эти свидѣтели старины много утратили, много измѣнились, а большая часть ихъ совсѣмъ потерялась, или приняла видъ новѣйшихъ произведеній. Въ послѣдующія времена народъ обратилъ свое творчество на предметы ближайшіе къ нему; потому произошли сказки другаго рода: о дурочкахъ, колдунахъ, колдуньяхъ, о Кіевскихъ вѣдьмахъ; и въ этихъ видны слѣды того же народнаго духа; но въ позднѣйшіе вѣка явились еще болѣе мелочныя сказочки, которыя дышатъ злою сатирою, обращенною противъ духовнаго и господскаго сословій. Во время татарщины и вообще во время бѣдствій Русскаго народа, простодушіе прежнихъ сказочныхъ дѣйствователей сдѣлалось недостаточнымъ прикрытіемъ ихъ духовнаго превозходства; и дѣйствователи новыхъ сказокъ принимали на себя видъ полныхъ дураковъ, которые, идя прямымъ путемъ жизни, всегда перехитривали умныхъ. Здѣсь часто замѣтна бываетъ грубая простота съ горькою желчною насмѣшливостію. И ежели мы вздумаемъ сличать всѣ три рода этихъ сказокъ и даже пѣсни богатырскія; то найдемъ во всѣхъ тѣ же самыя начала съ частными уклоненіями, произшедшими отъ вліянія частностей областныхъ, отъ характеровъ сочинителей и т. п.; послѣдніе, впрочемъ, рѣдко проглядываютъ изъ-подъ общаго народнаго духа. О языкѣ этихъ произведеній нужно сказать, что они утратили свое первоначальное выраженіе отъ изустнаго перехода чрезъ вѣка отдаленные; даже многія поговорки и пословицы, которыми Русскіе обыкновенно любятъ приправлять свои разсказы, вѣроятно были прибавляемы послѣ, по мѣрѣ сообразности съ обстоятельствами, и

замѣнили собою тѣ изъ первоначальныхъ поговорокъ, которыя почитались неумѣстными по обстоятельствамъ, или казались непонятными. Отъ того часто одна и та же сказка въ разныхъ странахъ Россіи, удержавъ тѣ же самыя идеи и начала, разсказывается различно.

Письменные памятники поэзіи.

Являлись однако, въ тѣ времена, и такія произведенія Поэзіи, которыя предполагаютъ въ своихъ творцахъ или ученое образованіе, или истинный творческій геній, который безъ ученія правилъ сознаетъ въ себѣ законы изящнаго, или безъ сознанія выполняетъ ихъ; сіи-то произведенія можно назвать *народными эпическими поэмами*. До насъ дошло изъ таковыхъ только двѣ историческія поэмы: *Слово о полку Игоря* и *Повѣсть о нашествіи Мамая*.

Слово о полку Игоря.

19. Когда отечество наше, раздираемое внутренними бранями, терпѣло и отъ внѣшнихъ враговъ, безспльныхъ, но вѣчно бодрствующихъ для грабительства и разхищенія пограничныхъ областей Россіи: тогда являлись и вѣрные поборники славы Русской. Таковъ былъ юный Игорь, удѣльный Князь Новгорода Сѣверскаго, въ началѣ XII столѣтія. — Онъ, пылая славолюбіемъ, хотѣлъ оживить вѣкъ багатырскій; собралъ подъ свои хоругви юныхъ удальцевъ-Князей съ ихъ дружинами, для изтребленія безпокойныхъ Половцевъ. Игорь проникъ во внутренность земель непріятельскихъ, и, увлеченный удачами и храбростію, попадается въ плѣнъ. Вотъ содержаніе поэмы неизвѣстнаго пѣвца, воодушевленнаго подвигами и несчастіемъ защитника отечества. По Польскимъ словамъ, попадающимся въ этой поэмѣ, критики ошибочно заключаютъ, что поэтъ былъ уроженецъ западной Россіи; впрочемъ, это обстоятельство для насъ не очень важно; мы должны изучать въ этомъ произведеніи силу и выразительность нашего древняго языка; а еще болѣе изучать подобныя мѣста: «*Они* (воины) *подъ звукомъ трубъ повиты, на щитахъ*

возлелѣяны, концемъ копья вскормлены.» — Какое ужасное изображеніе бѣдствій Россіи! — «*Веселіе поникло, тоска обуяла умы; когда сырая земля костьми была посѣяна и кровію полита; когда по всей Руси возрасла бѣда; тогда завяла права отъ горя, посохли дерева отъ печали. — Вмѣсто сноповъ слали головы, молотили цѣпами булатными, на токъ жизнь клали, и вѣяли души изъ тѣлъ. Тогда цѣлыя дружины сыновъ ея пріодѣты были крылами птицъ, и звѣри дубровные полизали кровь ихъ. Худо быть тѣлу безъ главы; пагубно быть народу безъ мудраго Князя.*» Что могло заставить поэта изображать столь отчаянно-горестныя картины? — На это можетъ отвѣчать Исторія. Отъ чего поэтъ употребляетъ столь роскошныя Азіатскія формы выраженія? — Нѣтъ, это не подражаніе, какъ многіе думали, библейскому слогу! Это языкъ огорченнаго, разстроганнаго поэта-генія; онъ высказалъ то, чего никакая подробная лѣтопись не скажетъ. И сколько поэзія похитила бы тайнъ у забвенія, ежели бы она на всѣ историческія событія обращала свой ясный проницательный взоръ! Сколько, слѣдовательно, время похитило у насъ мыслей глубокихъ, поглотивъ произведенія древнихъ поэтовъ! И самый пѣвецъ Игоря говоритъ о какомъ-то *Боянѣ, соловьѣ стараго времени*, который *сизымъ орломъ* носился надъ облаками, — *сѣрымъ волкомъ* по полю рыскалъ. Гдѣ творенія того, о комъ геніальный соперникъ такъ говоритъ? они изчезли; а можетъ быть, смиренно таятся рядомъ съ другими, заброшенными и забытыми, въ монастырскихъ архивахъ. Кажется, и изъ самой этой поэмы много утрачено; потому что въ ней недостаетъ цѣлости. Самыя лучшія мѣста въ ней по своей живописности и глубокости чувствованій: изображеніе войскъ Русскихъ, шествіе ихъ и плачъ Княгини Ярославны. Въ этихъ картинахъ предстоитъ предъ нами сама про-

стота нашей старины во всей наготѣ. Въ сей поэмѣ встрѣчаются имена языческихъ боговъ, и даже обращенія къ нимъ съ мольбами. Языкъ ея — народный, который отъ церковно-Славянскаго отличается и словами и грамматическими формами. Въ ней нѣтъ правильныхъ стиховъ; однако все словотеченіе ея подобно тоническому стопосложенію. Этотъ памятникъ нашей древней словесности открытъ знаменитымъ любителемъ Русской старины въ послѣднихъ годахъ XVIII столѣтія и напечатанъ въ 1800 году; разборомъ и переложеніемъ его на современный языкъ занимались Гр. Мусинъ-Пушкинъ, который открылъ ее, Малиновскій, Шишковъ, Пожарскій, Бантышъ-Каменскій и многіе другіе. Но въ послѣднее время *сомнѣній* нѣкоторые писатели эту поэму называютъ просто подложною поддѣлкою подъ Русскую старину; вѣроятность этого мнѣнія опровергается, во-первыхъ, почтеннымъ именемъ того, кто открылъ ее; во-вторыхъ, временемъ открытія, когда пристрастіе къ классицизму все народное ставило ниже Литературы, и слѣд., поддѣлки въ то время не стоили труда; въ-третьихъ, нѣкоторыми особенностями, которыя принадлежатъ времени, и которыхъ нельзя было поддѣлать.

Повѣсть о нашествіи Мамая.

20. Побѣда Дмитрія Іоанновича надъ Мамаемъ, грозившимъ совершенно уничтожить самобытность Россіи, возбудила геній Софронія, Священника Рязанскаго; и онъ написалъ *Исторію или повѣсть о нашествіи безбожнаго царя Мамая съ безчисленными Агаряны.* Судя по напечатаннымъ отрывкамъ изъ этого произведенія, и извѣстнымъ въ рукописи, можно полагать, что поэма эта составляетъ весьма важное явленіе въ Литературѣ нашей: она выражаетъ геніальныя черты своего творца; изображаетъ съ піитической стороны славную эпоху Россіи; свидѣтельствуетъ о чувствованіяхъ благодарныхъ Россіянъ къ тому, кто первый смѣ-

ло положилъ начало освобожденія Россіи, обнаруживъ ея силу и доказавъ побѣдимость Татаръ. Здѣсь одно, по видимому маловажное, обстоятельство очень важно въ семъ послѣднемъ отношеніи: сочинитель былъ житель Рязани, всегда враждовавшей съ Московскими Князьями; слѣдовательно не мелкіе разчеты и своекорыстные виды, ни даже, позволительное въ этомъ случаѣ, пристрастіе внушили пѣснь поэту; нѣтъ, это былъ голосъ истиннаго вдохновенія, внушеннаго любовію къ отечеству и истиннымъ чувствомъ благодарности, которыя руководили сочинителя и въ составленіи похвальнаго слова Донскому герою. Языкъ Софронія, какъ въ поэмѣ, такъ и въ похвальномъ словѣ Димитрію, несравненно чище и яснѣе нежели у пѣвца Игорева; способъ выраженія, при необыкновенной простотѣ, живой, цвѣтущій и роскошный. Здѣсь идеи и формы Русскія.—Многіе современные намъ писатели спрашиваютъ критиковъ: въ чемъ же состоитъ Русская народность?— Прислушайтесь къ этимъ древнимъ поэтамъ, всмотритесь въ ихъ форму выраженія, и вы найдете самый удовлетворительный отвѣтъ.

Письменныя сказки.

21. Къ этому періоду относятся найденныя Карамзинымъ три повѣсти или сказки: *Слово о пѣкоемъ купцѣ Басаргѣ*, *сказаніе о Дракулѣ и объ Акирѣ премудромъ*. Хотя нельзя сказать, чтобъ онѣ совсѣмъ не заслуживали вниманія; ибо и формы языка нашихъ предковъ много выскажутъ о ихъ духѣ; но смотря на эти памятники Словесности съ точки, на которую мы себя поставили при разсматриваніи сказокъ найдемъ, что въ нихъ мало чисто Русскаго, — ибо нѣтъ тѣхъ началъ, основныхъ идей, которыя отличаютъ все Русское отъ чужеземнаго. Впрочемъ, первая повѣсть, по содержанію своему и по нѣкоторымъ чертамъ разсказа, имѣетъ характеръ Славянскій или

Славяно-Христіанскій; и языкъ въ ней чище, правильнѣе и ближе къ народно-Русскому, нежели въ другихъ двухъ. Вторая, вѣроятно Византійскаго происхожденія, и переведена на Славяно-церковный языкъ. Но *слово* или *повѣсть объ Акирѣ премудромъ,* или *Синагрибъ, Царь Адоровъ,* какъ она названа въ примѣчаніяхъ къ Исторіи Гос. Р. Карамзина, есть чисто *Арабская сказка,* — а въ другихъ спискахъ царь именуется Сенеграфомъ, владѣтелемъ Алевицкимъ и Анозорскимъ.

Переводъ басень Эзопа.

22. Хотя Татарщина подавила въ Россіи начатки Греческаго просвѣщенія; однако все еще оставались нѣкоторые слѣды его; такъ, напримѣръ, въ исходѣ XIV или въ началѣ XV столѣтія переведена съ Греческаго на Славяно-Русскій языкъ поэма: *Міротвореніе,* написанная въ седьмомъ вѣкѣ. Но въ 1608 году *Ѳеодоръ Гозвинскій,* переводчикъ при посольскомъ приказѣ, перевелъ сто сорокъ шесть басень Эзопа. Переводчикъ написалъ свое предисловіе, которое можетъ служить для насъ драгоцѣннымъ памятникомъ языка и мыслей того времени: «Баснопосатель Эзопъ неукрашенъ образомъ; внимаяй же его обрящетъ съ разумомъ; плоть его сосудецъ аще и не зѣло честна, но душа, въ немъ живущая, умомъ украшена. И въ малой плоти многожды мудрость обрѣтается, велико же чрево мудрости не вмѣщаетъ. Прочитай, читателю, звѣрскихъ образовъ правы, обрящеши въ баснословіи явленна свои правы. Нравоучительная къ намъ сей бесѣдуетъ, и утѣшительная словеса всѣмъ даруетъ. Отъ Еллинскихъ книгъ преведена суть мною. Утѣшайтесь, любимиче честныи, вмѣстѣ со мною.»

Языкоученіе.

Наконецъ остается обозрѣть ученую Литературу сего періода. Скудость ея видна съ перваго взгляда по самымъ обстоятельствамъ того времени; ученыя сочине-

нія пишутся по большей части для извѣстнаго назначенія — для школъ; и такъ количество и степень совершенства школъ даетъ направленіе ученой Литературѣ, которая въ свою очередь дѣйствуетъ обратно на успѣхъ оныхъ (*). Но училища, учрежденныя въ Россіи Владиміромъ, были только первоначальныя и слишкомъ односторонніе: чтеніе, главныя правила вѣры Христіанской и, вѣроятно, Греческій языкъ были предметами ученія; все это не требовало составленія новыхъ руководствъ. И притомъ эти учрежденія, кажется, во времена несчастій и паденія Кіева уничтожены; да и самый Кіевъ слишкомъ скоро былъ отторгнутъ отъ Россіи. Ярославъ учредилъ въ Новгородѣ училище весьма значительное, и вѣроятно оно приносило предполагаемые плоды; но съ истребленіемъ плевелъ въ этой славной республикѣ, кажется, истреблена и пшеница; а Историки, описывая подробно обезображенные трупы и разбитыя латы, остававшіяся на полѣ сраженія, молчатъ о столь важныхъ обстоятельствахъ. Великія же предположенія Бориса не были приведены въ исполненіе. По тому во весь этотъ періодъ явились только двѣ учебныя книги, *Грамматики*, изъ коихъ одну — *Еллино-славянскую* — составили Львовскіе студенты, въ исходѣ шестнадцатаго столѣтія, а другую — *Славянскую* — въ началѣ семнадцатаго, написалъ Смотрицкій, монахъ Стародуховскаго монастыря. Оба эти опыты заслуживаютъ вниманіе нашихъ Грамматиковъ; терминологія ихъ почти вся удержана и доселѣ. Грамматика *Смотрицкаго* особенно замѣчательна въ отношеніи къ просодіи; при ней напечатаны разсужденія Максима Грека *о пользѣ Грамматики, Риторики и Фило-*

(*) Обозрѣніе школъ и ученой Литературы должно бы предшествовать всему; но въ семъ періодѣ онѣ слишкомъ маловажны, и потому занимаютъ послѣднее мѣсто.

софіи. Въ одно время съ студентами, Зизаній, извѣстный Богословъ, написалъ *Славянскую Азбуку* съ краткимъ *Славяно-Русскимъ Словаремъ и правилами стопосложенія;* а — Берында съ Смотрицкимъ составилъ обширный Лексиконъ *Славяно-Россійскій* съ объясненіемъ произхожденія именъ отъ Еврейскаго, Латинскаго и другихъ языковъ. Всѣ эти опыты для насъ очень важны, какъ начало успѣховъ языко-ученія; всѣ они по обстоятельствамъ пріуготовляли уже переворотъ въ ходѣ языка и Литературы.

Законодательство.

Примѣчаніе. Исторія Законодательства составляетъ особую отрасль знанія; и потому я не считаю нужнымъ здѣсь излагать духъ нашихъ старыхъ законовъ, тѣмъ болѣе, что и гражданская Исторія занимается изъясненіемъ ихъ: гдѣ есть общество, устройство, тамъ есть и законы; слѣдовательно и Россія всегда имѣла ихъ. Но до Ярослава законы не были приведены въ порядокъ; онъ первый привелъ ихъ въ извѣстность, подъ именемъ *Русской правды.* Названіе это должно обратить на себя вниманіе Историковъ законодательства. По мнѣнію нѣкоторыхъ нашихъ историческихъ критиковъ, Русская правда, заключая въ себѣ много Скандинавскаго, не совсѣмъ была сообразна духу народа; и при томъ въ послѣдующей за тѣмъ исторической жизни древней Россіи много было наносительнаго; потому эти законы мало по малу съ обстоятельствами измѣнялись. Они съ самаго начала были написаны языкомъ народнымъ; а съ измѣненіемъ сущности, измѣнялся и языкъ; отъ того вкрались въ Русскую правду Татарскія и другія чуждыя слова, чему много способствовали и переписчики и самые судьи, выражаясь, для большей легкости, языкомъ новѣйшимъ, современнымъ. Наконецъ эти законы пополнены и во многомъ измѣнены *Стоглавомъ* и *Судебникомъ* Іоанна Васильевича Грознаго. Первый, какъ собраніе

духовныхъ законовъ, написанъ языкомъ близкимъ къ Славянскому; а послѣдній, содержа гражданскіе законы, написанъ болѣе народнымъ языкомъ. Всѣ наши историки болѣе или менѣе объясняли Русскую правду; но подробнѣе и, кажется, правильнѣе всѣхъ было объясненіе — Татищева.

ПЕРІОДЪ ТРЕТІЙ.

УЧЕНО-БОГОСЛОВСКОЕ НАПРАВЛЕНІЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

Начало ученаго образованія въ Россіи.

Утомленная Самозванцами и безначаліемъ, Россія снова возстановила твердый образъ правленія; снова стала крѣпко во вратахъ востока и запада, грозно обозрѣвая отторгнутыя отъ нея области. Люди и народы едва успѣваютъ обезпечить себя, удалить опасности, и уже думаютъ о благосостояніи, благоденствіи; такъ и Россія, утвердивъ основаніе безопасности — правительство,—обратила вниманіе на главный источникъ благоденствія — просвѣщеніе: Государи и Патріархи ободряли и поощряли людей ученыхъ; и мужи любознательные, просвѣщенные ученіемъ, начинали стекаться въ обновленную Россію, ища въ ней спокойствія и обезпеченія въ трудахъ ученыхъ. Одинъ изъ таковыхъ иноземцевъ, подъ покровительствомъ Патріарха Филарета, Грекъ *Арсеній* Іеромонахъ основалъ при Патріаршемъ домѣ школу Греко-Латино-Славянскую еще въ концѣ минувшаго періода; по образцу этой школы въ послѣдствіи были устроены и другія школы при домахъ Архіерейскихъ и монастыряхъ. Между тѣмъ для

утвержденія средствъ къ разпространенію просвѣщенія въ Россіи возобновлена и увеличена старая, учрежденная въ царствованіе Грознаго типографія; сверхъ того основаны и другія типографіи Патріархомъ Никономъ и боярином Ртищевымъ. Этотъ же самый Ртищевъ учредилъ особое *братство или ученое общество*, которое имѣло цѣлію переводить съ Греческаго языка книги духовнаго содержанія; дѣятельнѣйшимъ членомъ общества былъ Епифаній Славяницкій, вызванный бояриномъ изъ Кіевопечерскаго Монастыря; онъ, кромѣ переводовъ, составилъ два лексикона и другія ученыя пособія. Всѣ эти благодѣтельныя обстоятельства, водворявшія у насъ просвѣщеніе, приготовляли переворотъ Литературы. Хотя ученые, переселявшіеся въ Россію, были по большей части Славяне, и даже изъ странъ отторгнутыхъ отъ Россіи; но бывъ долго въ чуждой зависимости, получивъ Латинское образованіе, направленное Католицизмомъ, жители этихъ областей приняли много чуждыхъ нравовъ, потеряли нравственную Русскую самобытность и утратили чистоту и особенность языка своего; потому что всѣ училища Бѣлорусскія и Малороссійскія находились подъ вліяніемъ Езуитовъ. Жажда къ просвѣщенію въ Россіи мало по малу увеличивалась; слѣдовательно располагала умы къ принятію знаній; а эта потребность духа заставляла призывать ученыхъ, — которые, видя въ Литвѣ и Малороссіи притѣсненія отъ Езуитовъ и Уніатовъ, и ласковый пріютъ въ Россіи, стремились сюда болѣе и болѣе. Наконецъ, въ половинѣ семнадцатаго вѣка, возвращеніе Малороссіи произвело рѣшительную причину, которая довершила переворотъ Литературы нашей; ибо съ тѣмъ вмѣстѣ Кіевская Академія и другія монастырскія училища перешли во владѣнія Россіи. Отсюда многіе ученые люди были вызваны въ Москву; они безпрестанно утверждали власть наукъ надъ умами; и просвѣщеніе, бывъ доселѣ исключительно

удѣломъ духовныхъ, начало распространяться и между свѣтскими людьми. Въ Москвѣ устроивались новыя школы — Академіи — по образцу Кіевской, учрежденной въ 1588 году и потомъ преобразованной Петромъ Могилою, еще подъ Польскимъ владычествомъ; многіе Архіереи при домахъ своихъ также заводили училища, въ которыхъ начальствовали и учили люди образовавшіеся въ Кіевской и Львовской Академіяхъ и въ училищахъ Польскихъ. Число школъ безпрестанно увеличивалось: въ царствованіе Петра Великаго учреждены народныя училища, духовныя Семинаріи и разнородныя военныя школы (Инженерная, Артиллерійская и Морская). Съ одной стороны во всѣхъ школахъ духовныхъ и свѣтскихъ нужны были руководства и ученыя пособія; и являлись люди, которые старались удовлетворять этимъ нуждамъ; съ другой стороны, многіе воспитанники, вышéдшіе изъ школъ, по естественному влеченію предавались занятіямъ Литературою. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ преподавали ученіе по большей части воспитанники духовныхъ Академій, гдѣ Латинскій языкъ былъ главнымъ средствомъ, а Богословіе цѣлію учености. Такимъ образомъ повсюду распространялся духъ Латино-Богословскаго образованія. Писатели хотѣли щеголять своими знаніями; духъ проповѣдничества все еще былъ господствующимъ въ Литературѣ нашей, но онъ принялъ совершенно другое направленіе: явились новыя идеи и облекались въ новыя формы. Въ минувшемъ періодѣ церковно-учители и проповѣдники писали въ видѣ посланій объ утвержденіи Христіанства въ Россіи, и потомъ въ тѣхъ же посланіяхъ о внѣшнихъ разколахъ, о противоборствіи Западной Церкви; руководствовались въ этихъ посланіяхъ, подобно Апостоламъ, простымъ духомъ благочестія, выражались чистымъ Славянскимъ языкомъ, употребляя иногда самые обыкновенные, разговорные

обороты и приводя примѣры библейскіе; — теперь проповѣдничество обращено на внутреннія расколы, на просвѣщеніе ума и часто на водвореніе и утвержденіе гражданскихъ добродѣтелей; проповѣди писали для произношенія въ храмахъ, предъ народомъ; слѣдовательно онѣ составляли точное ораторство — высшее развитіе слова; проповѣдники руководствовались школьными системами, подбирали мысли *по топическимъ мѣстамъ* и устроивали оныя по образцамъ Латинскимъ, выражаясь языкомъ смѣшаннымъ Славяно-Русско-Литовскимъ, приведеннымъ въ Латинскія формы, представляя часто примѣры и свидѣтельства изъ писателей ученыхъ, классическихъ, часто языческихъ поэтовъ и ораторовъ. И такъ этотъ родъ сочиненій въ настоящемъ періодѣ много выигралъ противъ прошедшаго, относительно идей, правильности общей формы и самаго значенія, но много потерялъ въ частныхъ формахъ, въ слогѣ, языкѣ и частныхъ примѣненіяхъ къ цѣлямъ, а слѣдовательно и въ дѣйствіи на слушателей. Тогда ораторъ, какъ старшій другъ, изливалъ предъ слушателемъ свою душу со всею откровенностію, говорилъ языкомъ освященнымъ, понятнымъ; теперь — какъ важный учитель, разсуждалъ по правиламъ выученнымъ, для слушателя недоступнымъ, выражался языкомъ для него чуждымъ, не всегда понятнымъ. Были однако же и такіе ораторы, которые, хотя вообще платили дань вѣку, и въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ растягивали свои рѣчи учеными доказательствами, но въ случаяхъ чрезвычайныхъ воспламенялись истиннымъ жаромъ краснорѣчія, и переливали свои чувствованія въ сердца слушателей.

Лазарь Барановичъ.

1. Между таковыми первое мѣсто, по времени, занимаетъ *Лазарь Барановичъ*, Архіепископъ Черниговскій и Новгородскій; онъ проповѣдничествовалъ еще до прибытія въ Москву; особенно же онъ прославилъ себя убѣжденіемъ Запорожцевъ къ покорности Царю Алексѣю

Михайловичу; жаль, что рѣчь, произнесенная на этотъ случай,—этотъ памятникъ политическаго краснорѣчія— не дошла до насъ. Онъ много писалъ на Польскомъ языкѣ въ защиту Православія; а для утвержденія въ немъ, притѣсняемыхъ подъ Польскимъ владычествомъ, Малороссіянъ говорилъ по церквамъ проповѣди, краснорѣчивыя и наставительныя. Нѣкоторыя поучительныя слова онъ посвятилъ Царю Алексѣю Михайловичу. Стихотворенія его въ честь и въ память сего Царя, сходствуютъ болѣе съ ораторствомъ, нежели съ Поэзіею; языкъ ихъ весьма близокъ къ Бѣлорусскому нарѣчію, каковымъ написаны всѣ, дошедшія до насъ, его проповѣди.

Игнатій.

2. Изъ современныхъ ему сочиненій другихъ писателей — ораторовъ особенное вниманіе заслуживаетъ *Голосъ* въ защиту Патріарха *Никона*, поданный *Игнатіемъ*, Борисоглѣбскимъ Архимандритомъ. Этотъ голосъ, какъ памятникъ судебнаго краснорѣчія, проявляетъ въ сочинителѣ смѣлый духъ оратора, сильную волю, способную владѣть помыслами слушателей, знаніе своего великаго призванія. Но не всегда слушатели желаютъ убѣжденія и дѣйствуютъ по убѣжденію. Достойно замѣчанія, какъ сочинитель, при твердой настойчивости, соблюдаетъ форму подчиненности и смиренія предъ Соборомъ первосвятителей и Царемъ. *Привѣтственныя рѣчи* этого сочинителя, напечатанныя въ древней Россійской Вивліоѳикѣ, также имѣютъ достоинства своего вѣка. Во всѣхъ его сочиненіяхъ одинъ недостатокъ — частое повтореніе мыслей.

Симеонъ Полоцкій.

3. Доселѣ священнослужители въ Великороссіи по церквамъ не говорили своихъ проповѣдей, а читали обыкновенно поученія Святыхъ Отцевъ, ихъ житія, или, съ Патріаршаго и соборнаго одобренія, прежденаписанныя проповѣди и поученія духовными особами; но *Симеонъ Ситіановичъ Полоцкій*, прибывшій съ

другими духовными особами изъ Бѣлоруссіи, послѣ возвращенія Кіева, Черниговa и Смоленска, первый началъ говорить проповѣди свои наизустъ, по благословенію Патріарха и утвержденію Царя. Это нововведеніе уже само по себѣ не могло быть не замѣчено современниками — не должно быть забыто и потомствомъ.— Оно имѣетъ непрерывный рядъ послѣдователей, которые пріобрѣли въ этомъ дѣлѣ славу; но часто новость и необыкновенность этихъ бесѣдъ соблазняли слушателей, въ слѣдствіе того онъ, между прочимъ, написалъ Поученіе о *благоговѣйномъ стояніи въ храмѣ Божіемъ*.... Его два собранія поученій подъ названіями: *Обѣдъ духовный* и *Вечеря духовная*, самымъ напменованіемъ показываютъ чувственность вѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ ученую изысканность его. — Всѣ творенія Симеона ясно свидѣтельствуютъ, что онъ имѣлъ сильный піитическій талантъ, порабощенный ученымъ насиліемъ и искуственнымъ назиданіемъ; и потому онѣ или сухи и холодны, или увлекательны только смѣлыми идеями и піитическими картинами, дѣйствующими на воображеніе, а не силою краснорѣчія, трогающаго сердце: усилія Полоцкаго писать чистымъ Русскимъ языкомъ вездѣ замѣтны; но они не были увѣнчаны успѣхомъ, отъ долговременной привычки къ нарѣчію родины.

Исправленіе церковныхъ книгъ.

Еще въ минувшемъ періодѣ — за полтараста лѣтъ предъ симъ — Великій Князь, Василій Іоанновичъ вызвалъ изъ Афонскаго Монастыря ученаго Іеромонаха, извѣстнаго въ нашей Исторіи, Максима Грека. Этотъ трудолюбивый и умный инокъ свѣрилъ съ Греческими подлинниками и исправилъ наши церковно-служебныя книги, съ помощію двухъ Русскихъ Монаховъ; но исправленія Максима скоро были оставлены безъ употребленія и забыты. Въ половинѣ семнадцатаго вѣка, просвѣщеннѣйшій въ свое время человѣкъ, Патріархъ Никонъ вспомнилъ объ этомъ дѣлѣ, и предпринялъ из-

правленіе всѣхъ церковныхъ книгъ. Онъ нашелъ себѣ ревностнаго и способнаго сотрудника въ Іеромонахѣ Арсеніи, котораго отправилъ въ Константинополь, Іерусалимъ и Александрію для собранія рукописей церковныхъ. Арсеній собралъ и привезъ до 500 рукописей Греческихъ, съ пособіемъ которыхъ они изправляли церковно-служебныя книги наши. Это многотрудное дѣло выполнено было добросовѣстно и умно. Между тѣмъ невѣжество и злопамѣренность, давно уже таившіеся, назвали это посягательствомъ на православіе вѣры, явно порицали это улучшеніе, и воздвигли разколы церкви.

Святой Димитрій.

4. Внутренніе разколы вѣры, плодъ грубаго невѣжества, произшедшія по поводу изправленія Библейскаго языка Патріархомъ *Никономъ* и другихъ улучшеній, сдѣланныхъ имъ, произвели многихъ защитниковъ истины; изъ нихъ славнѣе всѣхъ Св. *Димитрій* Ростовскій. Сей истинный Пастырь Церкви, силою своего краснорѣчія, разтворяемаго тихими, по увлекательными бесѣдами, былъ точно хранителемъ правовѣрія. Св. Димитрій — въ свѣтской жизни Данилъ Туптало — еще въ цвѣтущей юности, бывши Іеродіакономъ въ Кіевскомъ братскомъ монастырѣ, прославился высокимъ искуствомъ увлекательнаго краснорѣчія; и по настоянію Лазаря Барановича, отправленъ былъ въ Вильну для поддержанія православія противъ Уніатовъ; тамъ силою слова многихъ отпавшихъ снова возвратилъ въ нѣдра православной Церкви. Этимъ онъ возбудилъ противъ себя такое негодованіе Католиковъ и преданныхъ Уніи, что самая жизнь его была въ опасности. Когда же Димитрій возвратился въ Кіевъ, Митрополитъ поручилъ ему составленіе полной Четіи-Минеи; онъ занимался этимъ труднымъ дѣломъ двадцать лѣтъ, и составилъ двѣнадцать огромныхъ частей. Потомъ, когда онъ поставленъ на трудную паству въ санѣ Митропо-

лита Ростовскаго, въ самое гнѣздо раскольниковъ, онъ силою проповѣдей своихъ остановилъ разпространеніе раскола; и между прочимъ написалъ извѣстное сочиненіе подъ названіемъ: *Розыскъ о Брынскомъ расколѣ*, написанный Св. *Димитріемъ* для обличенія всѣхъ нелѣпостей Брынскаго раскола. Розыскъ отличается необыкновеннымъ безпристрастіемъ и естественностію логическихъ выводовъ, облеченныхъ въ смѣлую форму; *Поучительныя слова* его соединяютъ въ себѣ высокія истины и простоту изложенія, по коей они для всякаго доступны и понятны. Начало Библейской Исторіи *(Лѣтопись келейная)* и *Четіи-Минеи* не подлежатъ нашему суду. Языкъ его чисто Славянскій.

Стефанъ Яворскій.

5. Тѣ же самыя причины, разколы вѣры, побудили *Стефана Яворскаго*, знаменитаго оратора и ученаго своего времени, Митрополита Рязанскаго, написать книгу: *Камень Вѣры* и проч. Это твореніе Стефана изполнено высокихъ мыслей, ученыхъ соображеній, истиннаго убѣжденія. *Надгробное Слово* Боярину Шепну дало ему извѣстность, обратило на него вниманіе великаго Петра, и возвело его въ высокій санъ Митрополита, и потомъ правителя Россійской Церкви. Его проповѣди замѣчательны силою чувствованій и высокими мыслями; но какъ онъ часто прибѣгалъ къ ученымъ пособіямъ, къ ссылкамъ на древнихъ классическихъ писателей, и говорилъ изпорченнымъ языкомъ Славянскимъ; то для народа не всегда былъ убѣдителенъ, ибо не всегда былъ понятенъ.

Ѳеофанъ Прокоповичъ.

6. Всѣ писатели обыкновенно отдаютъ первенство предъ прочими ораторами этого періода *Ѳеофану Прокоповичу*. Кажется, это справедливое предпочтеніе произходитъ: во-первыхъ, отъ того, что сей Святитель, имѣя болѣе другихъ гибкости характера и современной свѣтской образованности, умѣлъ и въ дѣлахъ жизни и

въ поученіяхъ приспособляться къ обстоятельствамъ свѣта, сохраняя притомъ достоинство сана своего; во вторыхъ, онъ участвовалъ во всѣхъ дѣлахъ и преобразованіяхъ великаго Петра, споспѣшествуя ему словомъ церкви; въ третьихъ, его ученыя, литературныя и другія занятія столь многочисленны, столь разнообразны, что удивляли всѣхъ современниковъ и удивляютъ насъ доселѣ; въ четвертыхъ, рѣчи и проповѣди его всегда наполняемы бывали мыслями взятыми съ обстоятельствъ самыхъ близкихъ, слѣдовательно близки были къ сердцу; наконецъ его *надгробное Слово* Петру Великому также послужило основаніемъ этого предпочтенія предъ всѣми проповѣдниками. *Феофанъ*, бывъ повѣреннымъ Петра во всѣхъ его предначинаніяхъ и имѣвъ просвѣщенный умъ, понималъ его великія дѣла и намѣренія болѣе, нежели многіе другіе сотрудники; ясно видѣлъ всѣ затрудненія, которыя должно было преодолѣвать, и провидѣлъ плоды дѣлъ его; по тому талантъ сего Святителя, проникнутый геніемъ Царя, всегда воспламенялся жаромъ ревности къ просвѣщенію, когда онъ гналъ грубое невѣжество, упорное суевѣріе и слѣпотствующіе предразсудки. Когда же съ Петромъ вмѣстѣ умерли многіе его великіе помыслы; то ораторомъ овладѣла мысль грустная, тяжелая, подавляющая его душу: онъ, смотря на боготворимаго имъ Петра, по манію котораго непроходимыя тундры превращались въ грады, для котораго самый міръ былъ не совершенъ, и который уже обдумалъ и предначерталъ улучшеніе его, видитъ, что сей творецъ царства разрушенъ въ прахъ; видитъ и не вѣритъ, страшится вѣрить сему чуду, — и съ грустнымъ чувствомъ вопрошаетъ: *До чего мы дожили, о сынове Россійстіи? Что видимъ? — Что дѣлаемъ?...* И пораженный самъ своими вопросами, послѣ нѣкотораго молчанія, поражаетъ слушателей своихъ ужаснымъ отвѣтомъ: *Петра Великаго погребаемъ...*

Это простое и самое естественное начало *Слова*, излившагося изъ души потрясенной необыкновеннымъ событіемъ, уже ручается за трогательность продолженія его. И въ самомъ дѣлѣ, все это слово, произнесенное *Ѳеофаномъ Прокоповичемъ* надъ гробомъ Петра Великаго, выражаетъ господствующую мысль писателя—ученаго оратора. Вся жизнь, всѣ необъятные труды его были устремлены къ тому, чтобъ содѣйствовать Царю преобразователю въ просвѣщеніи Русскаго народа; для того онъ писалъ по части Богословія, Философіи, Исторіи, Правовѣдѣнія, Политики, Дидактики, Поэзіи, сочинялъ и говорилъ Проповѣди, похвальныя и надгробныя слова; —и теперь надъ гробомъ Великаго, хваля его дѣла, грустилъ, что онъ оставилъ Россію, не успѣвъ выполнить всѣхъ намѣреній, направленныхъ къ просвѣщенію ея; грустилъ, что самые сотрудники Петра оставленные не могутъ быть столько полезны для Россіи, какъ бы то могло быть подъ руководствомъ мощнаго генія; и въ этой грусти излилъ всю свою душу со всѣми ея благородными помыслами и желаніями, со всѣми обширными знаніями, со всею прозорливостію; и не смотря на преобладаніе чувствованія скорби, внѣшнія свойства слова были тѣ же самыя, которыя замѣтны во всѣхъ его словахъ и рѣчахъ: та же правильность въ общемъ разположеніи, то же удачное направленіе каждой части, каждаго выраженія къ общей цѣли;—такъ привыкъ онъ всегда согласовать свои дѣйствія и слова съ намѣреніемъ! Вотъ истинный ораторъ!—Вотъ на чемъ основаны успѣхи *Ѳеофана Прокоповича* предъ современниками! Прибавимъ къ тому счастливую наружность сильный, гибкій органъ, звучный голосъ, свободныя тѣлодвиженія, которыми онъ обладалъ въ высшей степени, какъ говоритъ преданіе, и искусное произношеніе, оживляемое чувствомъ. Онъ былъ во всемъ: въ Богословіи, въ Исторіи, въ Политикѣ, ораторъ—поборникъ

просвѣщенія, врагъ невѣжества, и представитель своего ораторскаго вѣка, получившаго такой характеръ отъ чрезмѣрной дѣятельности государственной; онъ затмилъ всѣхъ своихъ соперниковъ, между коими, кромѣ Яворскаго, особенно замѣчателенъ *Гавріилъ Бужинскій*, который, впрочемъ, былъ односторонніе и скуднѣе Прокоповича въ мысляхъ. Бужинскаго можно назвать народнымъ проповѣдникомъ въ противоположность Прокоповичу—придворному оратору; Бужинскій не только по мыслямъ, но и по языку былъ понятнѣе для народа, по тому что онъ писалъ чистымъ церковно-Славянскимъ парѣчіемъ безъ всякой примѣси Латинизма и Славянскихъ парѣчій. *Θеофана* можно упрекать въ пренебреженіи къ языку; онъ не заботился не только о красотахъ и легкости языка, но даже о чистотѣ и опредѣлительности его; выраженіе его зависѣло отъ случая. Гавріилъ Бужинскій.

Хотя направленіе всего этого періода было совершенно ученое, то есть: вся Литература была, какъ слѣдствіе учености, искуственная; писатели, полагаясь на ученость, часто безъ таланта, пускались на литературное поприще; хотя во многихъ родахъ знаній являлись писатели, которые положили довольно прочныя основанія своимъ наукамъ; однако языкоученіе ничего не пріобрѣло въ это время; да и очень мало заботились объ этой отрасли знаній. Въ самую эпоху, начавшую этотъ періодъ, ученое общество, не задолго предъ тѣмъ составленное Боярином Ртищевымъ, занималось переводомъ на Славянскій языкъ многихъ Византійскихъ духовныхъ и ученыхъ писателей. Нѣкто *Епифаній Славяницкій*, Іеромонахъ, членъ этого общества и учитель Патріаршей школы, кромѣ участія въ общемъ трудѣ, составилъ *полный Лексиконъ Греко-Славяно-Латинскій*, и *Филологическій* Лексиконъ, для объясненія темныхъ выраженій Священнаго писанія. Потомъ, въ началѣ осмнадца- Языкоученіе.

таго столѣтія составленъ Лексиконъ *Славяно-Греко-Латинскій*, и *сокращенія Славянская Грамматика* Смотрицкаго *Поликарповымъ;* послѣ того написана также *Славянская Грамматика* Іподіакономъ *Максимовымъ;* наконецъ *Тредьяковскій* написалъ: *Разговоръ между иностраннымъ человѣкомъ и Россійскимъ объ ортографіи старинной и новой и о всемъ, что принадлежитъ къ сей матеріи, способъ Россійскаго стихосложенія*, и сочинилъ *Разсужденіе о древнемъ, среднемъ* и *новомъ Россійскомъ стихосложеніи*. Слѣдовательно Русскіе все еще не имѣли Грамматики; и до Тредьяковскаго никто даже не обращалъ вниманія на самый языкъ Русскій; всякій писалъ, какъ могъ и какъ хотѣлъ, или лучше, какъ случилось, не думая ни о правильности, ни о чистотѣ и опредѣлительности языка, и мѣшая Латинскіе, Польскіе и Славянскіе обороты съ Русскими разныхъ парѣчій. Тредьяковскій же хотя и предлагалъ много очень дѣльныхъ правилъ относительно правописанія и особенно о стихосложеніи; но какъ эти правила были изложены отдѣльно, безъ системы, не въ наукѣ; и какъ самъ онъ не имѣлъ не только творческаго генія, но и увлекательнаго таланта; — онъ былъ только трудолюбивый ученый работникъ литературный; — то и голосъ его не былъ услышанъ; ибо образцы его стихотворства не имѣли, да и не могли имѣть ни подражателей, ни послѣдователей. А остальныя части Грамматики были упущены изъ виду и этимъ трудолюбивымъ писателемъ; и произволомъ, небрежностію и незнаніемъ писателей безпрестанно искажались въ употребленіи языка.

Историческіе писатели.

Лѣтопись начала въ это время принимать видъ Исторіи. — Конечно Исторія не можетъ быть слѣдствіемъ одной только учености, не можетъ явиться тамъ, гдѣ нѣтъ образованія и просвѣщенія; она предполагаетъ критическій сводъ знаній; но въ тѣ времена она вездѣ еще

не отличалась отъ свода Лѣтописей; а потому напрасно мы будемъ выскательны къ Историкамъ того вѣка; они правы уже, ежели умышленно не вводили насъ въ заблужденіе. Географическія познанія о Россіи доселѣ ограничивались только картою, составленною при Борисѣ; а теперь явилась самая Географія въ видѣ связнаго описанія. Первая мысль собрать лѣтописи въ одинъ общій сводъ, какъ мы видѣли въ прошедшемъ періодѣ, принадлежитъ Патріарху Никону, который во многихъ отношеніяхъ составляетъ переходъ отъ одного періода къ другому и принадлежитъ обоимъ.

7. *Иннокентій Гизель*, Кіевопечерскій Архимандритъ, бывъ во всю жизнь свою насадителемъ просвѣщенія, и въ качествѣ ректора Кіевскихъ училищъ, чувствуя недостатокъ въ руководствахъ, составилъ краткую Исторію Россіи до Царя *Θеодора Алексѣевича*. подъ названіемъ *синопсисъ*.... Въ этой книгѣ конечно нѣтъ ни малѣйшаго критическаго разсмотрѣнія произшествій; она начата съ Мосоха, внука *Ноя*, и событіямъ необычайнымъ, неестественнымъ всегда давала предпочтеніе предъ естественными; — однако она долго служила руководствомъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ; — она написана языкомъ Славянскимъ съ нѣкоторою примѣсью другихъ нарѣчій; способъ изложенія въ ней библейскій.

8. *Ядро Россійской Исторіи отъ древнѣйшихъ временъ до Петра Великаго* написано *Княземъ Хилковымъ*, который, бывъ посланникомъ Петра Великаго при Шведскомъ Дворѣ, внезапно заключенъ въ крѣпость. Сидя въ заключеніи, и въ неволѣ тоскуя о судьбѣ отечества своего, хотѣлъ быть полезнымъ ему, чѣмъ могъ по своимъ силамъ, и сочинилъ эту Исторію. Самыя обстоятельства показываютъ, что произведеніе Хилкова не можетъ имѣть много достоинствъ; сочинитель былъ лишенъ возможности пользоваться источниками, до-

ставляющими матеріалы Исторіи; онъ писалъ съ помощію только своей памяти; и притомъ разсказъ его, по духу того времени, былъ невольно, неумышленно пристрастенъ. Исторія Литературы должна однако помнить это произведеніе какъ потому, что оно долго служило руководствомъ въ школахъ, такъ и потому, что оно свидѣтельствуетъ о распространеніи любви къ знаніямъ и въ высшемъ званіи людей. Языкъ *Ядра Россійской Исторіи* имѣетъ всѣ недостатки своего вѣка.

9. Но далѣе всѣхъ подвинулъ Исторію въ этомъ періодѣ *Татищевъ*. Трудолюбивый, ученый мужъ, проходя съ честію разные роды службъ, усердно занимался науками; онъ былъ приглашенъ Графомъ Брюсомъ къ составленію *полной Россійской Географіи*. Занимаясь съ Брюсомъ столь многотруднымъ дѣломъ, Татищевъ видѣлъ, что его нельзя выполнить съ успѣхомъ безъ пособія Исторіи; — отсюда родилась у него мысль разработать историческіе матеріалы; для того онъ ѣздилъ по монастырямъ, собиралъ Лѣтописи, прислушивался къ народнымъ преданіямъ, и, въ продолженіе тридцати лѣтъ, составилъ *Исторію Россійскую отъ самыхъ древнѣйшихъ временъ*. И довелъ ее до междуцарствія; но окончаніе ея не напечатано; — а напечатанныя четыре части этой Исторіи оканчиваются 1462, т. е. смертію Василія Темнаго. Къ чести сочинителя надобно замѣтить, что извѣстный ученостію Россійскій Историографъ Миллеръ, издавая трудъ его по самому неисправному, испорченному списку, признавалъ въ немъ много достоинствъ; самый Шлецеръ, отвергая повѣствованіе о Скноахъ и Сарматахъ и не признавая Іоакимовой Лѣтописи, удостоилъ Исторію Татищева большихъ похвалъ. Конечно по нашему образу мыслей, это не Исторія, а сводъ Лѣтописей; но для вѣрности сужденія о произведеніяхъ Словесности въ Исторіи ея

должно принимать въ уваженіе обстоятельства сочинителя: въ наше время всѣ спѣшатъ на помощь Историкамъ, открывая имъ архивы и книгохранилища; а тогда подробная Исторія почиталась государственною тайной; Историкъ долженъ былъ преодолѣть общіе предразсудки, невѣжество, злоумышленное своекорыстіе, которое не упускало случая обманывать его подложными матеріалами. И потому въ уваженіе столь трудной борьбы, въ уваженіе того, что Татищевъ первый старался освѣтить критикою матеріалы нашей Исторія, въ уваженіе того, что современные ему историки другихъ Государствъ, имѣвшихъ уже притязаніе на образованность и ученость, не далеко ушли отъ него въ очищеніи исторической истины, и выигрываютъ передъ нимъ только красотою формъ исторіи, хотя они шли уже по проложеннымъ путямъ, а нашъ Историкъ первый прокладывалъ дорогу; — въ уваженіе всего этого должно почтить память сего трудолюбиваго и просвѣщеннаго человѣка. Карамзинъ упрекаетъ его въ умышленномъ обманѣ Іоакимовою Лѣтописью; но Татищевъ писалъ не для прибыли, даже не для того, чтобъ удивлять современниковъ; онъ зналъ, что его Исторія долго будетъ скрываема, какъ тайна; — слѣдовательно, трудясь для себя, въ угодность внутреннему побужденію, могъ ли онъ выдумывать лѣтописи, обманывать самаго себя? Любовь его къ отечественной Исторіи есть лучшее опроверженіе такого обвиненія. — Онъ, кромѣ *Географіи* и *Исторіи*, составилъ *Атласъ* Сибири; *Лексиконъ Россійскій Историческій*, *Политическій* и *Гражданскій* довелъ до буквы *Л;* объяснялъ *Русскую правду* и *Судебникъ;* собралъ множество матеріала для этихъ предметовъ; но, къ сожалѣнію, почти все это истреблено пожаромъ и даже подлинная рукопись Исторіи. Онъ для отечественной Исторіи не щадилъ ни трудовъ, ни имущества, и заслуживаетъ наше уваженіе.

Кошихинъ.

10. *Кошихинъ* не былъ и не хотѣлъ быть историкомъ; но его записки о Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича содержатъ въ себѣ драгоцѣнный матеріалъ для Исторіи того времени. Какъ Русскій, онъ зналъ для самого себя всѣ повѣрья и обычаи своего отечества; какъ служившій въ *посольскомъ приказѣ*, онъ видѣлъ дворъ и отношенія его къ иностраннымъ дворамъ; какъ умный человѣкъ, онъ понималъ все это очень ясно; какъ переселенецъ и житель Стокгольма, онъ могъ сравнительно видѣть и понимать Русскіе обычаи, повѣрья, правленіе и государственное устройство; и онъ изобразилъ все это превосходно. Такъ какъ Кошихинъ жилъ во время самаго перелома литературнаго, и въ началѣ этого періода онъ уже переселился въ Швецію—записки его были написаны въ 1666 и 1667 годахъ; — то не успѣлъ еще заразиться школьнымъ языкомъ и ученными формами выраженія: онъ, какъ неученый, писалъ просто Русскимъ языкомъ, съ малою примѣсью Славянизма; напримѣръ: «А какъ приспѣетъ день женидьбѣ «Царской, и въ навечеріи того дня бываетъ у того «Царя столъ, на бояръ и на боярынь и на отца и «мать невѣстиныхъ; и сидятъ Царь съ невѣстою «за столомъ, а бояре и боярыни за розными осо«быми столами. И передъ ѣствою Царской духов«никъ, протопопъ Царя и Царевну благословляетъ «крестомъ, и велитъ имъ межъ себя учинить цѣло«ваніе; и потомъ бояре и боярыни Царя и Царевну «поздравляютъ обручився. И ѣвши и пивъ, Царь «Царевну отпуститъ къ сестрамъ своимъ, по преж«нему, а бояре и боярыни разъѣдутся по домамъ.» Это сочиненіе, написанное хорошимъ четкимъ полууставомъ, открыто въ Упсальской библіотекѣ Гельсингфорскимъ профессоромъ Соловьевымъ въ

1837 году. Оно обнаруживаетъ въ сочинителѣ прекрасный самородный талантъ.

Какъ отечественная, такъ и общая Исторія много обязана трудамъ: *Грибоѣдова*, *Матвѣева*, мужа извѣстнаго Государственными доблестями, *Есипова*, *Золотарева*, *Гавріила Бужинскаго*, *Никодима Селлія* и *Тредьяковскаго*, который, кромѣ сочиненія *Турецкой* и *Татарской* Исторій, два раза перевелъ тридцать томовъ Роллепя. Всѣ они трудились съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ въ этомъ родѣ знаній. Сверхъ того въ это время много способствовали къ распространенію географическихъ познаній: Сибирскій воевода *Байковъ*, Казакъ *Петлинъ*, Лифляндскій пасторъ *Гликъ*, *Григоровичъ;* болѣе же всѣхъ замѣчателенъ Профессоръ Академіи Наукъ *Крашенинниковъ*, оставившій намъ *описаніе Камчатки*, которое весьма важно и въ этнографическомъ отношеніи.

Была ли подавлена тяжестію обстоятельствъ народная Поэзія? истребила ли горестная существенность піитическую силу въ народѣ? или холодная ученость, занятая собою, не замѣчала этой простой дочери природы? – но только въ продолженіе этого періода извѣстенъ лишь одинъ народный поэтъ, Малороссійскій Козакъ *Климовскій*, который произвелъ нѣсколько пѣсень и поэму: о *правдѣ* и *великодушіи благодѣтелей;* да и тотъ пѣлъ не по однимъ внушеніямъ природы; ибо силлабическое стопосложеніе показываетъ подражательность его поэмы другимъ искуственнымъ произведеніямъ. Въ замѣнъ этой важной утраты явилось у насъ *піитическое искуство*, которое конечно не имѣло еще изящества, и свидѣтельствуетъ только объ усиліи и стремленіи къ изящному. Въ ходѣ этого рода Литературы болѣе, нежели въ чемъ либо другомъ, замѣтно наше подражательное, пасильственное образованіе; ибо

Народная поэзія.

у насъ Поэзія, какъ искуство, является не въ пѣсняхъ и гимнахъ или одахъ, изторгнутыхъ изъ души пѣвцевъ современными событіями, а въ какомъ-то особомъ родѣ похвальныхъ поэмъ, и въ драмахъ.

11. Первые опыты искуственной Поэзіи явилъ у насъ *Симеонъ Полоцкій;* онъ написалъ цѣлую книгу, въ похвалу Царю Алексѣю Михайловичу, подъ названіемъ: *Орелъ Россійскій, въ солнцѣ представленный.* Одно названіе этого стихотворенія ясно обличаетъ надутую напыщеность сочинителя и общее направленіе умовъ того времени, котораго онъ могъ быть названъ представителемъ. Библейскія драмы, написанныя Полоцкимъ, играны бывали у *Царевны Софіи*, которая, учавствуя въ благородныхъ, изящныхъ забавахъ двора, сама сочиняла Трагедіи. О произведеніяхъ ея издатель Пантеона Россійскихъ Авторовъ между прочимъ говоритъ: «мы читали въ рукописи одну изъ ея Драмъ, и думаемъ, что Царевна могла бы сравниться съ лучшими писательницами всѣхъ временъ, если бы просвѣщенный вкусъ управлялъ ея воображеніемъ.» — По отъ кого въ то время она могла получить эту принадлежность позднѣйшаго времени? — О Драмахъ Полоцкаго мы не можемъ судить, потому что онѣ доселѣ не напечатаны; прочія же его піитическія произведенія свидѣтельствуютъ о его сильномъ талантѣ, отъ котораго можно бъ было ожидать много, ежели бъ ему суждено было родиться въ болѣе счастливое время: Переложенная имъ, въ силлабическіе стихи, *Псалтирь* также говоритъ въ пользу его таланта и трудолюбія.

Царевна *Софія*, любя Литературу, была также и предметомъ вдохновенія поэтовъ. *Сильвестръ Медвѣдевъ*, ученикъ Полоцкаго, потомъ Настоятель Заиконоспасскаго монастыря, подпесъ ей *эпистолу*, замѣчательную по смѣлымъ піитическимъ изображеніямъ. Онъ также извѣстенъ стихотвореніями

въ честь Царя *Θеодора Алексѣевича*, и въ память его: 1) *Брачное привѣтствіе*... 2) *Плачъ и утѣшеніе Россіи по кончинѣ Царя Θ. А.*

Мы видѣли, что первый *драматическій* писатель въ Россіи былъ *Іеромонахъ;* слѣдовательно принадлежалъ такому сословію, которое нынѣ у насъ совершенно отчуждено отъ свѣтскихъ удовольствій, доставляемыхъ драматическими играми—зрѣлищами. Конечно, съ перваго взгляда это для многихъ можетъ показаться страннымъ; но еще болѣе будетъ удивлять ихъ то, что въ этомъ періодѣ лучшимъ драматическимъ писателемъ былъ *Св. Димитрій Ростовскій*, истинный образецъ добродѣтелей гражданскихъ и Христіанскаго благочестія, и благоразумно-ревностный защитникъ правовѣрія; что театръ нашъ первоначально родился въ домахъ Архіерейскихъ. — Какъ же согласить такое противорѣчіе? И отъ чего это произошло? — Всѣ важнѣйшія духовныя мѣста были въ то время заняты питомцами Кіевской Академіи; а этотъ первоначальный разсадникъ просвѣщенія въ Россіи долго находился подъ вліяніемъ Польскихъ Католиковъ и Уніатовъ, которые, по примѣру Римскаго духовенства, любили и доселѣ любятъ самому Богослуженію придавать видъ драматическихъ представленій, украшая его декораціями — картинами. Такія чувственныя представленія праздниствъ родили мысль о другихъ представленіяхъ болѣе живыхъ, болѣе ощутительныхъ, которыя изображаютъ дѣйствіе съ предшествовавшими случаями—повторяютъ въ живой существенности событіе, сохранявшееся только въ воспоминаніи. Спачала представляли такимъ образомъ библейскія произшествія, позволяя представляющимъ лицамъ только повторять слова дѣйствительныхъ лицъ, сохраненныя Св. писаніемъ; потомъ осмѣлились пополнять и округлять разговоръ, наклоняя оный къ одной цѣли— къ развитію нравственной стороны дѣйствія. Такъ *чув-*

Начало драмы въ Россіи.

ственное представленіе священныхъ *истинъ* удовлетворяло *благочестивымъ правамъ;* такъ разумъ по естественному стремленію согласовалъ, пополнялъ и округлялъ ходъ представленій; зритель желалъ легкихъ, ясныхъ изображеній; свободные помыслы его парили выспрь;—но все это подчинялось святости содержанія, закопамъ откровенія, проявлявшаго волю небесную, условіямъ формъ, выражающимъ положительное правоученіе:—прибавимъ къ тому пренебреженіе или незнаніе внѣшнихъ красотъ;—и драма остается только изображеніемъ библейской существенности въ вымышленныхъ формахъ, во многихъ отношеніяхъ, также опредѣленныхъ условіями *высшими*, непреложными, священными. Въ такомъ видѣ драма перешла къ намъ съ ученымъ духовенствомъ, прибывшимъ около половины семнадцатаго столѣтія изъ Малороссіи и Бѣлоруссіи. И потому Св. *Димитрій* не только не считалъ предосудительнымъ дѣломъ въ молодости сочинять трагедіи и комедіи; но даже въ послѣдніе годы жизни любилъ смотрѣть представленіе ихъ при своемъ домѣ.—Драмы Св. *Димитрія*, равно какъ и другихъ его современниковъ, всѣ библейскаго содержанія, какъ напримѣръ: *Воскресеніе Христово*, *Эсѳирь* и *Агасферъ* и проч. — Эта послѣдняя была представляема и на придворномъ театрѣ въ великій постъ, при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ; а *Кающійся грѣшникъ* былъ представляемъ и въ другія времена. Въ первый разъ въ Россіи драматическія представленія явились въ 1676 году: подъ покровительствомъ Боярина Матвѣева, Нѣмцы представляли двѣ *библейскія* трагедіи. Но на Русскомъ языкѣ и Русскими людьми начались представленія въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича, въ которомъ Симеонъ Ситіановичъ (Полоцкій) успѣлъ пробудить вкусъ къ изящному. Сначала воспитанники духовной Академіи представляли библейскія драмы въ Академіи; потомъ, по

настоянію Спмеона, тѣ же студенты играли при дворѣ. Вскорѣ послѣ того Царевна Софія Алексѣевна писала сама драмы библейскаго содержанія и перевела Мольерову комедію: *Врачъ по неволѣ*, и сама разыгрывала ихъ съ своими придворными. Въ царствованіе Петра Великаго театромъ занималась сестра его В. Княжна Наталья Алексѣевна; а послѣ наслѣдовала эту страсть сестра Петра втораго, также Наталья Алексѣевна; подъ ихъ покровительствомъ выстроенъ былъ на Петербургской сторонѣ небольшой досчатый театръ, и тамъ мелкіе чиновники разыгрывали, какъ могли, комедіи и трагедіи—Спмеона и Св. Димитрія, съ примѣсью свѣтскихъ комедій; и духовенство продолжало присутствовать при этихъ невинныхъ удовольствіяхъ, освященныхъ библейскими воспоминаніями. Но Италіанская и Нѣмецкая труппы, прибывшія въ Россію — первая 1730, а вторая въ 1738 годахъ, — отступивъ отъ первоначальной библейской простоты, которая была тѣсно соединена съ священными воспоминаніями, и не доведя своихъ представленій до изящества, превратили ихъ въ общественныя или придворныя *забавы*, не рѣдко въ грубые фарсы. Эти обстоятельства отдѣлили театръ отъ духовенства. — Святый *Димитрій* также сочинялъ духовныя *пѣсни*, которыя дышатъ сильнымъ чувствованіемъ благочестія и выразительностію Славянскаго языка.

12. Въ концѣ этого періода одна трагедія была *составлена* по всѣмъ правиламъ классиковъ, которая однако не только не трогаетъ, не ужасаетъ и не возноситъ духа, но смѣшитъ всѣмъ: и правильнымъ классическимъ ходомъ, и мелочною высокостію характеровъ, и неправильностію языка, и странною нечистотою выраженій. Это *Деидамія Тредьяковскаго!* Таковъ онъ во всѣхъ своихъ піитическихъ произведеніяхъ! Но должно уважить его трудолюбіе; онъ стихотворецъ по неволѣ; онъ хотѣлъ дать правила нашей Словесности, Тредьяковскій.

которыя во многомъ достойны уваженія, и которыя потомъ введены позднѣйшими писателями;—для этого нужны образцы, примѣры; онъ, принявъ свою ученость за вдохновеніе, написалъ и образцы во всѣхъ родахъ поэзіи: лирической, эпической, дадактической. Но безъ таланта не достигъ цѣли. Главная же неудача его состояла въ устройствѣ стиха, который отличается необыкновенною шероховатостію.

Народные поэты.

13. Между прочимъ изрѣдка являлись таланты—поэты, которые, трогаясь обстоятельствами современными, то частными, то общими народными, воспѣвали ихъ свободно, какъ могли. Такимъ образомъ Казакъ *Кирилъ Даниловъ* сочинилъ на многіе случаи свои стихотворенія; онъ же собралъ нѣсколько пѣснопѣній другихъ неизвѣстныхъ сочинителей и народныя сказки. Въ ряду подобныхъ поэтовъ можетъ занять лучшее мѣсто Діаконъ Московскаго Успенскаго Собора, Петръ *Буслаевъ*. Онъ, бывъ свидѣтелемъ благотворительности и другихъ добродѣтелей и достоинствъ Боронессы Строгановой и тронутый ея смертію, написалъ поэму *Умозрительство духовное*... Это произведеніе показываетъ торжество истиннаго таланта надъ грубостію вѣка. А Малороссійскій Казакъ *Семенъ Климовскій*, славившійся въ то время, и доселѣ еще извѣстенъ сочиненіемъ народныхъ пѣсень и балладъ.

Сатира и Кантемиръ.

Петръ Великій далъ новую форму своему народу; не многимъ успѣлъ вдохнуть исполинскія идеи преобразованія; но онъ не могъ дать обществу и каждому члену его своего образа мыслей, не могъ заставить ихъ думать и чувствовать по-Европейски, не могъ, вмѣстѣ съ бородами отнять вѣковыхъ народныхъ предразудковъ и съ новымъ платьемъ ввести новую философію. Да и самъ онъ не походилъ ли на величайшаго могущественнаго

исполина, который, проходя многія страны свѣта, собиралъ всѣ сокровища ихъ для обогащенія своихъ наслѣдниковъ, — и по необъятности силъ своихъ не чувствовалъ, что собранное имъ бремя не можетъ быть подъято никѣмъ другимъ? Такъ, геній Петра былъ способенъ всю громаду знаній Европейскихъ свести въ одну мысль. Все лишнее, странное, мелочное утопало въ этой великой исполинской мысли. Когда же она раздробилась на цѣлый народъ, когда всякій схватилъ то, что пришлось; тогда вышелъ чудный хаосъ мнѣній, привычекъ, заблужденій и предразсудковъ; тогда нерѣдко самыя знанія превращались въ предразсудки, философія принимала видъ суевѣрія, — истина становилась рядомъ съ заблужденіемъ, грубая назойливость выдавала себя за ловкость, надутая спѣсь хотѣла казаться важностію; — таковымъ на первый разъ явился, новосозданный Петромъ, міръ; это иначе и быть не могло; ибо все внѣшнее принимается скоро; все умственное, нравственное требуетъ медленнаго усвоенія — перерожденія. Въ сію-то, неустроившуюся и, такъ сказать, еще бродящую, общественность судьба поставила юнаго Кантемира, одареннаго умомъ острымъ, наблюдательнымъ, возвышеннымъ, и получившаго Европейское образованіе. Смотря на безнравственность, гнѣздившуюся подъ эгидою просвѣщенія, онъ возмущался негодованіемъ; нравственное безсиліе, не сознававшее своей слабости, приводило духъ его въ веселое разположеніе; и — онъ произвелъ *Сатиру*, которая необходимо требуетъ стеченія двухъ условій—неустройства (или разстройства) нравовъ въ обществѣ и просвѣщеннаго остроумія въ писателѣ. А это случайное, но весьма удачное для сатиры, стеченіе было причиною того, что она у насъ, при самомъ рожденіи своемъ, была столь совершенна, что со стороны идей и общихъ формъ, или способовъ изображать нравы, всегда можетъ почесться образцовою. Изображаетъ ли Кантемиръ нравы просто

въ описаніи? — кажется, видишь картину самой отчетливой живописи; разсуждаетъ ли о правахъ? — онъ выливаетъ свою, мечтательно-философствующую, добрую душу, принимающую участіе въ судьбѣ человѣчества. Приводитъ ли онъ свои мысли въ драматическую форму, заставляя мыслить, говорить и дѣйствовать лица? — переселяетъ читателя въ свой вѣкъ. Говорятъ, онъ подражалъ Ювеналу и Горацію. Да, онъ читалъ, изучалъ этихъ великихъ карателей безправственности и слабодушія, и, руководясь ихъ духомъ, смотрѣлъ на возникающую предъ нимъ общественную жизнь; изображалъ ее свойственными ей красками, такъ какъ они изображали нравы Рима: вотъ въ чемъ состоитъ его подражаніе. Но сходствуютъ ли его картины съ изображеніями древнихъ сатириковъ? — Столь же мало сходствуютъ, какъ и нравы Россіянъ съ нравами Римлянъ. Сатиры Кантемира такъ хорошо знакомятъ насъ съ его вѣкомъ, что никакое описаніе внѣшней жизни не можетъ намъ дать столь вѣрнаго понятія о нравственномъ состояніи его. Онъ создалъ доселѣ небывалый у насъ родъ Поэзіи, давъ ему видъ изящнаго искуства и не лишая его народности; онъ извлекъ свою поэзію изъ духа народнаго, передалъ намъ этотъ самый духъ въ созданной имъ формѣ. Кантемиръ, кромѣ того, много и въ другихъ родахъ писалъ и переводилъ изъ древнихъ и новыхъ знаменитыхъ писателей. Онъ заботился объ очищеніи языка, старался сотворить новую Литературу, какъ бы предчувствуя скорость славной эпохи; но недостатокъ ли творческаго генія, кратковременность ли жизни, тягость ли государственной службы, или всѣ эти причины, при разстройствѣ здоровья, не позволили ему совершить своего дѣла? И онъ, доказавъ любовь и приверженность къ языку и Литературѣ новаго своего отечества неусыпными трудами въ воздѣлываніи того и другаго, оставилъ убѣдительный примѣръ, что немногіе счастливцы-геніи

способны къ преобразованіямъ. Судьба и природа, какъ бы скупясь или затрудняясь производить такихъ геніевъ, всегда пробуютъ свои силы, и предъ появленіемъ великихъ преобразователей впускаютъ въ міръ людей менѣе сильныхъ, которые должны стремиться къ той же цѣли и пріуготовлять умы къ принятію новыхъ идей. Кантемиръ стремился къ преобразованію; это ясно доказываютъ всѣ его литературные труды, между коими важное мѣсто занимаетъ письмо о Русскомъ стихосложеніи, изданное подъ вымышленнымъ именемъ: *Харитонъ Макентинъ*. Менѣе всего ему послушенъ былъ языкъ, который сохранилъ ту же нечистоту и тяжелость, какъ и у всѣхъ его современниковъ. — Такъ совершился этотъ періодъ! Никто не могъ предвидѣть, откуда явится человѣкъ, который пресѣчетъ нить его; никто не подозрѣвалъ, что свѣтлый лучъ озаритъ нашу Литературу отъ хладнаго сѣвера.

ПЕРІОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ЛОЖНО-КЛАССИЧЕСКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

Развитіе вкуса.

Размноженіе училищъ увеличивало число писателей и умножало чатателей; а читать было нечего; потому что большая часть произведеній минувшаго періода была не для свѣтскихъ людей, ищущихъ въ чтеніи *пріятнаго препровожденія времени*, легкаго занятія, и пищи для мечтательности; ораторскія сочиненія, во-первыхъ, всегда болѣе или менѣе приличны извѣстнымъ, даннымъ обстоятельствамъ и занимательны толь-

ко въ этихъ обстоятельствахъ; во-вторыхъ, они безпрестанно возвышаютъ душу, и тѣмъ самымъ утомляютъ ее; и притомъ врожденные человѣку духъ критики и чувство изящнаго, пробужденные наукою, хотя еще не сознавали законовъ красоты; но уже замѣчали недостатокъ ея, оскорблялись грубостію формъ и школьною изысканностію современныхъ произведеній словесности, которыя были чужды всякаго изящества и угожденія вкусу. Читатели уважали ученыхъ сочинителей за ихъ знанія, за доставленное на время удовольствіе, за оказанную услугу утвержденіемъ первыхъ ступеней просвѣщенія; но скучали при вторичномъ чтеніи ихъ, подобно школьникамъ при повтореніи уроковъ; сочиненія же болѣе легкія и близкія къ обществу, начинающему учиться, не были печатаемы. Всѣ чувствовали затрудненіе, но никто не могъ устранить его; чего-то искали, но не могли найдти; всѣ видѣли тяжесть, грубость, засоренность, смѣшенность, неопредѣлительность и испорченность языка; а никто не могъ, не смотря на всѣ усилія, ни исправить, ни даже избѣжать этихъ уклоненій. И такъ взыскательность читателей, по мѣрѣ разпространенія знаній и очищенія вкуса, быстро увеличивалась; а Литература оставалась почти неизмѣнна; слѣдовательно она уже не могла удовлетворять новымъ требованіямъ. Поэтому видно, что читающее общество было готово къ принятію преобразованія; да и самая историческая судьба, какъ мы уже видѣли, пыталась произвести преобразователя: — все вызывало гепія, способнаго сотворить для новаго, приходящаго уже въ устройство, *Петрова міра* новую Литературу! Онъ явился въ *Ломоносовѣ;* — и непапрасно прошелъ поприще жизни! Онъ создалъ Литературу нашу. Какъ? неужели Литература Ломоносова выражаетъ нашъ характеръ, нашу народность? Она выражаетъ духъ вѣка, частную дѣятельность ума,

Направленіе ума.

желавшаго отдѣлиться отъ современной жизни, воскресить древній міръ съ его бытомъ; выражаетъ необходимое торжество школьной мудрости, — науки, которая первоначально должна была утвердиться между немногими, чтобы, переродившись по понятіямъ изображающимъ новый міръ, новую существенность, дѣятельность, жизнь, могла со временемъ разлиться на всѣхъ, сдѣлаться всеобщимъ практическимъ знаніемъ. Таковъ былъ ходъ просвѣщенія и Литературы вездѣ, во всей новой Европѣ; ибо опыты и знанія древняго міра должны были перейдти въ новый міръ, какъ они переходятъ съ жизнію отъ одного поколѣнія къ другому, отъ предшествовавшаго возраста къ послѣдующему. Но перерожденіе міра, или переходъ его отъ юности къ мужеству съ паденіемъ Рима, былъ сопутствуемъ ужаснымъ, лихорадочно-болѣзненнымъ потрясеніемъ и самозабвеніемъ; — отъ того и древнія знанія забыты, утрачены для новыхъ народовъ; они сохранились только въ Литературѣ, въ книгахъ; и потому должны были переходить необыкновеннымъ путями, не живымъ сообщеніемъ, а книжнымъ способомъ; должны быть изучены и перерождены. Кромѣ того, мы отстали и отъ новаго міра; и потому, при желаніи сравняться съ нимъ и при поспѣшности въ этомъ дѣлѣ, должны были пока подражать. По этой-то причинѣ и Литература наша, кромѣ общей классической подражательности, должна была имѣть особенную подражательность западно-Европейскую.

Характеръ заимствованнаго образованія.

Но западная образованная Европа, служившая намъ образцемъ и руководительницею въ просвѣщеніи, имѣла ли свое самобытное просвѣщеніе?—Нѣтъ! она, увлеченная ложнымъ вкусомъ французскаго двора, создала ложную теорію изящныхъ искуствъ, образовала лирикоидиллическую Литературу, которая изображала героевъ, неимѣющихъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ міромъ. А

такая настроенность воображенія дала мечтательный характеръ и направленію философіи. — Руссо (Жанъ-Жакъ) французскій писатель философъ, подъ вліяніемъ этой мечтательной философіи, создалъ идеалъ воспитанія — Эмиль, который вліяніемъ своимъ на умы осмнадцатаго вѣка превзошелъ всѣ ожиданія самаго сочинителя, и съ содѣйствіемъ другихъ его сочиненій разпространилъ въ Литературѣ ложную натянутую чувствительность. Это ошибочное направленіе ума и сердца такъ было сильно и всеобще, что самые смѣлые таланты покорялись ему; только въ концѣ этого вѣка Кантъ, потрясшій основанія всѣхъ старыхъ системъ и теорій, поколебалъ и эту; и Германія замѣнила мечтательную философію трансцендентальною. Пламенная душа Петра Великаго, безмѣрная въ желаніяхъ блага своему народу, хотѣла быстраго перерожденія Россіи; Онъ хотѣлъ, чтобъ *Русь подъ его* исполинскою мощною *рукою* приняла новый видъ. Для того онъ вызывалъ ученыхъ, кромѣ Кіевскихъ питомцевъ, изъ западной Европы; а эти пришельцы и по духу классическаго ученія и по незнанію Русскаго языка, не могли дѣйствовать на образованіе народа, и сообщали свои знанія только избраннымъ. А какъ ученіе совершалось на языкахъ чуждыхъ, — то и самые Русскіе новоученые не могли разпространять просвѣщеніе въ народѣ, не могли съ нимъ сближаться; ибо новоприобрѣтенныя понятія, сросшись въ умѣ ихъ съ иноязычными словами, всегда были выражаемы ученою, чуждою и дикою для народа терминологіею; отъ того были недоступны, и, по странности звуковъ, казались дики для простолюдина. Всего болѣе можно бы было ожидать насажденія въ народѣ ученыхъ знаній и усвоенія ихъ въ общежитіи отъ духовныхъ, какъ потому, что эти лица, будучи всегда близки къ простонародію, знали его языкъ, его духъ, наклонности,

весь бытъ, такъ и потому, что пользовались душевною властію и довѣренностію; но и это, важное и близкое къ народу и властямъ сословіе не могло имъ служить своими знаніями; поелику въ духовныхъ училищахъ всѣ науки читались на Латинскомъ языкѣ. По симъ причинамъ просвѣщеніе въ Россіи содѣлалось достояніемъ частнымъ, немногихъ людей, и даже не могло переходить отъ отцевъ къ дѣтямъ посредствомъ повседневнаго обращенія; оно совершенно изпортило языкъ; и отдалило простой народъ отъ другихъ сословій такъ много, что народъ совсѣмъ не зналъ того, что дѣлалось въ ученыхъ кастахъ, — что тамъ производилъ умъ и выражало слово; а тѣ, въ свою впредь, не думали замѣчать дѣйствій и жизни простаго народа. Вотъ почему Исторія нашей Литературы совсѣмъ молчитъ о народной Словесности этого періода, и говоритъ только о словесномъ искуствѣ, въ которомъ отливались идеи выученныя и дѣйствія умовъ, обогащенныхъ школьными знаніями. Но какъ въ это время Германцы и Французы, у которыхъ Великій Петръ *указалъ* намъ учиться, слѣдовали древнимъ образцамъ, по которымъ они хотѣли и чувствовать и мыслить; и какъ произведенія ихъ имѣли высшее литературное искуство; то и наши писатели, подражая имъ, желали, чтобъ геній древняго міра вселялся въ нихъ, низходилъ на нихъ во время возторговъ піитическихъ; хотѣли жить внѣ своего міра и быта. Вотъ почему Литература наша въ этомъ періодѣ была *подражательно-классическая;*—отъ разности же образцовыхъ Литературъ и отъ измѣненія ихъ во времени, она принимала различные виды. — Не могло ли это быть иначе? — Могло при другихъ обстоятельствахъ, при медленномъ образованіи; но при этомъ ходѣ дѣлъ, столь сильномъ, столь быстромъ, при поспѣшномъ образованіи, естественно нужно было идти по пробитой тропѣ, естественно одни должны

были уйдти, другіе отстать. Этому отчужденію образованнаго сословія отъ народа и образованію подражательной ложно-классической Литературы особенно способствовало разпространеніе знанія и употребленія Французскаго языка, который въ послѣдствіи вытѣснилъ изъ высшаго общества родной Русскій языкъ. Отъ того образованные классы общества, а слѣдовательно и писатели и читатели любили только то, что носило Французскій характеръ. Впрочемъ, ежели бы въ духовныхъ училищахъ орудіемъ ученія былъ отечественный языкъ; то это обстоятельство значительно уменьшило бы зло, и ученые не отдѣлились бы такъ далеко отъ народа и Литература отъ народности. Но можно ли предположить, чтобъ народъ безмолвствовалъ, чтобъ Поэзія народная совсѣмъ уснула?—Конечно духъ творчества, подавленный тяжкою дѣйствительностію и обезсиленный отторженіемъ отъ народа и присоединеніемъ къ ученой кастѣ людей сильныхъ умомъ и любознательныхъ, не могъ быть столь дѣятельнымъ, какъ нѣкогда во времена славной юности народной; однако воскресшая слава, побѣды, и могущество народное пробудили воинскій духъ и *воинское пѣснопѣніе;* а возведеніе женскаго пола на степень гражданства облагородило и смягчило отношенія половъ человѣчества; отсюда произошли *пѣжныя пѣсни* простонародныя, къ которымъ мотутъ быть отнесены и нѣкоторыя изъ *свадебныхъ пѣсень,* всегда любимыхъ Русскимъ народомъ. Между прочимъ застольныя пѣсни, кажется, никогда не умолкали; ибо частная веселость всегда оживляла пирующихъ друзей.

Народныя пѣсни.

Первыя, т. е. *воинскія* пѣсни, безъ сомнѣнія, начали появляться во времена Петра I, слѣдовательно еще въ прошедшемъ періодѣ, потомъ размножились въ вѣкѣ Екатерины II, богатомъ побѣдами. Нѣкоторыя изъ нихъ самымъ содержаніемъ показываютъ время произхожде-

нія своего, и почти всѣ онѣ имѣютъ напѣвъ смѣлый, громкій, шумный — одно колѣно протяжное, а другое отрывистое; слѣдовательно изображаютъ не только словами, но и самымъ голосомъ воинственность. Онѣ славятъ обыкновенно войны Шведскія, Турецкія и частію Польскія; но по духу всѣ одинаковы. По смѣлости выраженія и по удальству содержанія, весьма много сходствуютъ съ ними другаго рода пѣсни, разбойническія; но онѣ въ напѣвѣ своемъ, кромѣ порывистой смѣлости, имѣютъ какую-то заунывность грустнаго предчувствія, какъ напримѣръ:

Не шуми мати зеленая дубровушка;
Не мѣшай мнѣ добру молодцу думу думати....

Всѣ страстныя или нѣжныя пѣсни, даже свадебныя, совершенно сохранили прежній свой характеръ, какъ въ сложеніи или выраженіи чувствованій и описаніяхъ, такъ и въ напѣвахъ; вездѣ прежняя томность и заунывность, вездѣ повторенія, вездѣ начала полуаллегорическія и часто отрицательныя, какъ напримѣръ: »По горамъ, и я по горамъ ходила; — всѣ цвѣты и я всѣ цвѣты видѣла: — нѣтъ цвѣта, ужъ и нѣтъ цвѣта алаго....—Или: Что не сизъ голубь по воздуху летаетъ....— Или: Что не ласточка вкругъ тепла гнѣзда увивается.... — Или: Отставала лебедушка, отставала лебедь бѣлая.... — Какъ и палъ туманъ на сине море, — а кручина въ ретиво сердце.... и т. п. Всѣ эти пѣсни изображаютъ народный духъ, разумѣется, со стороны нѣжности чувствъ, потому что онѣ выражаютъ только нѣжныя чувствованія; онѣ обнаруживаютъ удивительную страстность; глубокость чувствованій и простота выраженія составляютъ главныя отличительныя черты ихъ; но страсть, изображаемая въ нихъ, никогда не доходитъ до изступленія, а бывъ всегда тиха, предвѣщаетъ какую-то постоянную рѣшимость. Застольныя же и плясовыя

пѣсни суть самыя лучшія доказательства, что предки наши любили повеселиться до забвенія, до удальства; здѣсь мы найдемъ выраженіе какой-то разгульной жизни; онѣ часто не имѣютъ смысла, часто теряютъ всякое приличіе. Между прочимъ всѣ роды пѣсень сохранили топическое стопоспоженіе.

Ломоносовъ. И такъ, отставъ отъ Европы, мы осуждены всему учиться; отъ того общество, созданное Петромъ Великимъ, было подражательное; отъ того и Ломоносовъ далъ ему подобную Литературу. Родившись въ отдаленномъ, хладномъ и забытомъ краю Россіи, въ приморскомъ селеніи Денисовѣ, Холмогорскаго уѣзда, Ломоносовъ, казалось, былъ осужденъ на забвеніе; но геній его открылъ путь къ безсмертію. Занимавшись въ дѣтствѣ съ отцемъ своимъ рыболовствомъ, онъ часто, созерцая горящія сѣверныя лѣтнія ночи, забывалъ свою работу, чувствовалъ какое-то внутреннее безпокойство, какой-то тайный голосъ, зовущій его невѣдомо куда; онъ хотѣлъ все понять, разгадать; искалъ знаній ясныхъ, опредѣлительныхъ; но для него и самые источники ихъ были закрыты; не видно было и возможности найдти ихъ; потому что его тревожная задумчивость не только другимъ казалась странна и смѣшна, но онъ и самъ не понималъ ее. Первый шагъ къ удовлетворенію жажды знанія состоялъ въ томъ, что онъ въ зимніе вечера, свободные для рыболова, выучился читать у сельскаго дьячка; — читая безпрестанно всѣ, попадавшіяся ему, книги, онъ выучилъ ихъ наизустъ и почувствовалъ бо̀льшую жажду знанія; находившіяся между этими книгами: переложенный Полоцкимъ въ стихи, *Псалтырь* возбудилъ въ немъ жаръ пѣснопѣнія; *Славянская Грамматика* — вѣроятно *Смотрицкаго, и Ариѳметика въ стихахъ, Магницкаго*, которыхъ не понималъ хорошо и не могъ объяснить ему самъ наставникъ его, — родили въ немъ мысль, что есть люди, которые все это понимаютъ, ко-

торые написали эти книги. Предполагая найдти такихъ людей въ Москвѣ, онъ бѣжалъ туда; тамъ отыскалъ Заиконоспасскую Академію, и былъ принятъ въ оную; здѣсь скоро ему не чему было учиться, и потому онъ былъ отправленъ въ Кіевскую Академію. Тамъ онъ встрѣтилъ тѣ же знанія, но бо́льшую формальность, бо́льшую заносчивость и притязаніе рѣшать неразрѣшимые вопросы; а онъ искалъ положительныхъ знаній природы; отъ того тамъ не ужился и возвратился въ Москву; но вскорѣ, изучивъ все преподаваемое въ духовныхъ Академіяхъ, былъ переведенъ въ Санктпетербургскую Академію Наукъ, гдѣ особенно занимался, и съ необыкновеннымъ успѣхомъ, Математикою, Физикою, Химіею и Естественною Исторіею. Безпримѣрная его любовь въ наукамъ побудила начальство послать его въ Германію; — тамъ въ Марбургѣ онъ выслушалъ курсъ Философіи и Математики у знаменитаго въ свой вѣкъ Вольфа; а въ Фрейбургѣ занимался Металлургіею. По возвращеніи же въ Петербургъ, былъ опредѣленъ въ Академію Наукъ сначала Адъюнктомъ, а потомъ Профессоромъ Химіи. Эта наука составляла главный предметъ его занятій; но онъ много писалъ и о другихъ Естественныхъ наукахъ. Считая неумѣстнымъ здѣсь опредѣлять ученыя достоинства всѣхъ сочиненій Ломоновова въ сихъ родахъ и обличать неблагодарность и равнодушіе нашихъ соотечественниковъ къ заслугамъ великаго человѣка, котораго открытія забыты, и потомъ приняты отъ иностранцевъ, вмѣняю себѣ въ обязанность сказать, что онъ положилъ начало самое твердое, самое прочное для нашей учености; онъ совершенно сравнялся съ Европою; въ его великой душѣ отразился полный сводъ Европейскаго просвѣщенія, котораго всѣ отрасли онъ умѣлъ облечь въ форму чистаго Русскаго языка; онъ представлялъ собою современный идеалъ; — такъ должно было на него смотрѣть; но

свои его не познали. Одни, не замѣтивъ знаній *Ломоносова*, продолжали учиться всему у иностранцевъ, даже по-Русски писать; другіе, положивъ, что онъ кончилъ совершенствованіе человѣчества, остановились на томъ, что онъ сдѣдалъ, и не думали продолжать начатаго имъ, говоря: *Ломоносовъ умнье насъ былъ; намъ ли перемънять то, что онъ сдѣлалъ?* Эта неумѣстная довѣренность, превратившаяся въ слѣпую вѣру, показываетъ, что эти люди не поняли и не могли понять его; отъ того онъ имѣетъ длинный рядъ подражателей и весьма мало послѣдователей.

Языкъ, образованный имъ.

Ломоносовъ, проведши дѣтство и даже начало юности въ деревнѣ, гдѣ онъ зналъ только простой Русскій народный языкъ, безъ всякой примѣси чужестранныхъ словъ и оборотовъ; научившись читать, выучилъ, какъ уже извѣстно, наизустъ почти всѣ церковныя книги, а съ тѣмъ вмѣстѣ изучилъ и Славянскій языкъ; имѣя отъ природы умъ точный, смѣлый и догадливый, онъ могъ уже опредѣлить употребленіе того и другаго. Познакомившись, въ бытность свою въ Москвѣ и Петербургѣ, съ писателями Кіевской школы, онъ могъ замѣтить пестроту ихъ языка; изучивъ языки древніе и новѣйшіе съ ихъ Литературами, онъ узналъ и отличилъ все, внесенное ими въ нашъ языкъ. Такимъ образомъ *Ломоносовъ*, когда предпринялъ преобразованіе употребляемаго тогда Русскими писателями языка, прежде всего, руководствуясь этими воспоминаніями, раздѣлилъ языкъ на тѣ начала или стихіи, изъ которыхъ онъ былъ составленъ; узналъ свойство и употребленіе каждаго нарѣчія; потомъ уже, оставивъ все чужеязычное, обветшалое, грубое, низкое, областное, началъ писать чистымъ Русскимъ языкомъ, съ небольшою примѣсью Славянскаго, естьли требовало того свойство дѣла. И вдругъ Русскіе изумлены были явленіемъ языка чистаго, звучнаго, сильнаго, выразительнаго, —

опредѣлительнаго, при удивительномъ разнообразіи матеріала и формъ. Когда какой-то *Ломоносовъ*, невѣдомый публикѣ, жаждущей и не находившей чтенія, какъ будто таинственное какое существо, присылаетъ изъ чужихъ краевъ *Оду* на взятія Хотина, написанную такимъ обновленнымъ языкомъ; то всѣ, обрадованные столь неожиданною, пріятною новостію, читали, перечитывали ее, понимали каждый стихъ, всякое слово; а не понимали, какъ можно писать такъ чисто, ясно, вразумительно, сильно, стройно и легко. Эта нечаянность и отдаленность сочинителя дали ему еще болѣе перелести.

Ученыя занятія его.

Занимаясь по обязанности естественными науками, какъ мы уже видѣли, *Ломоносовъ* находилъ время созерцать ходъ небесныхъ тѣлъ, писалъ по части Астрономіи *о примѣненіи* ея *къ мореплаванію;* написалъ обширные конспекты или краткія записки по Физикѣ и Химіи; писалъ о Металлургіи и о горномъ искуствѣ; занимался опытами по всѣмъ отраслямъ этихъ знаній; удѣлялъ время Исторіи и Филологіи; и всѣмъ этимъ наукамъ и свѣдѣніямъ онъ оказалъ величайшую услугу, какъ развитіемъ идей, такъ и опредѣленіемъ языка для каждой отрасли знаній. Досуги отъ ученыхъ занятій удѣлялъ онъ свободнымъ знаніямъ, изящнымъ наукамъ и искуствамъ. Такъ напримѣръ онъ самъ сдѣлалъ нѣсколько мозаическихъ картинъ, и устроилъ особенное заведеніе какъ для заготовленія мазаическихъ матеріаловъ, такъ и для образованія художниковъ-мозаистовъ.

Лирическая поэзія.

Поэзія составляла для *Ломоносова* не занятіе, а забаву, отдохновеніе. Переродившееся по манію Петра ученое или читающее общество, подобно юношѣ, любило возторги, желало возхищаться радостями своихъ царей; народъ плѣнялся воскресшею и возрастающею славою; поэтъ, любя и славу царей и славу

народа, любя науки, покровительствуемыя первыми, сознавая свое умственное могущество, возхищался вмѣстѣ съ народомъ, пѣлъ славу Творца, даровавшаго ему силы высшія предъ прочими человѣками, пѣлъ царей, вознесшихъ его на высокую степень, пѣлъ народъ, имѣвшій съ нимъ одинъ языкъ, одну вѣру, одну любовь къ царямъ, одни чувствованія. Вотъ почему оды *Ломоносова*, къ которымъ мы столь равнодушны, возхищали современниковъ его такъ, что они почти вовсе не замѣтили его ученыхъ заслугъ. Хотя *Ломоносовъ* одаренъ истиннымъ піитическимъ геніемъ; но какъ онъ, за недостаткомъ идей, по его мнѣнію, достойныхъ выраженія, или лучше, за недостаткомъ свободнаго развитія, долго удерживалъ свои чувствованія и творческіе порывы духа; и по привычкѣ къ ученой послѣдовательности понятій, хотѣлъ все подчинять законамъ Логики и предварительно обдуманнымъ разположеніямъ; то во всѣхъ одахъ его замѣтна излишняя правильность и искуственная связность въ переходахъ отъ одной мысли къ другой; такъ что всѣ его оды по ходу своему имѣютъ въ себѣ много ораторскаго; потому мы не находимъ въ нихъ того лирическаго безпорядка и той легкой свободы, которые внезапно возхищаютъ насъ въ другихъ поэтахъ, особенно въ *Державинѣ*. Въ замѣнъ этого недостатка стихотворенія Ломоносова всегда равно величественны, равно сильны и важны. О немъ можно повторить слова Горяція, сказанныя имъ о Пиндарѣ,—что онъ подобенъ многоводной рѣкѣ, которая въ теченіи своемъ безпрестано увеличивается возрастаетъ отъ прилива дождей и потоковъ, и въ ровномъ величественномъ своемъ теченіи *увлекаетъ все* встрѣчающееся ей. Онъ всегда начинаетъ пѣть тихо и спокойно, созерцая свой предметъ, или мечтая о немъ; потомъ, размышляя, постепенно возвышается и усиливаетъ пѣснь; такъ что конецъ оды всегда заключаетъ въ себѣ сильнѣйшую мысль,

которая всегда есть слѣдствіе истиннаго вдохновенія, восторга, проистекающаго изъ созерцанія природы и Творца, любимыхъ его предметовъ. Тамъ напримѣръ: *въ вечернемъ размышленіи о Божіемъ величествѣ*, поэтъ представляетъ въ началѣ картину ночи, картину, списанную съ дѣйствительнаго міра:

Лице свое скрываетъ день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тѣнь;
Лучи отъ насъ склонились прочь;
Открылась бездна, звѣздъ полна;
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна.

Послѣ, изобразивъ душевное состояніе свое и мнѣніе мудрецовъ о громадѣ міровъ, видимыхъ въ безпредѣльной синевѣ ночной, погружается какъ бы въ безотчетное забытіе, и какъ бы въ ясновидѣніи, осыпаетъ вопросами тѣхъ, которые провидятъ законы природы и опредѣляютъ ходъ планетъ, вопросами, изображающими безпредѣльно величественную картину разнообразныхъ явленій природы; и наконецъ, въ молчаніи представивъ всю массу знаній, несоставляющихъ полнаго отвѣта на его вопросы, съ какимъ-то торжественнымъ нетерпѣніемъ возклицаетъ:

Несвѣдомъ тварей вамъ конецъ:
Скажите жъ, сколь великъ Творецъ!

Не смотря на естественный и правильно развивающійся ходъ мыслей, постепенно возрастающихъ, это неожиданное окончаніе сильно поражаетъ читателя и оставляетъ его въ какомъ-то недоумѣніи. Вся тайна состоитъ въ томъ, что ученый поэтъ, привыкшій властвовать надъ полетомъ генія, умѣетъ остановиться на той мысли, выше которой не надѣется вознестись, и послѣ которой жаръ его уже долженъ будетъ погасать. Впрочемъ, не вездѣ *Ломоносовъ* бываетъ такъ разчет-

ливъ въ говорливости; мы увидимъ, что въ *похвальныхъ одахъ* онъ совсѣмъ не таковъ. — Всѣ оды Ломоносова можно раздѣлить: на *Духовныя* и *Гражданскія*, изъ которыхъ послѣднія опять подраздѣляются: на *Торжественныя* и *похвальныя*. Что касается до духовныхъ пѣснопѣній, — подражаній Псалмамъ и пророчествамъ; въ нихъ онъ недосягаемо высокъ и безпримѣрно силенъ; — говоря вообще, — онъ здѣсь свободнѣе, быстрѣе; гораздо чаще бываетъ возторженнымъ поэтомъ, нежели разсудительнымъ стихотворцемъ; здѣсь, кромѣ нѣкоторыхъ слѣдовъ обдуманности, только одна черта обличаетъ въ немъ классическое образованіе: это чувственное изображеніе духовнаго міра — пластицизмъ. Смотрите, какъ онъ описываетъ *величіе* Творца *въ утреннемъ размышленіи:*

Уже прекрасное свѣтило
Простерло блескъ свой по земли,
И Божія дѣла открыло; —
Мой духъ съ веселіемъ внемли...

Или гнѣвъ и могущество Его *въ подражаніи Іову:*

О ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь, человѣкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно
Онъ къ Іову изъ тучи рекъ;
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая,
И гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ,
И такъ его на распрю звалъ:
Сбери свои всѣ силы нынѣ,
Мужайся, стой и дай отвѣтъ:
Гдѣ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинѣ
Прекрасный сей устроилъ свѣтъ;
Когда я твердь земли поставилъ;
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!.. и проч.

Въ слѣдующихъ одиннадцати строфахъ поэтъ словами разгнѣваннаго Бога изображетъ все мірозданіе, которое идетъ въ историческомъ порядкѣ, и оканчивается человѣкомъ. Хотя въ паренін поэта историческое вспоминаніе можетъ имѣть мѣсто; но такое правильное разположеніе, такая *родовая* послѣдовательность понятій, какъ здѣсь, въ лирикѣ совсѣмъ не естественна и даже не возможна; лира требуетъ другой послѣдовательности: чувственной, образной, мѣстной, временной. Божество здѣсь изображено совершенно по образу человѣка. Не такъ ли Иліада изображаетъ Зевеса, который, въ гнѣвѣ, потрясая кудрявой головою, всколебалъ основанія Олимпа? Не такъ ли громовержецъ, раздраженный докукою боговъ, хвалится предъ ними силою своею, и грозитъ забросить ихъ? Не такъ ли сердится человѣкъ? Не такъ ли онъ, разгнѣванный, все вверхъ дномъ ставитъ въ своемъ маломъ твореніи? Прилично ли, по нашему образу мыслей и вѣрѣ, такое изображеніе Богу, существу духовному, совершеннѣйшему и всемогущему — *Богу благости, правды и любви?* Оно сильно, выразительно, величественно, но не Божественно! Нѣтъ! только Олимпійскимъ богамъ прилично сказать съ насмѣшкою: *яви премудрость ты свою*! Однако эта Ода считается лучшею? Да! потому, что она лучшая была въ свое время, когда требовали ощущаемаго, когда нельзя было сказать:

И мощный, мыслію сопутствуемъ одною,
Въ чудесномъ торжествѣ творенія Творецъ!.. (*)

Она произведена не для нашей критики, а для современныхъ читателей; удовлетворивъ совершенно требованіямъ ихъ, налагаетъ на историка обязанность находить ее условно совершенною. Торжественныя оды

(*) Жуковскаго, Библія.

Ломоносова не всѣ одинаковаго достоинства: тѣ изъ нихъ которыя были плодомъ свободнаго вдохновенія, имѣютъ болѣе свободное теченіе мыслей, нежели тѣ, которыя писаны по заказу; эти послѣднія отличаются изысканностію.

Похвальныя оды Ломоносова во многихъ отношеніяхъ можно назвать жертвою времени. Ежели вообще въ это время, по недостатку чтенія, по духу классическаго ученія, требовали длинныхъ, говорливыхъ одъ; то преимущественно это можно отнести къ одамъ похвальнымъ, — которыя онъ писалъ болѣе по требованіямъ Двора, гдѣ прежде чтенія опредѣляли достоинство ихъ по величинѣ, по объему; и многословіе считалось щегольствомъ; сверхъ того, поэтъ, увлекаясь чувствомъ личной благодарности къ Царицѣ, часто вдавался въ ораторскую говорливость. По этой причинѣ похвальныя оды его несравненно длиннѣе духовныхъ; длиннота же ихъ и желаніе избѣгать повтореній, при обычномъ избраніи одного и того же предмета пѣснопѣній, были причинами изысканности мыслей и формъ выраженія, чему много способствовала ученая суетность и вѣковое тщеславіе. Слѣдовательно этотъ родъ твореній *Ломоносова* совершенно принадлежитъ времени. Ни одно произведеніе въ нашей Литературѣ не отражаетъ въ себѣ такъ ясно классическаго направленія, какъ эти оды; ибо ни одинъ стихъ, ни одно выраженіе, кромѣ собственныхъ именъ, не напоминаетъ намъ, что это писалъ Русскій поэтъ, вдохновенный Русскою славою; эти произведенія принадлежатъ школѣ, а не націи; и только по языку составляютъ достояніе народа. Такъ силенъ духъ вѣка! — Анакреонтическія оды Ломоносова слишкомъ важны; онѣ точно оправдываютъ собственное его выраженіе: *хочу я пѣть любовь, но все пою про славу* ..

Петріада

Ломоносовъ, равно какъ и все то общество, въ кото-

ромъ ему суждено быть самымъ дѣйствительнѣйшимъ членомъ — еще разъ повторяю, — были созданіемъ Петра; по тому онъ хотѣлъ возпѣть сего самаго Петра для того общества, котораго помыслы и чувствованія носилъ въ душѣ. Увлекшись и чувствомъ благодарности и величіемъ героя, въ которомъ самая дѣйствительность была поэзія, поэтъ забылъ принять въ соображеніе одно весьма важное обстоятельство: Петръ не принадлежалъ къ кругу людей, дѣйствующихъ по школьнымъ правиламъ; онъ, при обновленіи Россіи, смотрѣлъ на Западъ, подражалъ Европѣ, но Европѣ новой, живой; и практическою жизнію своею принадлежалъ не только новому міру, даже Россіи; онъ сбросилъ прародительскіе предразсудки, старую лѣнь и празднолюбіе, жилъ для дѣлъ, для подвиговъ, для славы въ потомствѣ, въ будущихъ вѣкахъ обновленнаго царства. Слѣдовательно и возпѣвать его надобно было не какъ Ахилла или Ромула, покрытыхъ баснословіемъ и живущихъ въ темныхъ возпоминаніяхъ о дѣтствѣ народа, а какъ лице, стоящее въ яркомъ свѣтѣ Исторіи, о которомъ нельзя разсказывать басни, сводя его съ богами, а должно говорить въ духѣ Исторіи. Поэтъ можетъ, по свойству внѣшней жизни и дѣйствій лица, отгадывать его внутреннее разположеніе души, рожденіе помысловъ; тайныя предуготовленія, совѣщанія, форму дѣйствій, выраженіе намѣреній, предположеній и т. п.; но не можетъ, говоря о немъ, вымышлять то, что противорѣчитъ Исторіи; слѣдовательно Петръ можетъ быть предметомъ Біографіи, Романа, Исторіи, Поэмы Романтической, Драмы, а не *эпической Поэмы* которая питается чудною мечтательностію, туманными возпоминаніями дѣтской простоты, а въ старости возпоминаніемъ юношескаго удальства народа и лицъ. Впрочемъ и она также требуетъ единства характера самыхъ невѣроятностей, единства самыхъ чудесъ, и сообразности вымысловъ съ дѣйстви-

тельностію. *Ломоносовъ*, слишкомъ покорный школьнымъ правиламъ своего вѣка, не давалъ свободы творческому генію, не позволилъ себѣ развить характеръ Петра, не выказалъ тайныхъ пружинъ его дѣйствій, не подчинилъ оныя ни исторической, ни небесной судьбѣ; а разсказалъ только дѣйствительное въ живописныхъ изображеніяхъ, приправляя ихъ, согласно требованіямъ современнаго классицизма, древнемиѳологическими эпизодами. Отъ того поэма его—Петріада—не имѣетъ ни эпической важности, ни романической занимательности. Каждая картина, отдѣльно взятая, превосходна; но всѣ онѣ противорѣчатъ одна другой. Трудность выраженія, безпрестанно замѣтная въ сей поэмѣ, ясно показываетъ, что сочинитель чувствовалъ свое затруднительное положеніе, но не видалъ средствъ избавиться этого. Кажется, это обстоятельство было между другими причинами, препятствовавшими кончить это произведеніе, которое, не смотря на всѣ недостатки и излишества, носитъ черты генія Ломоносова; и ежели бъ оно было кончено, то сохранило бъ много помысловъ великаго писателя о великомъ Царѣ

Ломоносовъ показалъ прекрасный образецъ дидактической Поэзіи въ Посланіи къ Шувалову о пользѣ стекла и неудачные опыты Драмы въ двухъ трагедіяхъ. Ломоносовъ, углубленный въ изученіе природы внѣшней и, изучая человѣка только въ самомъ себѣ, не зналъ всѣхъ столкновеній страстей, которыя составляютъ главную основу и пружину всей драматической дѣятельности и всей жизни драматическихъ лицъ; потому онъ не могъ имѣть успѣха въ Трагедіи. Его дѣйствователи оживляются не страстями, а лиризмомъ; въ дѣйствіи ихъ нѣтъ завязокъ, нѣтъ противодѣйствій и борьбы; отъ того нѣтъ очарованія.

Ученыя сочиненія.

Какъ Петръ обнималъ и приводилъ въ движеніе всѣ роды дѣятельности народной; такъ и Ломоносовъ обни-

малъ и приводилъ въ движеніе всѣ роды знаній; и собственнымъ опытомъ показалъ Петрову народу образцы этихъ занятій. Онъ чувствовалъ недостатокъ отечественной Исторіи; видѣлъ на самомъ себѣ, какъ трудно безъ руководства достигнуть знанія отечественнаго языка; показалъ лучшее употребленіе языка, и хотѣлъ упрочить его правилами; испыталъ самъ и ежедневно на другихъ замѣчалъ, какъ сбивчиво и безотчетно пишутъ тѣ, которые не утвердились правилами истинной Риторики. Для сего онъ написалъ: *Краткій Россійскій Лѣтописецъ съ родословіемъ, Древнюю Россійскую Исторію*, которую онъ успѣлъ довести только до *Ярослава* 1-го; и въ нихъ заплачена дань вѣку; и они, на ряду со всѣми его произведеніями, принесли великую пользу въ училищахъ; сочинилъ *Россійскую Грамматику*, которой заслуга столь велика и важна для нашей Словесности, что было бы неблагодарно теперь, когда, выучившись по ней языку, замѣнили ее лучшими, говорить о ея недостаткахъ, которые, впрочемъ, совсѣмъ не относятся къ сущности науки; какъ напримѣръ: *количество склоненій* и т. п.— это подражаніе Латинской Грамматикѣ. — Ломоносовъ *указалъ* намъ языкъ нашъ! Онъ предполагалъ составить *Руководство къ краснорѣчію*, изъ котораго успѣлъ кончить только общую Риторику. Изъ соображенія общаго заглавія съ предисловіемъ къ этой книгѣ, видно, что сочинитель понималъ науку далеко лучше многихъ современныхъ намъ писателей въ этомъ родѣ, и даже лучше тѣхъ, которые думаютъ рѣшать участь другихъ писателей. — Хотя и всѣ творенія сего геніальнаго писателя подверглись странной участи, были не поняты послѣдователями; но особенно это можно сказать о его Риторикѣ: въ изданной имъ части онъ показалъ— конечно съ излишествомъ, въ то время необходимымъ — правила и способы, какъ вообще устроивать рѣчь, основываясь на сущности ея, безъ примѣненія къ цѣлямъ,

объяснивъ въ предисловіи, что *Исторія, учебныя книги и рѣчи* имѣютъ особыя правила; но послѣдователи, подражая ему слѣпо, ограничивали теорію прозаической Словесности только общею Риторикою, прибавляя къ ней нѣсколько словъ о письмахъ и рѣчахъ. *Письмо о правилахъ Россійскаго стихотворства* долго служило основаніемъ Піитикъ, бывшихъ въ употребленіи въ учебныхъ заведеніяхъ. *Предисловіе къ разсужденію о пользѣ книгъ церковныхъ* заставляетъ думать, что сочинитель предполагалъ изложить твердыя и постоянныя правила, долженствовавшія руководствовать въ употребленіи Славянскаго языка, который отъ священности книгъ и мѣста употребленія его получилъ какое-то священное величіе; но преждевременная, завистливая смерть не позволила ему быть полезнымъ человѣчеству столько, сколько онъ хотѣлъ!

Похвальныя слова.

Ломоносовъ, разсуждая о пользѣ книгъ церковныхъ, между прочимъ говоритъ, что «державы Грековъ и Римлянъ *разрушились*, и *языки ихъ изъ общенароднаго употребленія вышли; однако изъ самыхъ развалинъ, сквозь дымъ, сквозь звуки, въ отдаленныхъ вѣкахъ слышенъ громкій голосъ писателей, проповѣдующихъ дѣла своихъ геніевъ*».... «*Возможно ли безъ гнѣва слышать Цицероновъ громъ на Катилину?* — Такъ онъ почиталъ слово орудіемъ безсмертія героевъ и краснорѣчіе органомъ вѣковъ, — и хотѣлъ славить царей своихъ. Плиніевъ панигирикъ познакомилъ его и съ душею сочинителя и съ величіемъ Траяна. Слово, изторгнутое изъ души оратора дѣлами Государя, слило въ себѣ два генія, и освѣщенное истиною ввело ихъ въ храмъ вѣчности. Дыша славою Петра, трудясь для созданнаго имъ міра и, такъ сказать, дотварпвая оный со стороны внутренней жизни, онъ хотѣлъ съ Петромъ жить въ вѣчности. Вотъ что родило *похвальное Слово* Петру Великому. Но настоящее ближе минувшаго, и слава Петра прежде

всего представилась ему въ дѣлахъ Елисаветы, продолжавшей начатое Ея Великимъ отцемъ и покровительствовавшей наукамъ. По этому прежде онъ написалъ *Слово* въ честь сей Императрицѣ. Оба эти похвальныя слова — такіе памятники нашей Словесности, которыми справедливо можемъ гордиться, не смотря на то, что они произведены еще въ вѣкѣ піитическомъ, а по существу своему составляютъ высшее развитіе словеснаго искуства. Впрочемъ, достоинства ихъ не одинаковы, именно: Слово, произнесенное въ похвалу Елисаветѣ, представляетъ болѣе богатства мыслей, болѣе правильности и естественности въ ходѣ, болѣе силы краснорѣчія и даже чистоты и ровности слога. Отъ чего же произошло это неравенство? и отъ чего превосходство на сторонѣ этого творенія, тогда, какъ свойство предмета — самостоятельность величія Петрова — склоняетъ его въ пользу другаго? Дѣйствія геніевъ имѣютъ степень величія соразмѣрную степени независимости ихъ отъ посторонняго вліянія; Ломоносовъ въ Словѣ Петру Великому подражалъ Плинію, слѣдовательно добровольно оковалъ свой геній, и стѣснилъ его полетъ; потому что подражаніе уже само по себѣ стѣснительно; а несходство героевъ, несходство нравовъ и добродѣтелей Римскихъ съ Русскими и несходство обстоятельствъ, увеличивая затрудненія, принудило его бороться съ препятствіями, вмѣсто того, чтобъ свободно изображать славную жизнь Царя великаго. Въ Елисаветиномъ же Словѣ онъ далъ свободу своему генію, который выказалъ здѣсь чудесную силу творчества. Притомъ въ этомъ послѣднемъ онъ выхваляетъ Елисавету изображеніемъ дѣлъ ея безсмертнаго отца и изображеніемъ радости Россіянъ о возшествіи ея на престолъ, прославленный Петромъ; слѣдовательно предметъ обоихъ панигириковъ былъ почти одинъ. А какъ Елисаветинъ написанъ былъ прежде

Петрова; то и это обстоятельство могло затруднять сочинителя очень много въ послѣднемъ словѣ. Наконецъ личная благодарность оратора къ благодѣтельствовавшей Царицѣ могла сильно воспламенять его и быть также причиною этого превозходства. Излишнее богатство мыслей и слѣпая довѣренность къ древнимъ ораторамъ, особенно Цицерону, часто даютъ его формамъ выраженія какую-то обременительную полноту и даже надутость, совершенно несвойственныя нашему языку: вотъ въ похвальныхъ словахъ *Ломоносова* главный порокъ, которымъ его можно упрекать.

Кто хочетъ видѣть *Ломоносова* во всемъ его величіи, во всемъ торжествѣ творца, со всѣми совершенствами и недостатками, тотъ пусть разсмотритъ со всѣхъ сторонъ эти два *похвальныя слова*, которыя составляютъ нѣчто одно цѣлое, которыя изображаютъ славу Петра въ вѣкѣ Елисаветы, въ вѣкѣ *Ломоносова*, которыя вознесли Ломоносова на такую высоту, на коей онъ доселѣ еще не разгаданъ послѣдователями, какъ Самъ Петръ долго былъ не разгаданъ. Въ этихъ словахъ виднѣется вся душа оратора со всѣми ея наклонностями, со всѣми добродѣтелями и слабостями его, со всѣми знаніями; словомъ: это отчетъ *Ломоносова* и его вѣка предъ потомствомъ. Отчетъ вѣрный, — ибо нельзя притвориться сильнымъ, равно какъ и мудрымъ, — изумительный; потому что отсюда мы усматриваемъ, что для человѣка съ великимъ умомъ и твердою волею нѣтъ ничего невозможнаго: *Ломоносовъ* родился въ то время, когда въ Россіи не было человѣка, который бы могъ описать простой случай чистымъ Русскимъ языкомъ понятнымъ для всякаго *Русскаго;* въ такомъ краю, гдѣ не было искры просвѣщенія, въ такомъ сословіи, изъ котораго и самый смѣлый мечтатель не могъ бы ожидать исполнителя тайныхъ и неясныхъ желаній, волновавшихъ въ то время великую душу Петра, и теперь этотъ

Ломоносовъ въ кругу людей просвѣщенныхъ изображаетъ дѣла *Петра Великаго*, въ Словѣ, истинно достойномъ своего предмета, съ краснорѣчіемъ, достойнымъ удивленія вѣковъ! Здѣсь въ сочинителѣ видимъ плаѣннаго, богатаго чувствованіями лирика, повѣствователя-поэта и Историка, глубокомысленнаго Философа, который силою слова владычествуетъ надъ душами слушателей. Здѣсь также отражаются и всѣ его ошибки: этотъ Латинизмъ въ словотеченіи и Германизмъ въ обиліи придаточныхъ и объяснительныхъ мыслей; и мѣстами этотъ общій вѣковой или современный недостатокъ чистаго вкуса и порокъ многословія! — Такъ дѣйствовалъ Ломоносовъ! Вотъ что онъ произвелъ! Онъ далъ обширную тему, которую болѣе полувѣка развивали, безпрерывно появлявшіеся за нимъ, сильные таланты!

Разбирая дѣятельность Ломоносова, мы не можемъ нынѣ въ нашъ вѣкъ видѣть въ его произведеніяхъ образцы достойные подражанія. Нѣтъ! каждый вѣкъ имѣетъ свой характеръ, свои достоинства и свои недостатки; и вѣкъ Ломоносова, имѣя ложное направленіе, увлекъ и его съ собою на эту ложную стезю. Но онъ великъ всегда и во всемъ, великъ въ жизни своей, въ исполинскихъ размѣрахъ своей дѣятельности, обширной и разнообразной. Потому не подражать ему, а изучать его мы должны во всемъ, какъ геніальнаго великаго дѣйствователя, который упорно и неослабно боролся съ обстоятельствами своими, съ народными и вѣковыми предразсудками, и который равно удивителенъ и какъ побѣдитель и какъ побѣжденный!

Сумароковъ.

Почти въ одно время съ нимъ (семью годами позже) явился на томъ же поприщѣ то невольный послѣдователь, то умышленный противникъ, то соперникъ его — *Сумароковъ*, самый ревностный любитель Словесности и самый разнообразный писатель. Кажется, талантъ

его пробудился отъ шума, произведеннаго въ читающемъ свѣтѣ успѣхами Ломоносова, и кажется, главною пружиною его неусыпнаго трудолюбія была мысль — *побѣдить* преобразователя Словесности; она тревожила его сильнѣе любви къ изящному. Это господствовавшая въ немъ идея! и едва ли Сумароковъ не былъ увѣренъ въ своей побѣдѣ надъ Ломоносовымъ, потому что онъ цѣнилъ себя очень высоко иногда даже слишкомъ откровенно говорилъ о своихъ достоинствахъ и заслугахъ, такъ напримѣръ: онъ, жалуясь на Московскую публику, что она *съѣзжается* въ Театръ на его трагедіи *грызть орѣхи, разсказывать новости и наказывать кучеровъ*, — *а Евгеніи*, кажется Бомарше, переводъ *Пушникова*, рукоплещетъ, говоритъ: *Но неужели Москва болѣе повѣритъ подъячему нежели Г. Вольтеру и мнѣ?....* Далѣе онъ еще несравненно смѣлѣе говоритъ о себѣ: *А ежели ни Г. Вольтеру, ни мнѣ кто въ этомъ повѣрить не хочетъ; такъ похвалю и такой вкусъ, когда щи съ сахаромъ кушать будутъ, чай пить съ солью, а кофе съ чеснокомъ....* Это невольно вылилось изъ его оскорбленной души въ минуту забвенія! Впрочемъ ни большой начитанности, ни страстной любви къ Словесности, ни таланта въ Сумароковѣ отвергать нельзя; онъ не имѣлъ только вкуса и сознанія степени силъ своихъ; и весьма далеко отсталъ отъ Ломоносова, какъ въ естественныхъ, такъ и пріобрѣтенныхъ средствахъ и силахъ ума. Нельзя согласиться съ мнѣніемъ Мерзлякова и о Трагедіяхъ Сумарокова, въ которыхъ онъ находитъ *легкость и краткость изложенія, быстроту дѣйствія, интересъ, завязку, характеры — все истинно трагическое;* въ которыхъ *геній Сумарокова является въ самомъ блистательномъ видѣ;* — .... даже не видно и того, чтобъ Сумароковъ *перенесъ изящность* своихъ образцевъ *на нашъ Театръ*. Что же касается до Одъ

Сумарокова, то Мерзляковъ судилъ о нихъ нѣсколько справедливѣе, говоря, что слогъ ихъ *менѣе важенъ, менѣе величественъ, менѣе цвѣтущъ, нежели у Ломоносова; но за то, если смѣю сказать, имѣетъ болѣе движеній, чувства, разнообразія. Почти всѣ Оды* его короче *Одъ Ломоносова, и потому планы ихъ простѣе и легче. Въ нихъ менѣе обнаруживается искуство поэта; нѣтъ, съ трудомъ приведенныхъ, эпизодовъ или отступленій; рѣже встрѣчаются принужденные восторги; онѣ всегда стремительнѣ и пылокъ. Ломоносовъ — Орелъ, парящій въ облакахъ медленно, стройно и важно. Сумароковъ подобенъ птицѣ, всегда почти летающей надъ поверхностію земною, и въ оборотахъ разнообразнѣйшихъ, быстрѣйшихъ достигающей своей цѣли.* Что же послѣ этого мы должны сказать о Сумароковѣ? поставимъ ли его, не по времени, а по достоинству рядомъ, съ Ломоносовымъ, великимъ преобразователемъ Словесности? Правда, онъ въ лирическихъ восторгахъ всегда свободенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ близокъ къ своему предмету; а Ломоносовъ, при самой стѣснительной искуственности, часто удаляется отъ предмета; но послѣдній и отступленіями своими увлекаетъ болѣе, нежели тотъ ближайшими къ предмету мыслями. Возмемъ въ доказательство этого мнѣнія одно изъ неумѣстныхъ отступленій Ломоносова, въ которомъ онъ отъ восторговъ переходитъ къ вспоминанію бѣдствій:

Намъ въ ономъ ужасѣ казалось,
Что море въ ярости своей
Съ предѣлами небесъ сражалось,
Земля стенала отъ зыбей,
Что вихри въ вихри ударялись,
И тучи съ тучами спирались,
И устрѣмлялся громъ на громъ,
И что надуты водъ громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты горъ съ влажнымъ дномъ,

Читатель, пораженный смѣлостію представленій, силою мыслей, и величественностію формъ, забываетъ излишество этой выходки. — Но вотъ каковы лучшія лирическія мѣста Сумарокова:

Въ радостной своей судьбѣ
Ликовствуй, Россія, нынѣ;
Щастіе твое цвѣтетъ!
Щедрая Елисавет!
Какъ тиха твоя держава,
Такъ громка безсмертна слава.

Или

Я зрю въ Россіи Геликонъ:
Разорвалися въ ней державши разумъ узы,
И обитаютъ Музы,
Не зря словесному ученію препонъ.
Потоки Ипокрены,
Съ твоей, Нева, мѣшаются волной,
Текутъ полночною страной!
И орошаютъ днесь твои, Петрополь, стѣны!
Не тѣмъ ужъ мѣстомъ ты, Петрополь, нынѣ зримъ,
Гдѣ прежде жили Фины;
На сихъ брегахъ поставленъ древній Римъ
И древнія Аѳины.
Тутъ
Словесныя науки днесь цвѣтутъ
О Петръ! О Елисавета!
Пребудутъ ваши въ вѣкъ на свѣтѣ имена.
Въ коротки времена,
Вы то изполнили ко удивленью свѣта.. ...

Чего недостаетъ въ этихъ стихахъ? Они произтекли изъ чувства радости, выражаютъ легкія, свободныя мечты, написаны языкомъ довольно правильнымъ, точнымъ и чистымъ, что впрочемъ у него рѣдко случается; касаются предмета близкаго сердцу Русскому. Однако ни сколько не трогаютъ сердца, не возносятъ духа. Отъ чего жъ такое противорѣчіе? Во-первыхъ, это произходитъ отъ недостатка общаго — отъ этихъ

классическихъ сравненій и метафоръ; во-вторыхъ, — отъ несоблюденія стихотворнаго *количества* (ρυθμὸς); такъ что одна мысль у него разтянута, другая сжата; въ-третьихъ — отъ совершеннаго незнанія піитическаго языка, который требуетъ рѣчи *непериодической* и *отрывистой*, и который скорѣе допуститъ *правильный періодъ*, нежели эту *слитность* рѣчи, выражаемую дѣепричастіями и относительными частицами, часто употребляемую Сумароковымъ. Все это нестерпимо въ лирической Поэзіи, чуждой всякихъ разсказовъ, и все это Сумароковъ любилъ, осуждая въ Ломоносовѣ быстроту слога его. Такъ называемыя, *вздорныя Оды* написаны были имъ именно для осмѣянія Ломоносова. *Пѣсни, элегіи, идилліи, эклоги* и *сатиры Сумарокова* грубы, тяжелы по языку, и часто противны законамъ приличія; *басни* его или *притчи* конечно не могутъ быть сравниваемы съ позднѣйшими въ этомъ родѣ писателями; однако онѣ въ свое время имѣли большой успѣхъ; а нѣкоторыя изъ нихъ имѣли истинное достоинство и доселѣ не совсѣмъ устарѣли, какъ, напримѣръ: *Волкъ* и *Ягненокъ*. Какъ прекрасна въ этой баснѣ придирка Волка, выражающая грубость и невѣжество притѣснителя, который хочетъ доказать свое право на самое разбойничество:

А. а! не отвертишься ты вертушка!
Блѣяла на меня твоя пастушка.
Камолыя рога
У этова врага.

Во время *Сумарокова* эта черта была истинно превосходна! Но мы видѣли, что онъ, по мнѣнію лучшихъ нашихъ Критиковъ, заслужилъ безсмертіе Драматическими произведеніями. Ежели Исторія судитъ дѣйствователей, не отдѣляя ихъ отъ обстоятельствъ; то и Сумарокова мы должны судить въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ онъ жилъ и дѣйствовалъ. Намъ

извѣстно, что Ломоносовъ явился на поприщѣ Литературы прежде Сумарокова, что онъ очистилъ нашъ языкъ отъ всякой примѣси, и что показалъ образцы его во всѣхъ родахъ прозы и поэзіи, кромѣ легкихъ сочиненій; слѣдовательно, въ тѣхъ сочиненіяхъ, которыя требуютъ важнаго языка, нужно было идти по слѣдамъ уже проложеннымъ; а тамъ, гдѣ Ломоносовъ не показалъ пути, нужно было прокладывать новую тропу по способу, даннону этимъ преобразователемъ. Такъ ли дѣйствовалъ Сумароковъ? Нѣтъ! Онъ хотѣлъ быть во всемъ самостоятельнымъ: хотѣлъ создать свою собственную Лирическую Поэзію, хотѣлъ сотворить свой языкъ, свое стихотворство и краснорѣчіе, хотѣлъ быть творцемъ всѣхъ родовъ Прозы и Поэзіи. Но, не имѣя генія, не могъ быть и творцемъ; не желая подражать Ломоносову въ языкѣ, онъ сдѣлался послѣдователемъ прежнихъ писателей, удержавъ многія сдѣланныя ими въ языкѣ ошибки: нечистоту, неправильность, неопредѣлительность его, хотя въ меньшей степени; а во многомъ невольно, безъ сознанія подражалъ Ломоносову. Чувствуя способность и охоту къ Драматической Поэзіи, онъ рѣшился создать Русскую Драму; но какъ самое понятіе о ней получилъ отъ Французскихъ писателей, то и произведенія его были совершенно копіи классико-Французскихъ драмъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ не имѣлъ Русскихъ образцевъ; и потому, сдѣлавъ все, что могъ сдѣлать съ данными средствами, онъ правъ; но языкъ и здѣсь вопіетъ противъ него; ибо только упрямство и самонадѣянность его были причинами худаго способа выраженія. — Въ комедіяхъ его мы безпрестанно встрѣчаемъ несообразности, произшедшія отъ того, что сочинитель, подражая, хотѣлъ быть оригинальнымъ: онъ списывалъ характеры съ общества и навязывалъ лицамъ чувствованія, разсужденія и дѣйствія изъ комедій Француз-

скихъ; по этой причинѣ онѣ представляютъ смѣсь Русскаго съ Французскимъ. Комедія требуетъ языка общежитно-разговорнаго, который въ его время еще не составился, и который, по недостатку генія, создать онъ не могъ; отъ того разговоръ его всегда тяжелъ, неровенъ, то напыщенъ, то низокъ и грубъ; а по незнанію цѣли комедіи, которая у него выше забавы не возносилась, изображалъ характеры почти всегда самые обыкновенные, повседневные. Часто, для возбужденія смѣха, онъ вводилъ въ Комедію людей съ естественными недостатками, наприм: *зайку*, дурака и т. п. И такъ комедія его отличалась отъ предшествовавшихъ только тѣмъ, что она взята изъ жизни общественной, изъ міра современнаго и подчинена извѣстнымъ классическимъ правиламъ; первымъ она выигрывала, а вторымъ болѣе теряла, нежели выигрывала — ибо эти правила не всегда могли удерживать геній отъ своевольства, а всегда стѣсняли его. Въ трагедіи онъ подражалъ Расину и современнику своему Вольтеру. Въ этомъ случаѣ онъ поступалъ весьма осмотрительно, или по крайней мѣрѣ удачно; ибо Трагедія предполагаетъ слишкомъ много условій; она требуетъ обширныхъ знаній, высшаго образованія; и совершенство ея никогда не можетъ предшествовать совершенству Исторіи; а какъ главная движущая сила въ трагедіи — чувствованія, страсти, то она требуетъ отъ сочинителя практическаго знанія душевныхъ движеній съ ихъ началами и слѣдствіями. Изъ девяти написанныхъ имъ трагедій, семь имѣютъ Русское содержаніе, взятое изъ Исторіи и преданій; но въ нихъ, кромѣ именъ, ничего нѣтъ Русскаго: ни одного характера, ни одной черты! Самыя историческія лица совершенно изкажены; въ мысляхъ, чувствованіяхъ и дѣйствіяхъ они не имѣютъ ни достовѣрности, ни вѣроятія историческаго. Это доказываетъ недостатокъ историческихъ и этнографическихъ свѣ-

дѣній и ложность понятія о піитической свободѣ. *Мерзляковъ*, утверждая превосходство за *Семирою*, *Хоревомъ* и *Синавомъ и Труворомъ*, удивляется быстротѣ дѣйствія ихъ, завязкамъ, занимательности и проч., удивляется также и тому, что *Димитрій Самозванецъ*, *слабѣйшее между другими твореніе*, *удержалось на Театрѣ долѣе*, *нежели Семира* и *Синавъ и Труворъ*. Можетъ быть, прибавляетъ онъ: *этому причиною приближенность происшествія и хорошіе актеры*, *любившіе сію пьесу*.—Но на чемъ основаны всѣ эти завязки?—На небывалыхъ свойствахъ лицъ дѣйствующихъ. По чему Трагедія *Димитрій Самозванецъ* правилась *хорошимъ актерамъ*, особенно *Дмитревскому*, а за ними и публикѣ?—Нѣтъ, не одна близость происшествія была тому причиною! Эта Трагедія написана далеко лучше другихъ; въ ней языкъ чистый, ровный, Ломоносовскій, и только тамъ встрѣчаемъ обвѣтшалости, гдѣ поэтъ боролся со стихомъ. Кажется, подъ конецъ жизни онъ иногда думалъ о необходимости измѣнять и обновлять языкъ, особливо, когда онъ увидѣлъ успѣхъ молодыхъ писателей, безпрерывно появлявшихся въ вѣкѣ Екатерины, напримѣръ: Хераскова, Богдановича и другихъ. Конечно, основаніе Самозванца нелѣпо; но въ этомъ отношеніи почти всѣ его Трагедіи однаковы: вездѣ два героя питаютъ нѣжную страсть къ одной красавицѣ; одинъ злой тиранъ, другой образецъ добродѣтели; для назиданія нравовъ, послѣдній, претерпѣвъ суточныя бѣдствія, долженъ побѣдить перваго;—къ нему благосклоннѣе красота. Иногда *сильнѣйшій*, слѣдовательно злой, не находя взаимности, вдругъ дѣлается великодушнымъ къ побѣжденному доброму сопернику. Это дань идиллическому вѣку! Въ слѣдствіе этого закона, Самозванецъ, которому Русскіе, по тогдашнему образу мыслей, не позволили бы имѣть ни одного порядочнаго качества, представленъ болѣе нежели *дьяволомъ;* какъ, напримѣръ,

онъ откровенно разсуждаетъ о своей злобѣ предъ обожаемою имъ Ксеніею:

Когда бы менѣе самолюбивъ я былъ;
Давно бъ Димитрія Димитрій погубилъ,
И есть ли бъ было льзя съ собою раздѣлиться·
Я сталъ бы мукою своею веселиться..

Это доказываетъ еще незнаніе *общежитной Психологіи* и отношеній къ нѣжному полу. Въ трехъ, выхваляемыхъ Мерзляковымъ, трагедіяхъ несообразности не такъ замѣтны; потому что характеры дѣйствователей не такъ рѣзки, не такъ выразительны, даже вялы; отъ того и самая естественность не можетъ сдѣлать ихъ занимательными. Характеръ же Самозванца, несносный по своей поразительной чудовищности для насъ питомцевъ критики, тѣмъ же самымъ свойствомъ возхищалъ современниковъ Сумарокова, которые были не слишкомъ взыскательны въ Поэзіи къ истинѣ не только исторической, даже Логической, и любили сильныя движенія. Такъ и знаменитый нашъ критикъ, стоя между Сумароковскимъ и настоящимъ вѣкомъ, замѣтилъ рѣзкія несообразности въ Самозванцѣ; но не нашелъ ихъ въ другихъ Трагедіяхъ, ибо здѣсь онѣ, по свойству характеровъ лицъ, не такъ поразительны; онъ не замѣтилъ даже, что Трагедія: *Синавъ и Труворъ*, совсѣмъ не имѣетъ дѣйствія, что *Хоревъ* не имѣетъ завязки, что въ обѣихъ этихъ Трагедіяхъ формы выраженія грубы, тяжелы и нечисты. Напримѣръ: Синавъ узнаетъ, что Ильмена, которая зажгла въ немъ нѣжную страсть, и Труворъ, любимый его братъ, любятъ взаимно другъ друга; онъ, оставшись одинъ, вотъ какъ выражаетъ чувствованія свои въ первую минуту движенія ихъ:

Се злое таинство открылося ужь мнѣ
Иль то, что слышалъ я, услышалъ я во снѣ.
Вздымаются власы, и сердце, ахъ! томится
Трясется подо мной земля, и небо тьмится!

Ильмена! . Труворъ!.. ахъ!... въ которую страну
Я съ большей жалостью несчастливый взгляну!
Мой братъ, любезный братъ! я другъ тебѣ не ложно; ..
Ильмена, мнѣ тебя покинуть не возможно.
Лишь только мои языкъ то имя наречетъ,
Великодушіе въ минуту утечетъ.
Собраніе пріятствъ, прекраснѣйшее тѣло.
Все счастіе мое отселѣ отлетѣло.

Это сильнѣйшее мѣсто изъ всей Трагедіи, и лучшіе стихи изъ всего предлиннаго монолога, а далѣе пойдутъ такіе, которыхъ нельзя читать безъ смѣху, напримѣръ:

Отъемлешъ... Отнялъ ужъ?... Что зляе мнѣ сего!
О естьли дружбу онъ мою еще вспомянетъ:
И мнѣ прелестную любити перестанетъ;
Великодушіе такое чѣмъ воздамъ!

Далеко ли эти стихи ушли отъ Тредьяковскаго? И можно ли подумать, чтобъ они были одного сочинителя съ слѣдующимъ монологомъ, которымъ у Сумарокова Лжедимитріи встрѣчаетъ свою послѣднюю, роковую ночь, въ мечтахъ предчувствуя свой конецъ:

«Блаженная душа идетъ въ объятья Бога.
А мнѣ показана съ престола въ адъ дорога.
Сія послѣдня ночь, ночь вѣчна будетъ мнѣ:
Увижу на яву, что страшно и во снѣ.
Скончаетъ неба мракъ народныя напасти;
Отниметъ у меня и жизнь и силу власти.
Багряная заря спѣшитъ на небеса,
И солнце утомясь низходитъ за лѣса;
Дабы свѣжайй себя природѣ *возратило*...
Почто ли въ небесахъ горящее свѣтило!
Во учрежденный часъ ты спустишься всегда;
А мнѣ уже тебя не зрѣти никогда.

Или тотъ же Лжедимитрій, пробужденный видѣніями отъ кратковременнаго безпокойнаго сна, тревожно говоритъ съ собою.

Довольно я терплю душевныхъ огорченій;
Не умножайте вы, мечты, моихъ мученій;
Мнѣ все приснилося, чѣмъ страшенъ мнѣ сей градъ·
И весь передъ меня представалъ ужасный адъ ..
(слышенъ колоколъ)
Въ набатъ біютъ! сему біенью что причина!
Въ сей часъ, въ сей страшный часъ, пришла моя кончина!
О ночь! о грозна ночь! о ты, противный звонъ!
Вѣщай мою бѣду, смятеніе и стонъ...

Я не указываю на тѣ мѣста, которыя по своей чрезмѣрности и неестественности выражаемыхъ представленій, могутъ оскорбить нынѣ разборчивый вкусъ и противорѣчить законамъ строгой критики, и которыя, впрочемъ, тогда почитались лучшими. А эти стихи, при хорошемъ выраженіи актера могутъ имѣть значительный успѣхъ и нынѣ.

Изъ всего сказаннаго о Трагедіяхъ Сумарокова должно заключить: что онѣ, для насъ только памятники усилія человѣка съ талантомъ, желавшаго дать намъ правильную трагедію; образовать высшее изящное искуство Драматическую Поэзію; что онѣ удовлетворяли современнымъ требованіямъ во всемъ, кромѣ языка; что нынѣ несправедливо говорятъ о нихъ съ пренебреженіемъ; что несправедливо также называли ихъ образцами совершенства; — онѣ не имѣютъ драматическаго искуства, а часто и трагическихъ формъ выраженія; — что странно бъ было, требовать отъ Сумарокова высокаго искуства, а еще страннѣе — обвинять его въ недостаткѣ этого искуства, и что, наконецъ, эти произведенія, равно какъ и вся его литературная дѣятельность, достойны благодарности и историческаго памятованія; они для насъ имѣютъ относительное, историческое, достоинство. — Всякому свое! — Вообще же надобно сказать, что онъ напрасно пренебрегалъ формами, напрасно соперничествовалъ Ломоносову, вопреки природѣ и судьбѣ, которыя опредѣлили ему продолжать

начатое этимъ геніемъ; т. е. воздѣлать тѣ отрасли Словесности, къ которымъ онъ болѣе способенъ. Тогда онъ былъ бы несравненно выше, и раздѣлилъ бы съ Ломоносовымъ славу окончательнаго преобразованія.

Впрочемъ, Сумароковъ не ограничивалъ Поэзіею ни трудолюбія своего, ни спора съ Ломоносовымъ: онъ занимался Исторіею, Философіею и ораторствомъ; и написалъ; *Краткій Московскій лѣтописецъ*, *Описаніе двухъ первыхъ Стрѣлецкихъ бунтовъ*, и *Приступъ къ Исторіи Петра Великаго;*—можетъ быть эти произведенія были въ свое время нужны и имѣли свою важность; но Исторія и лѣтопись не Поэзія; онѣ не невольно изливаются изъ души, а добровольно, умышленно пишутся для потомства; въ этомъ дѣлѣ судъ критики неумолимъ, особливо противъ пристрастія! Философическія статьи его несравненно важнѣе историческихъ; но онѣ еще занимательнѣе и полезнѣе были бы, если бъ сочинитель, при составленіи ихъ, руководствовался болѣе внушеніемъ своего ума, нежели вѣрою въ иностранныхъ, прочитанныхъ имъ, писателей. Теперь онѣ показываютъ, какъ Русскіе учились у иностранцевъ подражательно, не выходя изъ круга дѣйствій ученическихъ; а тогда онѣ остались бы живыми памятниками самостоятельности Русскаго ума; показали бы намъ, какъ этотъ умъ, возбужденный полетомъ другихъ, окрылялся самъ, сообразуясь съ обственными силами. Впрочемъ нельзя сказать, чтобъ у Сумарокова не было ничего собственнаго; онъ иногда размышлялъ самостоятельно, только менѣе, нежели могъ; — собственное его литературное разсужденіе о Россійскомъ духовномъ краснорѣчіи, которое забыто по причинѣ изложенія слишкомъ некраснорѣчиваго достойно вниманія. Ораторскія сочиненія его послѣ похвальныхъ словъ Ломоносова не могутъ имѣть мѣста въ Исторіи Литературы; потому что она излагаетъ послѣдовательность успѣховъ Словесности, сви-

дѣтельствующихъ о степени развитія внутренней жизни; а рѣчи Сумарокова, умноживъ количество произведеній Словесности, ни сколько не подвинули ее впередъ. Такъ положено основаніе нашей классической Словесности въ всѣхъ ея отрасляхъ!

Лирическая поэзія.

Ежели бы нужно было означить духъ этого періода какимъ либо родомъ Поэзіи; то онъ могъ бы быть названъ *лирическимъ* періодомъ; кромѣ того, что лирическая Поэзія въ теченіи этого времени доведена до высшаго совершенства, она была самая употребительная; не было ни одного поэта, который бы не хотѣлъ прославить себя *одами* и *пѣснями;* не многіе даже изъ прозаиковъ избѣжали этого искушенія. Того требовалъ историческій ходъ народа. Русскіе тогда были новички въ политическомъ могуществѣ; не могли, безъ піитическаго восторга, слышать громъ побѣдъ и видѣть пышныя торжества, и всѣ хотѣли пѣть. Нѣкоторые писатели, не смотря на то, что пользовались заслуженною славою въ другихъ родахъ Поэзіи и что Оды дѣлались смѣшны, хотѣли, наперекоръ природѣ, быть лириками. Это частію можно отнести и къ Сумарокову; почти то же можно сказать и о Херасковѣ. Послѣдній старался въ этомъ родѣ подражать Ломоносову и сравняться съ нимъ; но, не имѣя силы генія, не могъ въ Одахъ своихъ имѣть той важности и величія, которыми Ломоносовъ покрывалъ свою искуственность; а ежели иногда возвышался до сферы истинной Поэзіи, то возвышенность эта была болѣе эпическая, ознаменованная олицетвореніями и чудесностію. Болѣе же всего *Херасковъ* теряетъ въ мнѣніи потомства тою холодностію, которая происходила отъ желанія быть назидательнымъ вездѣ и во всемъ; для сего онъ написалъ множество, такъ названныхъ имъ, *нравоучительныхъ Одъ*. Не смотря однако же на это нравоучительное направленіе, въ лирикѣ неумѣстное, его *Анакреонтическія* стихотворенія

часто не имѣютъ необходимой благопристойности, о которой впрочемъ немногіе Поэты его времени заботились. Почти всѣ оды Хераскова начинаются обращеніями къ баснословно-греческимъ богамъ, напримѣръ:

Безсмертныи сыне Калліопы,
Пошли мнѣ лиру днесь свою,
Да диво свѣта, честь Европы,
Екатерину воспою.

Ежели бы изступленные возторги и сильныя чувствованія, выражаемыя, безъ всякаго искуства, часто безъ соблюденія законовъ языка и вкуса, могли доставить рѣшительное преимущество въ лирикѣ; то *торжественныя* и другихъ родовъ *Оды Петрова* могли бы поставить этого поэта выше всѣхъ его соперниковъ; онѣ по чувствамъ не рѣдко сильнѣе даже пѣснопѣній Ломоносова, а по выраженію тяжелѣе, грубѣе и неправильнѣе Сумарокова. Но величайшій пѣвецъ Екатерининa вѣка — *Державинъ!* Онъ — по всѣмъ отношеніямъ есть чудное явленіе въ литературномъ мірѣ. Мы не можемъ остановиться ни на одномъ изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ, котораго бы можно было сравнить съ нимъ. Кто бываетъ такъ возвышенъ, силенъ, быстръ, стремителенъ? Кому такъ послушны піитическія формы? Кто такъ легко, такъ свободно можетъ находить высокое и прекрасное въ самыхъ обыкновенныхъ повседневныхъ случаяхъ? или кто можетъ однимъ прикосновеніемъ своимъ всему простому, обыкновенному сообщать истинное изящество? Но гдѣ его слѣды, гдѣ вліяніе его въ нашей Литературѣ? — Кто-то сказалъ, что появленіе генія на землѣ есть высшее благодѣяніе небесъ человѣчеству. Нѣтъ никакой возможности опровергнуть сію всеобщую истину; но и того никто еще не доказалъ, что Державинъ не составляетъ исключенія изъ этого положенія; по-крайней-мѣрѣ не опредѣлены, не приведены въ извѣстность его заслуги. Лучшіе наши кри-

Державинъ.

тики то сравниваютъ его съ Ломоносовымъ, то съ Пиндаромъ, то съ Горацiемъ, то съ Бардами, то съ Байрономъ; то называютъ какимъ-то одинокимъ существомъ въ мірѣ, и всѣ даютъ ему рѣшительно имя *Русскаго поэта*—въ точномъ смыслѣ этого выраженія; но ни одно изъ сравненій не познакомило насъ съ *Державинымъ*. У насъ долго господствовало надъ умами литературное повѣрье — опредѣлять достоинство писателей сравненіемъ ихъ съ Ломоносовымъ; потому и Мерзляковъ, извѣстный нашъ критикъ, сравниваетъ этихъ двухъ поэтовъ такимъ образомъ: «Ломоносовъ всегда рабъ своего предмета; Державинъ управляетъ имъ по своей волѣ. — Первый всегда равенъ въ своемъ паренiи; другой, подобно молнiи, поражаетъ вдругъ и часто скрывается отъ своего читателя.» Потомъ перваго уподобляетъ *величественной рѣкѣ*, а другаго *водопаду*. Не говоря уже о томъ, что сравненiе невѣрно—ибо Ломоносовъ деспотически управлялъ своимъ предметомъ, а Державинъ, восторженный, такъ увлекался предметомъ, что пѣлъ до изнеможенiя, до послѣдней вспышки невольно спрашиваешь самого себя: къ чему приведутъ эти сравненiя?—Что они объясняютъ? Ровно ничего!—Самое это сравненiе Державина съ Ломоносовымъ доказываетъ, что ихъ сравнивать нельзя и не должно, и что Ломоносовымъ нельзя опредѣлить ни достоинствъ, ни недостатковъ Державина. Если бъ доказали намъ, что онъ истинно *Русскiй Поэтъ;* то этимъ опредѣлили бы и мѣру заслугъ его; ибо дотолѣ у насъ, кромѣ древнихъ, не было ни *Русскаго поэта*, ни *Русской Поэзiи*. Но безпредѣльно смѣлый и мощный геній Державина нельзя приковать ни къ времени, ни къ мѣсту; онъ не принадлежитъ ни какой странѣ, ни какому вѣку; Россiи остается гордиться только тѣмъ, что она произвела генiя, принадлежащаго цѣлому человѣчеству и вѣчности. Не только идеи Державина, но и формы рѣдко со-

ставляютъ исключительно наше достояніе. Назовемъ ли мы его *Русскимъ поэтомъ* потому, что онъ пѣлъ Екатерину, Суворова и Русскую славу? Нѣтъ! онъ пѣлъ величіе, свойственное всѣмъ народамъ и вѣкамъ. Онъ рисуетъ современные нравы, добродѣтели, пороки и причуды, изображаетъ портреты и характеры знаменитыхъ лицъ Екатеринина вѣка, описываетъ даже частную домашнюю жизнь и препровожденіе времени самой Государыни. Но развѣ въ этомъ состоитъ народность? Все это можетъ изобразить и талантливый иностранецъ. Русская народность состоитъ въ этомъ необъяснимомъ Русскомъ движеніи сердца, въ этой неуловимой для теоріи особенности, которыя можно чувствовать, но нельзя объяснять. Этихъ-то свойствъ народности очень мало въ Державинѣ; они для него были какъ бы слишкомъ частны, слишкомъ тѣсны. Однако и самые величайшіе геніи, относительно чувственной стороны, не могутъ быть свободны отъ вліянія законовъ природы, физическихъ и нравственныхъ обстоятельствъ, отъ вліянія самыхъ предметовъ пѣснопѣнія; и вліяніе это всегда усиливается по мѣрѣ ослабленія духа; такъ Державинъ, подъ старость, сдѣлался болѣе частнымъ, болѣе Русскимъ, особенно *въ чувственныхъ, анакреонтическихъ* произведеніяхъ, въ которыхъ часто отражаются, хотя немногія, но рѣзкія черты народности. Вообще же этому великому духу назначено пройдти земное поприще на удивленіе человѣчества. Все земное устроено намъ на пользу; но звѣздный сводъ, не принося намъ положительныхъ пользъ, не улучшая внѣшняго нашего быта, неужели напрасно красуется предъ нами? неужели бытіе его для насъ тщетно? Нѣтъ! онъ поражаетъ насъ благоговѣйнымъ удивленіемъ, возвышаетъ духъ до созерцанія Творца въ высшемъ безпредѣльномъ его твореніи; это принадлежитъ всему человѣчеству, но не многіе изъ лю-

дей способны къ принятію такихъ ощущеній; а сіи-то немногіе составляютъ высшее звено человѣчества. Таково назначеніе великихъ геніевъ, превышающихъ дѣлами своими земныя потребности и житейскія частности! Таково назначеніе Державина! такъ онъ исполнилъ свое призваніе! Посмотримъ, какъ Зиждитель міровъ во всей безпредѣльности своей отражается на его великой душѣ, и какъ поэтъ отливаетъ въ вещественныя формы представленія безпредѣльнаго, которыя такъ легко, такъ естественно переходятъ отъ Философіи къ Поэзіи. Созерцая Творца по отношеніямъ его къ твари, онъ, какъ философъ, знаетъ Его безпредѣльность, вѣчность, чудную самобытность; и понимаетъ Его какъ человѣкъ; представляетъ, какъ поэтъ, въ пространствѣ, во времени, въ природѣ; и потому взываетъ:

О Ты, пространствомъ безконечный,
Живый въ движеньи вещества,
Теченьемъ времени превѣчный,
Безъ лицъ въ трехъ лицахъ Божества;
Духъ, всюду сущій и единый,
Кому нѣтъ мѣста и причины,
Кого никто постичь не могъ;
Кто все собою наполняетъ,
Объемлетъ, зиждетъ, сохраняетъ,
Кого мы нарицаемъ — Богъ.

Измѣрить океанъ глубокій,
Сочесть пески, лучи планетъ
Хотя и могъ бы умъ высокій;
Тебѣ числа и мѣры нѣтъ...
. . . . . .

Лишь мысль къ Тебѣ взнестись дерзаетъ,
Въ Твоемъ величьи исчезаетъ,
Какъ въ вѣчности прошедшій мигъ...
. . . . . ,

Какъ искры сыплются, стремятся,
Такъ солнцы отъ Тебя родятся.

Какъ *въ мразный ясный день зимой*
Пылинки инея сверкаютъ,
Вратятся, зыблются, сіяютъ;
Такъ звѣзды въ безднахъ подъ Тобой...
. . . . . .

Въ воздушномъ океанѣ ономъ,
Міры умножа милліономъ
Сто кратъ другихъ міровъ, и то,
Когда дерзну сравнить съ Тобою,
Лишь будетъ точкою одною;
А я передъ Тобой ничто.
Ничто! — но Ты во мнѣ сіяешь
Величествомъ Твоихъ добротъ;
Во мнѣ себя изображаешь,
Какъ солнце въ малой каплѣ водъ.
Ничто! — но жизнь я ощущаю. .

Я связь міровъ, повсюду сущихъ,
Я крайня степень вещества,
Я средоточіе живущихъ,
Черта начальна Божества!
Я тѣломъ въ прахѣ истлѣваю,
Умомъ громамъ повелѣваю;
Я царь, — я рабъ, — я червь, — я Богъ! —
Но будучи я столь чудесенъ,
Отколь произошелъ? — Безвѣстенъ...

Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь:
Источникъ жизни, благъ податель,
Душа души моей и Царь! —
Твоей-то правдѣ нужно было
Чтобъ смертну бездну преходило
Мое безсмертно бытіе;
Чтобъ духъ мой въ смертность облачился,
И чтобъ чрезъ смерть я возвратился,
Отецъ! въ безсмертіе Твое.

Вотъ форма, которую создалъ поэтъ для изображенія Творца, человѣка и взаимнаго ихъ отношенія. У кого

мы найдемъ что либо подобное, или хотя близкое къ этому изображенію? Кто бы осмѣлился сказать: *міры умножа милліономъ—сто кратъ другихъ міровъ*, или: *какъ въ мразный ясный день зимой — пылинки инея сверкаютъ?* Кто бы могъ дать этимъ незначущимъ выраженіямъ такую силу? Какой смѣлый взоръ нуженъ, чтобъ открыть въ отблескѣ капли сходство съ сіяніемъ Творца въ человѣкѣ! Здѣсь каждый стихъ удивляетъ насъ, возноситъ духъ размышляющаго къ безконечному, какъ звѣзды, сіяющія въ сводѣ неба. Человѣкъ съ чувствомъ возвышеннымъ не можетъ читать этихъ стиховъ безъ благоговѣйнаго трепетанія сердца. Но что выиграла въ томъ толпа мелкихъ стихописателей? Облегченъ ли тѣмъ трудный для нихъ путь—связывать мысли и составлять выраженія? Высокій духъ торжествуетъ, видя, какъ смѣло человѣкъ возносится къ Божеству, составляя *начальную черту* Его, и чрезъ тлѣніе возвращаясь въ безсмертіе *Его*. Такъ Державинъ представилъ величіе человѣка, который носитъ въ себѣ подобіе существа безпредѣльнаго; но посмотримъ теперь, какъ изобразилъ онъ слабость *сего человѣка*, трепещущаго предъ вѣчностію, въ которую долженъ погрузиться. Взглядъ на бездушный трупъ друга, который еще не давно цвѣлъ жизнію, и роскошно, шумно наслаждался благами земли и всѣми выгодами общественности, заставилъ его задуматься о скоротечности жизни—и въ это время онъ слышитъ бой часовъ. Такое повседневное, ежечасное, но всегда забываемое и эту минуту неожиданное движеніе времени прервало ль нить его размышленій? Нѣтъ! оно сообщило чрезмѣрную быстроту развитію ихъ!. Въ этомъ, по видимому пустомъ, звукѣ поэтъ узналъ голосъ вѣчности, который возвѣстилъ ему невозвратность минувшаго; и изторгнулъ изъ души его грустныя чувствованія и размышленія:

Глаголъ временъ! металла звонъ!
Твой страшный гласъ меня смущаетъ.
Зоветъ меня, зоветъ твой стонъ,
Зоветъ и къ гробу приближаетъ!
Едва увидѣлъ я сей свѣтъ,
Уже зубами смерть скрежещетъ;
Какъ молніей косою блещетъ,
И дни мои какъ злакъ сѣчетъ.

Ничто отъ роковыхъ когтей,
Ни кая тварь не убѣгаетъ.
Монархъ и узникъ снѣдь червей!
Гробницы злость стихій снѣдаетъ.
Зіяетъ время славу стерть.
Какъ въ море льются быстры воды;
Такъ въ вѣчность льются дни и годы;
Глотаетъ царства алчна смерть.

Скользимъ мы бездны на краю,
Въ которую стремялавъ свалимся...
Безъ жалости все смерть разитъ:
И звѣзды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ.

Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ!
Гдѣ жъ онъ?—онъ тамъ!—гдѣ тамъ?—не знаемъ.....
Утѣхи, радость и любовь
Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,
У всѣхъ тамъ цѣпенѣетъ кровь,
И духъ мятется отъ печали.
Гдѣ столь былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ;
Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробныя тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ.
Глядитъ на всѣхъ: и на Царей,
Въ державу коимъ тѣсны міры;
Глядитъ на пышныхъ богачей,
Что въ златѣ и сребрѣ кумиры;
Глядитъ на прелесть и красы;
Глядитъ на разумъ возвышенный;
Глядитъ на силы дерзновенны,—

И точитъ лезвее косы.
Смерть трепетъ естества и страхъ!
Ей гордость съ бѣдностью совмѣстна.
Сегодня Богъ, а завтра прахъ....

Подите, счастья, прочь возможны;
Вы всѣ премѣнны здѣсь и ложны;
Я въ дверяхъ вѣчности стою!...

Какой твердый человѣкъ не содрогнется при чтеніи первыхъ стиховъ? И кто, вмѣстѣ съ поэтомъ, вообразивъ смерть, которая спокойно глядитъ на царя и нищаго, на героя и мудреца и *точитъ лезвее косы*—не возкликнетъ: *смерть трепетъ естества и страхъ!* Такъ Державинъ возвышаетъ человѣка, такъ смиряетъ его; такъ онъ служитъ человѣчеству, дѣйствуя непосредственно только на избранныхъ. Ему предназначено изобразить величіе и ничтожество человѣка, чтобы онъ, чтя въ себѣ Божество, зналъ, что одинъ шагъ ему до ничтожества, что онъ *сегодня Богъ, а завтра прахъ!* Здѣсь поэтъ показалъ намъ двѣ крайности человѣческаго естества; но вотъ какъ онъ изображаетъ его въ Исторіи:

Везувій пламя изрыгаетъ;
Столпъ огненный во тьмѣ стоитъ;
Багрово зарево сіяетъ,
Дымъ черный клубомъ въ верхъ летитъ;
Краснѣетъ понтъ, реветъ громъ ярый,
Ударамъ въ слѣдъ звучатъ удары;
Дрожитъ земля, дождь искръ течетъ;
Клокочутъ рѣки рдяной лавы:
О Россъ!—таковъ твой образъ славы...

Представивъ *образъ славы* и настоящее могущество Росса, поэтъ обращается къ историческимъ воспоминаніямъ, изображаетъ тѣ перемѣны и бѣдствія, которыя онъ вынесъ прежде, нежели достигъ славы и могущества; изображаетъ, какъ Россъ во имя Бога возсталъ и великимъ духомъ своимъ *стряхнулъ* съ себя всѣ бѣды.

Лежалъ онъ во своей печали,
Какъ темная въ пустынѣ ночь:
Враги его рукоплескали,
Друзья не мыслили помочь;
Сосѣди грабежа алкали;
Князья, бояра въ нѣгѣ спали,
И ползали въ пыли какъ червь.
Но Богъ, но духъ его великій
Сотрясъ съ него бѣды толики—
Разторгнулъ левъ желѣзну вервь!
Возсталъ!—какъ утромъ холмъ высокій
Встаетъ, подъемлется челомъ
Изъ мглы широкой и глубокой,
Разлитой вкругъ его;—и громъ
Поверхъ главы въ ничто вмѣняя,
Ногами волны попирая,
Пошелъ!—и кто возмогъ противъ?—
Отъ шлема молніи скользили,
И океаны уступили,
Стопамъ его пути открывъ.

Хотите ли слышать, какъ онъ предсказываетъ себѣ историческое бесмертіе?

Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный!
Металловъ тверже онъ и выше пирамидъ!
Ни вихрь его, ни громъ не сломитъ быстротечный,
И времени полетъ его не сокрушитъ.
Такъ!—весь я не умру, но часть меня большая,
Отъ тлѣна убѣжавъ, по смерти станетъ жить,
И слава возрастетъ моя, не увядая,
Доколь Славяновъ родъ вселенна будетъ чтить.
Слухъ пройдетъ обо мнѣ отъ бѣлыхъ водъ до черныхъ,
Гдѣ Волга, Донъ, Нева, съ Рифея льетъ Уралъ;
Всякъ будетъ помнить то въ народахъ неизсчетныхъ,
Какъ изъ безвѣстности я тѣмъ извѣстенъ сталъ,
Что первый я дерзнулъ въ забавномъ Русскомъ слогѣ
О добродѣтеляхъ Фелицы возгласить;
Въ сердечной простотѣ бесѣдовать о Богѣ
И истину царямъ съ улыбкой говорить!

О муза! возгордись заслугой справедливой;
И презритъ кто тебя, сама тѣхъ презирай;

Непринужденною рукой, не торопливой,
Чело свое зарей безсмертія вѣнчай.

Но и природа открыла ему свои тайны; смотрите, какъ онъ соперничествуетъ съ нею; какъ она послушно преклоняется подъ его всевластное перо! Какъ она по манію его грозно говоритъ, да *услышатъ водопады міра!*

Алмазна сыплется гора
Съ высотъ четыремя скалами;
Жемчугу бездна и сребра
Кипитъ въ низу, бьетъ вверхъ буграми;
Отъ брызговъ синій холмъ стоитъ,
Далече ревъ въ лѣсу гремитъ.

Шумитъ — и средь густаго бора
Теряется въ глуши потомъ;
Лучъ чрезъ потокъ сверкаетъ скоро,
Подъ зыбкимъ сводомъ древъ, какъ сномъ
Покрыты волны, тихо льются,
Рѣкою млечною влекутся.

Сѣлая пѣна по брегамъ
Лежитъ буграми въ дебряхъ темныхъ;
Стукъ слышенъ млатовъ по вѣтрамъ,
Визгъ пилъ и стонъ мѣховъ подъемныхъ:
О водопадъ! въ твоемъ жерлѣ
Все утопаетъ въ безднѣ, въ мглѣ!

Вѣтрами ль сосны пораженны?
Ломаются въ тебѣ въ куски.
Громами ль камни отторженны?
Стираются тобой въ пески.
Сковать ли воды льды дерзаютъ?
Какъ пыль стеклянна ниспадаютъ.

Волкъ рыщетъ вкругъ тебя, и страхъ
Въ ничто вмѣняя, становится;
Огонь горитъ въ его глазахъ.
И шерсть на немъ щетиной зрится;

Рожденный на кровавый бой,
Онъ воетъ, согласясь съ тобой.

Лань идетъ робко, чуть ступаетъ,
Внявъ водъ твоихъ падущихъ ревъ,
Рога на спину приклоняетъ
И быстро мчится межъ деревъ;
Ее страшитъ вкругъ шумъ, бурь свистъ
И хрупкій подъ ногами листъ.

Ретивый конь осанку горду
Храня, къ тебѣ порой идетъ:
Крутую гриву, жарку морду
Поднявъ, храпитъ, ушми прядетъ;
И подстрекаемъ бывъ, бодрится,
Отважно въ хлябь твою стремится.

Сошла Октябрска ночь на землю,
На лоно мрачной тишины:
Нигдѣ я ничего не внемлю,
Кромѣ ревущія волны,
О камни съ высоты добримой,
И снѣжною горою зримой.

Пустыня, взоръ насупя свой,
Утесы и скалы дремали;
Волнистой облака грядой
Тихонько мимо пробѣгали,
Изъ коихъ, трепетна, блѣдна,
Проглядывала внизъ луна.

Ведетъ и нѣкая громада,
Гигантъ предъ нимъ возсталъ въ пути,
Главой небесъ, ногами ада
Касаяся, претитъ идти.

Со ребръ его шумятъ внизъ рѣки,
Предъ нимъ мелькаютъ дни и вѣки...
Ничто его не потрясаетъ;
Онъ громъ и бури презираетъ,
Нахмурясь смотритъ Сен-Готаръ.

А тамъ — волшебница сѣдая
Лежитъ на высотѣ холмовъ;
Дыханьемъ солнце отражая,
Блеститъ въ дали огнями льдовъ,
Которыми одѣта зрится:
Она на всю природу злится;
И въ страшныхъ инистыхъ скалахъ,
Нависнувшихъ снѣговъ слоями,
Готова задавить горами,
Иль въ хладныхъ задушить когтями.

А тамъ — невидимой рукою
Простертое съ холма на холмъ
Чудовище, какъ мостъ длиною,
Рыгая дымъ и пламень ртомъ,
Бездонну челюсть разверзаетъ,
Въ единый мигъ полки глотаетъ;
А тамъ — пещера черна спитъ,
И смертнымъ мракомъ взоры кроетъ,
Какъ бурею гортанью воетъ:
Предъ ней отчаянье сидитъ.

Послѣ этихъ выписокъ, нужно ли доказывать, что Державинъ былъ не простой стихотворецъ, который потому поетъ, что хочетъ дѣлиться своими чувствованіями, или находитъ въ томъ выгоду, утѣшеніе, удовольствіе и т. п. Нѣтъ! онъ пудимый духомъ, пѣлъ потому, что не могъ не пѣть; это было потребностію его души, кипящей дѣятельностію. Онъ, какъ другъ природы и человѣчества, въ минуты возторговъ сливался съ ними душею, изторгалъ изъ глубины ихъ тайны,— сокровенныя для нихъ самихъ, и, приводя свои ясновидѣнія въ прекрасныя формы, посвѣщалъ свои творенія человѣку. Въ нихъ видѣнъ поэтъ, философъ и нравоучитель: но его философія нравоучительна такъ, какъ божественная картина міросданія, которая, нечувствительно развивая нить высокихъ помысловъ, предоставляетъ намъ удовольствіе видѣть въ себѣ самостоятельныхъ мыслителей. Вотъ человѣкъ, который имѣлъ

завистниковъ, но не могъ имѣть соперника. Его упрекали *излишнею увѣренностію* въ своемъ геніи. Но это не слабость. — Не самохвальство заставило его съ Гораціемъ возгласить въ услышаніе вѣковъ: *я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный!* это благодарность своему генію. Державинъ, какъ лице со всѣми наклонностями и страстями, былъ рабъ своего генія, который отторгалъ его отъ земли; поставлялъ выше условій общества и уносилъ въ вѣчность; отъ того онъ обыкновенно пѣлъ до изнеможенія; отъ того конечные стихи его Одъ всегда слабы; такъ что послѣдняя строфа въ самыхъ лучшихъ его произведеніяхъ почти всегда лишняя; напримѣръ: въ Одѣ: *Богъ*, что бы можно было еще сказать послѣ этихъ стиховъ?

И чтобъ чрезъ смерть я возвратился,
Отецъ, въ безсмертіе твое?

Или въ Одѣ: *на смерть К. М.*: *я въ дверяхъ вѣчности стою!* Послѣ говорить было нечего и не о чемъ. Однако онъ прибавляетъ по строфѣ, въ той и другой; въ первой: —

Неизъяснимый, непостижный,
Я знаю, что души моей
Воображенія безсильны....

А во второй:

Сей день иль завтра умереть
Перфильевъ, должно намъ конечно.
Почто жъ терзаться и скорбѣть....

Такъ и во многихъ другихъ, какъ напримѣръ въ Одахъ: *На побѣды въ Италіи*, *Орелъ*, *Вельможа* и проч. Иногда впрочемъ это было слѣдствіемъ страннаго желанія — написать много, подобно Ломоносову. А отъ того онъ часто нарушалъ единство чувствованія и даже единство предмета, какъ напримѣръ въ Одахъ: *Водопадъ*, *На*

переходъ Суворова чрезъ Альпы, и т. п. Что жъ касается до языка, то Державинъ и въ этомъ отношеніи былъ необыкновенный писатель; ибо онъ не рѣдко рядомъ съ высокими выраженіями поставлялъ такія слова и обороты, для употребленія которыхъ надобно имѣть много смѣлости; напримѣръ: *и то когда дерзну сравнить съ Тобою, лишь будетъ точкою одною*. Однако они ни сколько не противорѣчатъ чистотѣ слога; онъ не нарушалъ правилъ языка, а, такъ сказать, превышалъ ихъ.

Но при всемъ величіи своемъ и необыкновенности, Державинъ не могъ произвести эпохи, не могъ сообщить никакого направленія нашей Литературѣ; потому что онъ самъ не имѣлъ опредѣленнаго направленія; сначала онъ долго подражалъ Ломоносову; потомъ уже послѣ *оды на рожденіе порфироороднаго отрока* принялъ свой характеръ самобытный. Господствующая же его мысль, идея, — которую онъ ясно выразилъ въ любимомъ своемъ произведеніи *Фелицѣ*, въ Одахъ: *Богъ*, *на смерть Князя Мещерскаго*, въ преложеніяхъ псалмовъ, даже въ *памятникѣ* и другихъ твореніяхъ — столь смѣла, столь высока, что никто изъ поэтовъ послѣдующихъ не разгадалъ ее, и никто не осмѣлился идти по слѣдамъ его, кромѣ Князя Долгорукова, который иногда касался его мысли; никто даже не повторялъ формъ его. Эту свою мысль онъ выказалъ очень ясно также выборомъ Псалмовъ и Пророчествъ, какъ напримѣръ:

Возсталъ Всевышній Богъ, да судитъ
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.
Доколѣ, рекъ, доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ?

Большая часть нашихъ критиковъ, разбиравшихъ Державина, находятъ, что въ пѣснопѣніяхъ его отра-

жаются современныя ему идеи вѣры, философіи, правовъ и политики; и по этому отраженію идей дѣлятъ всѣ его произведенія на *духовныя, политическія* и *анакреонтическія*. Правда, творенія его почти можно такъ дѣлить, прибавивъ къ нимъ только Оды *философическія;* но раздѣляетъ ли онъ съ своимъ вѣкомъ этотъ скептицизмъ, это невѣріе, и политическія сумасбродства? — Нѣтъ! Вся эта современность въ одахъ его видна только потому, что онъ хвалитъ подвиги, возхищается добродѣтелями, караетъ пороки, и конечно тѣ подвиги и добродѣтели, которые совершаются передъ его глазами; то зло, тѣ пороки, которые тяготили общество въ его время. Онъ былъ выше своего времени во всѣхъ отношеніяхъ; и ежели отставалъ отъ него въ чемъ либо, то развѣ въ школьныхъ книжныхъ знаніяхъ. Онъ разсказываетъ о современныхъ подвигахъ славы, и чистая великая душа его горитъ пламенною любовію ко всему великому; но онъ изображаетъ величіе безъ современныхъ условій; его величіе вѣчно. Онъ поетъ добродѣтель, но добродѣтель не условную, временную, а христіанскую—вѣчную. Когда же онъ представляетъ другую сторону современнаго міра: его пороки, причуды, слабости, заблужденія, сердце его кипитъ негодованіемъ. Онъ не раздѣлялъ сердцемъ и душей заблужденій своего вѣка; онъ не сочувствуетъ слабостямъ и причудамъ его; онъ только знаетъ ихъ. Изобразивъ дѣла и добродѣтели Фелицы, вотъ какъ онъ обращается къ ней:

Стыдишься слыть ты тѣмъ великой,
Чтобъ страшной, нелюбимой быть;
Медвѣдицѣ прилично дикой
Животныхъ рвать и кровь ихъ пить...
Фелицы слава — слава Бога,
Который брани усмирилъ,
Который сира и убога
Покрылъ, одѣлъ и накормилъ;

Который окомъ лучезарнымъ
Шутамъ, трусамъ, неблагодарнымъ
И праведнымъ свой свѣтъ даритъ,
Ровно всѣхъ смертныхъ просвѣщаетъ,
Больныхъ покоитъ, изцѣляетъ,
Добро лишь для добра творитъ;
Котораго законъ, десница
Даютъ и милости и судъ.
Вѣщай, премудрая Фелица!
Гдѣ отличенъ отъ честныхъ плутъ?
Гдѣ старость по міру не бродитъ?
Заслуга хлѣбъ себѣ находитъ?
Гдѣ месть не гонитъ никого?
Гдѣ совѣсть съ правдой обитаютъ?
Гдѣ добродѣтели сіяютъ?
Утрона развѣ твоего!

Но какимъ ужаснымъ негодованіемъ Державинъ поражаетъ тупеядца вельможу?

А ты, второй Сарданапалъ!
Къ чему стремишь всѣхъ мыслей бѣги!
На то ль чтобъ вѣкъ твой протекалъ
Средь игръ, средь праздности и нѣги?
Чтобъ пурпуръ, злато всюду взоръ
Въ твоихъ чертогахъ восхищали,
Картины въ зеркалахъ дышали,
Мусія, мраморъ и фарфоръ? и т. д.

Но вотъ какъ онъ въ своемъ водопадѣ говоритъ объ истинномъ величіи, изобразивъ тщету всего:

И плоть, и трудъ коль изтлѣваетъ,
Что жъ нашу славу составляетъ?
Лишь истина даетъ вѣнцы
Заслугамъ, кои не увянутъ;
Лишь истину поютъ пѣвцы,
Которыхъ вѣчно не престанутъ
Гремѣть перуны сладкихъ лиръ;
Лишь праведника святъ кумиръ.
Услышьте жъ, водопады міра!
О славой шумныя главы!

Вашъ свѣтелъ мечъ, цвѣтна порфира,
Коль правду возлюбили вы;
Когда имѣли только мѣту,
Чтобъ счастіе доставать свѣту.

Во многихъ произведеніяхъ Державина восторгъ такъ сливается съ негодованіемъ сатиры, что многіе недальновидные *критики* — теориковъ у насъ нѣтъ — причисляютъ, на этомъ основаніи, сатиру къ лирикѣ.

Долгоруковъ.

Одною мыслію съ Державинымъ проникнутъ былъ Князь *Долгоруковъ;* но онъ не имѣлъ той же силы генія, и пѣлъ посвоему, какъ могъ; и потому онъ сходствуетъ съ Державинымъ только главною идеей,—хотя въ меньшемъ видѣ — и свободою въ мысляхъ и выборѣ формъ. Недостатокъ величія, возвышенности, быстроты восторговъ, глубокомыслія и творчества у Долгорукова замѣняется неподражаемою простотою въ мысляхъ и выраженіи; въ Одахъ его философія и правоученіе такъ легки, такъ заманчивы, что, читая ихъ, кажется, слушаешь совѣты стараго, опытнаго, веселаго друга, который и въ ужасахъ природы и въ жестокостяхъ судьбы умѣетъ найдти пріятное, иногда забавное. Долгоруковъ далеко не достигъ всеобщности Державина, возпесшагося надъ окружающими его обстоятельствами; однако онъ, какъ поэтъ, не принадлежитъ своему вѣку; онъ разторгнулъ тяжкія оковы классицизма; это особенно замѣтно въ его *Посланіяхъ*, которыя весьма удачно проявляютъ нѣкоторыя черты *простонародности*. Полное собраніе его сочиненій издано подъ названіемъ: *Бытіе сердца моего*. Ежели бы назвать оное: *Бытіе добраго сердца, полнаго чувствованій*, то сіе названіе выразило бы характеръ сочинителя и сочиненій.

Тихая задумчивость, легкая мечтательность, благородное негодованіе противъ зла и предразсудковъ и на-

конецъ безпредѣльная вѣра составляютъ его характеристику; возмемъ, напримѣръ его *завѣщаніе* или вспоминаніе о сестрѣ:

Вотъ здѣсь, когда меня не будетъ,
Вотъ здѣсь, уляжется мой прахъ.
На мѣстѣ семъ меня разбудитъ
Одинъ гласъ трубный въ небесахъ.
Тогда совсѣхъ концевъ вселенной
На страшный судъ нелицемѣрной
Стекутся люди всякихъ вѣръ;
Цари смѣшаются съ рабами;
Безумцы станутъ съ мудрецами;
Съ ханжей столкнется изувѣръ.
Въ пространномъ царствѣ всей природы
Ударитъ вѣчной жизни часъ....
И я, проснувшись на кладбищѣ,
Что подъ Филями за Москвой,
Предстану также на судище,
Гдѣ станетъ земнородныхъ строй.
Съ друзьями тамъ соединюся
Съ отцемъ, съ сестрой, съ дѣтьми сойдуся,
И вѣрю, Богомъ духъ плѣня,
Что радости сея священной,
Ни съ чѣмъ на свѣтѣ несравненной,
Никто не возметъ отъ менк.

Неледенскій-Мелецкій.

Хотя Державинъ создалъ *легкое пѣснопѣніе* въ своихъ Анакреонтическихъ Одахъ; но Литература наша все еще не имѣла пѣсень, кромѣ Сумароковскихъ и Херасковскихъ, которыя отличались или грубостію слога и неблагопристойностію, или идиллическою важностію и торжественностію Одъ. Нелединскій-Мелецкій первый началъ писать легкія, пріятныя пѣсни и романсы, которымъ конечно, по духу времени, недоставало естественности и *истинной* простоты; но при всемъ томъ они въ свое время не имѣли соперничества; а по нѣжности чувствованій и теперь занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

Капнистъ и Дмитріевъ.

После Державина, Лирика представляла для поэтовъ самый опасный путь къ славѣ, особенно для тѣхъ пѣвцевъ, которые бы дерзнули идти по слѣдамъ его. Вотъ, кажется, почему *Капнистъ* и *Дмитріевъ*, какъ скромные, хотя и сильные, таланты, сознавая степень силъ своихъ, такъ умѣренны въ пѣснопѣніи. Въ первомъ замѣтна какая-то робость и недовѣрчивость къ самому себѣ; онъ уже разнообразнѣе Ломоносова, свободнѣе Хераскова; но какъ по общимъ идеямъ, такъ и по способамъ изображенія чувствованій и представленій совершенно принадлежитъ къ ихъ школѣ, и отличается отъ нихъ только какою-то Оссіановскою унылостію, свойственною жителямъ Сѣвера; слѣдовательно и у него уже замѣтно было стремленіе къ народности. Дмитріевъ занимаетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ нашей Литературѣ, — успѣлъ образовать стихотворный языкъ и весьма значительный въ этомъ дѣлѣ успѣхъ дѣлаютъ честь его вкусу, и доказываютъ глубокое знаніе языка; но лирическія пѣснопѣнія обнаруживаютъ въ немъ болѣе искуснаго стихотворца, нежели вдохновеннаго поэта. — Та самая наблюдательность за собою, та отчетливость въ мысляхъ и словахъ и строгая бережливость въ чувствованіяхъ, которыя такъ много даютъ ему превозходства въ другихъ родахъ поэзіи, дѣлаютъ его Оды и гимны слишкомъ правильными; они всѣ такъ обдѣланы и округлены однообразно, что всегда можно опредѣлить окончаніе ихъ. Но ежели каждое изъ сихъ произведеній читать безъ сличенія съ другими; то нельзя не чувствовать истиннаго удовольствія. Впрочемъ между ими есть и такія, которыя невольно исторглись изъ разтроганной души поэта; какъ напримѣръ: *Размышленіе по случаю грома* и *Ермакъ*. Первое заслуживаетъ вниманіе по силѣ чувствованій чистыхъ, возвышенныхъ, показывающихъ способность поэта къ лирическимъ возторгамъ; а вто-

рее обнаруживаетъ то, что ежели бы поэтъ *болѣе* довѣрялъ собственнымъ силамъ, которыя онъ деспотически подчинялъ принятымъ правиламъ, то онъ могъ бы произвести несравненно болѣе; онъ былъ способенъ создать *Поэму*. Оба эти писатели владѣютъ языкомъ и формами его съ великимъ искуствомъ, и благородствомъ выраженія превозходятъ всѣхъ предшественниковъ. Уже возстала новая Литература, слышны новыя пѣсни юныхъ пѣвцевъ; но вѣрные *древнимъ музамъ*, усердные ихъ жрецы, Графъ *Хвостовъ*, Бобровъ и Шатровъ свидѣтели торжества Державина и другихъ безсмертныхъ писателей, свидѣтели торжества и паденія классической школы, долго пѣли на развалинахъ ея. — Но всему есть чреда — и старые пѣвцы смѣнены новыми!

Эпопея.

При естественномъ развитіи словесныхъ искуствъ за Лирикой непосредственно слѣдуетъ Эпопея. Ибо когда народъ перестаетъ возхищаться, то предается возпоминаніямъ и, соображая ихъ, сводитъ въ разсказъ. У насъ не таковъ ходъ словесности; и при томъ это не начальный періодъ; — и Поэма является, какъ мы видѣли, въ одно время съ Лирикою. Но можетъ ли быть у насъ въ точномъ значеніи эпическая поэма? Нѣтъ! при всѣхъ усиліяхъ нашихъ поэтовъ удержаться на той возвышенной мечтательности о той дѣтской простой жизни, — когда человѣкъ безотчетно вѣрилъ, что и самые мелочные случаи частной жизни зависѣли не отъ него, но отъ Воли высшей и отъ указанія неисповѣдимой для насъ судьбы — какихъ требуетъ эпическая поэзія, она невольно переходитъ у насъ въ романъ, требующій для самыхъ вымысловъ историческаго взгляда и изложенія. Мы видѣли, какъ мало успѣлъ сдѣлать для поэмы Ломоносовъ; но если бы онъ произвелъ другую Иліаду, и тогда бы не угодилъ намъ; ибо эта земная чудесность не удивляетъ насъ, не наполняетъ сердца священнымъ тре-

петомъ. Слѣдовательно, мы не должны въ нашихъ Поэмахъ искать древняго эпизма; наши эпическіе поэты могутъ удивлять насъ только тѣмъ искуствомъ, съ которымъ они приближаются къ этой простодушной чудесности. А ежели они еще успѣютъ иногда привести въ движеніе сердце, ежели произведутъ въ немъ чувствованіе страха, умиленія и т. п.; то сдѣлаютъ уже болѣе требуемаго. Херасковъ въ повѣствовательной Поэзіи далеко превзошелъ Ломоносова. Всѣ написанныя имъ поэмы, по содержанію, можно раздѣлить на три разряда: *историческія*, *вымышленныя* и *смѣшенныя*. Первый разрядъ составляютъ: *Владиміръ*, *Россіада*, *Чесменскій бой*, *Царь* или *спасенный Новгородъ*; второй — *Пилигримы* или *Искатели счастія*, *Селимъ* и *Селима*; третій — *Вселенная*, *Бахаріана* или *неизвѣстный*. Къ симъ послѣднимъ также могутъ быть отнесены: *Кадмъ* и *Гармонія*, *Полидоръ сынъ Кадма* и *Гармоніи* и *Нума Помпилій*. Ежели мы будемъ искать между произведеніями Хераскова Эпопеи; то должны остановиться на—*Владиміръ и Россіадѣ* и преимущественно на первой; потому что содержаніе ея — введеніе въ Россію Христіанской вѣры, или лучше сказать: крещеніе Владиміра, который, прежде свершенія сего великаго дѣла, долженъ былъ преодолѣть многія препятствія, происходившія отъ пылкости его характера, отъ страстей, отъ предразсудковъ и суевѣрія, и отъ происковъ людей и козней, враждующаго человѣку, духа, — это содержаніе, какъ по отдаленности, такъ и по существу своему, способно къ развитію до Поэмы; оно соединено съ воспоминаніями народнаго дѣтства, богато преданіями о чудесахъ, объ участіи неба въ дѣлахъ земли. Но о Россіадѣ самъ сочинитель говоритъ, что предметъ ея не готовъ для Эпопеи; онъ писалъ ее не по вдохновенію, а по идеѣ нравственнаго назиданія. Это нравоучительное направленіе, происходившее отъ

Херасковъ.

ложнаго понятія о Поэзіи, послужило источникомъ или основаніемъ ложному мнѣнію о Херасковѣ, что онъ совсѣмъ не имѣлъ піитическаго таланта. Въ эту ошибку онъ впадалъ не отъ слабости духа, а отъ правилъ; онъ думалъ, подобно большей части своихъ современниковъ, что Поэзія должна излагать положительныя нравоученія. Нѣтъ! Она только возвышаетъ духъ великими идеями; и такимъ образомъ уже посредственно пріохочиваетъ насъ любить все высокое, благородное, слѣдовательно и добродѣтель; даже дидактическая Поэзія только прельщаетъ читателя изображеніемъ добра и пользы, а не учитъ его. Всякое положительное ученіе — дѣло прозы; и потому оно часто сближаетъ съ прозою поэмы Хераскова, который впрочемъ имѣлъ неподдѣльный талантъ. — Простой взглядъ на каждую его поэму докажетъ намъ объ послѣднія мысли. Прежніе критики обыкновенно отдавали предпочтеніе предъ всѣми его произведеніями *Владиміру* и *Россіадѣ*; но ежели разсмотрѣть эти двѣ Поэмы ближе безъ всякихъ предубѣжденій; то окажется, что это предпочтеніе основано только на приближеніи поэмъ къ правильной Эпопеѣ, и на превосходствѣ искуства; преимущественно же объемъ и величина ихъ, кажется, имѣли рѣшительное вліяніе въ этомъ предпочтеніи. Содержаніе первой Поэмы, какъ уже выше показано, доступно для чудесъ; потому сочинителю оставалось только согласить чудесное съ естественнымъ, народнымъ и современнымъ, и сообщить единство, послѣдовательность и стройную соотвѣтственность *Исторіи*, *преданіямъ* и *вымысламъ;* во второй, чтобы не разсказать Исторіи въ стихахъ, онъ долженъ былъ вымышлять не одни цвѣты Поэзіи, но и содержаніе эпическое: слѣдовательно первая требовала болѣе искуства, нежели творчества, а вторая высшаго творчества, управляемаго искуствомъ. Творчество требуетъ силы, таланта или генія отъ поэ-

та и высокой занимательности отъ содержанія; искусство—знанія матеріяла и взаимнаго соотношенія составныхъ частей его, знанія взаимной зависимости матеріяла съ формою, и знанія назначенія своего произведенія. Херасковъ умѣлъ выбрать для всѣхъ своихъ Поэмъ предметы, сильно дѣйствующіе на творческій духъ; воспламенявшись каждымъ изъ нихъ, создавалъ то великія, то прекрасныя представленія, умѣлъ по требованіямъ Эпопеи подчинить главный ходъ дѣйствія вліянію судебъ, и согласить это съ духомъ Христіанства; умѣлъ по правиламъ, существовавшихъ въ то время, теорій опредѣлить свойство представленій и логическія отношенія ихъ; старался нравоучительностію своихъ произведеній служить человѣчеству; но не имѣя генія, онъ не могъ какъ ему хотѣлось, всегда парить высоко, не могъ быть постоянно богатъ возвышенными помыслами,—а хотѣлъ творить въ огромномъ объемѣ; — не отличая школьнаго міра отъ дѣйствительнаго, и миѳологическаго отъ чудеснаго, онъ не замѣчалъ историческихъ несообразностей. Не могъ согласить характеръ главнаго эпическаго дѣйствователя — предопредѣленія небесъ — съ противодѣйствующими силами—страстями. Короче: его искуство торжествовало только надъ механизмомъ Поэмы; а духовная сторона осталась со всѣмъ не воздѣлана. Вотъ отъ чего большія Поэмы его представляютъ смѣсь изображеній смѣлыхъ, истинно піитическихъ съ мелочными и прозаическими; онѣ наполненны историческими несообразностями, такъ что Славянскіе боги и служители ихъ дѣйствуютъ подобно богамъ и жрецамъ Греческимъ; вотъ отъ чего онѣ несравненно слабѣе малыхъ его Поэмъ; ибо первыя — слѣдствіе придуманности и труда, а послѣднія плодъ вдохновенія; въ тѣхъ онъ, желая быть плодовитымъ, часто бываетъ искуственно многословенъ; а въ этихъ, выражаясь свободно, онъ проще, естественнѣе и сильнѣе; въ тѣхъ онъ подражалъ, въ

этихъ пѣлъ; потому въ послѣднихъ картины естественнѣе, языкъ чище, стихъ ровнѣе, глаже; напримѣръ:

Тамъ озеро въ травѣ, какъ зеркало, лежало,
Небесный синій сводъ оно изображало;
Свѣтила дневнаго играли въ немъ лучи,
И звѣзды, проходя, смотрѣлися въ ночи.

А ежели разсматривать всѣ эти произведенія въ духѣ современныхъ Хераскову теорій и другихъ обстоятельствъ; то найдемъ, что первыя двѣ достойны названія эпическихъ Поэмъ — въ классико-Европейскомъ смыслѣ,—нося впрочемъ два главные недостатка: трудность вымысловъ и грубость формъ; а послѣднія должно назвать или *эпиколирическими* произведеніями, какъ напримѣръ: *Вселенная* и *Чесменскій Бой*. или *Лирическими сказками*, какъ напримѣръ: *Пилигримы* и другія. Но не въ названіяхъ сущность дѣла! Нужно рѣшить еще одинъ вопросъ: отъ чего новые критики отвергаютъ піитическій талантъ въ Херасковѣ?—Во-первыхъ, отъ того, что эти критики совсѣмъ не съ той точки разсматриваютъ сочинителя; а во-вторыхъ отъ того, что онъ слишкомъ много связывалъ себя подражаніемъ разнороднымъ и разнохарактернымъ писателямъ; въ-третьихъ — онъ, зная правильность и опредѣлительность языка лучше всѣхъ современныхъ ему писателей, не зналъ стихотворныхъ оборотовъ или формъ его, и по тому часто Поэзія его казалась прозой; а въ-четвертыхъ, и преимущественно, потому что новѣйшіе критики, видя преувеличенныя похвалы прежнихъ критиковъ, подозрѣваютъ ихъ въ пристрастіи, и также безотчетно порицаютъ Хераскова, какъ прежде безотчетно хвалили его. Такъ одна крайность раждаетъ другую! Но вся бѣда въ томъ, что Херасковъ не могъ сбросить съ себя оковъ классицизма; умъ его до такой степени былъ порабощенъ

школьными понятіями, что онъ, кажется, вѣрилъ въ возможность производить на душу современниковъ своихъ древнемиѳологическими богами точно такое же дѣйствіе, какое Иліада производила на Грековъ; потому Русскимъ повѣрьямъ даетъ видъ греческій. —Хотя не возможно составить понятіе по нѣсколькимъ выпискамъ о цѣлой Поэмѣ; однако для прозорливаго ума онѣ могутъ служить къ нѣкоторымъ догадкамъ, особенно при вѣрныхъ указаніяхъ; посему постараемся выбрать нѣсколько изображеній, соотвѣтствующихъ этой цѣли. Владиміръ, убѣжденный Греческимъ проповѣдникомъ и чудеснымъ явленіемъ, рѣшается принять Христіанскую вѣру; жрецъ Пламидъ коварствомъ вводитъ Князя въ затрудненія, проистекающія изъ господствующей его слабости. — Устроено празднество въ храмѣ Лады; туда является Владиміръ:

Межъ ними шествуетъ Владиміръ въ колесницѣ;
Латонинъ будь-то сынъ, источникъ свѣтлыхъ дней,
Четырехъ управлялъ вождями онъ коней,
Которы бѣлизной подобны снѣгу были ...
. . . . . .

Великолѣпія адъ придалъ торжеству;
Всегда онъ хочетъ быть подобенъ Божеству:
Кумирный храмъ своимъ сіяньемъ окружаетъ;
И въ ликахъ таинства небесъ изображаетъ.
Ступеней седьмь, и седьмь вкругъ идола столповъ,
Не тайну кажутъ числъ, но ходъ седьми грѣховъ;
Изчадія сіи тѣлесныхъ вожделѣній,
Стоятъ имъ свойственныхъ въ лицѣ изображеній.

Имѣя видъ жены и нѣкій лестный взглядъ,
Подноситъ сладостный въ сосудѣ *Роскошь* ядъ;
Безстыдство тамъ въ вѣнцѣ, *Веселіе* въ порфирѣ;
Соблазны перстомъ бьютъ по многострунной *лирѣ*;
Желанье вьетъ вѣнки, подъемлясь на крылахъ;
И *Пресыщенье* спитъ на маковыхъ цвѣтахъ;

Являетъ *Гордость* входъ въ украшенну божницу.
Владиміръ обожалъ любовныхъ дѣлъ царицу;
Приноситъ жертвы ей, рука его дрожитъ,
Сомнѣніе какъ тьма въ груди его лежитъ;
Богиню славитъ онъ, но помнитъ и явленье;
Страшится ей нанесть и небу оскорбленье.
Пламидъ, сихъ помысловъ проникнувъ существо,
Даетъ рукою знакъ начати торжество...

И се къ подножію блистательнаго трона
Предстала первая прекрасная Версона!
Владиміръ на нее едва, едва воззрѣлъ,
Пронзила грудь его любовь быстрѣе стрѣлъ;
Живое Божество ему изобразилось,
Смутился вдругъ и сердце вспламенилось....

Сынъ Ладинъ въ воздухѣ взвивается крылами,
И напрягаетъ лукъ пернатыми стрѣлами:
Единою успѣлъ Владиміра пронзить,
Другою думаетъ Версону поразить;
Какъ лучъ въ водѣ, одна во князѣ погрузилась,
Другая, какъ перо, по воздуху носилась....

Далѣе поэтъ изображаетъ весьма живо, сильно и точно-эпически козни жреца, страсть Князя, борьбу Версоны, разлучаемой съ Законестомъ, и потомъ торжество благочестія въ сердцѣ Владиміра, его разкаяніе, предстательство Архангела предъ престоломъ Божіимъ за кающагося Владиміра и:

Тогда явился Богъ, одѣянъ вѣчнымъ словомъ;
Связующую міръ, рукою цѣпь держалъ,
И десять вкругъ него сіяло тѣхъ началъ,
Изъ коихъ создана великая вселенна;
Нетлѣнна сила ихъ и сущность ихъ нетлѣнна;
Пять ранъ Мессіиныхъ рождаютъ въ небѣ свѣтъ,
Изъ оныхъ жизнь на всю вселенную течетъ....

Свѣтись, Мессія рекъ, въ странѣ полночной свѣтъ!
И сѣверъ зрится весь сіяніемъ одѣтъ....
Владиміру же коснулась благодать;
Но возрожденья онъ еще былъ долженъ ждать.

Вотъ содержаніе третьей пѣсни и завязка поэмы: *Владиміръ!* Эти выписки очень далеки отъ того, чтобъ назвать ихъ лучшими мѣстами поэмы; и при всемъ томъ онѣ могутъ служить доказательствомъ, что Херасковъ былъ поэтъ, что *Владиміръ* его можетъ стоять въ ряду немногихъ новоклассическихъ поэмъ; отсюда видны и всѣ недостатки его; напримѣръ: неумѣстность *Латонина сына, источника дней*, несообразность изображенія Ладина храма *съ семью грѣхами*, описаніе Леля по образцу Эрота и часто встрѣчаемые прозаическіе обороты. Но между тѣмъ здѣсь видны, можетъ быть, неумышленныя усилія поэта сбросить иго классицизма, и уклоненіе къ Роману, выраженное любовною завязкою и свободнымъ участіемъ многихъ лицъ. Страсть къ правоученіямъ посредствомъ изящнаго, родившаяся отъ неяснаго понятія о значеніи Поэзіи, подражательное направленіе и тайный внутренній голосъ вѣковаго духа, стремившагося къ Историческому Роману, заставили Хераскова написать два романа: *Кадмъ и Гармонія*, и *Полидоръ*. Эти произведенія, хотя и не могутъ быть названы Романами въ точномъ значеніи этого слова; однако они всегда останутся незабвенны въ нашей Литературѣ, какъ первоначальные опыты Романа, какъ памятники таланта, предчувствовавшаго будущее направленіе духа, какъ памятники рожденія этого, столь важнаго и столь обильнаго въ нашъ вѣкъ, рода Словесности. Довольно легкая и пріятная нравоучительность, съ занимательностію излагаемая ходомъ сихъ повѣствованій, чистота, ровность и правильность прозаическаго языка, какихъ въ то время нельзя было найти, у другихъ писателей объясняютъ намъ причину, по которой эти произведенія, особенно первое, долго почти во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ были выучиваемы наизустъ и, вмѣстѣ съ Россіадою, разбираемы были, какъ самые правильные образцы.

Херасковъ уже чувствовалъ потребность легкой поэзіи; и въ поэмѣ: Пилигримы, — а иногда и въ другихъ — оставлялъ эпическую важность; но, онъ не могъ измѣнить характеръ своего таланта, и, какъ бы сознавая свою неспособность создать пріятнозабавное чтеніе, образовалъ прекрасный талантъ Богдановича, который, подъ покровительствомъ сего Поэта-Мецената, произвелъ *Душеньку*. Этотъ прелестный цвѣтокъ нашей Словесности называютъ переводомъ Лафонтеновой *Психеи*. Нужно ли и прилично ли здѣсь объяснять, что значитъ переводить? — Возьмемъ лучшія мѣста изъ *Душеньки*, напримѣръ: прощанье Душенки, ея странствованія, покушенія на жизнь, гнѣвъ и жалоба Венеры, — ея ревнивыя выходки, наряды той и другой; и поищемъ ихъ въ Психеѣ. Что жъ окажется? — Лафонтенъ и Богдановичъ — оба пародировали Овидія и Апулея; но одинъ дѣлалъ это для Французовъ, а другой для Русскихъ; и потому тотъ важныя древнемиѳологическія представленія облекалъ въ формы обыкновенныя повседневно Французскія; а этотъ тѣ же самыя представленія соединялъ съ мелочными Русскими, одѣвая, напримѣръ, *Венеру* въ *сарафанъ* и покрывая ее *фатою*. Это два живописца различныхъ школъ, которые сходствуютъ только въ томъ, что оба изобразили одинъ предметъ съ какимъ-то добродушнымъ остроуміемъ; но одинъ выказалъ свое остроуміе болѣе въ драпировкѣ картины, а другой въ положеніи лицъ. Богдановичъ.

Содержаніе *Душеньки* очень просто: Дочь какого-то Греческаго Царя красотою своею возбудила зависть Венеры; богиня преслѣдуетъ ее; а сынъ ея Эротъ, или Купидонъ, на ней женится; отъ того гоненія еще болѣе усиливаются; — но терпѣніе *Душеньки*, покровительство судьбы и сильныхъ боговъ мирятъ ихъ. Окончаніе Душеньки имѣетъ характеръ Русскихъ сказокъ, въ которыхъ на преслѣдуемыхъ героевъ возлагаются тяжелыя послуги,

какъ наприм. добываніе *живой* и *мертвой* воды и т. п. Когда Венера:

Куда ни обращаетъ взоръ,
Не зритъ ни жертвъ, ни ѳиміамовъ;
Жрецы тогда стада пасли,
И множество Цитерскихъ храмовъ
Травой и лѣсомъ заросли....

Вотъ какъ она жалуется своему сыну:

Амуръ, Амуръ! вступись за честь мою и славу,
Яви свой суд, яви управу!
Ты знаешь Душеньку, иль могъ о ней слыхать:
Простая смертная, ругаяся богами,
Не ставитъ ни во что твою безсмертну мать;
Уже и нашими слугами
Осмѣлилась повелѣвать;
И въ областяхъ моихъ надъ мной торжествовать.
Могу ли я сносить и видѣть равнодушно,
Что Душенькѣ одной вездѣ и все послушно?
За ней гоняяся, отъ насъ отходятъ прочь
Поклонники, друзья, Амуры и Зефиры,
И скоро Душенькѣ послушны будутъ міры.
Юпитеръ самъ по ней вздыхаетъ день и ночь,
И слышно, что беретъ себѣ ее въ супруги —
Гречанку наглую едва ли царску дочь,
Забывъ Юнонины и вѣрность и услуги?
Какой ты будешь богъ и гдѣ твой будетъ тронъ,
Когда отъ нихъ другой родится Купидонъ?

Какъ прекрасны изображенія торжества Душеньки въ чертогахъ ея таинственнаго супруга!

А тамъ предъ ней Сатурнъ, безъ зубъ, плѣшивъ и сѣдъ,
Съ обновою морщинъ на старолѣтней рожѣ,
Старается забыть, что онъ давнишній дѣдъ;
Прямитъ свой дряхлый станъ, желаетъ быть моложе,
Кудритъ оставшіе волосъ своихъ клочки,
Чтобъ видѣть Душеньку, вздѣваетъ онъ очки.
А тамъ она видна, подобяся царицѣ,
Съ Амурами вокругъ, въ воздушной колесницѣ;

Прекрасной Душеньки за честь и красоту,
Амуры тамъ сердца стрѣляютъ на лету.

Когда же Душенька, подстрекаемая сестрами, прогнѣвала Амура, который скрывалъ ее отъ гнѣва Венеры; тогда

Зефиры Царску дочь обратно унесли
Изъ горнихъ мѣстъ къ земли,
Туда, откуда взяли;
И тамъ
Оставили полмертву,
Какъ будь-то лютымъ львамъ
И аспидамъ на жертву....
Въ ужасной сей пустынѣ,
На самой той горѣ,
Куда, по повѣстямъ, вездѣ извѣстнымъ нынѣ,
Ни звѣрь не забѣгалъ,
Ни птицы не летали,
И гдѣ, казалося, лишь страхи обитали,
Увидѣла себя безъ райскихъ покрывалъ,
Лежащу въ платьецѣ простомъ и ненарядномъ....

Долго Душенька тосковала, и въ горѣ наконецъ она

Съ вершины въ пропасть рва пуститься предпріяла,
Пошла, заплакала съ платочкомъ на глазахъ,
Вздохнула, ахнула.... и бросилась въ размахъ....
Зефиръ, слуга ея при вѣтренныхъ путяхъ,
Увидя царску дочь въ толь видимыхъ бѣдахъ,
Не ждалъ себѣ о томъ особаго приказа,
Оставилъ всѣ дѣла въ высокихъ небесахъ,
Тряхнулъ крыломъ, порхулъ три раза,
И Душеньку, тогда летящую на низъ,
Прикрывъ воскрыліемъ своихъ воздушныхъ ризъ,
Отъ всякой наглости толпы разнонародной
Какъ должно подхватилъ,
Какъ должно отдалилъ
Отъ пропасти бездонной,
И тихо положилъ
На мягкихъ муравахъ долины благовонной.

Здѣсь выспавшись, она искала другихъ родовъ смерти, напримѣръ:

Искала камней въ полѣ:
И острый камень, какъ нибудь,
Вонзить себѣ хотѣла въ грудь....
Но камень превратился въ хлѣбъ....

Хоть свѣтъ ей былъ постылъ;
А надобно, для укрѣпленья силъ,
Ломотикъ хлѣбца скушать.

Потомъ Душенька....

Неся на смерть красу,
Явилася въ лѣсу....
И плачась на судьбу,
Явилась на дубу;
Избравъ крѣпчайшій сукъ, послѣдній шагъ ступила,
И свой платокъ, какъ должно, прицѣпила,
И въ петлю Душенька головушку вложила:
О чудо изъ чудесъ!
Потрясся долъ и лѣсъ!
Дубовый, грубый сукъ, на чемъ она повисла,
Съ почтеніемъ къ ея прекрасной головѣ
Погнулся такъ какъ прутъ,
И здраву Душеньку поставилъ на травѣ;
И всѣ тогда суки, нанизъ влекомы ею,
Иль сами волею своею
Шумѣли радостно надъ нею,
И съединяючи концы,
Свивали ей вѣнцы;
Одинъ лишь наглый сукъ за платье зацѣпился....

Не могши къ дубу прицѣпиться,
Она рѣшилась утопиться.
На случай сей рѣка
Была не далека.
Царевна съ берега крутова
На смерть пустилась снова;
Но вдругъ противною судьбой
Поѣхала она на щукѣ шегардой;

И ѣхавъ по верху опасиѣйшей дороги,
Мочила Душенька лишь только хвостъ и ноги....

Наконецъ Душенька, увидѣвши пылающія дрова, рѣшилась сгорѣть; — но....

Лишь только бросилась во пламень на дрова,
Какъ вдругъ невидимая сила
Подъ нею пламень погасила.
Мгновенно дымъ исчезъ, огонь и жаръ потухъ,
Остался лишь потребный теплый духъ,
Затѣмъ, чтобъ ножки тамъ Царевна осушила,
Которыя въ водѣ недавно замочила.
Узрѣвъ себя безвредну на дровахъ,
Вскричала громко: ахъ....

Здѣсь старый рыболовъ, узнавши Душеньку, указалъ ей на столбѣ прибитое объявленіе Венеры:

Понеже Душенька прогнѣвала Венеру,
И Душеньку Амуръ Венерѣ въ стыдъ хвалилъ;
Она же Душенька румяны унижаетъ,
Мрачитъ передъ собой достоинство бѣлидъ,
И всяку красоту повсюду обижаетъ;
Она же Душенька, имѣя стройный станъ,
Прелестные глаза, пріятную усмѣшку,
Богиню красоты не чтитъ и ставитъ въ пѣшку;
Она же взорами сердцамъ творитъ изъянъ,
Богиней рядится и носитъ хвостъ въ три пяди, —
Того, или иного ради,
Венера каждому и всѣмъ
О гнѣвѣ на нее своемъ
По должной формѣ извѣщаетъ,
И всяку милость обѣщаетъ
Тому, кто Душеньку на срокъ
Къ Венерину лицу представитъ....

Но всѣ эти выписки не могутъ и приблизить читателя къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя производитъ чтеніе всей поэмы.

Богдановичъ, кажется, желалъ произвесть *классико-эпическую* Поэму для *своего вѣка;* ему представилась

тьма несообразностей и противорѣчій между условіями такой поэмы и требованіями современнаго вкуса; отсюда родилась мысль, служащая основою *Душеньки*, въ которой явилась *пародія* на новоклассическую эпопею; но эта вообще очень рѣзкая и вѣрная пародія, изображающая борьбу *древней судьбы* съ *новыми чувствованіями*, не отгадана современниками; потому что она была слишкомъ смягчена *юморизмомъ;* доказательствомъ этому можетъ служить разборъ Душеньки, сочиненный Карамзинымъ. Мысль о преобразованіи Словесности проявлялась и въ другихъ произведеніяхъ Богдановича; для того написана имъ Комедія: *Радость Душеньки* и Драма: *Славяне*; но онъ не ясно видѣлъ свою цѣль, потому и не достигъ ея. Кромѣ того, Богдановичъ написалъ нѣсколько лирическихъ стихотвореній; переводилъ съ французскаго языка. Самый замѣчательный переводъ его изъ Волтеровой поэмы — *на разрушеніе Лиссабона.*

Бобровъ. Послѣ того наша эпопея получила совершенно другое направленіе, или, лучше сказать, совсѣмъ умолкла; а вмѣсто, ея явились Поэмы лирикоописательныя и комическія, Сказки и Повѣсти. *Бобровъ*, смотря на величественную природу Тавриды, которая сама по себѣ есть истинно изящная поэма Творца, богатая историческими воспоминаніями, создалъ намъ совсѣмъ новаго рода поэму, — *Херсониду*, — въ которой его своевольный геній представляетъ въ живыхъ, естественныхъ картинахъ, разставленныхъ безъ всякаго искуства, все, что можетъ обозрѣть самый зоркій глазъ съ высокаго чела *Чатырь-дага*, все, что пронесли вѣки мимо сего великана. И такъ *Херсонида* должна бы принадлежать цѣлому человѣчеству; она изображаетъ рядъ великихъ воспоминаній, относящихся къ Исторіи его, въ слитномъ смѣшеніи съ явленіями, составляющими исторію природы; но она забыта и соотечест-

венниками, потому что въ ней не видно и слѣдовъ изящнаго искуства. Таковы всѣ произведенія Боброва; онъ въ лирикѣ повѣствователь и въ повѣствованіи великій лирикъ. Такъ онъ въ Херсонидѣ изображаетъ закатъ Солнца:

Дщерь пѣсни! — Се молчитъ гроза!
Нѣтъ бури! — Тихій часъ катится; —
Владыко грома примирился,
И хощетъ съ тверди слухъ склонить
Къ твоей вечерней томной арфѣ.
Возпой прекрасный вечеръ сей,
Который скоро, — скоро снидетъ
На Херсонійскіе холмы!
Уже горящее свѣтило
Съ высокаго полудня свода
Къ помосту запада спускаетъ
Лимпаду низкую свою,
И кажется.....
. . . . . .

Мутящіяся облака
Сбираются веселымъ сонмомъ,
Готовятся великолѣпно
Его на ложе проводить,
И съ пышностію окружаютъ
Престолъ его вечерній тихій.
Се край единъ чела онъ кажетъ,
И вдругъ послѣдній разъ возглянулъ,
И погрузился въ глубинѣ!
Одни его власы червленны,
Подъяты вверхъ на горизонтъ,
Стремятъ лучи на высоту
Изъ подземнаго рдяна ската.....

Его аллегорическая поэма: *Слѣпецъ*, носитъ на себѣ всѣ достоинства и недостатки, свойственные другимъ его произведеніямъ. Но главный недостатокъ Боброва — излишняя изысканность и щегольство въ на-

борѣ картинъ. — Онъ смѣло уклонялся отъ классическихъ теорій и подражилъ Англійскимъ писателямъ.

П. Сумароковъ. Въ противоположность ему *П. Сумароковъ* далъ поэмѣ комическое, сказочное направленіе. *Эротъ, лишенный зрѣнія* или *Дурачество* и *любовь*, *Осѣдланный Философъ*, *Альнаскаръ* и другія произведенія его представляютъ торжество свободной легкой поэзіи надъ обветшалыми правилами старыхъ піитикъ, которыя такъ далеко отстали отъ успѣховъ генія Поэзіи, что даже возбуждаютъ смѣхъ, и походятъ на дряхлаго старика, который, сидя отъ изнеможенія, учитъ рѣзвоскачущее дитя бродить съ *ноги на ногу*. Двѣ первыя поэмы, относительно хода Словесности, могутъ быть почтены продолженіемъ *Душеньки;* жаль, что по излишнему своевольству, онѣ иногда отступаютъ отъ благородства въ способахъ общаго изображенія, Поэтъ, кажется, слишкомъ былъ увлеченъ комическими поэмами: *Елисей* и *Игрокъ Ломбера*,—*Майкова*, современника Александру Сумарокову, въ которыхъ слишкомъ односторонно изображается веселость Русскаго народа, и самый русспцизмъ бываетъ доведенъ до крайности, а часто встрѣчаются такія мѣста, которыя оскорбляютъ чистый образованный вкусъ. Во всѣхъ поэмахъ Сумарокова языкъ и стопосложеніе свободны, легки; но не всегда согласны съ требованіями Грамматики и чистымъ вкусомъ.

Вотъ начало сказки или поэмы: *Дурачество и Любовь:*

Пою несчастіе, отъ коего Эротъ
Сталъ слѣпъ, какъ кротъ.
О вы, чувствительныя души!
Развѣсьте уши;
Разиньте ротъ!
Дыханіе свое сколь можно притаите,
И пѣсни жалкой сей внемлите....
Но, нѣтъ, не много погодите:

Мнѣ должно сдѣлать здѣсь возгласъ;
Отдѣлаюсь тотчасъ!
О ты, что на Сибирь взираешь изъ подлобья!
Скажи мнѣ, свѣтлый Фебъ, за что до насъ ты лихъ?
За толь, что своего блестящаго подобья
Не видишь здѣсь ни въ чемъ, какъ лишь почти въ однихъ
Прозрачныхъ ледяныхъ сосулькахъ,
Да въ таковыхъ же пулькахъ,
Которы бѣдная Аврора, вмѣсто слезъ,
Отъ стужи плачуща, бросаетъ къ намъ съ небесъ?
Но кто жъ виновенъ въ томъ, коль самъ ты насъ не грѣешь?
Ты права не имѣешь
Коситься такъ на насъ.
Услышь же мой къ тебѣ охриплый съ стужи глагъ;
Пожалуй, сдѣлай одолженье,
Просунь сквозь снѣжныхъ тучъ
Хотя одинъ свой лучъ,
И мерзлое мое разпарь воображенье! —
Теперь, читатели, прошу мнѣ сдѣлать честь
Прочесть,
Что объ Эротѣ я желаю вамъ донесть.
Оставя нѣкогда небесные чертоги,
Задумали сойти на землю древни боги;
Омиръ покойникъ былъ тогда еще въ живыхъ,
И онъ-то позвалъ ихъ.
Зачѣмъ? вы спросите. Не знаю;
Откушать, можетъ быть, или на чашку чаю.
Извѣстно, что онъ былъ имъ закадышной другъ:
Ѣдалъ амврозію, тянулъ и нектарь съ ними;
Со спящихъ же богинь обмахивалъ онъ мухъ;
И часто забавлялъ ихъ сказками своими.
Но полно вамъ скучать подробностями сими;
Теперь поѣдемъ мы на часъ въ небесный домъ:
Мнѣ хочется, чтобъ вы со мною прокатились,
И посмотрѣли бъ тамъ, какъ боги въ путь пустились.
Они отправились въ порядкѣ вотъ какомъ:
Зевесъ сѣлъ на орла съ Юноною верхомъ;
На всякой случай взялъ съ собой въ дорогу громъ;
Потомъ, за прочими начальными богами,
Вулканъ шелъ съ молотомъ;
Зефиры собрались на пиръ туда же съ ними;

Такъ и начнемъ мы ими.
Надмѣру нѣжные и малые божки,
Дабы не простудились ножки,
Обулись въ теплые сапожки;
И чтобъ отъ вѣтру имъ сберечь свои ушки,
Надѣли лисьи треушки,
И сѣли въ дрожки,
Въ которыхъ бабочекъ впряженъ былъ цѣлый цугъ;
А на запяткахъ, вмѣсто слугъ,
Стояла пара Шпанскихъ мухъ;
Да сверхъ того божковъ конвоевали
Шестнадцать бойкихъ комаровъ;
Носами острыми и пискомъ погоняли
Крылатыхъ легкихъ скакуновъ;
И въ двухъ скажу стихахъ
О прочихъ всѣхъ богахъ.
Они туда жъ помчались
Иной на радугѣ верхомъ,
Иной на облакѣ, иной пошелъ пѣшкомъ.

Дмитріевъ. Наконецъ этотъ родъ Поэзіи доведенъ до народной Сказки *И. И. Дмитріевымъ*, который умѣлъ соединить простоту съ такимъ благородствомъ, какое достойно подражанія и въ высшихъ родахъ Поэзіи. Нѣкоторые изъ нашихъ критиковъ-писателей даютъ первенство Лирической Поэзіи Дмитріева предъ прочими его произведеніями, другіе особенно превозносятъ его Басни; но если бы этого писателя надобно было назвать по какому-нибудь роду сочиненій его; то, по моему мнѣнію, пропустивъ его возвышенныя Оды, прекрасно разсказанныя Басни, превосходныя Сатиры, должно было бы сказать: это прелестный, милый, забавно-нравоучительный сказочникъ. Надобно помнить, что Дмитріевъ оканчиваетъ, а не начинаетъ тотъ періодъ, къ которому онъ принадлежалъ, и потому мы будемъ къ нему выскательнѣе, нежели къ предшественникамъ его; но при самой придирчивой взыскательности не много можно найти въ немъ погрѣшностей, ежели

будемъ судить его по законамъ того періода, въ которомъ онъ жилъ, какъ писатель. Мы видѣли его, какъ Лирика, увидимъ, какъ Баснописца; но здѣсь онъ является, какъ сочинитель сказокъ, въ самомъ яркомъ, въ самомъ завидномъ блескѣ: онъ вездѣ искуственъ до излишества; но здѣсь простота, откровенная говорливость, мимолетная острота и необыкновенная естественность отступленій, тѣсно связанныхъ съ главною мыслію, составляютъ его характеристику. Конечно, сказка не должна довольствоваться этими качествами; она обязана развивать простой народный бытъ, жизнь и повѣрья; но, повторяю, Дмитріевъ *литературно* жилъ въ классическомъ вѣкѣ, когда все близкое, доступное, народное было оставлено для прозы. И такъ смотрите жъ, какъ онъ далеко ушелъ изъ своего міра; онъ осмѣлился пѣть простой житейскій бытъ, тогда, какъ общество требовало эпопеи; и сія-то эпопея является въ формѣ сказки! Его спасли отъ неудачи только эпическая *чудесность* и *Сатира*, вплетенныя въ разсказъ съ чрезвычайнымъ искуствомъ. Онъ въ сказкѣ дѣйствовалъ уже по идеѣ новой Словесности; но выполнялъ требованія ея способами старой школы — пластическимъ изображеніемъ внѣшностей, тѣсно связанныхъ съ правами, причудами, съ душею героевъ: напримѣръ, вотъ какъ онъ изображаетъ мечтательность *Причудницы:*

..... Однажды, вечеркомъ,
Сидитъ, облокотясь, Вѣтрана подъ окномъ,
И возведя свои уныло-ясны очи
Къ задумчивой лунѣ, сестрицѣ смуглой ночи,
Груститъ и думаетъ: Прекрасная луна!
Скажи, не ты ли та счастливая страна,
Гдѣ матушка моя ликуетъ?...

И съ этой мыслью вдругъ Всевѣда ей предстала
Здорово, дитятко! Вѣтранѣ говоритъ:
Какъ поживаешь ты?.. Но что твой кажетъ видъ!

Ты такъ стара, такъ похудѣла!
И бывши розою, какъ лилія блѣдна!....
..... Матушка! отвѣтствуетъ она:
Я жизнь мою во скукѣ трачу;
Настанетъ день тоскую, плачу;
Покроетъ ночь, опять грущу,
И все чего-то я ищу.
— Чего же, свѣтикъ мой? Или ты не здорова?....
Чего же, глупенькая, тебѣ недостаетъ! —
«Признаться, матушка, мнѣ такъ наскучилъ свѣтъ,
И такъ я все въ немъ ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтобъ какъ нибудь попасть отсель
Хотя за тридевять земель;
Да только чтобы все въ глазахъ моихъ блистало,
Все новостію поражало
И рѣдкостью мой умъ и взоръ,
Гдѣ бъ разныхъ дивностей соборъ
Представилъ былъ, какъ небылицу.....

Короче: даю увидѣть мнѣ твою столицу!»
Старуха хитрая, кивая головой,
Что дѣлать, мыслила, мнѣ съ просьбою такой?
Желанье дерзко.... безразсудно,
То правда, но его исполнить мнѣ не трудно;
За чѣмъ же дурачку отказомъ огорчить?
Къ тому жъ я тѣмъ могу ее и поучить.
Изрядно! наконецъ сказала:
Исполнится, какъ ты желала.
И вдругъ, о чудеса!
И крестница и мать взвились подъ небеса
На лучезарной колеенцѣ....

Прочитывая сказки Дмитріева, найдемъ почти на каждой страницѣ подобные и еще лучшіе стихи, которые приличны предмету, приличны и сказкѣ, но сказкѣ высшаго тона. Видно, что эти произведенія явились въ слѣдъ за Эпопеею, которая уже не совсѣмъ нравилась измѣняющемуся обществу; между прочимъ въ нихъ встрѣчаются и такія мѣста, которыя совсѣмъ пересе-

ляютъ читателя въ чудесный міръ эпическій, въ которыхъ поэтъ, какъ будто бы боясь простотою унизить себя предъ читателями Хераскова, на минуту возноситъ ихъ съ Воробьевыхъ горъ на высоты Парнасскія; напримѣръ:

Вѣтрана чувствуетъ пріятну томность сна,
Спускается на пухъ изъ розъ въ сплетенномъ нишѣ,
И въ тотъ же мигъ смычекъ невидимо запѣлъ,
Какъ будто бы самъ *Дицъ* за пологомъ сидѣлъ;
Смычекъ часъ отъ часу пѣлъ тише, тише, тише,
И вмѣстѣ, наконецъ, съ Вѣтраною уснулъ.
Прошла спокойна ночь, *натура* пробудилась;
Зефиръ вспорхнулъ,
И жертва отъ цвѣтовъ душистыхъ возкурилась;
Взыгралъ и солнца лучъ, и голосъ соловья,
Сліянный съ сладостнымъ журчаніемъ ручья
И съ шумомъ рѣзваго фонтана,
Возпѣлъ: проснись, проснись, счастливая Вѣтрана!
Повсюду чудеса Вѣтрана обрѣтала:
Гдѣ только ступитъ, — роза разцвѣтала;
Здѣсь рядомъ передъ ней лимонны дерева,
Тамъ миртовый кустокъ, тамъ нѣжна мурава
Отъ солнечныхъ лучей, какъ бархатъ, отливаетъ;
Тамъ рѣчка по песку златому протекаетъ;
Тамъ свѣтлаго пруда на днѣ
Мелькаютъ рыбы золотыя;
Тамъ птички гимнъ поютъ природѣ и веснѣ ...

Въ подобныхъ мѣстахъ Дмитріевъ, повторяя Богдановича, часто бываетъ возвышеннѣе его. И такъ народныя ли это Сказки? Нѣтъ! Онѣ писаны не для цѣлаго народа, а для *Москвы;* и составятъ вѣковое достояніе ея. Что же касается до частныхъ формъ и стихотворнаго языка, то Дмитріевъ можетъ почесться уже преобразователемъ ихъ; ибо прежде его, даже Ломоносовъ и Державинъ не рѣдко выражались прозаически; а послѣ Дмитріева стихотворное искуство до того доведено, что весьма часто встрѣчаемъ прелестные стихи со-

всѣмъ безъ Поэзіи. Слѣдовательно стиходѣліе и для мелкихъ писателей теперь не составляетъ труда.

Повѣсти. Въ то время, когда Херасковъ думалъ создать Романъ, *Элинъ*, знавшій хорошо многія Европейскія и Азіатскія Литературы, писалъ уже повѣствованія, которыя замѣчательны, впрочемъ, только потому, что они были первые опыты въ этомъ родѣ на Русскомъ языкѣ. Нѣкоторые пробовали замѣнить недостатокъ сей пріятной отрасли Словесности переводами съ другихъ языковъ; но безвкусіе, слабость въ знаніи языка, дурной выборъ книгъ, неудачный переводъ, препятствовали разпространенію чтенія. Наконецъ является Карамзинъ. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ въ его пылкую, нѣжную душу запала мысль—*пріучить соотечественниковъ своихъ къ Русскому чтенію!* Мысль высокая, желаніе благородное! Для выполненія этого нуженъ великій талантъ и неутомимое трудолюбіе. Однако Карамзинъ успѣлъ въ своемъ предпріятіи. Все, сдѣланное имъ для Русской Литературы, принадлежитъ къ обозрѣнію прозы; а здѣсь должно упомянуть о его Повѣстяхъ только въ отношеніи къ поэзіи. Важность и заслуга Повѣстей Карамзина состоятъ не въ томъ, что онъ первый, какъ говорятъ и пишутъ непонимающіе его партизаны, началъ писать *Повѣсти, правильнымъ, чистымъ, легкимъ Русскимъ языкомъ; и притомъ писалъ много*. Нѣтъ! Повѣсти или Романы *давно уже писалъ* Херасковъ, и по объему написалъ въ семъ родѣ *болѣе*, нежели Карамзинъ; Фонъ-Визинъ, за двадцать лѣтъ до Карамзина, писалъ уже языкомъ правильнымъ, чистымъ и довольно легкимъ, такъ, что у него уже не видно растянутыхъ Латинскихъ періодовъ и тяжелаго медленнаго словотеченія. Если поставить первые опыты Карамзина между произведеніями Фонъ-Визина и Пушкина, то онъ, не смотря на всю прелесть его слога, къ первому будетъ ближе, нежели къ послѣднему. *Подшиваловъ*, современникъ Карамзина, и нѣсколько пре-

дупредившій его, писалъ болѣе правильнымъ и чистымъ, и почти столь же легкимъ, языкомъ, какъ Карамзинъ. Языкъ безпрестанно шелъ въ усовершеніи своемъ, и всякій умный и образованный сочинитель вносилъ что либо новое въ употребленіе его. Карамзинъ же, бывъ образованнѣе современныхъ ему писателей и знавъ хорошо Европейскія Литературы, началъ употреблять обороты, извѣстные въ другихъ языкахъ, но непринятые въ Русскомъ, и тѣмъ умножилъ богатство формъ выраженія. Онъ увеличилъ число прекрасныхъ произведеній Словесности. Это дѣло почти случайное, невольное! Но главная его заслуга и преимущество предъ другими писателями состоятъ въ томъ, что онъ, отгадавъ вкусъ современнаго общества, старался писать такъ, чтобъ каждое его произведеніе, всякая идея, всякое выраженіе были понятны и нравились *его* читателямъ, образованнымъ по Французской Литературѣ и напитаннымъ идиллическими правилами Эмиля. Вотъ почему всѣ дѣйствователи его Повѣстей чувствуютъ, мыслятъ и дѣйствуютъ, какъ идиллическіе пастухи и пастушки, и всѣ Повѣсти имѣютъ характеръ небывалой Аркадской простоты. А какъ онъ писалъ для Русскаго, хотя и офранцузившагося, общества, и самъ, не смотря на классико-французское образованіе ума, въ сердцѣ оставался *Русскимъ:* то въ своихъ описаніяхъ и разсказѣ много имѣетъ народнаго, *Русскаго;* отъ того въ Повѣстяхъ его часто встрѣчается какая-то смѣсь Русско-Романтическаго съ Французско-классическимъ. Онъ не создалъ народной Литературы; однако намекнулъ *на нее;* именно: въ сочинителѣ мы часто узнаемъ наше родное, Русское; а герои и героини Повѣстей всѣ, безъ различія вѣка и націи, суть питомцы Жанъ-Жака Руссо. Почему жъ Карамзинъ не создалъ собственно *Русской Повѣсти,* равно какъ и другихъ родовъ Словесности?— Потому что онъ *хотѣлъ пріучить къ чтенію свое*

общество, которое еще не было готово къ принятію другой Литературы. Онъ самъ, не помню гдѣ, сказалъ: *если бы я писалъ не такъ, меня бы не поняли.* И безъ того его обвиняли за нововведенія. Пересоздать же общество, и дать ему другой духъ, новое направленіе, онъ не былъ способенъ; для этого нуженъ смѣлый могущественный геній. Зачѣмъ требовать отъ писателя и приписывать ему то, что выше его силъ?—А Карамзинъ, сознавая свои силы болѣе, нежели его безотчетные подражатели, успѣлъ сдѣлать болѣе, нежели можно требовать отъ таланта его. Дѣйствуя для своего вѣка, онъ много сдѣлалъ и для насъ; если бы онъ явился позже, то иначе бы и дѣйствовалъ. Доказательствомъ этого могутъ быть собственныя его слова. Въ Повѣсти: *Юлія*, онъ, обращаясь къ читателю, говоритъ: «Вы скажете, что въ рыцарскія времена любили иначе.—Государи мои! Всякій вѣкъ имѣетъ свои «обычаи: мы живемъ въ осьмомъ-надесять!»—Подобныя обращенія къ читателю среди Повѣсти, а иногда и длинныя съ нимъ бесѣды о характерѣ повѣствованія, слишкомъ часто встрѣчаются у Карамзина; а это доказываетъ, что онъ понималъ противорѣчія въ требованіяхъ современнаго и послѣдующихъ поколѣній. Такъ, здѣсь онъ дѣйствовалъ болѣе по сознанію, нежели по чувству, болѣе для другихъ, нежели для себя; однако иногда невольно выражается у него романтическая таинственность, какъ напримѣръ, въ грустныхъ мечтахъ *Юліи* о супругѣ своемъ, въ пророчествахъ Старца *Дремучаго лѣса*, и т. п. Этимъ онъ нравился возрождавшемуся тогда, новому поколѣнію. Если такъ смотрѣть на заслуги Карамзина; то слава его переживетъ всѣ партіи; а ежели въ потомство перейдутъ только безотчетныя похвалы; то онѣ будутъ недолговѣчнѣе самыхъ хвалителей. Впрочемъ мы объ немъ болѣе скажемъ въ обзорѣ прозы. Всѣ оригинальныя

Повѣсти Карамзина можно раздѣлить на два разряда: одне имѣютъ Русское содержаніе:—*Бѣдная Лиза*, *Наталья Боярская дочь*, *Марѳа Посадница*, и недокончанная стихотворная Сказка: *Илья Муромецъ*; а другія — неопредѣленное, идеальное, общее: — *Прекрасная Царевна и Счастливый Карла*, *Дремучій лѣсъ*, *Островъ Борнгольмъ*, *Юлія* (хотя дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ), и *Сіерра-Морена* (дѣйствіе въ Испаніи). Надобно замѣтить одинъ весьма важный, общій въ его Повѣстяхъ, недостатокъ, состоящій въ томъ, что изображеніе страстей часто удаляется отъ дѣвственной скромности и чистоты правовъ, — чѣмъ онъ, кажется, хотѣлъ щеголять. —Переведенныя имъ Повѣсти *Мармонтеля*, *Жанлисъ* и другихъ писателей, отличаются тою же легкостію и прелестію языка.

Дидактическая Поэзія.

Дидактическая Поэзія, какъ слѣдствіе большихъ соображеній, опытовъ и наблюденій надъ успѣхами просвѣщенія и общежитія, не могла въ этомъ періодѣ дойти до значительнаго совершенствованія; особенно же это можно сказать о *Дидактической поэмѣ*. Первый опытъ въ семъ родѣ: *Посланіе о пользѣ стекла*— къ Шувалову — Ломоносова, можетъ служить только доказательствомъ, что сочинитель глубоко изучилъ природу и имѣлъ неистощимое богатство мыслей. *Поповскій* весьма удачно перевелъ *Опытъ о человѣкѣ Попа*, *Посланіе къ Пизонамъ Горація;* но это чужое! Херасковъ написалъ Поэму: *Плоды наукъ*. Но эта поэма, какъ плодъ спокойнаго и глубокаго размышленія, болѣе походитъ на ученое разсужденіе, наполненое умными соображеніями и поучительными выводами, которые приправлены цвѣтами поэзіи, нежели на поэму.

Сатира.

Хотя нельзя сказать, что Словесность наша богата Сатирою, относительно количества; однако мы имѣемъ превосходные образцы въ этомъ родѣ, кромѣ того, что самая комедія, въ продолженіе всего этого періода,

имѣла характеръ болѣе свойственный Сатирѣ, нежели Драмѣ.—Мы видѣли, что еще Сумароковъ силился произвести Сатиру; но онъ далеко отсталъ отъ Кантемира, и уронилъ ее до браннаго Пасквиля. Иногда онъ изображалъ слишкомъ общіе, или даже совсѣмъ чуждые нравы.

Сатира требуетъ вѣрнаго знанія народной нравственности. Послѣ Кантемира нравы измѣнились, и Сатирѣ нужно было обновленіе. Визинъ первый далъ ей вѣрное направленіе. Духъ Сатиры водилъ перомъ сего остроумно геніальнаго писателя во всѣхъ его произведеніяхъ; такъ что и извѣстное его *Слово, говоренное въ Духовъ день Іереемъ Власіемъ*, наполненно мыслями сатирическими и замѣчаніями простыми, но остроумными; и Комедіи его по духу своему ближе къ Сатирѣ, нежели къ Драмѣ, и, такъ называемая, *Исповѣдь*, и даже письма дышатъ Сатирою и изобилуютъ острыми нравоописательными замѣчаніями. Но собственно съ этимъ назначеніемъ написаны: *Посланіе къ слугамъ моимъ*, *Матюшка разнощикъ* и *Опытъ придворной Грамматики*. Онѣ, кромѣ превосходствъ и совершенствъ, общихъ съ хорошими произведеніями другихъ Сатириковъ, имѣютъ то преимущество предъ другими, что смѣло карaютъ пороки и предразсудки общіе цѣлому сословію, народу и вѣку, а не случайныя слабости и недостатки немногихъ лицъ, что болѣе свойственно Баснѣ и особенно Комедіи. Слѣдовательно Визинъ продолжалъ начатое Кантемиромъ: возвысилъ и разпространилъ значеніе Сатиры, далъ ей легкое, естественное и пріятное выраженіе. Впрочемъ, на его Сатиры нельзя указать, какъ на образцы достойные подражанія, во-первыхъ— потому что онѣ имѣютъ слишкомъ рѣзкій тонъ, во вторыхъ — потому, что онѣ, карая предразсудки и пороки, иногда осмѣиваютъ нравы и мнѣнія, освященные временемъ и получившіе право законности. Княжнинъ смяг-

чилъ Сатиру въ этомъ отношеніи; но онъ уронилъ ее въ слогѣ и общей формѣ; часто обращаетъ ее противъ тѣхъ людей, которые не подлежатъ Сатирѣ, ниже всякой Литературы и слишкомъ далеки отъ нея; часто, изображая комическіе характеры, даетъ ей значеніе комедіи.* *Нахимовъ* превзошелъ всѣхъ нашихъ Сатириковъ ѣдкостію рѣзкаго тона и какою-то убійственною остротою въ изображеніи порока и странностей; но его произведенія, со стороны выраженія, чужды всякаго благородства и противорѣчатъ чистому образованному вкусу. Они кипятъ безмѣрнымъ негодованіемъ; и тамъ, гдѣ нужно только смѣяться, сочинитель сердится. Князь *Долгорукой* не хотѣлъ быть Сатирикомъ; но Сатира сама собою вылилась изъ тихой и доброй души его; кажется, никогда искуство не можетъ соединить столь легко и столь естественно рѣдкую остроту мыслей съ безпримѣрною простотою и благородствомъ, каковыми отличается Долгоруковъ, и которыя не стоили ему не только труда и усилій, но даже предварительной обдуманности. Онъ колетъ мимоходомъ; часто, смѣясь надъ собою, дѣлаетъ смѣшными порокъ и предразсудокъ какъ напримѣръ; посланіе *къ Швейцару и мой портретъ*. Послѣ того оставалось дать Сатирѣ правильность и прямое назначеніе, чтобъ она могла быть узнана и самымъ недогадливымъ. Это окончательное совершенствованіе ея выполнилъ *И. И. Дмитріевъ:* онъ не сердится, не бранится, даже не смѣется въ своей Сатирѣ и не проговаривается по неосторожности; а просто, притворившись человѣкомъ, непонимающимъ своихъ недостатковъ и слабостей, разсказываетъ о нихъ, какъ о дѣлѣ важномъ, какъ о совершенствахъ; но такъ живо, такъ ясно все смѣшное выказывается изъ-подъ мнимаго простосердечія; — что и непрозорливый устыдится имѣть сходство съ симъ изображеніемъ; напримѣръ:

Что за диковинка? Лѣтъ двадцать ужъ прошло,
Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело,
Со всеусердіемъ все Оды пишемъ, пишемъ,
А ни себѣ, ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ.

Уже ли выдалъ Фебъ свой именной указъ,
Что бъ не дерзалъ никто надѣяться на насъ
Быть Флакку Рамлеру и ихъ собратьи равнымъ,
И столько жъ, какъ они во пѣснопѣньи славнымъ!
Какъ думаешъ?. . Вчера случилось мнѣ сличать
И ихъ и нашу пѣснь! въ ихъ.... нечего читать;
Листочекъ, много три; а любо, какъ читаешъ —
Не знаю, самъ какъ будъ-то бы летаешъ!
. . . . . .

Ужъ самая торжественная Ода!
Я не могу сказать, какого это рода;
Но очень полная, иная въ двѣсти строфъ,
Судите жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стишковъ!
Къ тому жъ и въ правилахъ: сперва прочтешь вступленье,
Тутъ предложеніе, а тамъ и заключенье —
Точь въ точь, какъ говорятъ учены по церквамъ!
Со всѣмъ тѣмъ нѣтъ читать охоты, вижу самъ.
Возьму ли, напримѣръ, я Оды на побѣды,
Какъ покорили Крымъ, какъ въ морѣ гибли Шведы:
Всѣ тутъ подробности сраженья нахожу,
Гдѣ было, какъ, когда, — короче я скажу:
Въ стихахъ реляція! Прекрасно!... а зѣваю!
Я бросивши ее, другу разкрываю,
На праздникъ, нли на что подобное тому;
Тутъ найдешь то, чего бъ нехитрому уму
Не выдумать и въ вѣкъ: зари багряны персты,
И райскій кринъ, и Фебъ, и небеса отверсты!
Такъ громко, такъ высоко!... а нѣтъ, не веселитъ,
И сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелитъ!...

Но и Дмитріевъ, давъ Сатирѣ правильную форму и опредѣлительность, сохранивъ благородство, отъ излишней осторожности стѣснилъ значеніе ея изображеніемъ частныхъ характеровъ комическихъ, и недо-

статковъ, болѣе странныхъ и забавныхъ, нежели вредныхъ, которые должна поражать Сатира.—Въ слѣдъ за ними явились многіе, весьма удачные подражатели, напримѣръ: *Капнистъ*, *Воейковъ* и другіе; но всѣ они, обогащая Литературу своими произведеніями сего рода, ни сколько не способствовали ходу ея; и потому Сатиры ихъ могутъ служить образцами при чтеніи правилъ, а не могутъ имѣть мѣста въ Исторіи Словесности.

Милоновъ, наконецъ, развилъ эту отрасль Словесности до возможнаго разнообразія и совершенства, каковыхъ только можно желать при классическомъ направленіи ея;—и ежели случается, что онъ бываетъ словоохотнѣе и богаче мыслями, говоря о писателяхъ и преимущественно о Поэтахъ, или даже отъ изображенія нравовъ невольно сбивается на изправленіе плохихъ стихотворцевъ; то это происходитъ отъ того, что Сатира требуетъ современнаго матеріяла, изображенія живыхъ нравовъ, дѣйствительнаго міра; а классицизмъ чуждается современности и народности; посему Сатирикъ классическаго образованія и направленія, борясь съ симъ затрудненіемъ, любитъ говорить о поэтахъ, составляющихъ міръ классическій. Потому-то *Визинъ* и превосходитъ всѣхъ своихъ сподвижниковъ этого періода, что онъ изображаетъ современный міръ. — Милоновъ списываетъ картины нравовъ такъ точно, какъ прозаикъ; и только потому онъ поэтъ, что вымышляетъ положенія лицъ и, вмѣсто цѣлаго общества, показываетъ представителей его, являющихся въ нарядѣ пороковъ, недостатковъ и слабостей современныхъ. Вотъ какъ онъ характеризуетъ Сатиру:

Смирись, разсудокъ мой; къ чему такое рвенье?
Сатира для людей худое наставленье!
Съ симъ страшнымъ ремесломъ ты будь всегда готовъ
Пріязни рушить связь, нажить себѣ враговъ;

Всѣ скажутъ о тебѣ: насмѣшникъ сей несчастный
Есть язва общества, умъ вредный и опасный;
Бѣги его, страшись! для остраго словца,
Готовъ онъ уязвить и матерь и отца!
И тѣ, которые слывутъ тебѣ друзьями
И смѣлыми подъ часъ плѣняются стихами,
Въ обиженномъ лицѣ портретъ увидя свой,
Смѣяся въ слухъ надъ нимъ, а тайно надъ тобой,
Къ толпѣ твоихъ враговъ тотчасъ передадутся,
И дружества съ тобой подъ клятвой отрекутся.
Сатира, въ коей желчь и злоба лишь видна,
Безъ пользы для другихъ, писателю вредна.
Исправить ли порокъ насмѣшкою одною,
Стихи ль подѣйствуютъ надъ злобною душою?
Напрасно! всѣ труды останутся вотще!
Такія чудеса не слыханы еще!
Ты будешь обличать Грабилина злодѣйства,
Имъ разоренныя изсчитывать семейства
Что нужды? хищникъ сей покоя и добра,
Иль другъ съ вельможами, иль силенъ у Двора;
Хоть всѣми бранными осыпь его словами,
Онъ откупъ новый снялъ, сравненъ съ полубогами,
И день и ночь пиры друзьямъ своимъ даетъ,
На коняхъ, крокодилъ, онъ кровь и слезы пьетъ.
Ты скажешь, на судѣ предъ взорами Клеона
Уснула грозная блюстительность закона,
Невинный осужденъ, оправданъ плутъ; а онъ?
Онъ знатенъ, онъ богатъ! на что ему законъ?
Суда для сильныхъ нѣтъ! Онъ слабымъ лишь ужасенъ!
Преступникъ чѣмъ знатнѣй, тѣмъ болѣй безопасенъ.
Явишься ль въ общество осмѣивать порокъ,
Иль юности давать спасительный урокъ;
Бранить невѣжество, пустую знатность рода;
Что жъ будетъ? всѣ тебя въ немъ примутъ за урода,
Который должнаго почтенья не хранитъ.
И смѣло знатному о чести говоритъ.
Писателей дурныхъ изправить ты желаешь?
Вотъ цѣль премудрая! какъ будто выставляешь
Себя лишь одного для нихъ ты образцемъ...
Страшись, страшись толпы разсерженныхъ пѣвцовъ;
Ужъ громъ ихъ на тебя обрушиться готовъ!

Неистовый порокъ обиды не прощаетъ,
И гибельный конецъ злословье ожидаетъ.
Но тише — ты въ отвѣтъ и въ споръ со мной идешь;
Ты видъ злорѣчію совсѣмъ иной даешь;
Когда бы, напримѣръ, въ горячности безмѣрной
Открылъ предъ свѣтомъ я тотъ путь неимовѣрной,
По коему достигъ Рубеллій до честей,
Сталъ властвовать людьми, рабъ низкій всѣхъ страстей;
Когда бы, гнусную сорвавъ съ него личину,
Я подлыхъ дѣлъ его открылъ хоть половину,
И въ видѣ собственномъ представивъ на позоръ,
Ужасный произнесъ надъ нимъ бы приговоръ;—
Когда бы обличилъ я страшны злодѣянья,
Которы въ поздніи минуты покаянья,
Ханжихинъ, устрашась и смертныхъ и Боговъ,
Смиренно облачилъ въ монашескій покровъ;
Когда бы, позабывъ къ прелестнымъ уваженье,
Всѣхъ тайнъ Кокеткиной я сдѣлалъ откровенье,
Иль жизнь Распутина порочить сталъ бы въ слухъ,
Какъ въ ветхой хижинѣ храня онъ бодрый духъ,
И мудрость съ ранними обрѣтши сѣдинами,
Насъ жалкими о ней смѣшитъ проповѣдями;
По праву бъ ты меня злорѣчивымъ назвалъ.
Но чтобы надъ глупцомъ смѣяться я престалъ,
Чтобъ Вадія стихи внимая на мученье,
Я могъ выказывать въ лицѣ моемъ терпѣнье;
Чтобъ стоя съ низостью предъ знатнымъ подлецомъ,
Престалъ бы соглашать я сердце съ языкомъ;
На это нѣтъ моей покорности тебѣ....

Таковъ былъ ходъ Сатиры у насъ въ минувшемъ послѣднемъ періодѣ; и такъ неправильно измѣнялась она, безпрерывно выигрывая въ одномъ и теряя въ другомъ отношеніи. Но несравненно правильнѣе шла Басня. Послѣ тяжелыхъ переводныхъ и подражательныхъ *притчей Сумарокова*, непосредственно являются Басни *Хемницера*. У перваго Басня груба, изыскана, и походитъ на разсказъ ученаго дитяти, который, заучивъ множество правилъ и наставленій, спѣшитъ сообщать ихъ другимъ, — и не привыкши согласовать важную истину Басня.

съ легкими формами, разсказываетъ натянуто и учитъ не назидательно; у втораго она простымъ, непринужденнымъ, прямо изъ природы почерпнутымъ, разсказомъ неизбѣжно разитъ порокъ и странности, какъ бы невзначай. Главная характеристика Басни есть назидательно осмѣивающая аллегорія — иносказаніе. Она почерпается изъ всеобщей природы, которая проявляетъ собою всю постепенность свойствъ и слабостей человѣческихъ, какъ напримѣръ: въ зайцѣ робость, въ ослѣ глупость, въ орлѣ смѣлую возвышенность помысловъ и т. п. А какъ законы природы и отношенія ея къ человѣку вездѣ и всегда были и будутъ одинаковы и непреложны; то и Басня въ идеяхъ не можетъ имѣть народности; она только по изображенію господствующихъ пороковъ въ свое время, по формѣ и способу изложенія можетъ ознаменовать характеръ вѣка и народа. Вотъ, почему въ этомъ родѣ Словесности мы встрѣчаемъ удивительное сходство писателей отъ Езопа до Крылова; и по той же причинѣ часто оригинальныхъ баснописцевъ почитаютъ подражателями. Должны ли мы называть подражателемъ того, кто, услышавъ прекрасное пѣніе, по естественной наклонности почувствуетъ охоту къ подобному дѣйствію; и сначала будетъ только повторять слышанное, а потомъ уже, предавшись свободно влеченію своей страсти, будетъ выполнять свои идеалы по своимъ силамъ и способамъ? Ежели это подражатель, то никогда не было и не будетъ оригинальныхъ пѣвцевъ! Такъ и Хемницеръ *захотѣлъ писать Басни* потому, что прочиталъ прекрасные образцы; но *писалъ* въ послѣдствіи потому, что не могъ скрыть своихъ помысловъ, потому, что душа хотѣла вылиться, хотѣла жить въ твореніяхъ. Онъ творилъ не для славы; ибо имя его, какъ писателя, сдѣлалось извѣстно уже по смерти. Никто изъ нашихъ Баснописцевъ, ни даже самъ Крыловъ, не могъ превзойти его въ этой непри-

Хемницеръ.

творной, истинно Езоповской простотѣ, которою отличаются его Басни; напримѣръ:

Соловей и Чижъ.

Былъ домъ,
Гдѣ подъ окномъ
И Чижъ и Соловей висѣли,
И пѣли.
Лишь только Соловей, бывало, запоетъ,
Сынъ маленькой отцу проходу не даетъ:
Все птичку показать къ нему онъ приступаетъ,
Что этакъ хорошо поетъ.
Отецъ, обоихъ снявъ, мальчишкѣ подаетъ.
Ну, говоритъ: узнай, мой свѣтъ!
Которая тебя такъ много забавляетъ?
Тотчасъ на Чижика мальчишка указалъ.
Вотъ, батюшка, она! сказалъ.
И мальчикъ отъ Чижа въ великомъ возхищеньи:
«Какія перышки! куда какъ онъ пригожъ!
«За тѣмъ вѣдь у него и голосъ такъ хорошъ!»
Вотъ дѣтско разсужденье!
Да полно, и въ житействѣ тожъ
О людяхъ многіе по виду заключаютъ:
Кто наряженъ, богатъ, пригожъ,
Того и умнымъ почитаютъ.

Хемницеръ, по мнѣнію Мерзлякова, *ввелъ Басню въ городъ*, но этого мало; онъ далъ ей Русскую современность; онъ изобразилъ въ баснѣхъ своихъ господствовавшія въ то время пороки и странности: *грубый деспотизмъ женщины*, которая недавно сама освободилась; *подьяческое лихоимство* и продажность суда — остатки татарщины; появленіе страсти *къ туманной философіи* и къ мелочному мудрствованію, и прочее, наприм.:

Метафизикъ.

Отецъ одинъ слыхалъ,
Что за море дѣтей учиться посылаютъ,

И что того, кто за моремъ бывалъ,
Отъ небывалаго и съ виду отличаютъ.
Такъ чтобъ отъ прочихъ не отстать,
Отецъ немедленно рѣшился
Дѣтину за море послать,
Чтобъ доброму онъ тамъ по научился;
Но сынъ глупѣе воротился.
Попался на руки онъ школьнымъ тѣмъ вралямъ,
Которые съ ума не разъ людей сводили,
Неизтолкуемымъ давая толкъ вещамъ:
И милаго не научили,
А на вѣкъ дуракомъ пустили.
Бывало съ глупости онъ вырасту болталъ;
Теперь все съ высока безъ толку толковалъ.
Бывало глѣпые его не понимали;
А нынѣ разумѣть и умные не стали....

Таковъ Хемницеръ вездѣ! Басни его просты, естественны, неизысканны, какъ сама истина; но у него недоставало правильности, связности и легкости въ выраженіи. Образованіе стихотворнаго языка принадлежитъ Дмитріеву, какъ мы уже видѣли. Въ этомъ отношеніи и Басня много ему обязана; — Мерзляковъ говоритъ: «*Дмитріевъ отворилъ имъ* (Баснямъ) *двери въ просвѣщенныя, образованныя общества, отличающіяся вкусомъ и языкомъ.*» Этого мало: его Басни, вмѣстѣ съ другими его произведеніями, внесли въ эти общества образованный вкусъ; ибо дотолѣ у насъ не было совсѣмъ разговорнаго языка, который бы соединялъ благородство съ простотой; Дмитріевъ говоритъ о дѣлахъ житейскихъ просто, легко, живописно, и не только странности, причуды и слабости людей, но даже поступки, унижающіе ихъ до животныхъ безсмысленныхъ, изображаетъ языкомъ, который принятъ теперь въ самыхъ блестящихъ гостиныхъ. Продолжать ли далѣе опредѣленіе характера Басень сего писателя?—Заслуги, оказанныя имъ нашей Словесности, и уваженіе къ таланту налагаютъ на нихъ обязанность быть скромными, а

Дмитріевъ.

знаніе руководителя юности требуетъ истины. И такъ, всмотрѣвшись въ эти произведенія Дмитріева, нельзя не замѣтить въ писателѣ вельможу; онъ служитъ только небольшому количеству читателей, не удостоивая другихъ учить своими прекрасными уроками. Этому способствовали и самыя обстоятельства.

Онъ шелъ во всемъ по слѣдамъ Лафонтена, своего образца; напримѣръ, прочтите: *Воспитаніе Льва*, *Лиса проповѣдница*, *Левъ* и *Комаръ*, или *Орелъ* и *Змѣя:*

Орелъ изъ области громовъ
Спустился отдохнуть на лугъ среди цвѣтовъ,
И встрѣтилъ тамъ Змѣю ползущую по праху.
Завистливая тварь
Шипитъ и на Орла кидается съ размаху.
Что жъ дѣлаетъ пернатыхъ Царь?
Бросаетъ гордый взглядъ и къ солнцу возлетаетъ.
Такъ геній своему хулителю отмщаетъ.

А. Е. Измайловъ, чувствуя недостатокъ чтенія для низшаго общества, началъ писать такъ, что люди образованные не могли совсѣмъ читать большей части его басень. Надобно согласиться, что писатель этотъ имѣлъ необыкновенный талантъ, который, впрочемъ, онъ часто употреблялъ во зло. Басни его отличаются какою-то рѣзкою особенностію, которая въ противоположность, такъ сказать, аристократическаго тона Дмитріева доходила иногда до грязной народности. Вотъ одна изъ самыхъ опрятныхъ его Басень:

Устрица и двое Прохожихъ.

Шли два прохожіе по берегу морскому,
И видятъ,—устрица большая на пескѣ
Лежитъ отъ нихъ не вдалекѣ.
«Смотри, вонъ устрица!» сказалъ одинъ другому;
А тотъ нагнулся ужъ и руку протянулъ.
Товарищъ тутъ его толкнулъ,

И говоритъ: «пожалуй, не трудися,
Я подыму и самъ, вѣдь устрица моя.» —
— Да, какъ бы не твоя! —
«Я указалъ тебѣ...« Что ты? перекрестися! —
«Конечно, первый я увидѣлъ.» — Вотъ-те разъ!
И у меня остеръ, братъ, глазъ! —
«Пусть видѣлъ ты, а я такъ даже слышалъ носомъ...»
Еще бъ у нихъ продлился споръ,
Когда бъ не подошелъ судья къ нимъ Миротворъ.
Онъ началъ съ важностью по формѣ судъ допросомъ,
Взялъ устрицу, открылъ,
И проглотилъ.
Ну! слушайте, сказалъ, теперь опредѣленье:
По раковинѣ вамъ дается во владѣнье;
Ступайте съ миромъ по домамъ!
Всѣ тяжбы выгодны лишь стряпчимъ да судьямъ.

Если бы онъ облагородилъ или смягчилъ выраженіе низкой прпроды, то могъ бы со славою окончить этотъ періодъ.

Драматическая поэзія.

Успѣхи драматическаго искуства никогда не могутъ, по самому существу его, предупредить совершенства другихъ родовъ Поэзіи. Этого мало: Драма тѣсно связана съ ходомъ Исторіи и даже высшихъ родовъ прозы. Наконецъ этотъ родъ Поэзіи, какъ совокупность всѣхъ изящныхъ искуствъ, вещественныхъ и словесныхъ, имѣя цѣлію не простое прочтеніе немногихъ лицъ, а живое повтореніе дѣлъ предъ народомъ, требуетъ многихъ условій: степень охоты и любви къ зрѣлищамъ, степень общаго вкуса и образованности или содѣйствуютъ направленію и ходу Драмы, или затрудняютъ его; слѣдовательно самые успѣхи общежитія и характеръ его, искуство актеровъ и устройство Театра имѣютъ вліяніе въ образованіи драматической Поэзіи. Всѣ эти условія въ началѣ сего періода у насъ только раждались: Литературы почти не было; общежитность еще не устроилась ; Русскій Театръ и самое первоначальное основаніе получилъ только въ концѣ царствованія Ели-

саветы; вкусъ не имѣлъ твердыхъ началъ, общественное мнѣніе еще совсѣмъ не раждалось; посему писатели составляли трагедіи и комедіи только по общимъ теоріямъ и чуждымъ иноземнымъ образцамъ: такъ дѣйствовалъ Ломоносовъ, такъ писалъ Сумароковъ; такъ слѣдовалъ имъ Херасковъ, Драмы котораго по языку стоятъ выше Сумароковскихъ, но по драматическому искуству не могутъ съ ними сравниться. Его трагедіи носятъ отпечатокъ характера эпическаго. И можно ли винить писателей того времени въ недостаткѣ драматическаго искуства? Можно ли требовать, чтобъ они создали благопріятствующія имъ обстоятельства?—Вѣкъ Екатерины II представляетъ намъ длинный рядъ торжествъ, сопровождаемыхъ увеселеніями. Она пробудила народную веселость, долго спавшую; открытіе Театровъ образовало общественность, сближало вкусы и мнѣнія, обратило народъ къ благороднымъ поучительнымъ забавамъ — театру; успѣхи просвѣщенія дали намъ возможность замѣтить свои недостатки, слабости, причуды и пороки; а успѣхи театра внушили мысль представить эти недостатки на осмѣяніе общества. И сію благородную, смѣлую мысль первый рѣшился выполнить *Фонъ-Визинъ*. Онъ создалъ Русскую Комедію. Его *Недоросль* и *Бригадиръ* суть такія произведенія, которыя, хотя и не совсѣмъ соотвѣтствуютъ условіямъ Драмы и много сходствуютъ съ Сатирой, однако представляютъ самый вѣрный списокъ съ нравовъ того времени; онѣ могутъ служить богатымъ источникомъ для будущихъ этнографовъ. Здѣсь увидятъ они, какой глубокій мракъ невѣжества тяготѣлъ еще надъ умами въ глуши Россіи; какъ это невѣжество изкажало самыя благонамѣренныя нововведенія образованности; какъ иноземная злонамѣренность во зло употребляла самые благородные порывы Русскихъ къ просвѣщенію; какъ истинный свѣтъ знаній и общежитности, озаряя Русскую землю, возра-

щалъ сладкіе, обильные плоды людкости и т. п. Ни одинъ писатель ни въ какой отрасли Словесности, въ этомъ періодѣ, не можетъ похвалиться столь вѣрными, рѣшительно удачными опытами, каковы произведенія Фонъ-Визина. Комедіи его совершенно Русскія, народныя; слѣдовательно онѣ только по времени произхожденія и по изображаемымъ въ нихъ правамъ и характерамъ лицъ принадлежатъ къ тому времени, а по искуству, по способу изображенія—къ нашему Романтическому вѣку. Эти Комедіи имѣли успѣхъ самый блестящій; слѣдовательно характеры дѣйствователей были узнаны въ природѣ,—въ обществѣ; слѣдовательно имѣли цѣнителей. Вотъ свидѣтельство успѣховъ просвѣщенія! Языкъ Фонъ-Визина намъ уже извѣстенъ.

Бригадиръ представляетъ картину частныхъ семейныхъ нравовъ и вліянія семейнаго быта на дѣла общественныя, служебныя; главное дѣйствующее лице человѣкъ должностной, который занимаетъ средину между высшимъ обществомъ и среднимъ сословіемъ; и вся комедія представляетъ только часть современнаго ей общества. Но *Недоросль* обнимаетъ весь Русскій міръ того времени: *Стародумъ* есть представитель Русскаго барства, который, понимая требованія современнаго просвѣщенія, видитъ упадокъ нравовъ, видитъ вторженіе чужеземныхъ предразсудковъ и заблужденій. Правда, что это лице не комическое; но онъ занимателенъ сатирическимъ изображеніемъ нравовъ и борьбой съ коварствомъ. Въ дополненіе Стародума, строгаго, но чувствительнаго, *Правдинъ*, другъ его, человѣкъ также честный и благородный, который дѣйствуетъ совершенно въ духѣ правительства; но, какъ человѣкъ свѣтскій, онъ уклончивъ. Въ противоположность имъ являются представителями грубости, невѣжества и своекорыстнаго коварства *Тарасъ Скотининъ*, *Простаковъ* и *Простакова*, и другія мелкія

лица: *Цифиркинъ*, *Кутейкинъ* и *Вральманъ*, которые всѣ движутся около Недоросля *Митрофана Простакова;* Митрофанъ недальнаго ума, но и не совсѣмъ дуракъ; онъ избалованъ, испорченъ животноматерпинскою любовью своей матери, которая готова принести ему въ жертву все; и первой жертвою этой, особаго рода, любви обречена *Софія*, богатая спрота. Связь и отношенія частныхъ лицъ таковы, что всѣ они необходимы для составленія одного цѣлаго міра. — Недавно открыта еще одна комедія Визина: «*Коріонъ*,» которая, однако же, во всемъ отстаетъ отъ двухъ прежнихъ, особенно отъ *Недоросля*. Кромѣ того, извѣстный Поэтъ, Дмитріевъ, на судъ котораго можно положиться, говоритъ съ большою похвалою о комедіи Визина: *Гофмаршалъ*, которую Визинъ читалъ за нѣсколько дней передъ своею смертію у Державина: но эта комедія совсѣмъ пропала.

Геній Екатерины II слился съ народнымъ геніемъ; Княжнинъ.
Ея великій духъ оживотворялъ огромный составъ Россіи; Ея людкость и образованность сдѣлались потребностію общества; Она вдохнула въ него любовь къ изящному, устроила богатые театры, взыскала и покровительствовала таланты, которые, образуя вкусъ и Литературою сближая разныя сословія, распространяли общественность. Однимъ изъ главныхъ средствъ образованія былъ Театръ. *Княжнинъ*, современникъ Фонъ-Визина, ободренный вниманіемъ Императрицы, лучшаго, просвѣщеннѣйшаго судьи своего времени, и поддержанный Сумароковымъ, обогатилъ многими произведеніями нашу драматическую Литературу. Конечно, онъ не имѣлъ того проницательнаго генія, который бы могъ созерцать глубину духа народнаго, отражающагося въ частной жизни, и который одушевилъ творенія Фонъ-Визина; но нельзя также согласиться и съ Мерзляковымъ, который столь смѣло и рѣшительно осуждаетъ Трагедіи Княжнина не только на забвеніе, но даже на

безславіе. Ежели эти произведенія имѣли успѣхъ, ежели имѣли вліяніе въ образованіи общества; то, значитъ, они были не ниже своего вѣка. Повторяю, не должно требовать отъ писателей того, что́ выше ихъ силъ и обстоятельствъ. *Критика* судитъ произведенія по законамъ теоріи; *Исторія* — по обстоятельствамъ. Сія послѣдняя осуждаетъ сочиненія, написанныя безъ цѣли, безъ значенія, слабыя отъ умысла и небреженія; Трагедіи же Княжнина сильно дѣйствовали на современниковъ его; онѣ уже легче и естественнѣе предшествовавшихъ имъ; слѣдовательно онъ заботился объ усовершеніи этого рода Словесности, и принесъ тѣмъ посильную пользу. Главный его недостатокъ состоитъ въ нарушеніи единства характеровъ; отъ того произошелъ недостатокъ занимательности въ ходѣ Трагедіи. Причиною этой важной погрѣшности было подражаніе вдругъ многимъ образцамъ, которое произходило отъ безотчетной довѣренности Французскимъ трагикамъ. Изъ всѣхъ его трагедій *Росславъ*, вѣроятно по свойству содержанія, и *Дидона*, по силѣ характеровъ и чувствованій, лучше другихъ были приняты и долѣе удержались на сценѣ нашей.

Можно ли, напримѣръ сравнивать слѣдующіе стихи и движенія страсти съ стихами и страстію Сумарокова? Когда Ярбъ узнаетъ о любви Дидоны къ Энею; онъ говоритъ:

Свирѣпа ада дщерь, надежда злобныхъ, месть!
Къ чему несчастнаго стремишся ты привесть?
Лютѣйшей горести мнѣ въ сердце ядъ вливая,
Влечешь меня на все, мнѣ очи закрывая.
Дидона нѣжну страсть способна ощущать....
Но сердце кто ея дерзаетъ обольщать? —
Онъ въ прелестяхъ ея всечастно будетъ зрѣть,
Колико счастливъ онъ, и сколько я несчастенъ....
Благополученъ врагъ, а я лишь только страстенъ.

О! ты, котораго всѣ чтутъ моимъ отцемъ!
Великій Юпитеръ держащій страшный громъ,
Зри сыну твоему творимыя досады....
Когда ты мнѣ отецъ, яви, что я твой сынъ! и проч.

Впрочемъ, Комедіи и комическія Оперы Княжнина составляютъ истинное и заслуженное торжество его. Онѣ далеко не могутъ равняться съ *Недорослемъ* и *Бригадиромъ* въ глубокомысліи и соображеніяхъ, которыя даютъ легкую стройность цѣлому, и въ мастерской отдѣлкѣ характеровъ; но превозходятъ ихъ совершенно комическими положеніями дѣйствующихъ лицъ и тою запутанностію, въ которую дѣйствователи вовлекаютъ сами себя невѣжествомъ или собственною хитростію, разчетами или простотою. Княжнинъ смотрѣлъ на офранцуженное, современное ему, Русское общество; видѣлъ, какъ члены его, смѣшавъ свои предразсудки, пороки и слабости, грубость и невѣжество съ чужими, вносными, гордились и тщеславились тѣмъ, что не составляло никакого достоинства, стыдились всего Русскаго, даже славнаго и великаго своего *имени;* или, не зная, что дѣлается въ образованномъ мірѣ, жили въ какомъ-то блаженномъ невѣдѣніи и самозабвеніи. Изобразить и показать Русскимъ эти вредныя и унизительныя ихъ странности: вотъ главная мысль, одушевлявшая всѣ комедіи Княжнина. И мысль эта выражена съ удивительною вѣрностію и отчетливостію. Комедіи его уже не играются болѣе на театрѣ, но всегда останутся свидѣтелями нравовъ того времени, особенно, *Чудаки*, *Хвастунъ* и *Неудачный Примиритель*.

Успѣхи этихъ писателей, творцевъ драматической Поэзіи, главныхъ дѣйствователей въ Исторіи нашего театра, возбудили соревнованіе и даже благородное соперничество въ другихъ писателяхъ, изъ коихъ съ похвалою можно упомянуть *о Николевѣ*, сочинителѣ Трагедіи: *Сорена; Аблесимовѣ*, сочинителѣ Оперы: *Мель-*

никъ, и комедіи: *Подьяческая пирушка* и др., и особенно *о Плавильщиковѣ*, который, кромѣ того — что, бывъ хорошимъ актеромъ и писавъ о театрѣ, способствовалъ усовершенію его, — сочинилъ нѣсколько трагедій и комедій довольно удачныхъ. Произведенія Аблесимова всѣ отличаются Русскою особенностію и современностію; но преимущественно его *Мельникъ* заслуживаетъ вниманіе тѣмъ, что здѣсь являются на сценѣ въ первой разъ нравы и повѣрья простаго Русскаго народа; и мы обязаны сказать къ чести стараго писателя и къ стыду новыхъ драматиковъ, что въ этой картинѣ простонравія есть много забавнаго, но ничего нѣтъ унизительно смѣшнаго *бурлеско*, что очень часто встрѣчаемъ у новѣйшихъ писателей, которые въ Русскихъ нравахъ видятъ только *грубо-глупое*. Но большая часть изъ этихъ произведеній замѣчательны только потому, что, при бѣдности Драматической Литературы, они поддерживали существованіе Театра.

Всѣ отрасли Поэзіи, какъ мы видѣли, въ это время были чужды народнаго духа; а Комедія получила еще отъ Фонъ-Визина то истинное направленіе, въ которомъ она безпрестанно развивала народный бытъ во всѣхъ его видахъ. Визинъ, творецъ нашей Комедіи, далъ главную тему, представляя общество, какъ нѣчто цѣлое, нераздѣльное; Княжнинъ и другіе его современники раздробили эту тему, давая Комедіи меньшій объемъ и болѣе частное значеніе; такъ что каждое произведеніе изображало или бытъ какого либо сословія, или частное, разумѣется идеальное, семейство съ соприкосновенными къ нему разнородными лицами. Комедіи же: *Ябеда*, — *Капниста*, и *Неслыханное диво* или *Честный Секретарь* — *Судовщикова*, кажется, могутъ служить вѣрными образцами, относительно комической идеи. Въ изложеніи и въ частностяхъ онѣ имѣютъ свои недостатки, особенно послѣдняя много теряетъ грубостію

формъ; но, по общему значенію своему, онѣ составляютъ продолженіе *Бригадира* и *Недоросля*. Онѣ преимущественно изображаютъ подьячество и гибельное для общества лихоимство со всѣми его замашками и пріемами, которые въ то время доведены были до самой грубой торговли правосудіемъ. Хотя въ одно время съ этими произведеніями появились первыя Комедіи Князя *Шаховскаго;* однако большая часть его сочиненій, какъ по направленію, такъ и по времени принадлежатъ къ современной намъ Литературѣ.

Комическіе писатели у насъ, въ продолженіе всего этого періода, не перемежались, и въ слѣдъ за Фонъ-Визиномъ и Княжнинымъ явились новые молодые комики, между которыми замѣчателенъ *И. А. Крыловъ;* — но не здѣсь его поприще. Что же касается до Трагедіи, то она,—требуя со стороны сочинителя большихъ силъ и большихъ знаній, а со стороны театра и публики большей готовности, — послѣ Княжнина совсѣмъ замолкла. Наконецъ въ 1798 году явилась *Смерть Олега—Озерова;* и эта попытка была неудачна, такъ что она не имѣла никакого успѣха. Странная противоположность! Тотъ самый Озеровъ, котораго нынѣ, при быстрыхъ успѣхахъ Словесности, мы не можемъ читать безъ сердечнаго трепета, былъ осмѣянъ чтителями и зрителями Сумарокова и Княжнина, которые для насъ занимательны только потому, что они пробивали первую тропу къ храму Мельпомены, произведенія которыхъ имѣютъ для насъ ту же важность, какую находитъ опытный художникъ въ первыхъ своихъ урокахъ—необходимость начала. Причины этой неудачи заключаются частію въ самомъ Озеровѣ, частію въ сопутствующихъ ему обстоятельствахъ: геніальность Озерова не подлежитъ сомнѣнію; онъ могъ и долженъ былъ творить; но онъ началъ съ подраженія Французскимъ классикамъ, и тѣмъ стѣснилъ, охладилъ творческую дѣятельность своего генія, который былъ выше, силь- Озеровъ.

пѣе, свободпѣе, самостоятельнѣе своихъ образцевъ; но и въ самомъ стѣсненіи, онъ забылъ или не замѣтилъ, потому не соблюлъ, нѣкоторыхъ мелкихъ условій классицизма; оттого не угодилъ ни классикамъ или людямъ современнаго ему образованія, которые за малѣйшее своевольство гнали писателей нещадно, ни тѣмъ немногимъ, которые предпочитали Германскую Литературу Французской, и которые въ Трагедіи Озерова не видали ничего подобнаго первой. А недостатокъ ученаго образованія при подражательности былъ причиною многихъ несообразностей и неестественности. Для того, чтобъ подражаніе имѣло удачу, нужно изучить глубоко и тѣ образцы, которымъ хотимъ подражать, и тѣ теоріи, подъ вліяніемъ которыхъ эти образцы производились. Въ доказательство этихъ мыслей, можно сослаться на слѣдующія его произведенія, успѣхъ и достоинства которыхъ зависѣли отъ степени свободы и самостоятельности его генія. Второе произведеніе Озерова, по времени, *Эдипъ* въ *Аѳинахъ*, третіе — *Фингалъ*, четвертое — *Димитрій Донской* и наконецъ — *Поликсена*. Хотя во всѣхъ этихъ четырехъ трагедіяхъ онъ былъ болѣе самостоятеленъ, нежели въ первой, — и потому всѣ онѣ превозходятъ ее и естественностію хода дѣйствія и силою характеровъ, и пыломъ страстей, и смѣлостію піитическихъ идей, и красотою формъ; но Фингалъ, кажется, есть любимѣйшее его твореніе, любимѣйшее изъ тѣхъ, которыми геній его уже разрѣшился; потому такъ думаю, что эта трагедія превышаетъ всѣ прочія; однако она не можетъ почесться тѣмъ идеаломъ, къ которому стремились всѣ его творческіе помыслы. Въ ней поэтъ достигъ только одного совершенства — стройнаго соединенія силы съ слабостію; здѣсь самъ Фингалъ есть образецъ величія, возвышеннаго мужества, которое, покорствуя нѣжности, составляетъ идеалъ *высокаго;* а въ *Моинѣ* слабая нѣжность, окри-

ленная сочувствіемъ великой души *Фингала*, проявляетъ возможную степень *прекраснаго;* въ одномъ высшая доблесть, умягченная пріятностію, возбуждаетъ сладостное удивленіе; въ другой чудная нѣжность, возвышенная благородною смѣлостію, раждаетъ въ душѣ читателя и зрителя безкорыстную, почтительную, но непреодолимую къ ней привязанность. А какъ эти свойства изящнаго общи всѣмъ родамъ его, и какъ Трагедія, сверхъ этихъ общихъ свойствъ и условій требуетъ частныхъ совершенствъ; то мы и должны искать высшаго значенія, высшаго развитія у Озерова, какъ трагика. И ежели не найдемъ того въ этихъ произведеніяхъ; то принуждены будемъ заключить, что онъ не свершилъ своего назначенія.

Теперь взглянемъ на каждую трагедію порознь: *Эдипъ въ Аѳинахъ*, по самому содержанію своему и по идеѣ, принадлежитъ древнему классическому міру; слѣдовательно духъ Философіи въ этой трагедіи нельзя и не должно было примѣнять къ новому направленію ума; однако Поэтъ нашелъ способъ оживить ее и сообщить ей большое движеніе: онъ нарушилъ, такъ называемое, единство мѣста и времени, представивъ послѣднее неопредѣленнымъ, а первое разположивъ по свойству дѣйствія. Впрочемъ, это твореніе мало имѣетъ трагическаго; потому что оно, основываясь на разныхъ началахъ, проистекающихъ или изъ разчетовъ или изъ власти судьбы, не имѣетъ сильныхъ страстныхъ движеній, которыя не терпятъ препятствій и при всякой встрѣчѣ съ препятствіями возгараются бо́льшимъ жаромъ; это—попытка написать трагедію безъ любви! Любовь конечно не составляетъ существеннаго свойства трагедіи; но она упрямѣе, разнообразнѣе другихъ страстей, и можетъ быть источникомъ всѣхъ чувствованій; она есть начало соединенія милаго съ высокимъ; и потому служитъ удобнѣйшимъ основаніемъ Трагедіи. Озеровъ рѣшился пренe-

бречь это основаніе въ своей трагедіи; но ни чѣмъ не замѣнилъ его; отъ того здѣсь нѣтъ господствующаго чувствованія, которое бы связывало всѣ дѣйствующія силы и давало бы цѣлость и единство всему творенію, оживляя его движеніемъ, и изгоняло бы изъ разговоровъ Лиризмъ, каковымъ вся эта трагедія изобилуетъ, и который дѣлаетъ ее утомительною и для актера и для зрителя. *Димитрій Донской*, по содержанію, былъ бы несравненно удобнѣе къ такому отступленію отъ принятаго трагиками условія — основывать свои творенія на любви; но поэтъ здѣсь не устранилъ эту страсть. И потому въ этой Трагедіи встрѣчается такое излишество, которое запутываетъ ходъ ея, развлекаетъ вниманіе и отнимаетъ занимательность у главной мысли. Здѣсь общее чувство любовь къ Отечеству и стремленіе къ независимости его, противодѣйствующая сила — властолюбіе Мамая; къ этому можно и даже нужно бъ было, для большей занимательности и для разнообразія характеровъ, прибавить частныя желанія удѣльныхъ Князей, которые, противоборствуя стремленію Димитрія къ единодержавію, могли разнообразить и продлить дѣйствіе. Озеровъ, не воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, ввелъ Ксенію, которая въ общемъ ходѣ есть совсѣмъ лишнее лице; при спорѣ Димитрія съ Тверскимъ Княземъ за эту Княжну, остальныя дѣйствующія лица остаются только свидѣтелями, безъ дѣла, безъ участія. Эта несообразность противорѣчитъ и общей идеѣ нашей древней Исторіи, которая представляетъ самую ужасную трагедію, основанную на борьбѣ единодержавія съ патріархальною удѣльностію. Кажется, Поэтъ увлекся къ этой несообразности счастливою страстію изображать женскіе характеры; и кажется, эта же самая страсть была источникомъ и послѣдней его трагедіи, *Поликсены;* по крайней мѣрѣ нельзя опровергнуть этого мнѣнія; ибо что можетъ оправдать Поэта въ произведе-

ніи Поликсены, важность и значеніе которой заключаются только въ разностороннемъ и прекрасномъ изображеніи женскаго сердца, послѣ того, когда уже онъ произвелъ Фингала? Это частная выходка, отступленіе — хотя и прекрасное — отъ призванія своего. Въ самомъ дѣлѣ, кому не пріятно заняться тѣмъ, что, не стоя никакого труда, своимъ совершенствомъ льститъ нашему самолюбію?— Это общая слабость; и Озеровъ, плѣняясь, подобно Пигмаліону, Антигоною и Моиной, твореніями прелестными, очаровательными, рѣшился похитить у природы тайны созданія красоты въ другихъ формахъ, отличныхъ отъ *Антигоны*, *Ксеніи* и *Моины*. Онъ успѣлъ въ этомъ смѣломъ предпріятіи, и доказалъ, что никто не понялъ столь ясно женской природы, какъ нашъ поэтъ. *Поликсена*, *Гекуба* и *Кассандра* суть чудныя созданія генія. Эта трагедія, по своей идеѣ, и по общимъ формамъ созданія, очень близка къ древне-классическимъ. И такъ изъ всего этого можно заключить, что Озеровъ, кромѣ первой своей трагедіи, не слѣдовалъ безотчетно старымъ идеямъ, и не отгадалъ да и, кажется, не заботился отгадывать новаго направленія и главной идеи нашей Исторіи. Онъ имѣлъ другую цѣль, иное призваніе! Если мы возмемъ съ одной стороны трагедіи прежнихъ писателей, съ другой творенія Озерова; то найдемъ разность безпредѣльную: первыя потому написаны, что надобно было написать, а послѣднія родились, зрѣли въ душѣ творца и изторглись изъ нея противъ воли его, какъ изливается пѣснь соловья; только по естественному стремленію генія къ творчеству, по безкорыстной любви къ творенію, совершенство котораго доставляетъ ему высшее, ничѣмъ не замѣнимое, наслажденіе, а несовершенства — которыя всегда въ твореніяхъ генія происходятъ отъ внѣшнихъ вліяній— убиваютъ его. Посему прежніе писатели, *работая*, производя то, чего отъ нихъ требовали, угождали

своему обществу; а Озеровъ осмѣлился пренебречь нѣкоторыя условія Французской школы, въ то время, когда она деспотически стѣсняла Словесность; когда сужденія Лагарпа казались судомъ вѣчности, опредѣленіемъ судьбы; когда новое образованіе еще не имѣло голоса; и онъ былъ осужденъ.

И такъ что мы должны сказать вообще о трагедіяхъ его?—1) Піитическая сторона ихъ или творчество не имѣетъ въ нашей Словесности соперничества; 2) искусство или художническая часть ихъ представляетъ смѣсь стараго классицизма съ возникавшимъ въ то время Романтизмомъ; 3) по направленію своему, онѣ вовсе не поняты были своими современниками, которые восхищались только звучными стихами; 4) стихотворство въ нихъ доведено до высокой степени искусства; 5) въ изображеніи страстей видна та естественность, которая раждается изъ познанія отношеній природы къ человѣку; 6) но изъ сихъ твореній видно также и то, что поэтъ, отгадавъ общее значеніе человѣчества, не всегда или, по-крайней-мѣрѣ, не ясно понималъ историческую мысль каждаго народа; 7) изображеніе женскихъ характеровъ составляетъ вѣнецъ искуства Озерова; 8) хотя чувство патріотизма заставляетъ сердце наше сильнѣе биться при словахъ Димитрія:

Но брань конецъ правамъ, добытымъ черезъ брани!
Осталось мужество единымъ намъ добромъ;
И Хану лань несемъ не златомъ, не сребромъ!...
Нѣтъ! дани для него мы собрали иныя —
Мечи булатные и стрѣлы каленыя,
Пусть оныя принять Непрядву перейдетъ.

Однако при всемъ томъ Фингалъ долженъ стоять выше Димитрія, какъ по общей мысли, которая, кажется, духомъ Оссіана вдохнута нашему Поэту; такъ и по выполненію, которое мы уже опредѣлили выше.

9) Разговоры въ трагедіяхъ Озерова самые естественные, каковыхъ и въ лучшихъ классическихъ произведеніяхъ трудно найдти. 10) Дѣйствующія лица ужъ не являются на сцену за тѣмъ, чтобъ поговорить, разсказать свои тайны, и уйдти. Правда, въ страсти, особливо въ мечтаніяхъ они иногда бываютъ слишкомъ говорливы; впрочемъ никогда не отступаютъ отъ своего предмета; напр. Старнъ, узнавъ о робости своихъ воиновъ, въ гнѣвѣ восклицаетъ:

. . . . . Страшатся? Малодушные!
Что сей Фингалъ доднесь ни кѣмъ не побѣжденъ,
Безсмертнымъ развѣ онъ отъ матери рожденъ?
Иль грудь его тверда какъ камень древнихъ башень!
Нѣтъ, нѣтъ! не долженъ быть, не можетъ быть тотъ страшенъ,
Котораго въ бою прерветъ блестящій вѣкъ
Кинжаломъ иль мечемъ отважный человѣкъ;
Который такъ, какъ мы, и временемъ и тщетенъ,
Который также слабъ, который также смертенъ.
Фингаловы отцы, подобные мечтѣ,
Прешли и скрылися въ могильной темнотѣ.
Преходятъ роды всѣ и возстаютъ другіе;
Какъ съ вѣтромъ по морю идутъ валы сѣдые,
Иль какъ осенній листъ отъ древа отнесенъ,
И листомъ по веснѣ зеленымъ замѣненъ.
Подобно и мой родъ со мной пресѣчется.

Эти элегическія уподобленія Фингаловыхъ праотцевъ *мечтѣ*, *валамъ сѣдымъ* и *осеннему листу* прекрасны сами по себѣ, но они не совсѣмъ умѣстны здѣсь въ гнѣвной рѣчи озлобленнаго старика и отца, алчущаго мщенія.

Тотъ же Старнъ, томимый желаніемъ мести, въ монологѣ изливаетъ свою душу предъ Оденомъ; съ какою удивительною силою изображаетъ онъ мрачно-грозный духъ сѣверной поэзіи; какъ далеко простираетъ свои мечты! — впрочемъ онъ смѣшиваетъ Одена съ

другимъ, вѣчно противоборствующимъ ему, божествомъ, Локомъ. — Ошибка Поэта. — Онъ говоритъ:

О древне Божество обширныхъ странъ полночныхъ,
Надежда страждущихъ и сила, крѣпость мощныхъ!
Оденъ, — котораго невидимой рукой
Природа держится, и кругъ вращаетъ свой!
Ты волею своей быстрѣе вѣтровъ горныхъ. —
Чья месть мрачнѣе бурь, висящихъ въ тучахъ черныхъ,
На коихъ возлегла Тоскара грустна тѣнь —
Яви свой ярый гнѣвъ въ торжественный сей день;
Помощникомъ мнѣ будь къ погибели Фингала,
Котораго рука кумиръ твой потрясала,
Котораго мечемъ мой сынъ погибъ въ бою,
Чей хитрый взглядъ прельстилъ дочь слабую мою,
И чрезъ кого я сталъ безъ чадъ моихъ, безъ чести,
Съ одною грустію, съ однимъ желаньемъ мести, —
На старости моей, въ печальномъ сиротствѣ.
Мой врагъ передъ тебя явится въ торжествѣ;
Нашли на духъ боязнь, на мысль недоумѣнье,
Предзнаменующи могущаго паденье; —
Чтобъ онъ, какъ лютый звѣрь, страшилище лѣсовъ,
Гонимый ловчими, преслѣдованъ отъ псовъ,
Въ разставленну мной сѣть стремился торопливый,
И веселился бъ Старнъ добычею счастливой.
Внесу тогда, Оденъ, во капище твое
Его булатный мечъ, огромное копье,
И щитъ и шлемъ, крыломъ орлинымъ осѣненный,
И весь доспѣхъ внесу, чтобы вѣщалъ вселенной
Изъ рода въ поздній родъ, отъ вѣка въ дальній вѣкъ,
Сколь слабъ передъ тобой сильнѣйшій человѣкъ!
Мечтавъ не знать себѣ въ величіи примѣра,
Онъ палъ!—и три шага его жилищу мѣра.

И здѣсь видна мечтательная говорливость, которая прелестна при всемъ своемъ излишествѣ. Но вотъ какъ Поэтъ соединяетъ нѣжность съ какимъ-то дикимъ, но величественнымъ мужествомъ:

Когда бы знала ты, какъ много я страдалъ
Со дня, какъ въ первый разъ тебя увидѣлъ!...

Дотолѣ мыслью дикъ, любовь я ненавидѣлъ,
Считалъ ее мечтой и слабостью умовъ.
Какъ стужа нашихъ зимъ, былъ духъ во мнѣ суровъ.
Твой взоръ перемѣнилъ нравъ дикій и суровый,
Онъ далъ мнѣ нову жизнь, далъ сердцу чувства новы,
И огнь, палящій огнь пролилъ въ моей крови;
Онъ далъ почувствовать страданія любви,
Уныніе, тоску, отчаянье разлуки
И страхъ немилымъ быть и ревности всѣ муки....

Или еще лучше, еще сильнѣе чувствованія сіи выражаетъ Фингалъ, котораго любовь заставила идти въ противный вѣрѣ его храмъ и клясться тамъ предъ чуждымъ божествомъ:

Оденъ, Локлиндцевъ богъ, коль въ первый нынѣ разъ,
Ты Каледонина во храмѣ слышишь гласъ,
Не удивись тому; — ты божество Моины —
Предъ жертвенникомъ ждетъ она своей судьбины; —
Хочу тебя призвать, хочу тебя почтить!
И въ пламенной любви клянусь ей вѣрнымъ быть;
Сихъ клятвъ хочу имѣть свидѣтелемъ Одена;
Мнѣ будь свидѣтелемъ и ты племенъ Морвена,
Отцевъ Фингаловыхъ могуще Божество,
Ты, коего весь міръ являетъ существо,
Но смертные умомъ кого не понимаютъ,
Кого именовать уста мои не знаютъ;
Ты, исполняющій вселенную собой;
И въ храмѣ чуждомъ семъ обѣтъ услышишь мой:
Когда Моинины, любовью полны, взгляды
Не будутъ находить въ моихъ глазахъ отрады,
Когда не будутъ зрѣть въ нихъ страстнаго огня;
Которымъ днесь горю; то накажи меня: —
Чтобы руки моей исчезла дивна сила,
Котора страхъ врагамъ въ сраженьяхъ наносила;
И твердость, мужество Фингаловой души,
Какъ быліе долинъ во цвѣтѣ изсуши;
Чтобъ безполезный царь, противъ любви безчестенъ,
Влачилъ я мрачну жизнь и умеръ безъизвѣстенъ;
Чтобъ въ пѣсняхъ Бардовъ я въ потомствѣ не гремѣлъ,
Въ дому отцевъ моихъ мой щитъ бы не висѣлъ,

И мечъ, мой тщетный мечъ, притупленный и ржавый,
Былъ въ дебри выброшенъ, какъ мечъ царей безъ славы.
Жрецы, народъ и ты, о мудрый Старнъ! въ сей часъ
Свидѣтелями клятвъ я поставляю васъ!

Изъ сихъ немногихъ стиховъ мы видимъ характеры Старна и Фингалла, видимъ духъ Скандинавской Поэзіи; видимъ, какъ далеко ушелъ Озеровъ отъ своихъ предшественниковъ; мы видимъ съ нимъ, какъ:

Возсталъ Морвены вождь Фингалъ,
Оружье грозное пріялъ:
Стрѣла въ колчанѣ роковая;
На груди рдяна сталь видна;
Копье, какъ сосна вѣковая,
И щитъ, какъ полная луна,
Возсѣвшая надъ Океаномъ
И вся подернута туманомъ!

Мы видимъ его мрачнаго, задумчиваго надъ гробомъ Тоскара, и готовы съ нимъ сказать:

Нѣтъ! гласамъ никогда надгробнымъ я не внемлю,
Чтобъ мысль не обращать въ отеческую землю,
Гдѣ возвышенный рялъ родительскихъ могилъ
Служилъ источникомъ моихъ душевныхъ силъ!...

Намъ уже извѣстно, что вся эта трагедія есть чудное соединеніе силы и нѣжности, высокаго и прекраснаго, грознаго и милаго; но мы должны вспомнить, что все это проникнуто простотою и мрачною задумчивостію, при которой и въ самыхъ радостяхъ, какъ бы просвѣчиваетъ будущее печальное; прислушаемся къ торжественному признанію Моины предъ Фингаломъ:

Въ пустынной тишинѣ, въ лѣсахъ среди свободы,
Мы возрастаемъ здѣсь, какъ дочери природы,
И столько жъ искренни, какъ искренна она.
И такъ, о Государь! сказать тебѣ должна,

Что съ перваго тебя я возлюбила взгляда.
Къ герою страсть — души великія отрада!
Гордяся чувствомъ симъ и радуясь ему,
Призналась въ томъ отцу, народу и всему,
Что въ отческой странѣ чувствительность имѣетъ,
И праху матерню, который въ гробѣ тлѣетъ.
Природѣ, словомъ, всей извѣстна страсть моя,
О коей небесамъ сказать готова я.
Повѣрь, Моина здѣсь не менѣе Фингала
Терзалась мыслію, разлукою страдала.
Какъ часто съ береговъ или высокихъ горъ
Я въ море синее мой простирала взоръ.
Тамъ каждый валъ вдали мнѣ пѣною своею
Казался парусомъ, надеждою мосю;
Но тяжко опустясь къ глубокому песку,
По сердцу разливалъ мнѣ мрачную тоску....
Какъ часто въ темну ночь, печальна и уныла,
Обманывать себя я къ брегу приходила.

Отсюда видѣнъ духъ Озерова, который смертію остановленъ на половинѣ поприща; онъ началъ, но не кончилъ великаго преобразованія Трагедіи; онъ низпровергъ старое, но не создалъ новаго. Озеровъ ждетъ разбора подробнаго, вѣрнаго, безпристрастнаго, произведеннаго вкусомъ просвѣщеннымъ, современною критикою; онъ стоитъ на рубежѣ между классической и новой Поэзіею.

Такъ какъ всѣ трагедіи Озерова, какъ по духу и направленію идей, такъ и по вѣшнему характеру, совершенно различны между собою; то мы должны допустить мысль, что онъ только пробовалъ свои силы, что онъ еще непопалъ на ту идею, въ выполненіи которой могъ бы выразиться весь геній его.

Прозаическіе писатели.

Хотя Ломоносовъ, создавъ нашу Литературу, поставилъ прозу на высшую степень совершенства, нежели Поэзію; такъ точно, какъ Великій Петръ, не забывая пріятнаго, всю жизнь свою посвятилъ прямому, непосредственному благу Россіи; но бремя, подъятое Ломоносовымъ безъ усилій, было непреодолимо тяжко для его подра-

жателей; ближайшіе его послѣдователи и соперники не только не улучшили, не возвысили нашей прозы, но даже обезобразили и уронили ее. Подобно великому преобразователю Россіи, давшему ей иноземныя формы, Ломоносовъ далъ формы прозаическому выраженію Латино-нѣмецкія; послѣдователи его, не поняви и не могши усвоить его красотъ и силы, которыя онъ умѣлъ дать всѣмъ своимъ дѣйствіямъ, своимъ поэтическимъ взглядамъ, поставили себѣ закономъ держаться этихъ формъ и другихъ его ошибокъ. Изъ этого же источника произтекаютъ близорукія осужденія Ломоносова новѣйшими критиками. Проза *Сумарокова*, какъ мы уже видѣли, имѣетъ болѣе сходства съ писателями предшествующаго періода, нежели съ *Ломоносовымъ*, какъ по языку, такъ и по мыслямъ; напримѣръ: какъ онъ разбираетъ Оды *Ломоносова?* — Онъ говоритъ, что *въ Одахъ господина Ломоносова суть строфы наипрекраснѣйшія:* въ I Одѣ 1 и 6, во II — 7, 8 и 12, въ VI и такъ далѣе; потомъ идутъ въ такомъ же порядкѣ строфы *прекрасныя, хорошія, изрядныя, такія, которыя нужно исправить, и наконецъ такія, которыя*, критикъ говоритъ, *не знаю на что написаны.* Но мы уже говорили о его прозаическихъ сочиніяхъ.—*Рѣчи Поповскаго* суть очень близкія и удачныя подражанія *Ломоносову.*

Визинъ. *Фонъ-Визинъ* писалъ не много, но его проза есть лучшая между сочиненіями прошедшаго столѣтія; онъ далъ прозаическому языку легкое и естественное теченіе, кромѣ того, что онъ, подобно Ломоносову, удержалъ употребленіе глагола на концѣ періодовъ и предложеній. Его *Исповѣдь*, составляющая нѣкоторую часть собственнаго его жизнеописанія, *Слово на выздоровленіе Великаго Князя Павла Петровича*, разныя *письма*, юмористическое *Слово* въ Духовъ день и другія сочиненія, кромѣ очищенія языка, замѣчательны тѣмъ, что они просвѣчиваются новыми мыслями, которыя далеко

выдались изъ своего вѣка, и показываютъ, что сочинитель освободился отъ господствовавшей тогда мечтательной Французской философіи, которою всѣ его современники, равно какъ онъ самъ въ своей молодости, были сильно заражены, какъ въ нравственномъ отношеніи, такъ и литературномъ. Онъ разсуждалъ и писалъ, какъ говорятъ въ кругу просвѣщенныхъ друзей въ общежитіи. Слѣдовательно *Визинъ* нашу Прозу наклонялъ уже къ духу современной народности; но эти первоначальные опыты преобразованія были единственными въ то время; современники ихъ не поняли, и потому не продолжали начатаго. — Этой безуспѣшности много содѣйствовала кратковременность жизни сего геніальнаго писателя.

Вотъ небольшой отрывокъ изъ его *письма о Франціи къ одному Вельможѣ* (въ Москву изъ Ахена); здѣсь мы увидимъ образецъ его способа мышленія и способа выраженія или языка: «я оставилъ Францію. Пребываніе мое «въ семъ государствѣ убивало сильно цѣну его въ мо«емъ мнѣніи. Я нашелъ доброе гораздо въ меньшей мѣ«рѣ, нежели воображалъ; а худое въ такой большой «степени, которой и вообразить не могъ. Я разсматри«валъ со всевозможнымъ вниманіемъ все то, что могло «способствовать мнѣ къ пріобрѣтенію точнѣйшаго по«нятія о характерѣ Французовъ и о настоящемъ ихъ «положеніи, относительно разныхъ частей правитель«ства. Позвольте, милостивый гос., примѣчанія мои на «оное представить В — у С — ву, и убавьте своимъ «проницаніемъ то, въ чемъ мои разсужденія недоста«точны будутъ.

«Достойные люди, какой бы націи ни были, состав«ляютъ между собою одну націю. Выключая ихъ изъ «Французской, примѣчалъ я вообще ея свойства. Над«лежитъ отдать справедливость, что при неизъясни«момъ развращеніи нравовъ, есть во Французахъ

«доброта сердечная. Весьма рѣдкій изъ нихъ злопамя-«тенъ — добродѣтель конечно непрочная, и полагаться «на нее нельзя; — по крайней мѣрѣ, и пороки въ нихъ «не глубоко вкоренены. Непостоянство и вѣтренность «не допускаютъ ни пороку, ни добродѣтели въ сердца «ихъ поселиться.

«Разсудка Французъ не имѣетъ, и имѣть его почелъ «бы несчастіемъ своей жизни; ибо онъ заставилъ бы «его размышлять, когда онъ можетъ веселиться. Забава «есть одинъ предметъ его желаній. А какъ на забавы «потребны деньги; то для пріобрѣтенія ихъ онъ упо-«требляетъ всю остроту, которою его природа ода-«рила....»

Кромѣ наблюдательности ума, мы видимъ въ писателѣ правильное знаніе языка, но въ которомъ онъ, отступая отъ Славянскихъ формъ, невольно сбивается на Французское словотеченіе.

Историческіе писатели.

Въ то время, когда утверждалась историческая слава Россіи, когда Екатерина II мощною мыслію своего генія и твердостію духа народнаго вознеслась вмѣстѣ съ Россіею надъ имепами, удивлявшими Исторію; тогда и Русская Исторія начала приходить въ ясность; ободренная свѣтлымъ взоромъ Царицы просвѣщенной и мудрой, она начала произносить вслухъ имена славныя и священныя для нашей памяти, имена, почти похищенныя у вѣчности забвеніемъ. Въ это время два человѣка незабвенные для насъ, чуждые именами, но близкіе намъ заслугами Россіи, *Миллеръ* и *Шлецеръ* изданіемъ и объясненіемъ многихъ источниковъ нашей Исторіи и произведеній по сей части привели въ движеніе умы и оживили дѣятельность новыхъ дѣписателей. — Послѣ Россійской Исторіи *Татищева*, которая впрочемъ издана была въ первый разъ въ 1768, — 1769, — 1773 и 1774 годахъ, являлись только краткіе опыты Исторіи; но *Щербатовъ* предпринялъ написать пространную Исторію

и пятнадцатый томъ ея кончился царствованіемъ Михаила Ѳеодоровича. Появленіе его Исторіи произвело жестокую войну въ нашей Литературѣ. *Болтинъ*, издавая въ свѣтъ свои *замѣчанія на Исторію Леклерка*, показалъ нѣкоторыя несообразности, находящіяся и въ Исторіи, сочиненной Княземъ *Щербатовымъ;* отъ того произошелъ продолжительный споръ, который, хотя часто доходилъ до грубой брани, неприличной и недостойной въ Литературѣ, однако много объяснилъ историческихъ истинъ. Этотъ споръ, кажется, важнѣе самой Исторіи *Щербатова;* ибо послѣдняя писана безъ всякой критики, и замѣчательна только собраніемъ источниковъ Исторіи. Но сочиненія *Болтина*, какъ спорныя съ *Щербатовымъ* и *Леклеркомъ*, такъ и другія историческія, географическія и критическія, составляютъ весьма важный матеріялъ для нашей Исторіи; только языкъ и способъ выраженія у него не всегда достойны своего высокаго предмета; въ этомъ отношеніи онъ отстаетъ и отъ противника своего К. Щербатова. *Елагинъ* предпринималъ писать Исторію подъ названіемъ: *Опытъ повѣствованія о Россіи;* но не могъ кончить ее; и изданныя имъ пять частей, содержащія древнюю Исторію Россіи, совсѣмъ не заслуживаютъ названія Исторіи. *Плещеевъ* собралъ нѣкоторыя статистическія свѣдѣнія о Россіи въ концѣ осмнадцатаго столѣтія; кромѣ того онъ издалъ *Дневныя записки* своего *путешествія съ острова Пароса. Голиковъ* составилъ осмнадцать томовъ *Дѣяній Петра Великаго!* Писали и другіе въ историческомъ родѣ: но никто изъ нихъ не воспользовался тѣмъ, что сдѣлалъ для Россійской Исторіи *Шлецеръ*, творенія котораго можно почесть теоріею Русской Исторіи; но какъ всякая теорія имѣетъ свое общее начало; то и Шлецеръ, показавъ точку, съ которой должно смотрѣть на матеріялы нашей Исторіи, увлекся своимъ началомъ и ввелъ въ нашу Исторію много ученыхъ предразсудковъ;

тѣмъ не менѣе сочиненія ихъ не имѣютъ тѣхъ историческихъ достоинствъ, каковыхъ бы можно было требовать по ходу общаго просвѣщенія въ Россіи; Исторія же Литературы видитъ въ нихъ только явленія, которыя увеличиваютъ количество произведеній и свидѣтельствуютъ о недостаткѣ у насъ въ то время философическаго образованія и критики; ибо способъ воззрѣнія на предметы умозрѣнія, направленіе понятій и самый способъ выраженія не равнялись даже съ *Ломоносовскими*, хотя общественное образованіе въ парствованіе Екатерины сдѣлало исполинскіе успѣхи, и далеко превышало вѣкъ *Ломоносова*. Другихъ родовъ прозаики всѣ стоятъ не выше, или даже ниже историковъ. Впрочемъ изъ этого числа надобно изключить академика *Лепехина*, который подарилъ своихъ современниковъ умнымъ наблюдательнымъ и живописнымъ описаніемъ своего путешествія по Восточной Россіи. Эта книга и нынѣ можетъ быть прочитана, съ большимъ любопытствомъ, не смотря на то, что языкъ, изпещренный славянизмами, сильно устарѣлъ.

Разпространеніе знанія Французскаго языка сдѣлало его всеобщимъ орудіемъ частныхъ сношеній въ высшихъ кругахъ общества, и заставило щеголять знаніемъ его тѣхъ, которые хотѣли быть приняты въ этомъ обществѣ; это было причиною страсти къ Французской Литературѣ, свойства и условія которой ясно отразились на общественномъ образованіи Россіи. Подъ вліяніемъ такого направленія ума и произведеній его выросли и возпитались *М. Н. Муравьевъ*, *В. С. Подшивалов*ъ и *Н. М. Карамзинъ*. Первые двое однако много почерпнули и Германскаго современнаго имъ просвѣщенія; и потому они въ произведеніяхъ своихъ не пренебрегали идеями для красоты формъ. *Муравьевъ*, можно сказать, продолжалъ за *Фонъ-Визиномъ* совершенствованіе нашей прозы. Онъ, образовавшись по образ-

Муравьевъ.

цамъ древнихъ и новыхъ Литературъ, понялъ очень хорошо назначеніе *Русскаго писателя*, царе-учителя. Конечно онъ въ свое время не могъ сдѣлать то, что бы онъ сдѣлалъ нынѣ; не могъ писать въ народномъ духѣ, не могъ, и по характеру общаго просвѣщенія, и по положенію своему въ обществѣ, и по недостатку развитія формъ языка, выражать частныя черты народности; но, что касается до общаго историческаго значенія нашего, то никто изъ современныхъ ему писателей столь ясно и столь вѣрно не понималъ его. Всѣ сочиненія его направлены были къ изображенію сего значенія; онъ выражалъ свои мысли то въ формѣ разговоровъ, —*въ царствѣ мертвыхъ*,—заставляя читателя внимать рѣчамъ представителей разныхъ временъ; то бесѣдовалъ въ письмахъ; то повѣствовалъ, позволяя себѣ мечтать о вѣкахъ минувшихъ; то углублялся въ изслѣдованіе историческихъ истинъ; но всѣ мечты и мысли его, независимо отъ формъ, были оживлены легкою, естественною философіею, раждаемою въ душѣ самимъ предметомъ, и очищены отъ предубѣжденій столь же легкою и естественною критикою. Лучшее изъ всѣхъ его произведеній есть *краткое начертаніе Россійской Исторіи:* здѣсь отразилось все, что онъ мыслилъ и чувствовалъ; здѣсь онъ — повѣствователь, критикъ, философъ, политикъ и нравоучитель. Это произведеніе, по краткости своей, не можетъ быть названо Исторіею; это—полная, ясно, связно и отчетисто изложенная программа Россійской Исторіи, въ которой выражена главная мысль, проявляемая ходомъ Русской жизни. Слѣдовательно по идеѣ, это произведеніе означаетъ быстрый ходъ прозы, да и по формамъ выраженія оно опередило все современное.

Для примѣра образа мыслей и языка Муравьева, выпишемъ нѣсколько строкъ изъ его письма: «Въ минуту «пріѣзда моего все семейство помѣщика занималось от-

«правленіемъ деревенскаго праздника. Жители цѣлой «деревни, отстоящей отъ села на полтретьи версты, «старый и малый, приходили порядочнымъ строемъ на «дворъ господскій. Всѣ были въ лучшемъ праздничномъ «убранствѣ. Юноши и отроки, по два въ рядъ, подносили «помѣщицѣ вѣнки, сплетенные изъ васильковъ. Старо«ста между тѣмъ представлялъ господину всѣхъ стари«ковъ деревни.

«Послѣдовало радушное угощеніе. Столы были по«ставлены въ освѣщенной аллеѣ. Я спѣшилъ занять «мѣсто мое между добрыми поселянами. Господа отли«чались однимъ снизхожденіемъ и доброжелательствомъ. «Мы позабыли различіе состояній, и помнили только, «что мы люди. Мнѣ показалось, что вижу явленіе изъ «*золотаго вѣка*, когда подъ тѣнію дуба какой нибудь «Патріархъ вкушалъ простыя явства посреди своего «рождающагося семейства.

«Пляски, хороводы заключили вечеръ. Я предался «сладкому сну, наполненъ воспоминаніями всего того, «что видѣлъ и чувствовалъ. И сказать тебѣ правду? (по «ты не перескажи это кому-нибудь другому) веселье сіе «понравилось мнѣ несравненно лучше нашихъ воксаловъ, «гуляній, въ которыхъ съ такимъ трудомъ стараемся «насладиться природою — и не можемъ.» — Конечно здѣсь замѣтны еще мысли и чувствованія идиллическія; но языкъ уже чище, нежели у Фонъ-Визина.

Подшива-ловъ.

Кругъ дѣйствій *Подшивалова* былъ не столь обширенъ, вліяніе его въ читающемъ обществѣ было не столь замѣтно; но, по слѣдствіямъ своимъ, оно было едва ли не обширнѣе; ибо онъ сильно дѣйствовалъ своими правилами на образованіе вкуса возраставшаго въ то время новаго поколѣнія — юныхъ своихъ питомцевъ; онъ первый началъ знакомить соотечественниковъ съ Германскою Словесностію, которая была въ полномъ ея народномъ развитіи, и которая, по духу своему, гораздо

ближе къ нашей народности, нежели другія Литературы; а тѣмъ самымъ онъ показалъ, что есть Литература, кромѣ Французской. Ученыя сочиненія и даже переводы его показываютъ смѣлый шагъ нашей прозы; благородство, живость и вѣрность выраженія суть отличительныя свойства его языка. Въ легкомъ родѣ прозы красуется, подобно прелестному цвѣтку, который не только нѣжитъ чувство, но и предвѣщаетъ питательный плодъ, его собственное жизнеописаніе, названное: *Къ моимъ дѣтямъ;* здѣсь, между шутками, передано такъ много глубокомысленныхъ замѣчаній, исполненныхъ истины и назидательности, и знакомящихъ насъ съ общимъ бытомъ того времени!

Напримѣръ: «начало фамиліи нашей скрывается во «мракѣ временъ; думаю однако жъ, что и мы, подобно «другимъ людямъ, произходимъ отъ Адама; а что дѣй- «ствительно Русскіе, безъ всякой примѣси со стороны «Кипчатской или Золотой Орды, въ томъ свидѣтельству- «ютъ русые волосы, общіе всѣмъ однофамильцамъ на- «шимъ. Не углубляясь въ произхожденіе Русскихъ отъ «Троянъ, Скиѳовъ, Даковъ, Мидянъ, и проч. и проч., «что не принадлежитъ къ нашей фамиліи, довольно «сказать, что былъ шутливый крестьянинъ (это мой «дѣдушка), котораго сосѣди за остроту, можетъ быть «съ излишествомъ иногда разточаемую, прозвали моимъ «именемъ. Такъ по-крайней-мѣрѣ покойная мать мнѣ «пересказывала; но я съ своей стороны имѣю при- «чины думать, что фамилія наша гораздо древнѣе.... «Я и самъ, проѣзжая черезъ Клинъ, собственными гла- «зами видѣлъ многихъ однофамильцевъ нашихъ, хотя «родствомъ съ ними никакъ считаться не могъ; но «пожертвованія, дѣланныя въ пользу милиціи въ по- «слѣднюю войну съ Французами, открыли въ Твери «и Орлѣ еще болѣе однофамильныхъ съ нами зажиточ- «ныхъ купцевъ, изъ коихъ одинъ и головою въ Орлѣ.

«Наконецъ неподалеку отъ Петербурга есть цѣлая дерев-«ня нашего имени. И такъ, вотъ сколько причинъ вѣрить «древности нашей фамиліи, и вамъ, дѣти мои! оною гор-«диться....

«Что я былъ баловень у отца и матери, то можно за-«ключить изъ моего наряда, въ какомъ я хаживалъ по «праздникамъ и воскресеньямъ. На мнѣ бывалъ тогда «китайчатый *озямь*, бархатный камзолъ съ золотымъ «позументомъ, на площади купленный, а на головѣ ко-«рабликъ съ шерстянымъ вязаннымъ околышкомъ. Къ «тому жъ, какъ ни свято мои родители наблюдали пос-«ты, меня однако не строго къ нимъ придерживали; «и я, даже до обѣдни, въ Рождество Христово могъ «выпросить у матушки мяса.

«На новосельѣ я познакомился съ Жереховымъ, коего «отецъ слылъ важнымъ человѣкомъ въ околодкѣ (на Ям-«скихъ концахъ); ибо имѣлъ домъ обшитый тесомъ и «выкрашенный зеленою краскою пополамъ съ бѣлою. «Притомъ же онъ былъ Сержантъ и счетчикъ при Мо-«нетномъ Дворѣ. Его-то сынъ преподалъ мнѣ первые «уроки, какъ играть въ *кляпы* и *бабки*. Но *кляпы* скоро «мнѣ надоѣли; ибо я всегда почти, даже и въ грязь «осенью, долженъ былъ извѣстное разстояніе проскакать «на одной ножкѣ, причемъ сзади многіе голоса кричали: «а кисель, кисель ноги подъѣлъ!... Но въ бабки я со вре-«менемъ сдѣлался такой мастеръ играть, что когда «идешь бывало по Арбату, то со всѣхъ сторонъ кричатъ: «лихой, лихой идетъ!»

Карамзинъ. Мы уже частію видѣли заслуги *Карамзина*, видѣли, какъ успѣхи его на поприщѣ Литературы тѣсно связаны съ успѣхами самой Литературы; какъ онъ пріучалъ общество къ чтенію; но мы разсматривали труды и заслуги его односторонно, только именно въ піитическомъ отношеніи; и намъ остается еще опредѣлить мѣсто, назначенное ему въ ряду нашихъ прозаиковъ. Рѣшеніе этого

вопроса сопряжено съ многими трудностями; ибо долгъ историка требуетъ истиннаго суда, а кто изъ людей не считаетъ своего сужденія истиннымъ? Кто охотно признается въ своихъ ошибкахъ? Кто изъ вѣрующихъ въ безошибочность писателя захочетъ разстаться съ своимъ мнѣніемъ, если бы вздумали увѣрять его въ противномъ! И кто можетъ доказать такую безошибочность въ величайшихъ писателяхъ?—Но кто же можетъ увѣрить насъ и въ томъ, что открывать ошибки въ великихъ писателяхъ безполезно, и что тотъ, кто осмѣлится замѣтить такія ошибки, или обличить заблужденіе относительно сихъ писателей, не имѣетъ уваженія ни къ заслугамъ ихъ, ни къ общественному мнѣнію? — Общее мнѣніе признало Карамзина преобразователемъ нашей прозы. То самое уваженіе, которое мы Русскіе обязаны воздавать памяти сего писателя требуетъ отъ насъ безпристрастія и истины; ибо только истина можетъ проникнуть въ храмъ вѣчности. И такъ въ слѣдствіе этого требованія мы должны опредѣлить степень справедливости этого мнѣнія о Карамзинѣ, а для того надобно опредѣлить, что значитъ проза и что для нея сдѣлалъ Карамзинъ? — Противополагая прозу поэзіи, мы означаемъ первымъ словомъ всѣ роды Словесности, доставляющіе намъ положительную пользу разпространеніемъ знаній общежитныхъ, историческихъ, нравственныхъ — какъ умозрительныхъ, такъ и практическихъ. Эта отрасль Словесности во всѣхъ ея родахъ имѣетъ двѣ стихіи или составныя части: общій способъ воззрѣнія на предметы и способъ выраженія — формы; слѣдовательно качество прозы зависитъ отъ качествъ ея стихій и отъ совмѣщенія ихъ. По сему тотъ можетъ быть названъ преобразователемъ прозы, кто даетъ новое направленіе понятіямъ, измѣняетъ общій способъ воззрѣнія на предметы, подлежащіе знаніямъ; кто вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняетъ и способъ выраженія положительныхъ

знаній. Теперь нужно ли говорить, что для преобразованія прозы писателю нужно имѣть несравненно болѣе условій, нежели для преобразованія Поэзіи: преобразователь-прозаикъ долженъ имѣть сильный геній, обширныя свѣдѣнія, ежели не во всѣхъ, то по-крайней-мѣрѣ во многихъ родахъ. Умъ твердый, самостоятельный, независящій отъ предразсудковъ вѣка своего, ставшій выше всѣхъ предубѣжденій, способный совмѣстить въ себѣ всѣ современныя знанія, и даже опередившій своихъ современниковъ, только можетъ произвести такое измѣненіе. Таковымъ былъ и такъ дѣйствовалъ Ломоносовъ. *Карамзинъ*, какъ мы уже видѣли, не былъ выше своего вѣка; онъ носилъ въ душѣ своей всѣ совершенства и недостатки его, дѣйствовалъ въ Литературѣ по тѣмъ же самымъ идеямъ, которыя господствовали въ его вѣкѣ и управляли духомъ того вѣка; онъ даже примѣнялся къ его слабостямъ. А ежели бы онъ дѣйствовалъ иначе, ежели бы рѣшился измѣнить направленіе; то, не имѣя творческаго генія, не могъ бы произвести и того, что ему удалось сдѣлать—пріучить общество къ Русскому чтенію. Напрасно мы будемъ ему приписывать мнимое преобразованіе; онъ совсѣмъ не имѣлъ того въ виду; возмемъ любое его произведеніе, и мы увидимъ, что онъ, по идеямъ своимъ, не только не опередилъ вѣка, даже отсталъ отъ нѣкоторыхъ писателей; какъ напримѣръ: отъ *Муравьева;* но онъ выигралъ предъ другими количествомъ произведеній, страстною любовію къ Словесности, большинствомъ голосовъ читателей, согласныхъ съ нимъ въ духѣ просвѣщенія, превозходствомъ вкуса, а потому и изяществомъ формъ; — да и вообще это идиллическое направленіе Литературы, которому онъ слѣдовалъ, замапчивое для свѣтскихъ людей, много содѣйствовало къ утвержденію первой его извѣстности. Образцемъ нѣжнаго Карамзина можетъ почесться предисловіе къ

Исторіи Россійскаго Государства; здѣсь отлилась вся его философія, и здѣсь-то мы видимъ мнѣнія осмнадцатаго столѣтія или, лучше сказать, Французскую историческую философію сего вѣка, которая отличается отъ новѣйшей тѣмъ, что старая почитала Исторію средствомъ житейской учености, а новая поставляетъ ее цѣлію всякаго ученія; и Карамзинъ хотѣлъ, посредствомъ Исторіи, учить общежитію; такъ онъ думалъ и до конца своей жизни и литературной службы; такъ думали и прежніе наши историки; такъ и послѣ многіе думали въ подражаніе ему. Вотъ начало этого предисловія:

«Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная книга «народовъ: главная, необходимая; зерцало ихъ бы- «тія и дѣятельности; скрижаль откровеній и правилъ; «завѣтъ предковъ къ потомству; дополненіе, изъясненіе «настоящаго и примѣръ будущаго.

«Правители, законодатели дѣйствуютъ по указаніямъ «Исторіи, и смотрятъ на ея листы, какъ мореплаватели «на чертежи морей. Мудрость человѣческая имѣетъ ну- «жду въ опытахъ; а жизнь кратковременна. Должно «знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гра- «жданское общество, и какими способами благотворная «власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы «учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даро- «вать имъ возможное на землѣ счастіе.

«Но и простой гражданинъ долженъ читать Исторію. «Она миритъ его съ несовершенствомъ видимаго порядка «вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣ- «кахъ; утѣшаетъ въ государственныхъ бѣдствіяхъ, сви- «дѣтельствуя, что и прежде бывали подобныя, бывали «еще ужаснѣйшія, и Государство не разрушалось; она «питаетъ нравственное чувство, и праведнымъ судомъ «своимъ располагаетъ душу къ справедливости, которая «утверждаетъ наше благо и согласіе общества.

«Вотъ польза: сколько же удовольствій для сердца и

«разума! Любопытство сродно человѣку, и просвѣщен-«ному и дикому. На славныхъ играхъ Олимпійскихъ умол-«калъ шумъ, и толпы безмолвствовали вокругъ Геродота, «читающаго преданія вѣковъ. Еще не зная употребленія «буквъ, народы уже любятъ Исторію: старецъ указы-«ваетъ юношѣ на высокую могилу и повѣствуетъ о дѣ-«лахъ лежащаго въ ней героя. Первые опыты нашихъ «предковъ въ искуствѣ грамоты были посвящены Вѣрѣ и «дѣописанію; омраченный густою сѣнію невѣжества, на-«родъ съ жадностію внималъ сказаніямъ Лѣтописцевъ. «И вымыслы нравятся; но для полнаго удовольствія дол-«жно обманывать себя и думать, что они истина. Исто-«рія, отверзая гробы, поднимая мертвыхъ, влагая имъ «жизнь въ сердце и слово въ уста, изъ тлѣнія вновь со-«зидая царства, и представляя воображенію рядъ вѣковъ «съ ихъ отличными страстями, нравами, дѣяніями, рас-«ширяетъ предѣлы нашего собственнаго бытія; ея твор-«ческою силою мы живемъ съ людьми всѣхъ временъ, ви-«димъ и слышимъ ихъ, любимъ и ненавидимъ; еще не «думая о пользѣ, уже наслаждаемся созерцаніемъ много-«образныхъ случаевъ и характеровъ, которые занима-«ютъ умъ или питаютъ чувствительность.»

Гдѣ же тотъ переворотъ въ образѣ мыслей и въ направленіи познаній, который приписываютъ Карамзину? Все оставалось по прежнему! И ежели этотъ переворотъ уже произошелъ, то онъ произошелъ не отъ Карамзина, а медленно совершался отъ стеченія разныхъ обстоятельствъ. Откуда же родилось мнѣніе, что онъ совершилъ преобразованіе прозы? — Со стороны читающаго общества, провозгласившаго его преобразователемъ, произошла такая ошибка отъ ложнаго понятія о прозѣ, а со стороны Карамзина отъ искуства писать легко и сообразно съ требованіями читателей: онъ довершилъ начатое Ломоносовымъ, неразгаданное послѣдователями этого великаго писателя; онъ из-

правилъ, то что испортили въ дѣлахъ Ломоносова обстоятельства; онъ изгналъ длинные, правильные періоды и Латинское словотеченіе; замѣнилъ это краткими періодами, ввелъ многіе обороты Французскаго, столь знакомаго и любимаго нашей публикѣ языка; имѣя образованный вкусъ, и владѣя языкомъ, онъ умѣлъ облечь самыя обыкновенныя представленія въ прелестныя формы; обладая живымъ воображеніемъ, затѣйливымъ остроуміемъ и рѣдкою дальновидною смѣтливостію, онъ умѣлъ самые прозаическіе, повседневные случаи жизни представить въ прелестныхъ идиллическихъ видахъ. А читатели, плѣняясь новыми красотами языка, и принимая за самую прозу только формы выраженія, которыя столь же свойственны ей, какъ и Поэзіи, утвердили за нимъ славное титло преобразователя. Неумѣренныя и незаслуженныя, или, лучше сказать, похвалы не въ попадъ болѣе вредятъ славѣ писателя, нежели приносятъ ей пользу; ибо истина рано или поздо откроется, и самая неумышленная ложь можетъ подать поводъ подозрѣвать критиковъ въ пристрастіи. Предугадываю, и потому предупреждаю бурю: не желаніе противорѣчить, не тщеславіе оспоривать общественныя мнѣнія и не желаніе унижать достоинства писателя заставили меня высказать свое мнѣніе. Нѣтъ! Истинныхъ заслугъ никто не въ силахъ унизить; они сами за себя громко вопіютъ во услышаніе вѣковъ. И Исторія Русской Литературы не умолчитъ о заслугахъ, оказанныхъ ей Карамзинымъ. Но, отдавая должное уваженіе, она обязана разсѣять всѣ заблужденія. Для сего, удивляясь постоянному, терпѣливому стремленію Карамзина къ прекрасной, полезной цѣли—пріучить соотечественниковъ къ чтенію—скажемъ, что онъ не имѣлъ общей мысли, къ развитію которой были бы направлены всѣ его литературные труды; которая бы служила главною основною идеей всѣхъ его произведеній, дала бы имъ единство и цѣлость, такъ,

чтобъ всѣ его творенія служили низшими ступенями, ведущими къ какому либо одному произведенію, въ коемъ бы мысль эта была выражена полнѣе и совершеннѣе. Это обстоятельство свидѣтельствуетъ, что онъ не имѣлъ генія, который не подчиняется произвольно обстоятельствамъ и не приноровляется къ нимъ, а зависитъ отъ нихъ, потому только, что они дѣйствуютъ необходимо на его первоначальныя впечатлѣнія, воспитаніе и направленіе. Карамзинъ же, принимаясь за дѣло, спросилъ самого себя: чего отъ меня хотятъ читатели и что имъ нравится? — Отгадавъ ихъ желаніе и вкусъ, онъ началъ съ *Бездѣлокъ;* потомъ, заманивая ихъ легкимъ чтеніемъ, велъ, такъ сказать, отъ *Азовъ* къ *складамъ*, и постепенно возвышая предлагаемое имъ чтеніе, окончилъ *Исторіею* Государства Россійскаго; и во всемъ внѣшняя красота была цѣлію; это дѣло таланта. Конечно мы видимъ и здѣсь какое-то единство; но это единство внѣшнее, проистекающее изъ вкуса читателей и направленія умовъ; единство желанія и цѣли, а не дѣйствій и произведеній его, которыя проистекали изъ желанія угодить читателямъ; и получали свойства не отъ качествъ творящаго духа, а отъ качествъ вкуса читателей. Слѣдствіемъ этого была разнохарактерность его прозведеній; ибо что общаго между его *Моими бездѣлками*, *Письмами Русскаго путешественника*; *Рѣчами и Исторіею?* Единство цѣли, не смотря на всю полезность и благородство ея, не даетъ имъ единомыслія. Однако, ежели разсматривать каждое произведеніе его порознь, то нельзя не удивляться знанію современнаго просвѣщенія, нельзя не увлекаться легкими свѣтлыми идеями, естественною послѣдовательностію ихъ, роскошными формами выраженія и стройнымъ согласіемъ идей съ формами выраженія; въ этихъ свойствахъ никто ни изъ предшествовавшихъ, ни изъ современныхъ ему писателей, ни даже изъ послѣ-

дователей его съ нимъ не успѣлъ сравниться; онъ для любителей легкаго чтенія есть единственный писатель. Мы не можемъ назвать его ни прозаикомъ, ни поэтомъ, принимая въ тѣсномъ значеніи эти слова; ибо вся проза его, не исключая и самой Исторіи, ознаменована какою-то нѣжною идиллическою мечтательностію, и всѣ піитическія произведенія, и стихотворенія и повѣсти, имѣютъ прозаическое назначеніе— угожденіе читателямъ и пріученіе ихъ къ чтенію; онъ не находилъ счастія въ созерцаніи совершенствъ своего творенія; онъ торжествовалъ, когда произведенія его со дня на день пріобрѣтали болѣе и болѣе читателей; онъ не могъ сказать съ Жуковскимъ:

Презрѣнью бросимъ тотъ вѣнецъ,
Который всѣмъ дается свѣтомъ!...

И такъ, если мы допустимъ, что Карамзинъ имѣлъ творческій геній; то потомство въ правѣ будетъ осудить его за невыполненіе великаго призванія, предназначаемаго геніямъ; но ежели, основываясь на дѣйствіяхъ его, согласимся, что онъ имѣлъ только талантъ, образованный въ духѣ современной ему Французской школы; то мы увидимъ, что онъ сдѣлалъ болѣе, нежели можно было отъ него требовать. Мы уже имѣемъ понятіе о его повѣстяхъ въ піитическомъ отношеніи; — что жъ касается до прозаической стороны ихъ, то, ежели судить о нихъ по назначенію сочинителя, онѣ вполнѣ достигли своей цѣли—то есть: имѣли читателей; если же разбирать ихъ сообразно общему назначенію повѣствовательныхъ сочиненій, т. е. знакомятъ ли онѣ насъ съ развитіемъ, въ какомъ либо отношеніи, жизни человѣческой; — то конечно не найдемъ у него этого высокаго стремленія; да и должно ли искать того у подражателя, чего въ самыхъ образцахъ его нѣтъ? Имѣемъ ли мы право требовать отъ писателя и искать въ его твере-

піяхъ того, чего онъ намъ не обѣщалъ и чего онъ не предполагалъ въ нихъ выражать?—Нѣтъ! и тѣмъ болѣе, что въ то время эта мысль только начинала проявляться у нѣкоторыхъ Германскихъ писателей; и была частнымъ условіемъ немногихъ; а во Франціи это считали варварствомъ. Ораторскія рѣчи Карамзина увлекательны картинами; но это не ораторское краснорѣчіе, которое силою воли оратора должно дѣлать слушателя или читателя послушнымъ исполнителемъ его желаній; нѣтъ, это прелестный разсказъ, который заставляетъ насъ любить предметъ, плѣняться имъ, какъ обыкновенно прельщаемся всѣмъ пріятнымъ. Напримѣръ, похвальное слово Императрицѣ Екатеринѣ II: изчезни память кровожадныхъ Аттилъ, которые хотѣли побѣждать единственно для побѣдъ! Но цвѣти имя героевъ, которые разили враговъ отечества, и побѣдами запечатлѣли его благоденствіе. Петръ и Екатерина хотѣли пріобрѣтеній, но единственно для пользы Россіи, для ея могущества и внѣшней безопасности, безъ которой всякое внутреннее благо ненадежно. Монархиня знала, что Имперія Оттоманская, по своему закону и духу правленія, есть опасный врагъ Россіи; что всѣ союзы, всѣ дружественные договоры съ нею будутъ только краткимъ перемиріемъ, и что единственный способъ утвердить покой нашего государства, есть ослабить сего природнаго и вѣчнаго непріятеля Христіанъ;—знала, и совершила. Но Европа видѣла, что Екатерина, будучи всегда готовою къ войнѣ, по особенной любви къ справедливости, никогда сама не разрывала мира; когда же мечъ, извлеченный для обороны, блисталъ въ рукѣ ея; тогда — горе врагамъ безразсуднымъ!»

«Едва Монархиня успѣла привести въ лучшій порядокъ внутреннее правленіе Государства, уже дерзостный Мустафа оскорбилъ величіе Россіи, объявилъ себя союзникомъ Польскихъ мятежниковъ, требовалъ, чтобы войско наше

оставило Станислава имъ въ жертву, и наконецъ, презирая священныя права народовъ, заключилъ въ темницу того, кто при его Дворѣ былъ образомъ Екатерины.»

«Уже Ея воины разили Оттомановъ, уже на берегахъ Днѣпровскихъ развивались наши побѣдоносныя знамена; но взоръ Екатерины еще искалъ полководца, достойнаго ея довѣренности и великихъ намѣреній. Она не хотѣла войны обыкновенной; не хотѣла жертвовать людьми по волѣ случая: хотѣла дѣйствіемъ превосходнаго ума предписать законъ року. Искала, и нашла—Румянцова. Сей великій мужъ славно отличилъ себя во время войны Прусской; взялъ Кольбергъ; удивлялся хитрости искуснаго Фридриха; но часто угадывалъ его тайные замыслы; сражался съ нимъ, и видѣлъ нѣсколько разъ побѣгъ его воинства. Талантъ великихъ душъ есть узнавать великое въ другихъ людяхъ; и Екатерина, избравъ Румянцева, ускорила паденіе Турецкой Имперіи.»

«Герой, пріявъ начальство, перемѣнилъ всѣ воинскія распоряженія; отвергнулъ всѣ малодушныя осторожности, похожія на робость, и введенныя въ нашихъ арміяхъ чужеземными военачальниками. Не рогатки, а огонь и мечъ защита ваша, сказалъ онъ Россійскимъ легіонамъ — и вдохновеніе геройства оживило ихъ. Пошли — и съ того времени каждый ударъ Россіянъ былъ пораженіемъ для Оттомановъ.»

«Дѣла неимовѣрныя, чудесныя! Сіи страшные завоеватели Востока, ужасъ Европы, истребители славныхъ армій ея, не могутъ стоять предъ лицемъ Румянцева. Восемьдесятъ тысячъ отборнаго Турецкаго войска, подъ начальствомъ Хана Селима, изчезли какъ прахъ на берегахъ Прута; ни высокая гора, ни укрѣпленный станъ не спасли ихъ. Сего мало: туда, гдѣ рѣка Прутъ вливаетъ быстрыя воды свои въ величественный Дунай, туда, гдѣ Великій Петръ, окруженный невѣрными,

отчаялся быть побѣдителемъ и требовалъ мира, — туда геній Екатерины привелъ Румянцева и поставилъ его между врагами безчисленными. Съ одной стороны Ханъ Крымскій горѣлъ ревностію загладить стыдъ своего пораженія; съ другой, самъ Визирь уже торжествовалъ въ мысляхъ побѣду. Сограждане! каждый изъ васъ слыхалъ о великомъ боѣ Кагульскомъ и проливалъ радостныя слезы, достойныя Русскаго сердца; я проливалъ ихъ, внимая вашему повѣствованію, герои именитые, счастливые сподвижники Румянцева! и никогда въ моемъ воображеніи не затмится сія величественная картина. Семнадцать тысячъ Русскихъ, на разсвѣтѣ прекраснѣйшаго дня, въ глубокомъ молчаніи идутъ умереть со славою противъ ста пятидесяти тысячъ непріятелей; тихое веселіе на ихъ лицахъ; въ груди предчувствіе геройскаго безсмертія. Всѣ повелѣнія были отданы, и вождь казался спокойнымъ; одно величество блистало въ его взорахъ. Вдругъ громы возвѣстили явленіе солнца, и тучи дыма сокрыли его; оно снова возсіяло — и гдѣ враги многочисленные? Я вижу трофеи наши, и среди ихъ героя Румянцева, который, не измѣнивъ всегдашняго спокойнаго лица своего, пишетъ къ Монархинѣ донесеніе о славнѣйшей побѣдѣ въ мірѣ. Духъ Петра Великаго! Ты утѣшился. Отнынѣ сліяніе Прута съ Дунаемъ будетъ радостнымъ памятникомъ для Россіянъ.»

«За симъ торжествомъ Екатерининой славы, міръ увидѣлъ другое, не менѣе чудесное. Сама природа заграждаетъ, кажется, дальній путь нашимъ флотамъ, окружая льдами гавани Россіи на двѣ трети года; но геній Монархини побѣждаетъ природу, и волны изумленнаго Геллеспонта пѣнятся подъ рулями Россійскими. Священныя воспоминанія Исторіи волновали сердца нашихъ плывущихъ героевъ, когда они узрѣли берега Италіи. Имъ казалось, что великія тѣни Фабриціевъ,

Камилловъ, Сципіоновъ, паря надъ гробомъ древней Республики, съ любопытствомъ и удивленіемъ взирали на гордый и симъ морямъ непзвѣстный флагъ Екатерины; имъ казалось, что Россія есть новый Римъ своимъ величествомъ. Съ такими чувствами наши Аргонавты приближались къ странамъ, еще древнѣйшимъ въ лѣтописяхъ славы и равно богатымъ великими идеями; они надѣялись воскресить тамъ геройство Ликурговыхъ и Солоновыхъ потомковъ, надѣялись именемъ новой Аонпеи воззвать къ жизни и великимъ дѣламъ потомковъ Мильтіада, Аристида, Ѳемистокла. Но долговременное рабство навѣки умертвило тамъ сердца людей; грубый слухъ не внималъ уже сладкому имени свободы, и герои Россійскіе увидѣли, что имъ надлежало думать только о славѣ Екатерины. Не за тѣмъ окружили они Европу, не за тѣмъ оставили за собою берега Африканскіе, чтобы творить дѣла обыкновенной храбрости.... и Геллеспонтъ пылаетъ!... О зрѣлище, для самаго воображенія ужасное! мысль смѣлая и великая! исполненіе дерзостное и счастливое! Молніеносные Россіяне повелѣваютъ стихіями: огнь и волны истребляютъ врага! вѣками уготованныя морскія силы его изчезаютъ съ дымомъ! Все Оттоманское гибнетъ, кромѣ однихъ трофеевъ для побѣдителя,—и Монархиня возлагаетъ ихъ, скромно и величественно, на гробъ Петра Перваго! Чесма безсмертна, подобно Полтавѣ и Кагулу, и семидесятый годъ минувшаго вѣка есть самый цвѣтущій годъ нашей воинской славы.»

Но философическія статьи его стоятъ гораздо выше рѣчей. Правда, у него не найдемъ мы глубокой философіи, извлеченной изъ существа мірозданія, или взятой изъ природы человѣка; онъ смотрѣлъ на общежитіе, вникалъ въ современныя мнѣнія, взглядывалъ на окружающія обстоятельства; — и на всемъ этомъ основывалъ свои прелестныя, мечтательныя,

говорящія сердцу, но безсистемныя размышленія, которыя не имѣютъ въ душѣ сочинителя общаго начала, дающаго имъ единство. Онъ судитъ о предметахъ такъ, какъ судятъ объ нихъ тѣ люди, которымъ они нравятся; посему онъ всегда умѣетъ найдти хорошую сторону во всякомъ предметѣ. Простой идиллическій взглядъ на жизнь и природу доставилъ ему то преимущество, которымъ онъ пользовался предъ всѣми писателями; ибо объемъ его мыслей былъ обширнѣе и разнообразнѣе, мечты легче, живѣе и прелестнѣе, нежели у другихъ; способъ воззрѣнія такъ доступенъ для всякаго, что читатель, будто бы встрѣчалъ свои мысли вездѣ, которыя однако въ душѣ писателя родились прежде, нежели у него. Таковъ онъ во всѣхъ мелкихъ статьяхъ. Таковъ онъ и въ путешествіи своемъ! Вотъ та волшебная сила, которая очаровала современниковъ Карамзина и заставляла читать, перечитывать и затверживать его.

Послушаемъ, какъ онъ разсуждаетъ о счастіи; вотъ что онъ, между прочимъ, заставляетъ говорить Филалета, защитника возможности счастія: «Провидѣніе и натура, въ общемъ раздѣлѣ истинныхъ удовольствій, ни кого не одѣляютъ. Знать ихъ цѣну есть искуство и вѣнецъ науки жить! Не все то легко, что кажется просто; и часто всего менѣе умѣемъ мы употреблять тѣ вещи, которыя у насъ изъ рукъ не выходятъ. Такъ любопытный, безпокойный человѣкъ, оставляетъ тихій родительскій кровъ, свое отечество — странствуетъ по чужимъ землямъ, переплываетъ бурные океаны, чтобъ наконецъ очутиться опять на милой своей родинѣ, и сказать: «счастливъ, счастливъ тотъ, кто умираетъ, гдѣ родится.»

«Натура и сердце — вотъ, гдѣ надобно искать истинныхъ пріятностей, истиннаго возможнаго благополучія, которое должно быть общимъ добромъ человѣчества, не собственностію нѣкоторыхъ избранныхъ людей; ина-

че мы имѣли бы право обвинять небо пристрастіемъ. Не всѣмъ можно зевоевать Индію, не всѣмъ можно властвовать надъ людьми; не всякій можетъ блистать въ свѣтѣ; не для всякаго работаютъ въ золотыхъ минахъ и плывутъ корабли изъ Бразиліи; слѣдовательно не въ лаврахъ Александра, не въ миртахъ Алкивіада, не въ сокровищахъ Крезовыхъ заключило небо возможное счастіе для смертныхъ. Но для всякаго сіяетъ солнце, для всякаго природа величественна и прекрасна въ своемъ разнообразіи, въ своихъ ежегодныхъ и ежедневныхъ измѣненіяхъ: вездѣ съ материнскою нѣжностію питаетъ она птенцевъ и человѣка; всякій можетъ имѣть свѣтлую хижину, доброе имя, покойную совѣсть; всякій можетъ любить—любить своихъ родныхъ, семейство, друзей: вотъ истинное благополучіе, которое соединяетъ всѣхъ людей; которое царю и земледѣльцу даетъ чувствовать, что они братья, дѣти одного Отца, рожденные съ одинакими сердцами и съ одинакими способностями для наслажденія!»

«Мел. Философія твоя довольно утѣшительна; только ей не многіе повѣрятъ!»

«Фил. Думаю; но истина останется въ своей цѣнѣ, — истина, что всѣ особенныя, случайныя, искуственныя удовольствія не стоятъ общихъ, природныхъ; и что можно быть счастливымъ и несчастливымъ во всѣхъ состояніяхъ, тѣмъ и другимъ отъ себя, отъ умѣнья или неумѣнья пользоваться жизнію, отъ хорошаго или дурнаго расположенія сердца. Натура позволяетъ искуству, какъ своему министру, раздавать нѣкоторыя легкія пріятности людямъ; но существенныя и самыя живѣйшія раздаетъ сама царица.»

Но важнѣйшее произведеніе Карамзина есть Исторія Государства Россійскаго, какъ по объему и труду, котораго она требовала, такъ по важности предмета и по тому вліянію, которое она произвела въ читателяхъ. Хотя

Исторія его не измѣнила общаго взгляда на этотъ родъ сочиненій и на Россію, не возвысила идеи, одушевляющей Историка при созерцаніи хода вѣковъ; однако она нашла столь великое число читателей, какого дотолѣ еще не имѣла у насъ ни одна книга; первое появленіе ея привело въ движеніе все читающее общество и изумило всѣхъ. Что жъ заставило читать Исторію *Карамзина* съ такою жадностію? Гдѣ искать причинъ столь блестящаго успѣха сего произведенія, явившагося въ то время, когда уже начали разпространяться въ Россіи новыя идеи, совсѣмъ несогласныя съ духомъ его? Первою причиною успѣха была безъ сомнѣнія привычка читать *Карамзина*, который задолго до выхода Исторіи, ничего не издавалъ; всѣ знали, что онъ давно пишетъ Исторію; всѣ знали, что прежнія произведенія, не стоя ему никакихъ усилій, плѣняли собою; и слѣдовательно отъ многолѣтняго труда могли ожидать произведенія лучшаго, совершеннѣйшаго. Вторая, еще сильнѣйшая и болѣе важная причина торжества *Карамзина* была жажда знать отечественную Исторію, которая дотолѣ являлась въ формахъ грубыхъ, тяжелыхъ, которая не удовлетворяла, или лучше сказать, пугала читателей, уже привыкшихъ къ языку *Карамзина*, его современниковъ, и которая никогда еще не являлась въ полномъ видѣ. Въ-третьихъ, *Карамзинъ*, частію убѣжденный нѣкоторыми дѣльными замѣчаніями противной партіи въ ошибкахъ своихъ, относительно языка, частію начитавшись старинныхъ лѣтописей и вникнувъ въ характеръ Русскаго языка и въ сродство его съ Славянскимъ, умѣлъ выбрать средину между формами иноязычными и между Славянизмомъ; а этимъ средствомъ онъ примирился съ враждующею партіею и умножилъ число читателей и приверженцевъ своихъ. И долговременный сонъ нашей Литературы много способствовалъ его славѣ. Наконецъ истинная заслуга, при

помощи этихъ случайныхъ обстоятельствъ, утвердила за нимъ славу перваго Историка. Тотъ міръ, въ которомъ Карамзинъ выросъ, возмужалъ, жилъ и дѣйствовалъ, конечно не переродился еще въ то время, когда явилась Исторія его, и большинство все еще принадлежало его поколѣнію; но это общество, это поколѣніе росло, старѣло, и слѣдовательно требовало большей основательности въ самыхъ мечтательныхъ своихъ убѣжденіяхъ; — и Карамзинъ, въ продолженіи этого времени, выросъ въ своихъ мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ такъ высоко, какъ его *Исторія* превозходитъ *Марѳу Посадницу*. Конечно нельзя согласиться съ приверженцами *Карамзина*, что Исторія его доведена до такого совершенства, послѣ котораго намъ нечего желать — мысль смѣшная и предосудительная! И самъ Карамзинъ отказался бы отъ нея — но и тѣ люди, которые говорятъ, что онъ симъ произведеніемъ ничего не сдѣлалъ, оставаясь неблагодарными, воздвигаютъ противъ себя теперь и готовятъ въ будущемъ ту же неблагодарность къ собственнымъ заслугамъ. — Исторія *Карамзина* заставила читать *Русскія* книги и познакомиться съ *Русскимъ* языкомъ тѣхъ, которые прочитали *бѣдную Лизу*, *прекрасную Царевну* и проч.; заставила узнать по-краней-мѣрѣ внѣшнюю жизнь нашихъ предковъ; она, какъ собственно *повѣствовательная* Исторія, стоитъ въ ряду съ лучшими въ этомъ родѣ произведеніями Европы; и ежели мы скоро будемъ имѣть критическую, прагматическую и философическую Исторію, то начала ихъ мы можемъ найдти въ Исторіи *Карамзина*. Онъ успѣхомъ своимъ вызываетъ на сіе поприще новыхъ писателей; а неудачею заставляетъ желать лучшаго, и указываетъ, чего должно избѣгать. Читатели истинно просвѣщенные, любя новыя идеи, и радуясь дѣйствію ихъ на новыя произведенія Словесности, умѣютъ цѣнить и важность прежнихъ произведеній.

Ораторство. Хотя ораторское краснорѣчіе, есть высшая отрасль Словесности, которая находится въ такомъ же отношеніи къ низшимъ родамъ прозы, какъ Драма къ другимъ родамъ Поэзіи; слѣдовательно, при естественномъ развитіи Литературы, оно въ видѣ искуства является очень поздно; однако у насъ это краснорѣчіе возникло въ лирическомъ вѣкѣ; а духовное краснорѣчіе даже въ прошедшемъ періодѣ свершило значительный успѣхъ. Причиною такого необыкновеннаго хода было наше искуственное образованіе. Свойство нашего гражданскаго быта таково, что въ свѣтскомъ ораторствѣ по временамъ являлись только рѣчи похвальныя, академическія, привѣтственныя и благодарственныя; въ качествѣ же политическихъ рѣчей являлись часто манифесты, между коими особенно замѣчательны писанные въ царствованіе Екатерины II и Александра. Впрочемъ всѣ произведенія свѣтскаго краснорѣчія, кромѣ Манифестовъ, болѣе или менѣе показываютъ наше несовершеннолѣтіе; такъ что вездѣ видна страсть къ мечтамъ, къ разсказамъ, вездѣ воображеніе и умъ берутъ перевѣсъ предъ волею, которая здѣсь должна быть господствующею силою; изъ этого правила не совсѣмъ искючается даже самъ *Ломоносовъ*. Похвальныя Слова — кромѣ *Ломоносовскихъ* — суть только жизнеописанія или характеристики, написанныя возвышеннымъ слогомъ; Академическія рѣчи — разсужденія, оживляемыя чувственными изображеніями. — Но это ни сколько не унижаетъ писателей; сила таланта, сила собственнаго ихъ духа, частнаго образованія и частной зрѣлости часто изумляетъ наблюдателя.

Проповѣдники. Но не таково у насъ духовное краснорѣчіе! Ходъ и степень успѣха его зависѣли отъ другихъ причинъ: духъ Христіанскаго благочестія всегда служилъ источникомъ слова духовнаго, а Религія — цѣлію. Духовен-

ство, устраненное отъ дѣлъ гражданскихъ, ограничило свою дѣятельность дѣлами церкви.

Вообще духовныхъ ораторовъ можно раздѣлить на два рода: одни изъ нихъ проповѣдуютъ только догматы вѣры и дѣла Церкви;—другіе, подобно великому нашему оратору, *Ѳеофану Прокоповичу*, не отдѣляя обязанностей и добродѣтелей человѣческихъ и Гражданскихъ отъ обязанностей и добродѣтелей Христіанина, сообщаютъ словамъ своимъ то священное величіе, которое свойственно и сану ихъ и мѣсту ученія—Церкви. Они, преслѣдуя гражданскіе пороки, противопоставляютъ ихъ требованіямъ церкви и уравниваютъ ихъ съ нарушеніемъ правилъ вѣры, которая *безъ добрыхъ дѣлъ мертва*. Первые, отчуждая духовное краснорѣчіе отъ народной Словесности, могутъ приносить пользу только въ смыслѣ догматическомъ (или догматическаго ученія); — послѣдніе, сильно дѣйствуя на нравы и просвѣщеніе народа, даютъ стройное согласіе и единомысліе сословіямъ его; мы уже видѣли въ минувшемъ періодѣ, какъ *Прокоповичъ* сподвижничествовалъ Петру въ его великихъ начинаніяхъ; видѣли и то, что, чуждый народу нашему, языкъ, бывшій въ употребленіи въ духовныхъ училищахъ, препятствовалъ разгонять невѣжество народа. Труды *Ломоносова* мало подѣйствовали на нихъ. Немного у насъ Платоновъ! Вспоминаніе о нихъ для насъ священно!

Между современниками Ломоносова, Епископъ *Гедеонъ Криновскій* первое мѣсто занимаетъ въ Исторіи духовной Литературы. Впрочемъ, онъ былъ ораторомъ не для народа; ибо проповѣди его были наполнены учеными доводами, историческими примѣрами и свидѣтельствами; онъ сильно дѣйствовалъ на умы образованнаго класса людей, и въ этомъ отношеніи снискалъ себѣ великую извѣстность между современниками и славу въ ученомъ потомствѣ. Проповѣди Гедеона, по языку, носятъ

характеръ прежнихъ церковноучителей. Но *Дмитрій Сѣченовъ*, Митрополитъ Новгородскій, превзошелъ его и простотою мыслей и чистотою языка. Хотя сей Пастырь Христіанъ не имѣлъ тѣхъ обширныхъ познаній, каковыми славился Криповскій; однако понималъ очень хорошо свое назначеніе, и потому, бесѣдуя съ паствою своей о добродѣтеляхъ и порокахъ современнаго ему міра, оставилъ по себѣ тѣмъ память въ самомъ простомъ народѣ. Въ семъ послѣднемъ отношеніи, только одна изъ проповѣдей Гедеона, произнесенная по случаю полученія извѣстія о разрушеніи Лиссабона, можетъ соперничествовать съ Словами Димитрія. *Георгій Конисскій*, Архіепископъ Могилевскій, славился великимъ умомъ, обширною ученостію и возвышеннымъ краснорѣчіемъ не только въ проповѣдяхъ, но и особенно въ ораторскихъ посланіяхъ и другихъ рѣчахъ, которыя дышатъ простою, но сильною Еврейскою поэзіею; Азіятскія уподобленія и метафоры придаютъ имъ какую-то величественную небрежность и плѣнительную роскошь. «На«примѣръ: хотя же мы и покоимся твоимъ безпокой«ствіемъ, и не горькими хожденіями твоими сидимъ «сладко, всякъ подъ виноградомъ своимъ и подъ смо«ковницею, яко же Израиль во дни Соломона; однако «солнечнику цвѣту подобясь, туда и очи и сердца наши «обращаемъ, идѣ же теченіе твое.»

«Тецы убо, о солнце наше! спѣшно; тецы исполин«скими стопами во всѣхъ твоихъ благонамѣреніяхъ; къ «западу только жизни Твоея не спѣши; въ семъ бо «случаѣ, якоже Іисусъ Навинъ, и руки и сердца наши «простирая къ небу возопіемъ: стой солнце!» Языкъ Георгія вездѣ таковъ, т. е. очень близокъ къ церковно-книжному съ примѣсью Бѣлорусскаго нарѣчія.

Платонъ Левшинъ, Митрополитъ Московскій, кромѣ того, что написалъ множество духовно-прагматическихъ сочиненій: *церковную Исторію Россійскую* и друг., далъ

проповѣдничеству гораздо обширнѣйшее значеніе. Онъ при Дворѣ хотѣлъ блистать умомъ, увлекать силою мыслей въ изображеніи добродѣтели, и устрашать изображеніемъ зла съ его слѣдствіями; въ приходскихъ церквахъ онъ говорилъ проще, спокойнѣе и о такихъ предметахъ, которые ближе къ житейскому кругу; въ уединеніи монастырскомъ онъ убѣждалъ болѣе мыслями и словами священнаго Писанія.

Вотъ какъ онъ, между прочимъ, привѣтствовалъ Императора, Александра Благословеннаго, при короноваціи Его:

«Вселюбезнѣйшій Государь! Сей вѣнецъ на главѣ Твоей есть слава наша; по Твой подвигъ. Сей скипетръ есть нашъ покой; но Твое бдѣніе. Сія держава есть наша безопасность; но Твое попеченіе. Сія порфира есть наше огражденіе; но Твое ополченіе. Вся сія утварь царская есть наше утѣшеніе; но Тебѣ бремя.»

«Бремя по истинѣ и подвигъ! Предстанетъ бо лицу Твоему пространнѣйшая въ свѣтѣ Имперія, каковую едва ли когда видѣла вселенная, и будетъ отъ мудрости твоея ожидать во всѣхъ своихъ членахъ и во всемъ тѣлѣ совершеннаго согласія и благоустройства. — Узриши сходящія съ небесъ вѣсы правосудія, со гласомъ отъ судіи неба и земли: да судиши судъ правый, и вѣсы Его да не уклониши ни на шуее, ни на десное.—Узриши въ лицѣ благаго Бога сходящее къ тебѣ милосердіе, требующее, да милостивъ будеши къ вручаемымъ Тебѣ народамъ. — Достигнутъ бо престола Твоего вдовицы и сироты, и бѣдные, утѣсняемые во зло употребляемою властію, и лицемѣріемъ и мздоимствомъ лишаемые правъ своихъ, и вопить не престанутъ, да защитиши ихъ, да отреши ихъ слезы, и да устроиши ихъ вездѣ проповѣдывать Твою промыслительную державу. — Предстанетъ и самое человѣчество въ первородной своей и нагой простотѣ, безъ всякаго отличія брожденій и

произхожденій: взпрай, вопіетъ, общій отецъ! — на права человѣчества; мы равно всѣ чада твои. Никто не можетъ быть предъ Тобою извергомъ, развѣ утѣснитель человѣчества и подымающій себя выше предѣловъ его.—Наконецъ благочестію Твоему предстанетъ и Церковь, сія мать, возродившая насъ духомъ облеченная въ одежду, обагренную кровію Единороднаго Сына Божія. Сія августѣйшая дщерь неба хотя довольно для себя паходитъ защиты въ единой главѣ своей, Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, яко огражденная силою креста Его; но и къ Тебѣ, Благочестивѣйшій Государь, яко къ первородному сыну своему, простретъ она свои руки, и ими объявъ Твою любезнѣйшую выю, умолять не престанетъ: да сохранишн залогъ вѣры цѣлъ, невредимъ, да сохранишн не для себя токмо, но паче да явишн собою примѣръ благочестія, и тѣмъ да заградишн нечестивыя уста вольнодумства, и да укротишн злой духъ суевѣрія и невѣрія» и проч.

Эти слова въ устахъ Пастыря Церкви всегда прекрасны, но обстоятельства и духъ времени еще большую даетъ имъ цѣну.

Кіевскій Протоіерей, *Іоаннъ Леванда* еще болѣе распространилъ кругъ дѣйствія Духовнаго Краснорѣчія: онъ, вразумляя умъ, плѣняя воображеніе и разтрогивая чувствованія, возбуждалъ духъ благочестія и любовь къ добру.

Но онъ былъ болѣе поэтъ, нежели ораторъ; онъ увлекалъ слушателя болѣе силою возторговъ и чувствованій, нежели силою убѣжденія; напримѣръ, какое лирическое начало его рѣчи на погребеніе Самуила, Митрополита Кіевскаго.

«Пастырь успе! дѣлатель винограда Христова отъ трудовъ своихъ почилъ! Но что за новое покопще его? Тутъ ли сонъ поспѣлъ, гдѣ мы видѣли его приступающаго къ престолу благодати, слушали благословляющаго

имя Божіе, окружали воздѣвающаго руки о насъ и низводящаго небесныя благословенія на насъ? Что за сонъ страшный природѣ и сердцамъ! — Утро не пробудило пастыря къ стаду своему; солнце не взошло для дѣлъ званія его. Дни уклонились отъ пастыря на вѣкъ. За вечеромъ жизни наступила безпредѣльная нощь. Гдѣ жъ Спаситель, который говорилъ: иду и возбужду его. Нѣтъ! послѣдняя уже труба, воскрешающая мертвыхъ, возбудитъ его. Спаситель недавно глашалъ пастыря по имени. Пастырь услышалъ гласъ Господа, поспѣшилъ къ Нему. — Что жъ намъ на дорогѣ во гробъ приказалъ?—Остаться сиротами. Перемѣна горькая! Горесть извѣстная тому, кѣмъ овладѣла смерть—зло, выпущенное изъ нѣдръ адовыхъ на насъ. Сердце бѣдное оставлено себѣ. Прощаются съ сердцемъ нашимъ, когда оно, влекомое на крестъ, разпинаемое положеніемъ печальнымъ, воззываетъ со Христомъ: Боже мой! Боже мой! почто мя оставляеши?»

Архіепископъ, *Анастасій Братановскій*, первый началъ писать проповѣди простымъ нарѣчіемъ, а тѣмъ самымъ сдѣлалъ ихъ болѣе полезными; ибо дотолѣ простой народъ часто не понималъ ихъ.

Вотъ какъ онъ начинаетъ *Слово на погребеніе Бецкаго*, которое, по самому предмету своему и по свойству слушателей, принадлежитъ къ самымъ возвышеннымъ его произведеніямъ, слѣдовательно къ самымъ труднымъ для понятія простолюдина.

«И такъ—мужъ, исполненный долготою дней, скончался вмалѣ!—Рука приближенныхъ закрыла хладными вѣждями померкшій навѣки взоръ его. — Бездыханное тѣло его предается благочестно гробу.—Признательность начертаетъ на камени имя его.—Чувствительное сердце ороситъ слезою гробницу его.... И симъ ли совершилось воздаяніе тѣмъ подвигамъ его прехвальнымъ, извѣстнымъ престолу, отечеству, свѣту?—По-

томство сплететъ ему вѣнецъ хвалы?—Но глава, увядшая подъ смертнымъ серпомъ, носить его уже не можетъ. Бытописанія возвѣстятъ дѣла его?—Но сему не внемлетъ болѣе слухъ, прилегшій къ сердцу земли, котораго и гласъ грома не потрясаетъ. Воздвигнутъ въ честь его мѣдь или мраморъ? — Но подъ тяжестію сего изнемогаютъ кости, коп природа тихимъ манiемъ преклонила въ мирѣ уснуть и почить.»

«Боже великій! для сего ли всемогущая благость твоя призываетъ человѣка во страну сію отцевъ и матерей, дабы только родиться и умереть? — Что жъ будетъ онъ предъ злакомъ гибнущимъ отъ зноя на полѣ сельномъ; или предъ мравіемъ, издыхающимъ подъ ногою путника скоротечнаго? Богоподобная добродѣтель! Для сего ли любители твои жертвуютъ, изъ ревности къ тебѣ, всѣмъ сердцемъ и душею, всею крѣпостію силъ и самою жизнію, дабы, собравъ всеобщія хвалы дань, оставить ее у отверзтія гроба? — Но и сего стяжанія не имѣютъ тѣ, коп любви своея къ тебѣ имѣли свидѣтелемъ одну совѣсть и Бога.»

«Свѣтъ сей есть для добродѣтели подвигъ; но не въ немъ ея награда. Мы память ея украшаемъ тлѣнными вѣнцами; ибо не можемъ украсить ее нетлѣнными. Такъ! самая смерть добродѣтельныхъ есть доказательство безсмертія и того блаженства, которое подвигамъ благочестивымъ предоставлено во странахъ небесныхъ, въ царствѣ вѣчности.»

«Добродѣтель, съ которой стороны ни воззримъ на лице ея, вездѣ чиста, прекрасна, божественна. Обращено ли оно къ Богу? на немъ изображено исполненіе всѣхъ тѣхъ отношеній, каковыми разумная тварь обязана къ своему Создателю. Обращено ли оно къ человѣку? — На немъ сіяютъ сіи сердечныя мысли: се ближній мой, я люблю его яко самого себя....»

Митрополитъ, *Михаилъ Десницкій* довелъ проповѣдь до простой умилительной бесѣды, дышущей Христіанскою кротостію и откровенностію самой истины; Архіепископъ, *Амвросій Протасовъ*, умѣлъ соединить Христіанскую простоту съ ораторскою торжественностію. Онъ былъ истинный Ораторъ. Прочіе новѣйшіе проповѣдники принадлежатъ къ послѣднему, начинающемуся періоду. И тѣхъ духовныхъ писателей, о которыхъ я упомянулъ здѣсь, не разбираю подробно, боясь принять на себя обязанности выше своихъ силъ и средствъ.

Ученая Литература.

Безпрестанное размноженіе училищъ требовало руководствъ для преподаванія наукъ и свѣдѣній; потому сначала появлялись по временамъ переводы ученыхъ и учебныхъ книгъ, потомъ въ продолженіи этого періода, по многимъ отраслямъ знаній изданы были оригинальныя сочиненія, которыя, хотя и не могли равняться съ иностранными современными и однородными имъ книгами, однако показывали свободное стремленіе къ просвѣщенію и довольно значительный успѣхъ въ немъ. Честь составленія первыхъ учебниковъ принадлежитъ главному правленію училищъ. Впрочемъ рѣшительное освобожденіе отъ чужеземнаго вліянія въ этомъ отношеніи предоставлено наступившему періоду. Словесноучебныхъ книгъ столь мало явилось въ продолженіе этого времени, и между явившимися столь мало такихъ, которыя останавливаютъ на себѣ наблюдательное вниманіе, что невольно предаешся какому-то непріятному удивленію и со стыдомъ спрашиваешь самого себя: гдѣ кроется причина этого умственнаго бездѣйствія? Неужели въ самомъ дѣлѣ отъ Ломоносова и до Греча не было человѣка, способнаго произвести что либо цѣлое, систематическое и дѣльное? Всѣ Грамматики, всѣ Риторики, вышедшія въ это время, суть худые, иногда сжатые, иногда растянутые

сколки съ Грамматики и Риторики Ломоносова. Много можно насчитать такихъ; но Исторія Литературы не имѣетъ причины останавливаться на нихъ. И мыслящіе писатели въ этомъ родѣ начали являться только не давно, въ позднѣйшее время; а потому теперь говорить о нихъ неумѣстно. Однако и въ этомъ періодѣ, бѣдномъ словесноучебными книгами, вышло въ свѣтъ нѣсколько отдѣльныхъ отрывковъ и разсужденій, достойныхъ всякаго уваженія, какъ напримѣръ: Фонъ-Визина письмо о Словарѣ, разсужденія и критики Подшивалова, особенно Мерзлякова, Каченовскаго и другихъ; но болѣе всѣхъ въ этомъ родѣ писателей заслуживаетъ уваженіе и благодарность *А. С. Шишковъ*. Его разсужденіе: *о Старомъ и Новомъ слогѣ Россійскаго языка, прибавленіе къ сему сочиненію, Разговоры о Словесности* и *прибавленіе къ онымъ*, не смотря на то, что они не совсѣмъ свободны отъ крайности въ славянизмѣ, много принесли пользы языку; ибо отстояли его отъ излишнихъ иноязычныхъ нововведеній. Въ этомъ періодѣ Россійская Академія совершила трудъ обширный и важный для знанія языка — составленіе двухъ Русскихъ Словарей.

Журналистика.

Какое человѣческое предпріятіе не имѣло упорныхъ противодѣйствователей? Не нужно искать далеко злаго начала, враждующаго всякому добру; оно въ насъ самихъ; оно-то возстаетъ противъ просвѣщенія и противъ тѣхъ средствъ, которыми это послѣднее дѣйствуетъ на улучшеніе рода человѣческаго. Журналы и вообще повременныя изданія всегда имѣли и доселѣ имѣютъ своихъ порицателей. Но какое въ мірѣ ученое заведеніе можетъ сказать, не обинуясь: я дѣйствовало на образованіе общества болѣе нежели Журналистика! Неумѣстно здѣсь говорить о злоупотребленіи Журналистовъ; оно само себя обвиняетъ, — точно такъ, какъ и благодѣтельное вліяніе журналовъ само за себя говоритъ. — Журналистика, мѣшая важное чтеніе съ

легкимъ и пріятнымъ, заставляетъ насъ прочитывать то и другое; и слѣдовательно она невольно образуетъ вкусъ ученаго, который отъ холодныхъ и однообразныхъ изысканій и выводовъ дѣлается угрюмымъ, односторонпимъ, презрительнымъ ко всему, кромѣ своего предмета, и тѣмъ пугаетъ людей живыхъ, свѣтскихъ; она невольно навязываетъ важныя знанія и глубокомысленныя истины людямъ свѣтскаго образованія, которые страшатся словъ: *ученый* и *ученость*. Журналы образуютъ и утверждаютъ вкусъ; они устаповляютъ общественное мнѣніе. Они не могутъ дать систематическаго образованія, однако разпространяютъ знанія несравненно быстрѣе и удобнѣе, нежели школьное ученіе; и этотъ способъ сообщенія знаній имѣетъ то преимущество предъ школьнымъ, что онъ не требуетъ никакихъ условій, и что журналы могутъ быть читапы людьми всѣхъ сословій и возрастовъ, вездѣ и всегда. Конечно человѣкъ, получившій журнальное образованіе безъ предварительнаго систематическаго ученія и воспитанія школьнаго, часто бываетъ предубѣжденъ и предубѣждаетъ другихъ противъ систематическихъ знаній, и почти всегда склоненъ къ ученымъ предразсудкамъ, или, совершенно наоборотъ, безпрерывно мѣняетъ свои мнѣнія и увлекается модными убѣжденіями; но во всякомъ случаѣ онъ уже никакъ не можетъ быть сравниваемъ съ невѣжею, который бережетъ свое незнаніе, какъ святыню. И появленіе журналовъ въ нашей Литературѣ много способствовало развитію ея и образованію общественному. Первымъ періодическимъ изданіемъ мы обязаны знаменитому Исторіографу и Академику Миллеру; онъ началъ издавать въ 1755 году: *Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія*, и продолжалъ это, истинно полезное и въ свое время пріятное, изданіе десять лѣтъ. Это предпріятіе, увѣнчанное успѣхомъ и увѣнчавшее честію трудолюбиваго и просвѣщеннаго издателя, возбудило соревнованіе въ

другихъ писателяхъ, и придало движеніе Литературѣ нашей: потому что въ слѣдъ за нимъ появились: *Трудолюбивая Пчела*—Сумарокова, *Свободные часы*—Хераскова, *Невинное увеселеніе*—Богдановича; потомъ потянулись непрерывнымъ рядомъ: *Санктпетербургскій вѣстникъ*, изданіемъ котораго занимались Богдановичъ, потомъ Пнинъ и другіе писатели; *Трудолюбивый муравей*, и другіе журналы — Рубана; но замѣчательнѣе всѣхъ журналовъ въ то время *Собесѣдникъ любителей Русскаго слова*, которой издавала Россійская Академія подъ надзоромъ Кн. Дашковой, въ немъ участвовали всѣ знаменитые писатели и даже Сама Императрица Екатерина. *Живописецъ*, *Трутень* и др. — Новикова; *Санктпетербургскій Меркурій*; *Иртышъ*, *превратившійся въ Иппокрену* — П. Сумарокова, *Трудолюбецъ*, *Чтеніе для вкуса*, *разума и чувствованій* изд. общ., *Пріятное и полезное препровожденіе времени* — Подшивалова, *Московскій журналъ* — Карамзина, *Сѣверный вѣстникъ*, — Мартынова, *Вѣстникъ Европы*, изданіемъ котораго занимались въ продолженіе тридцати годовъ, лучшіе писатели; и многія другія срочныя и безсрочныя изданія — въ которыхъ родилась и возрастала наша критика, облагороженная Мерзляковымъ и Карамзинымъ — распространяя вкусъ къ чтенію, образуя читателей, вызывали писателей къ дѣятельности, и приготовляли новый переворотъ въ Литературѣ.

ПЕРІОДЪ ПЯТЫЙ.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЛИ

ВОЗВРАЩЕНІЕ ЕЯ КЪ НАРОДНОСТИ.

Сравненіе всѣхъ періодовъ.

Свершились четыре періода нашей Литературы! Первый,—забытый нами такъ точно, какъ всякій изъ насъ забываетъ свое младенчество,—столь же важенъ въ ряду знаній, какъ важно знаніе свойствъ младенчества. Не дѣйствія, не произведенія младенческія должны обращать наше вниманіе и заслуживаютъ изслѣдованія, а источникъ ихъ, душа, какъ сила; которой предназначено нѣкогда самостоятельно творить; произведенія, младенческаго возраста не полны, нестройны, нелѣпы, безобразны, какъ нестройны первоначальныя естественныя наши наклонности; однако они составляютъ тотъ матеріалъ, изъ котораго въ послѣдствіи воля и обстоятельства образуютъ характеръ! идеи и языкъ свободные отъ всякаго чуждаго вліянія были принадлежностію духа народнаго. Второй періодъ представляетъ естественную борьбу сихъ первоначальныхъ наклонностей, или лучше сказать: идей, созданныхъ человѣкомъ, при содѣйствіи внѣшней природы, съ идеями *высшими*, небесными, которыя должны побѣдить все ложное, безобразившее природу человѣческую; должны, такъ сказать, срастись съ тѣмъ, что составляетъ красоту человѣчества, — съ гражданскимъ и нравственноразумнымъ совершенствованіемъ. Таково было назначеніе этого періода; но назначеніе это не выполнено, по случайному вліянію обстоятельствъ, которыя много оставили въ насъ ложнаго, вреднаго, подавивъ собою прекрасное и вы-

сокое. Третій періодъ представляетъ Богословское, или ученоблагочестивое направленіе, которое, съ помощію Схоластики и Латино-Езуитскаго ученія поработило все народное, такъ, что Литература наша лишилась не только Русскаго, но и общественножитейскаго. Однако и этотъ періодъ имѣлъ свое значеніе; онъ приготовилъ умы къ принятію классической учености; и ежели школы эти не дали намъ положительныхъ матеріяльныхъ знаній; то, по крайней мѣрѣ, познакомили съ формами ученія и знаній. Четвертый періодъ долженъ былъ познакомить и сблизить насъ съ древнимъ міромъ и съ вліяніемъ его въ новомъ мірѣ; мы узнали и испытали на самихъ себѣ то и другое. Въ это время мы сблизились съ западной Европой, усвоили всѣ ея знанія; изучили и перенесли къ себѣ формы западно-классическихъ литературъ. Такъ, извѣдавъ всѣ направленія, наконецъ мы должны обратиться внутрь себя. Но такіе перевороты совершаются не случайно и не вдругъ. Такъ Литература наша, въ послѣдней половинѣ минувшаго и въ первыхъ годахъ настоящаго столѣтія, переходила отъ подражанія древнимъ сначала къ подражанію Французской, потомъ Нѣмецкой Литературѣ, которая по существу своему ближе къ нашей, нежели всѣ другія. Это послѣднее подражаніе и нѣкоторымъ сходствомъ образцевъ съ нашимъ духомъ и самостоятельностію оныхъ напомнило намъ о нѣкоторыхъ особенностяхъ нашего характера, и намекнуло на возможность имѣть самобытную свою Литературу. Въ слѣдствіе того нѣкоторые писатели пробовали измѣнить направленіе нашей Словесности; но, по законамъ нравственно-разумной природы и исторической судьбы всегда первыя попытки бываютъ невполнѣ удачными; и Словесность наша, безпрестанно обогащаясь произведеніями всѣхъ родовъ, была еще чужда намъ по духу своему.

Надобно было явиться обстоятельствамъ, которыя бы, содѣйствуя обновленію духовной дѣятельности, обратили ее къ самосознанію, и которыя бы указали народу черты его самобытности. Чуждое, извнѣ внесенное образованіе отдѣлило образованное общество отъ народа, такъ, что народъ не узнавалъ этого общества, не понималъ его дѣйствій; смотрѣлъ на него съ какимъ-то насмѣшливымъ сомнѣніемъ; а образованныя сословія смотрѣли на все народное съ самымъ оскорбительнымъ предубѣжденіемъ. Но година бѣдствій и славы для Россіи, 1812 годъ, сблизивъ эти двѣ стихіи народной личности, ослабила силу столѣтняго предразсудка, пробудила самосознаніе народное. Высшія сословія поняли народный духъ, и потомъ вскорѣ разгадали сродство его съ народнымъ языкомъ, въ которомъ хранятся народный геній, народная нравственность, смышленость, остроуміе, сила ума и сила воли; и потому начали изучать все это; занялись Исторіею Русскою, — чему много содѣйствовало появленіе Исторіи Государства Россійскаго, Карамзина. А народъ въ свою очередь увидѣлъ, что эти высшія сословія связываютъ физическую силу народа съ нравственною силою государства. Отсюда возникли самосознаніе и стремленіе къ единству мыслей. Правда, подражательное направленіе, пріобрѣтенное нами и утвержденное въ продолженіе почти полутораста лѣтъ, сдѣлалось у насъ такъ сильно, что и теперь еще мы, какъ будто не вѣря въ существованіе своего ума, часто подражаемъ то Нѣмцамъ, то Англичанамъ, то — и преимущественно — Французамъ; но это возвращеніе къ старымъ привычкамъ съ одной стороны есть неминуемое слѣдствіе или остатки прежняго воспитанія и образованія, съ другой — оно проистекаетъ отъ недостатка изученія Руси, которое, по обширности предмета, требуетъ много времени, съ третьей — оно уже сдѣлалось страстію лицъ, а

не общества. Слѣдовательно все говоритъ о близости совершеннаго возрожденія народности.

Общее участіе Жуковскаго въ измѣненіи Словесности.

В. А. Жуковскій, рожденный съ душею Русскою, исполненною тихихъ, но сильныхъ чувствъ, способныхъ принимать впечатлѣнія глубокія, неизгладимыя, съ умомъ возвышеннымъ и глубокомысленнымъ, съ волею благою; онъ среди міра былъ одинъ, какъ въ пустынѣ. Гдѣ такой душѣ найдти постояннаго, стройнаго, гармоническаго сочувствія и полнаго уразумѣнія ея высокихъ юношескихъ помысловъ?— тамъ, въ безпредѣльности! Вотъ источникъ его темныхъ и мрачныхъ думъ, которыя, при всей угрюмости своей, прелестны, какъ паша безночная весна! Онъ, борясь съ злымъ духомъ, поработившимъ нашу Словесность и съ одиночествомъ своего генія, подобно Одену, первому пѣвцу Сѣвера, напрасно вопрошалъ будущее; оно безмолвствовало, и онъ дѣлался задумчивѣе и мрачнѣе, ибо все еще былъ одинъ. Онъ углубился въ Германскую и Англійскую Литературу, и пересадилъ на нашу пустую почву прелестные цвѣтки той и другой; отгадывая наши отношенія къ духу Германіи и Англіи и пося въ самомъ себѣ духъ Руси, онъ произвелъ нѣсколько прелестныхъ, очаровательныхъ опытовъ *Русской* Словесности, въ которыхъ проглядываетъ что то родное, говорящее сердцу.— Между сими произведеніями первое мѣсто займутъ *Свѣтлана* и *Пѣвецъ въ станѣ Русскихъ воиновъ*. Тогда будущность его просіяла свѣтлымъ, веселымъ *настоящимъ;* ибо при сихъ пѣсняхъ Русское сердце забилось весело и радостно, какъ при свиданіи съ потеряннымъ другомъ завѣтнымъ. Тогда Русь поняла своего пѣвца! Но онъ, какъ бы въ благодарность Музамъ Германіи, имъ посвящалъ большую часть своихъ досуговъ. Впрочемъ, сѣмя уже брошено на почву, хотя не воздѣланную, но свѣжую, плодородную, и народный духъ пробудился. *Пѣвецъ въ станѣ Русскихъ воиновъ*,

потомъ *Пѣвецъ въ Кремлѣ* вмѣстѣ съ другими пѣснями, и съ самыми событіями, вдохнувшими ихъ, показали намъ силу и самобытность нашего духа; и послѣ того никакая уже внѣшняя сила не въ состояніи задавить его. Появленіе Исторіи Государства Россійскаго открыло намъ все богатство нашей минувшей жизни, и привязало насъ къ самимъ себѣ. Даже тѣ, идеямъ которыхъ не удовлетворила сія Исторія своимъ направленіемъ, одолжены ей своею дѣятельностію. Жизнь закипѣла; самое подражаніе сдѣлалось обширнѣе, смѣлѣе, разнообразнѣе: смотрите, какъ Батюшковъ подражалъ Петраркѣ и другимъ пѣвцамъ Италіи. Это не ученикъ, повторяющій съ слѣпою довѣренностію слова учителя; это самостоятельный свободный пѣвецъ, воспламененный успѣхомъ другаго; онъ оспориваетъ вѣнецъ у своего учителя. Напрасно Литературу нашу упрекаютъ молчаніемъ и безжизненностію! Когда же она была говорливѣе? Когда была дѣятельнѣе и живѣе? Неужели хотятъ, чтобъ у насъ теперь было такъ много писателей, какъ во Франціи? Кто этого требуетъ, тотъ не понимаетъ хода человѣческаго совершенствованія. Конечно у насъ теперь рѣдко являются торжественныя Оды; но отъ того ни цѣлый кругъ Словесности, ни даже самая Лирика не сдѣлалась бѣднѣе и однообразнѣе; напротивъ Лирика, избавившись отъ положительной правоучительности, получила большую живость и обширнѣйшее значеніе. Оды, гимны, элегіи, пѣсни, или лучше сказать: вообще лирическія стихотворенія Жуковскаго, — они не имѣютъ точныхъ формъ—возносятъ духъ, не утомляютъ его; они излились изъ сердца, а не изъ обязанности поэта; *Батюшковъ* нѣжнѣе, чувствительнѣе Жуковскаго, но онъ не такъ силенъ, величественъ, увлекателенъ; ибо онъ еще не совсѣмъ отрекся отъ классической школы. *Пушкинъ*, *Баратынскій*, *Языковъ* и другіе новѣйшіе Поэты дали Лирикѣ какую-

то безпредѣльную прелесть: они сообщили простоту, естественность, и свободную неограниченность въ формахъ, какъ частныхъ, такъ и общихъ, и довели ее въ *думахъ* до повѣствованія, такъ, что трудно рѣшить, гдѣ оканчивается лирическая Поэзія и гдѣ начинается повѣствовательная. Изъ этого однако же не слѣдуетъ, чтобъ на самомъ дѣлѣ не было границъ между сими двумя родами Поэзіи: это доказываетъ только, что есть тѣсный переходъ отъ одного къ другому, что Поэтъ иногда можетъ, при мечтательныхъ воспоминаніяхъ приходить въ восторги, и въ восторгахъ увлекаться воспоминаніями, чему примѣры мы видѣли и въ прошедшемъ періодѣ у Державина и Дмитріева. Мерзляковъ, какъ критикъ, принадлежитъ къ минувшему періоду, а какъ лирическій стихотворецъ — къ настоящему.

И повѣствовательная Поэзія приняла у насъ другую форму отъ измѣненія своего духа. Жуковскій началъ преобразованіе ея созданіемъ Баллады. Возпитавъ себя подъ напѣвомъ задумчивыхъ глубокомысленныхъ музъ Германіи, имѣющихъ нѣкоторыя черты сходства съ нашимъ народнымъ духомъ, по вліянію на насъ суровой сѣверной природы, онъ естественно долженъ былъ вдаться въ крайность; ибо не могъ ясно видѣть различіе геніевъ Германіи и Руси, и потому онъ поставилъ, повѣствовательную Поэзію такъ сказать, на распутіи Германскаго и Русскаго направленій. *Козловъ* началъ склонять ее къ родному нашему; но *А. С. Пушкину* принадлежитъ эта честь. Онъ первый стяжалъ имя чисто Русскаго Поэта. Называть его *поэтомъ* исключительно предъ прочими, значитъ оскорблять память великихъ талантовъ, чего поэтъ, имѣющій самостоятельную славу, желать не можетъ для собственной славы! Поэма Русланъ и Людмила напомнила намъ мнѣнія и вѣрованія нашихъ предковъ, напомнила Русскую старину, которую

онъ облекъ въ прекрасную форму. Послѣдующія его произведенія: *Кавказскій Плѣнникъ*, *Бакчисарайскій фонтанъ*, *Цыгане*, *Вѣщій Олегъ* и другія постепенно утверждали за нимъ первенство между новѣйшими Поэтами, кромѣ Жуковскаго; а *Борисъ Годуновъ* и Сказки: о *Царѣ Салтанѣ*, о *мертвой Царевнѣ и семи богатыряхъ* утвердили насъ въ надеждѣ несомнѣнной, вѣрной, что будемъ имѣть *Русскую Поэзію;* — *Свѣтлана* Жуковскаго побѣждена, и *Царь Берендей* долженъ уступить первенство *Салтану;* только *Вадимъ* доселѣ еще не встрѣчалъ соперника. *Баратынскій*, равняясь съ Пушкинымъ глубокостію чувствованій, далеко ниже его стоитъ въ отношеніи чистоты вкуса, прелести изображеній, легкости вымысловъ и самаго выбора предметовъ. Въ слѣдъ за сими поэтами явились многіе второстепенные; но о начинающихъ Исторія можетъ говорить только при изчисленіи подробности. Въ наше время повѣствовательная Поэзія не ограничивается Поэмою; сюда же относятся повѣсти и романы. Жуковскій и здѣсь старался проложить новый путь; но его *Марьина роща* не можетъ назваться во всѣхъ отношеніяхъ Русскою повѣстію. Долго мы довольствовались переводами романовъ Французскихъ и весьма немногихъ Нѣмецкихъ и частію подражаніемъ. *Нарѣжный* первый показалъ намъ образцы Русскихъ повѣстей и романовъ; но, не сообразуясь съ требованіями читающаго общества въ выборѣ предметовъ и въ языкѣ, онъ не былъ услышанъ; *Булгаринъ* необыкновеннымъ своимъ успѣхомъ привелъ въ движеніе и читателей и писателей. Потомъ рѣзкій тонъ Сатиры поставилъ его въ немилые. Первый соперникъ его въ историческомъ романѣ — *Загоскинъ*, который, уступая *Булгарину* въ разсказѣ, превосходитъ его въ изображеніи характеровъ посредствомъ разговоровъ. Непосредственно за тѣмъ явились романы *Ушакова*, отличающіеся знаніемъ слабостей человѣческихъ и пред-

разсудковъ свѣта, и *Монастырка* — сочинителя, извѣстнаго подъ вымышленнымъ именемъ *Погорѣльскаго;* потомъ, романы *Масальскаго*, *Степанова* и *Бѣгичева*. О всѣхъ историческихъ нашихъ романахъ можно сдѣлать одно, весьма важное замѣчаніе, что въ нихъ Исторія не связана съ вымысломъ. Не смотря однако на это, мы уже могли сказать, что имѣемъ свои собственные романы; особенно послѣ появленія произведеній— *Лажечникова*, *Полеваго*, *Кукольника* и въ повѣстяхъ *Марлинскаго*, *Пушкина*, *Гоголя*, *Зенеиды Р.*, *Соллогуба* и друг.

Дидактической поэмы мы не имѣемъ; Сатириками лучшими можемъ назвать Князя *Вяземскаго*, *Булгарина* и *Сенковскаго*.—*И. А. Крыловъ* довелъ нашу Басню до возможнаго совершенства; это мнѣніе не требуетъ никакихъ доказательствъ. Перомъ сего писателя управляетъ сама истина, одушевляемая граціями.

Драматическая Поэзія у насъ не такъ обильна оригинальными произведеніями; однако, принявъ въ уваженіе недавность рожденія нашего театра и другія обстоятельства, мы не можемъ жаловаться на совершенную безжизненность ея; и ежели вспомнимъ, что въ столь короткое время существованія у насъ театра появилось нѣсколько превосходныхъ оригинальныхъ комедій;—напримѣръ, нѣсколько комедій Шаховскаго, Загоскина, Хмельницкаго, Грибоѣдова—особенно *Горе отъ ума*, и подобная ей Перцева — *Смѣшны мнѣ люди и Гоголя;*—то конечно можемъ успокоиться надеждою на постепенное умноженіе и улучшеніе этого рода Словесности. Въ послѣднее время явилось нѣсколько и важныхъ Драмъ, достойныхъ замѣчанія, Кукольника и Полеваго. Правда, естественный ходъ совершенствованія отстаетъ отъ нетерпѣливаго желанія; но не все послушно нашимъ желаніямъ. Нѣтъ! не на то мы должны жаловаться, что

мало у насъ пишутъ, а на то, что нѣкоторые сильные таланты, увлеченные вліяніемъ моды пишутъ на *авось!*

Хотя вещественно-изящныя искуства составляютъ предметъ особой Исторіи — Исторіи художествъ (*); однако, ежели эти искуства имѣютъ характеръ самостоятельный, и ежели они дѣйствуютъ сколько нибудь на успѣхи Литературы или сами терпятъ отъ нея какое либо вліяніе; то Исторія Литературы должна изложить въ общихъ чертахъ успѣхи художествъ и указать отношенія ихъ къ Словесности. Въ минувшемъ періодѣ учреждена въ Петербургѣ Академія художествъ, и самое начало существованія Академіи положило основаніе самобытной Русской художественной школѣ: вскорѣ у насъ явились свои архитекторы, которые прекрасными и великолѣпными зданіями разпространяли изящный вкусъ къ зодчеству, и слѣдовательно неминуемо содѣйствовали общему развитію и образованію; но зодчество у насъ и доселѣ еще не получило самобытности; въ послѣдніе годы начали появляться храмы, которые удовлетворяютъ религіозной сторонѣ нашего духа;— эти храмы имѣютъ характеръ Византійской архитектуры. Мы имѣли талантливыхъ ваятелей; но ваяніе у насъ доселѣ все Греческое. Болѣе же всѣхъ искуствъ успѣла живопись. Лосенко положилъ основаніе Русской школѣ живописи; но ученикъ его Угрюмовъ, усвоивъ себѣ искуство славной художествами Италіи, создалъ Русскую живопись. Егоровъ, Шебуевъ, Воробьевъ съ своими учениками, между которыми исполински возвышается Брюловъ, развили и продолжаютъ развивать всѣ отрасли этого искуства, такъ, что оно сильно дѣйствуетъ на образованіе нашего вкуса; и мы смѣло можемъ совѣто-

(*) Сочинитель занимается составленіемъ этой Исторіи; надѣется скоро кончить ее. — Отрывки ея печатаются въ Журналѣ М. Нар. Просв.

вать нашимъ писателямъ заимствоваться или учиться у живописцевъ нашихъ тому, какъ, перенимая искуство отъ иностранцевъ, можно оставаться самостоятельными.

Хотя не можемъ сказать, чтобъ проза наша имѣла одинаковую дѣятельность съ Поэзіею; однако и она теперь оживаетъ, — особливо въ описательныхъ и повѣствовательныхъ родахъ; ибо теперь довольно часто являются статьи нравоописательныя, очень хорошія путевыя и дневныя записки, описанія путешествій, компаній, частныя историческія изслѣдованія, отдѣльныя Исторіи и біографіи Государей и государственныхъ лицъ; даже Ораторство принимаетъ другое, новое направленіе. Но вотъ о чемъ мы должны пожалѣть, — что доселѣ не имѣемъ еще полной Исторіи ни общей, ни Россійской; доселѣ еще наставникъ не можетъ юному любознательному питомцу указать ни на одну полную Исторію, достойную довѣрчиваго прочтенія. Не менѣе того достойно сожалѣнія и то, что у насъ почти совсѣмъ нѣтъ словесно-учебныхъ сочиненій. Кромѣ Грамматикъ Греча и Востокова не на чемъ остановиться. Сей недостатокъ столь ощутителенъ, что слѣдствія его оскорбительно-пзумительны; ибо большая часть людей образованныхъ — и къ удивленію,—нерѣдко учители Словесности не знаютъ объема, содержанія и взаимныхъ отношеній Словесныхъ наукъ. Это зависитъ отъ того, что большая часть руководствъ по сей отрасли знаній не имѣютъ никакихъ началъ, не обнимаютъ и половину своего предмета, и напротивъ, говорятъ часто о томъ, что не можетъ имѣть, кромѣ худыхъ, никакихъ слѣдствій для Словесности. И наконецъ, ежели подъ словомъ: *Критика*, разумѣть тѣ безотчетныя хвалы или ругательства, которыя ежедневно появляются въ Журналахъ; то сей родъ сочиненій надобно почитать совершенно лишнимъ; если же критика есть судъ, который долженъ карать литературныя преступленія,

оцѣнивать достоинства, останавливать и вразумлять бездарность, ободрять и вести къ совершенствованію истиннаго таланта, утверждать общее мнѣніе, образовать чувство изящнаго, очищать общій вкусъ и избавлять истину и знанія отъ предубѣжденій и предразсудковъ; то надобно, пока, еще надѣяться и ожидать болѣе счастливаго направленіе этого, столь важнаго рода Словесности!

Характеръ произведеній Жуковскаго.

И такъ Жуковскій шелъ въ главѣ преобразователей Русской Словесности. Ежели и прежде его были опыты отступленій отъ неподвижнаго классицизма; то они были произведены безсознательно, на удачу; а онъ шелъ обдуманно къ предположенной цѣли. Только началъ онъ свою дѣятельность осторожно, даже робко, какъ будьто не довѣряя своимъ силамъ; — рѣдкій примѣръ скромности! — Еще осмнадцатилѣтній юноша, съ пылкою, даровитою душею, онъ выступилъ на поприще въ переводахъ и подражаніяхъ; — правда, его переводы имѣютъ рѣдкія особенности; но объ этомъ мы будемъ говорить послѣ; — однако же они все таки переводы. Первый переводъ его былъ: *Сельское кладбище — Грея* (1801); потомъ онъ продолжалъ идти по слѣдамъ его, Гете, Шиллера, Тамеона и др.; а между тѣмъ духъ его мужалъ, талантъ укрѣплялся, силы развивались; и онъ повременно являлся въ собственныхъ своихъ произведеніяхъ; между прочимъ онъ вскорѣ написалъ — *Пѣснь Барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей*, Элегію: *Вечеръ* (1806); въ 1808 году онъ издавалъ *Вѣстникъ Европы;* и потомъ два года былъ однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ этого журнала, въ которомъ и послѣ долго печатались его стихотворенія, какъ, напримѣръ, лучшія его посланія: къ *Нинѣ*, къ *Филалету*, къ *Блудову*, къ *Батюшкову*, къ *Тургеневу* и нѣкоторыя Баллады — какъ *Людмила*, *Громобой*, и прозаическія статьи.

Всѣ стихотворныя произведенія Жуковскаго дѣлятъ обыкновенно на лирическія и повѣствовательныя, а прозаическія на — философическія и повѣствовательныя также. Лирическая Поэзія долго была предпочтительно любимымъ его занятіемъ; и онъ, можно сказать, далъ ей новый характеръ; лиризмъ осмнадцатаго столѣтія какъ-то противорѣчилъ самъ себѣ: основаніемъ его были современныя событія, гражданскія какъ будто въ первобытной безъискуственной Поэзіи, когда еще сознаніе и искуство не раздѣляютъ Лирику и Эпопею; а между тѣмъ искуство имѣло рѣшительный перевѣсъ передъ восторженною простотою; и притомъ поэты всѣ, кромѣ Державина, молились музамъ, Аполлону и другимъ богамъ и богинямъ, прося у нихъ вдохновенія. — Слѣдовательно лиризмъ вовсе не выражалъ ни внутренней жизни народа, ни личнаго движенія души и чувствъ поэта; онъ былъ слѣдствіемъ школьной учености; и потому онъ былъ занимателенъ только по современному содержанію и только современникамъ. Жуковскій, оставивъ Аполлона, со всею его Парнасскою свитою, выражалъ самого себя со всѣми своими современно человѣческими думами и чувствованіями, со всею внутреннею жизнію; тутъ нѣтъ воспоминаній того, что пріобрѣтено школьнымъ ученіемъ; тутъ живыя чувствованія и представленія души пылкой, восторженной. — Эти думы и чувствованія имѣютъ такой характеръ, что могли бы родиться въ душѣ и сердцѣ всякаго, кто имѣетъ душу и сердце; потому онѣ для всѣхъ и всегда занимательны. Эпопея у насъ, равно какъ у всѣхъ Европейскихъ народовъ, имѣла характеръ совершенно чужой, неестественный, придуманный; она требовала движеній и дѣйствія чудесныхъ; пружиною чудесности были нерѣдко Олимпійскіе боги и судьба. Жуковскій не создавалъ у насъ поэмы, или, лучше сказать, онъ, по обыкновенной своей скромности, не называлъ своихъ эпическихъ созданій

громкимъ названіемъ *поэмы, эпопеи;* а просто назвалъ ихъ Балладами. Его Баллады также составляютъ родъ эпопеи; особенно нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напримѣръ: *Двѣнадцать спящихъ Дѣвъ* и *Эолова арфа*. Здѣсь лица думаютъ, чувствуютъ и дѣйствуютъ въ духѣ страны и вѣка, которымъ они принадлежатъ; они управляются вѣрованіями и повѣрьми своего народа. Жуковскій Поэтъ, но онъ поэтъ мыслящій, образованный; и потому онъ, измѣняя направленіе Поэзіи, сильно содѣйствовалъ измѣненію характера прозы, которая дотолѣ была слѣпымъ подражаніемъ Французской прозѣ. Описаніе изображало какую-то небывалую природу, въ которой пѣли только соловьи, цвѣли только розы, лиліи и нарцизы на душистыхъ полянахъ; повѣствованіе и даже сама Исторія представляла людей то идиллическими пастушками, которые невинны, какъ овечки, которые даже грѣшили сладко и привлекательно, то отверженными злодѣями, чуть-чуть не Каннибалами; такъ что проза выражала менѣе истины, нежели самая Поэзія. Дидактика отличалась какою-то Китайскою неподвижностію, неизмѣнностію; теорія изящныхъ искуствъ была вѣчна, какъ законы Конфуція; критика спорила только о томъ, выполнены ли законы этой неизмѣнной теоріи? Правильны ли, красивы ли и сильны ли выраженія? — Жуковскій ни въ одной изъ этихъ отраслей не произвелъ рѣшительнаго переворота; но показалъ новые, болѣе естественные взгляды на природу и человѣка: описанія его уже не имѣютъ того идиллизма, какъ у Карамзина; въ критикѣ онъ судитъ о творчествѣ, идеѣ, о созданіи цѣлаго; его переводы философическихъ статей познакомили наше общество съ новымъ Германскимъ направленіемъ ума; духъ *Канта* началъ усвояться въ Россіи; явились послѣдователи и продолжатели Жуковскаго. Ежели вліяніе Жуковскаго не такъ замѣтно на общій ходъ идей въ Россіи, какъ мы привыкли требовать

вообще отъ преобразователей, и ежели даже многіе не признаютъ этого вліянія; то это потому, что онъ, по обыкновенной своей осторожности и скромности, дѣйствовалъ совсѣмъ не такъ, какъ всѣ нововводители, которые, обыкновенно, начинаютъ разрушеніемъ, низпроверженіемъ стараго; онъ, ничего не разрушая, осторожно и мало по малу старался созидать; и потому дѣятельность его не шумна, не блестяща, но прочна.

Переводы Жуковскаго.

Для удобнѣйшаго разсмотрѣнія и правильной оцѣнки трудовъ Жуковскаго должно быть совсѣмъ другое раздѣленіе его литературной дѣятельности; потому раздѣлимъ ее на три главныхъ отрасли: онъ *переводилъ*, *подражалъ и творилъ*. По общему и господствующему мнѣнію, переводъ считается дѣломъ легкимъ, такъ, что иногда переводчика не хотятъ признавать писателемъ. Этотъ предразсудокъ есть слѣдствіе дурныхъ переводовъ, которыми часто изкажаются прекрасныя геніальныя произведенія, и которые предпринимаются людьми бездарными. Но переводы Жуковскаго могли бы пріобрѣсти ему титло литература-поэта и тогда, ежели бы онъ ничего не произвелъ своего собственнаго; потому что его переводы не довольствуются перенесеніемъ мыслей съ одного языка на другой въ томъ самомъ порядкѣ и въ той связи, которыя опредѣлены подлинникомъ; они суть точныя живыя повторенія своихъ подлинниковъ со всѣми ихъ красотами и совершенствами не только въ содержаніи, въ развитіи идей, но и въ формахъ выраженія, даже въ слогѣ и частныхъ оборотахъ рѣчи. Онъ проникалъ въ идею писателя, одушевлялся его мыслію, возторгался и принималъ на себя видъ той самой возторженности, въ которой находился поэтъ въ минуты созданія переводимаго произведенія. Казалось бы, что при такомъ способѣ и такихъ пріемахъ переводить, можно было ожидать, что переводчикъ передастъ такимъ образомъ красоты произведеній од-

ного или двухъ поэтовъ, согласныхъ съ нимъ въ характерѣ и образованіи; но нѣтъ, нашъ переводчикъ съ одинаковою точностію передаетъ намъ красоты и совершенства геніальныхъ поэтовъ Нѣмецкихъ, Англійскихъ, Латинскихъ и Индійскихъ, не смотря на всѣ разности ихъ, какъ народныя, такъ и личныя. Сравнимъ хотя, напримѣръ, *Ленору* — Бюргера, *Орлеанскую Дѣву* — Шиллера, *Шильонскаго Узника* — Байрона, *Ундину* — Монфуке, *Пери и Ангелъ* — Мура, *Замокъ Смальгольмъ* — Вальтеръ-Скотта, *Цеикса и Гальціону* — изъ Овидія, *Разрушеніе Трои* — изъ Виргилія, — *Наль* и *Дамаянти* — съ Индійск., что общаго найдемъ мы между всѣми этими поэтами и произведеніями ихъ? Между ими бездна различія; а онъ равно всѣхъ ихъ понялъ, и произведенія всѣ одинаково усвоилъ Русскому языку съ сохраненіемъ общаго характера и частныхъ красотъ ихъ. Наприм. изъ Шильонскаго Узника:

Я дико по тюрьмѣ бродилъ;
Но въ ней покой ужасныи былъ;
Лишь вѣялъ отъ стѣны сырой
Какой-то холодъ гробовой!
И взоръ на мертваго вперивъ,
Я зналъ лишь смутно, что я живъ!
О! сколько муки въ знаньи томъ,
Когда мы тутъ же узнаемъ,
Что милому уже не быть!
И мигъ сей могъ я пережить!
Не знаю — вѣра ль то была,
Иль хладность къ жизни жизнь спасла!
Но что потомъ сбылось со мной,
Не помню!... Свѣтъ казался тьмой,
Тьма свѣтомъ, воздухъ изчезалъ;
Въ оцѣпѣненіи стоялъ,
Безъ памяти, безъ бытія,
Межъ камней хладнымъ камнемъ я!
И видѣлось, какъ въ тяжкомъ снѣ,
Все блѣднымъ, темнымъ, тусклымъ мнѣ!

Все въ мутную слилося тѣнь!
То не было, ни ночь, ни день,
Ни тяжкій свѣтъ тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей!
То было тьма безъ темноты!
То было бездна пустоты
Безъ протяженья и границъ!
То были образы безъ лицъ!
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ.
Ни жизнь, ни смерть — какъ сонъ гробовъ!
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и нѣмой!
Вдругъ лучь внезапный освѣтилъ
Мой умъ .. то голосъ птички былъ!
Онъ умолкалъ; онъ снова пѣлъ,
И мнилось, съ неба онъ летѣлъ!
И былъ утѣшно-сладокъ онъ!
Имъ очарованъ, оживленъ,
Заслушавшись, забылся я!
Но не надолго.... мысль моя
Стезей привычною пошла!
И я очнулся!...

Это горесть ума, скорбь души или глубокаго внутренняго чувства, которое потрясло всѣ жизненныя силы крѣпкаго человѣка, и только вѣра спасла жизнь отъ конечнаго разрушенія.

Но вотъ отрывокъ изъ Леноры Бюргера, представляющій также изображеніе тоски.

«Прости ее, небесный Царь!
«Родная, помолися;
«Онъ благъ, Его руки мы тварь:
«Предъ Нимъ душой смирися»
— О другъ мой, другъ мой! Все какъ сонъ!
Немилостивъ со мною Онъ!

Предъ Нимъ мой крикъ былъ тщетенъ
Онъ глухъ и безотвѣтенъ. —
«Дитя, отъ жалобъ удержись,
«Пожертвуй сердцемъ Богу,
«Пречистыхъ таинъ причастись·
«Смири души тревогу »
— О другъ мой, что во мнѣ кипитъ,
Того и Богъ не усмиритъ·
Ни тайнами, ни жертвой
Не оживится мертвой.—
«Но что, когда онъ самъ забылъ
«Любви святое слово,
«И прежней клятвѣ измѣнилъ,
«И связанъ клятвой новой?
«И ты, и ты о немъ забудь,
«Не рви тоской напрасно грудь;
«Не стоитъ слезъ предатель;
«Ему судья Создатель »
— О другъ мой, другъ мой! все прошло!
Пропавшее пропало.
Жизнь безотрадную на зло
Мнѣ провидѣнье дало...
Угасни ты, противный свѣтъ!
Погибни, жизнь, гдѣ друга нѣтъ?
Самъ Богъ врагомъ Ленорѣ....
О горе мнѣ! о горе!

Вотъ два противоположныя чувствованія! Мать, проникнутая материнскою любовію и святою высокою вѣрой, хочетъ возстановить преданность провидѣнію въ страстной душѣ дочери; и эта дочь, ослѣпленная возмутительною страстью и отчаяніемъ, богохульствуетъ, возмущается противъ благости Творца. Но какая же противоположность въ выраженіи тоски у древняго поэта, Овидія, и какъ вѣрно она передана нашимъ поэтомъ!

Тяжко во снѣ Гальціона рыдала; сквозь сонъ протянула
Руки; ловитъ его, но воздухъ пустой обнимаетъ.
«Стой! — она возопила — помедли! я за тобою!»
Собственный голосъ и призракъ ее пробудили: вскочила

Въ страхѣ; ищетъ очами, кругомъ озираясь: тутъ ли
Видѣнный другъ?... На крикъ ея прибѣжавшій, невольникъ
Подалъ свѣтильникъ: — напрасно! нигдѣ его не находитъ.
Съ горя бьетъ себя по лицу, раздираетъ одежду,
Перси терзаетъ и рветъ на главѣ неразвитыя кудри.
Что съ тобой, Гальціона? спросила кормилица въ страхѣ.
«Нѣтъ Гальціоны! она возопила, нѣтъ Гальціоны!
«Съ Цеиксомъ вмѣстѣ она умерла! оставь утѣшенье!
Онъ погибъ! я видѣла образъ его и узнала!
Руки простерла его удержать, напрасно, — то была
Тѣнь, но тѣнь знакомая, подлинный Цеиксовъ образъ!
Правда, почудилось мнѣ, что въ миломъ лицѣ выражалось
Что-то чужое, непрежнее; прелести не было прежней!
Блѣденъ, нагъ, утомленъ, съ власами струящими влагу,
Мнѣ привидѣлся Цеиксъ, и такъ стоитъ онъ печальный;
Вотъ то мѣсто!... (и мутные взоры призрака искали)
Другъ! не того ли страшилось вѣщее сердце, когда я
Такъ молила тебя остаться и вѣтрамъ не вѣрить.
Къ смерти на встрѣчу спѣшилъ ты.... почто жъ Гальціону
Здѣсь ты покинулъ? Вмѣстѣ намъ все бы спасеніемъ было;

Въ первыхъ отрывкахъ мы видимъ самую скорбь сердца, невольно изторгающуюся наружу, мы слышимъ стоны скорбной души; а въ этомъ послѣднемъ видимъ изображеніе обстоятельствъ, которыя свидѣтельствуютъ о скорби; и переводчикъ выразилъ то и другое съ такою вѣрностію, что сохранилъ тончайшія черты столь разнохарактерныхъ формъ; слѣдовательно онъ сочувствовалъ равно и новымъ романтическимъ поэтамъ, и древнимъ, которые пластически представляли внѣшніе признаки, по которымъ можно отгадывать внутреннее состояніе души, чему могутъ служить доказательствомъ и стѣдующіе стихи изъ Виргиліевой Энеиды (разрушеніе Трои):

Мечъ опоясавъ и щитъ свой надвинувъ на шуйцу, изъ дома
Выдти спѣшу; но Креуза, упавъ со слезами на прагѣ,
Ноги мои обняла, и, сына младенца подъемля
Къ лону отца, возопила. «если себя на погибель

«Ты осудилъ—да погибнемъ съ тобою и мы неразлучно!
«Если жъ осталось тебѣ упованье на мечъ и на силу; —
«Прежде свой домъ защити! Здѣсь младенецъ Іулъ! здѣсь отецъ твой!
«Здѣсь Креуза.. . ее называлъ ты донынѣ своею!»
Такъ вопіяла супруга, стенаньемъ весь домъ оглашая.

А въ противоположность этому можемъ привести примѣръ изъ Орлеанской Дѣвы — Шиллера. Іоанна д'Аркъ, чувствуя въ сердцѣ любовь, укоряя себя въ этомъ чувствѣ, и сознавая невозможность изтребить его изъ сердца, она говоритъ:

Ахъ! почто за мечъ воинственный
Я мой посохъ отдала;
И тобою, дубъ таинственный,
Очарована была!
Мнѣ, Владычица! являла Ты
Свѣтъ небеснаго лица!
И вѣнецъ мнѣ обѣщала Ты....
Недостойна я вѣнца.

Зрѣла я небесъ сіяніе,
Зрѣла Ангеловъ въ лучахъ....
Но души моей желаніе
Не живетъ на небесахъ!
Грозной силы повелѣніе
Мнѣ ль безсильной совершить?
Мнѣ ли дать ожесточеніе
Сердцу жадному любить?

Нѣтъ! изъ чистыхъ небожителей
Избирай твоихъ свершителей!
Съ неприступныхъ облаковъ
Призови Твоихъ духовъ,
Безмятежныхъ, нежелающихъ,
Не скорбящихъ, нетеряющихъ....
Дѣву жъ съ чистою душей
Да минуетъ выборъ Твой!

Мнѣ ль свирѣпствовать въ сраженіи?
Мнѣ ль рѣшать судьбу царей?...

Я пасла въ уединеніи
Стадо родины моей!...
Въ бурну жизнь меня умчала Ты,
Въ домъ владыки привела!
Но . . лишь гибель указала Ты!...
Я ль сей жребій избрала?

Ежели сравнить всѣ переводы Жуковскаго съ подлинниками, то мы найдемъ, кромѣ этихъ красотъ языка и легкой звучности стиха, которыя принадлежатъ ему вполнѣ, еще то достоинство въ нихъ, что онъ, не нарушая чистоты и правильности Русскаго языка, переводилъ изъ стиха въ стихъ, изъ слова въ слово. И такимъ образомъ сохранялъ общій духъ писателя и частный характеръ произведенія со всѣми его красотами.

Подражанія. Обыкновенные подражатели выбираютъ какое-либо произведеніе, понравившееся имъ, и передѣлываютъ его, какъ могутъ,—т. е. оставляя общій планъ, общее устройство и общій характеръ избраннаго произведенія, всѣ частности и подробности подчиняютъ своей идеѣ; одни обстоятельства измѣняютъ, другія совсѣмъ пропускаютъ и даже прибавляютъ какіе-либо новые случаи; или выбираютъ какой-либо предметъ и случай и развиваютъ его по данной уже формѣ и устройству извѣстнаго сочиненія. Подражанія Жуковскаго можно раздѣлить на два рода: иногда онъ избиралъ извѣстные образцы и по ихъ общимъ формамъ, по ихъ расположенію устроивалъ свои произведенія, давая впрочемъ дѣйствователямъ характеры, сообразные своимъ идеямъ; такъ напримѣръ, онъ, по образцу Леноры Бюргера, написалъ свою Людмиллу, которая, будучи въ одинаковыхъ совершенно обстоятельствахъ съ Ленорою, отличается отъ нея Русскими народными движеніями сердца. Ленора, какъ Нѣмка, въ горѣ предается отчаянной мечтательности; Людмилла, какъ Русская, упрямо, самонадѣянно

ропщетъ на свою участь. Мать Леноры, успокоивая дочь, разсуждаетъ съ нею и старается возбудить въ ней мечты болѣе утѣшительныя; мать Людмиллы молится за дочь свою, совѣтуетъ ей молиться и пугаетъ грѣхомъ. Вотъ какъ безумно начинаетъ роптать Людмилла:

Разступись, моя могила!
Гробъ откройся! полно жить!
Дважды сердцу не любить! —
«Что съ тобой, моя Людмилла!»
Мать со страхомъ возопила
«О, спокой тебя Творецъ!»
— Милый другъ! всему конецъ,
Что прошло — невозвратимо!
Небо къ намъ неумолимо,
Царь небесный насъ забылъ.
Мнѣ ль Онъ счастья не сулилъ?
Гдѣ жъ обѣтовъ исполненье?
Гдѣ святое Провидѣнье?
Нѣтъ, не милостивъ Творецъ!
Все прости, всему конецъ! —
«О Людмилла! грѣхъ ропганье!
«Скорбь Создателя посланье. —
«Царь небесный, то скорби гласъ!
«Дочь, возномни смертный часъ.
«Кратко жизни сей страданье:
«Рай — смиреннымъ воздаянье,
«Адъ — бунтующимъ сердцамъ!»
— Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
Съ милымъ вмѣстѣ — всюду рай....

Это обыкновенное подражаніе, удачные примѣры котораго можно найдти и у многихъ другихъ писателей. Здѣсь вся трудность состоитъ въ томъ, чтобы умѣть перенести красоты одного произведенія на другое, излившееся совсѣмъ въ другихъ обстоятельствахъ, а иногда выраженное языкомъ другаго народа, имѣющаго иной идеалъ, иные нравы. Жуковскій много подражалъ Шиллеру, не

перемѣняя народности дѣйствователей, напримѣръ: въ *Кассандрѣ*, *Ивиковыхъ журавляхъ* и др., и подражалъ превосходно. Однако все же этотъ родъ подражанія несравненно легче другаго, который мы находимъ въ произведеніяхъ Жуковскаго и въ которомъ онъ подражалъ не одному какому-нибудь извѣстному произведенію, а общему народному идеалу. Онъ создавалъ свободную идею, развивалъ ее по своимъ видамъ и представленіямъ, обставлялъ придуманными или почерпнутыми изъ преданій обстоятельствами; и все это созданіе съ своею главною мыслію, съ своими частностями и подробностями, съ своими формами, выражаетъ духъ извѣстнаго какого-либо народа, чуждаго пѣвцу. Такъ *Ахиллъ* есть подражаніе древне-Греческой литературѣ—впрочемъ не во всѣхъ отношеніяхъ удачное, потому что здѣсь встрѣчаются замашки мечтательно-Германскія; такъ *Эолова Арфа* есть чудное, неподражаемое подражаніе древней Германско-рыцарской поэзіи. Читая эту балладу, невольно переноситься въ вѣка рыцарства и варварства, когда люди хотѣли быть только страшными, когда мирные и робкіе составляли какую-то презрѣнную касту человѣчества. Хотя перваго рода подражаній у Жуковскаго гораздо болѣе; зато этотъ послѣдній родъ замѣчательнѣе; потому что здѣсь онъ намъ кажется то истиннымъ классикомъ, который наглядно, пластически изображаетъ міръ внѣшній и даже человѣка съ его страстями; то таинственнымъ Германо-романтикомъ, который ищетъ внутренняго значенія въ самыхъ осязательныхъ явленіяхъ міра; то пылкимъ Итальянцемъ, то задумчивымъ, мечтательнымъ послѣдователемъ Оссіана. И эти произведенія можно также почитать оригинальными. Возьмемъ напримѣръ: *Пѣснь Араба на могилѣ коня:*

Сей другъ, кого и вѣтръ въ поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ палъ!

О путникъ! со мною страданье дѣли:
Царь быстраго бѣга простертъ на земли;
И воздухомъ брани уже онъ не дышитъ;
И грознаго ржанья пустыня не слышитъ;
Въ стремленьи погибель его нагнала;
Вонзенная въ выю дрожала стрѣла;
И кровь благородна струею бѣжала;
И влагу потока струя обагряла ...

И такъ Жуковскій былъ переводчикъ и подражатель; и онъ самъ указываетъ намъ всѣ заимствованія съ благородною и даже преувеличенною откровенностію. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и самобытный писатель-поэтъ. Мы уже видѣли, что на эту самобытность даютъ ему право самые его переводы и подражанія; потому что онъ переводилъ и передѣлывалъ избранные имъ образцы точно такъ, какъ геніальный художникъ переводитъ на холстъ изображаемые имъ предметы. Этого мало. Самостоятельный Лирикъ своей эпохи, онъ сообщилъ Поэзіи, какъ мы видѣли, другой характеръ и даже далъ лиризму народный Русскій колоритъ; онъ, всегда вѣрный своему призванію, выражаетъ твердую, безпредѣльную вѣру въ будущее: то въ пылкой, пламенной любви обращается къ идеалу своему, Нинѣ: Собственныя его созданія.

О Нина! о Нина! сей пламень любви
Ужели съ послѣднимъ дыханьемъ угаснетъ?
Душа, отлетая въ незнаемый край,
Ужели во прахѣ то чувство покинетъ,
Которымъ равнялась богамъ на землѣ?
Ужели въ минуту боренья съ кончиной —
Когда ужъ не буду горящей рукой
Въ слезахъ упоенья къ трепещущей груди,
Восторженный, руку твою прижимать;
Когда прекратятся и сердца волненье,
И пламень ланитный — примѣта любви,
И тайныя страсти во взорахъ сіянье,
И тихіе вздохи, и сладкая скорбь,
И груди безвѣстнымъ желаньемъ стѣсненье —

Ужели, о Нина! всѣмъ чувствамъ конецъ?
Ужели ни тѣни земнаго блаженства
Съ собою въ обитель небесъ не возьмемъ?
Ахъ! съ чѣмъ же предстанемъ ко трону *Любови?*
И то, что питало въ насъ пламя души,
. . . . . .
О Нина, о Нина, безсмертье нашъ жребій!

То предаваясь мечтамъ юношеской дружбы, онъ груститъ и ожидаетъ лучшей жизни тамъ, за предѣлами настоящаго, за гробомъ:

Гдѣ ты, далекій другъ? Когда прервемъ разлуку?
Когда прострешь ко мнѣ ласкающую руку?
Когда мнѣ встрѣтить твой, душѣ понятный, взглядъ?
. . . . . .
Ахъ! время, Филалетъ, свершиться ожиданьямъ!
Не знаю.... но, мой другъ, кончины сладкій часъ
Моей любимою мечтою становится;
Унылость тихая въ душѣ моей хранится;
Во всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.
Зоветъ меня! .. зоветъ!.. куда зоветъ?.. не знаю!
Но я зовущему съ волненіемъ внимаю;
Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной;
. . . . . .
Скажу ль?... Мнѣ ужасовъ могила не являетъ!
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чѣмъ я безрадостно въ семъ мірѣ бременился. ..

То онъ мѣняетъ тихую, нѣжно-струнную лиру на грозную трубу ратную, и Русскій Тиртей, новый Баянъ воспламеняетъ мужество въ сердцахъ воиновъ, призывая ихъ къ мести врагамъ Отечества:

Сей кубокъ мщенью! Други, въ строй
И къ небу грозны длани!
Сразить иль пасть! нашъ роковой
Обѣтъ предъ Богомъ брани.
. . . . . .
Тотъ нашъ кто первый въ бой летитъ,

На гибель сопостата,
Кто слабость падшаго щадитъ,
И грозно мститъ за брата!
Онъ взоромъ жизнь даетъ полкамъ;
Онъ махомъ мощной длани
Ихъ мчитъ во срѣтенье врагамъ,
Въ среду шумящей брани;
Ему веселье битвы гласъ;
Спокоенъ подъ громами;
Онъ свой послѣдній видитъ часъ
Безстрашными глазами!
Хвала тебѣ, нашъ бодрый вождь,
Герой подъ сѣдинами!
Какъ юный ратникъ, вихрь, и дождь,
И трудъ онъ дѣлитъ съ нами.
О сколь съ израненнымъ челомъ
Предъ строемъ онъ прекрасенъ!
И сколь онъ хладенъ предъ врагомъ,
И сколь врагу ужасенъ!...

То онъ, возторженный семейнымъ счастіемъ Царскаго Дома, привѣтствуетъ юную Августѣйшую Мать и первенца-Младенца ея:

Изображу ль души священной чувство?
Могу ль найти согласный съ нимъ языкъ?
Что лирный гласъ и что искуство?
Ты слышала сей милый первый крикъ,
Младенческій привѣтъ существованью!
Ты зрѣла блескъ проглянувшихъ очей,
И прелесть устъ открывшихся дыханью....

То онъ, пораженный горестью Царскаго Дома, оплакиваетъ утрату одного изъ прекрасныхъ членовъ Его *(На Смерть Королевы Виртембергской, Великой Княгини Екатерины Павловны)* въ грустныхъ стихахъ элегіи:

Ты улетѣлъ, небесный посѣтитель!
Ты погостилъ не долго на землѣ!...

Мечталось намъ, что *здѣсь* твоя обитель!
Уже *своимъ* тебя мы нарекли.

. . . . . .

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ....
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

И много Жуковскій пѣлъ, и всѣ пѣсни его были новы, всѣ онѣ оживлены живою современною мыслію, — хотя немного оттѣнены Германскимъ колоритомъ; и уже подъ старость пѣлъ славную эпоху, современную его молодости, въ *Бородинской Годовщинѣ;* и пылъ юной поэзіи снова возкресъ въ немъ. Но лиризмъ былъ не главнымъ его дѣломъ и не преимущественнымъ отличіемъ, тѣмъ болѣе, что вѣкъ лиризма уже проходилъ; лирикомъ онъ былъ болѣе по своему личному положенію въ обществѣ. Кромѣ пѣсней, внушенныхъ ему ужасно-славной годиной войны за свободу Отечества и цѣлой Европы, всѣ лирическія его пѣснопѣнія вылились изъ личныхъ его отношеній къ тѣмъ, кому они посвящены. Эпопея составляетъ его торжество. Но въ этомъ родѣ поэзіи вліяніе Германскаго духа въ немъ было гораздо замѣтнѣе: оно отразилось не только въ частныхъ идеяхъ и въ формахъ, но даже и въ выборѣ предметовъ. Германецъ есть прямая противоположность Греку; по историческимъ обстоятельствамъ онъ не имѣетъ жизни гражданской государственной; онъ весь погрузился въ жизнь личную и семейную; оттого семейныя преданія и мѣстныя вѣрованія замѣняютъ у него всю исторію и народныя преданія. Не имѣвши никогда, въ продолженіи своего историческаго существованія, ничего на землѣ прочнаго, не знавши даже отечества и не понимая частыхъ и быстрыхъ переворотовъ его родины,—Германецъ невольно стремится въ таинственную даль, хочетъ разгадать будущее и небывалое, онъ легче вѣритъ фантастическому, несбыточному, нежели простому, естественному. Вотъ отчего Германецъ, вмѣ-

сто историко-баснословной—собственно эпопеи, имѣетъ фантастически-суевѣрную балладу, которая основывается на мѣстныхъ преданіяхъ. Жуковскій, какъ питомецъ Германской музы, частію увлеченный этимъ духомъ, которому онъ, по частнымъ своимъ обстоятельствамъ, такъ безусловно подчинился, частію испуганный неудачами эпиковъ-предшественниковъ, предпочелъ Балладу Эпопеѣ; т. е. онъ въ этомъ родѣ поэзіи остался преимущественно переводчикомъ и подражателемъ; потому что мы имѣемъ слишкомъ мало такихъ частныхъ и мѣстныхъ преданій, которыя бы могли доставить обильный запасъ для народной русской баллады, кромѣ преданій сибирскихъ, украинскихъ и бѣлорусскихъ, которыя намъ мало извѣстны. Въ подражаніи Нѣмецкой балладѣ Жуковскій превосходенъ; мы уже видѣли тому доказательства. Собственно народно-русскими произведеніями въ этомъ родѣ можно только назвать *Свѣтлану* и *Двѣнадцать спящихъ дѣвъ*. Содержаніе первой почерпнуто изъ народныхъ суевѣрій или повѣрій, къ которымъ поэтъ приложилъ сновидѣніе, столь просто и столь естественно слившееся съ гаданіемъ нетерпѣливой невѣсты, тревожимой разлукою съ любимымъ женихомъ. Эта баллада написана какъ бы въ противоположность Людмилѣ, строптиво ропщущей на Провидѣніе; Свѣтлана хотя и прибѣгаетъ къ суевѣрнымъ средствамъ узнать будущее, къ гаданію; но она тихо груститъ, молясь:

Я молюсь и слезы лью·
Утоли печаль мою,
Ангелъ утѣшитель!

Впрочемъ, за смѣлость знать будущее она наказана; она, среди гаданія, оставленная подругами, незамѣтно засыпаетъ и переходитъ отъ дѣйствительности къ сновидѣнію: къ ней является женихъ и увозитъ ее, также какъ и Людмиллу; и она натерпѣлась страху болѣе нежели

Людмилла; но въ то время, когда въ пустой избушкѣ найденный ею мертвецъ,

Возстенавъ, заскрежеталъ
Страшно онъ зубами,
И на дѣву засверкалъ
Грозно онъ очами....
. . . . . .
Глядь Свѣтлана.... о Творецъ!
Милый другъ ея — мертвецъ!
Ахъ!... и пробудилась!
Гдѣ жъ?... У зеркала одна
Посреди свѣтлицы....

Между тѣмъ, вопреки этому зловѣщему, ужасному сну, который такъ напугалъ Свѣтлану, что и проснувшись, наяву долго думала, сидя подъ окномъ,

Чу! вдали пустой гремитъ
Колокольчикъ звонкій!
На дорогѣ снѣжный прахъ!
Мчатъ, какъ будто на крылахъ,
Санки кони рьяны.
Ближе! вотъ ужъ у воротъ!
Статный гость на дворъ идетъ . .
Кто?... Женихъ Свѣтланы!

Мы не беремся объяснить причину созданія поэмы: *Двѣнадцать спящихъ дѣвъ;* но, вѣроятно, вѣкъ имѣлъ вліяніе на идею поэта. — *Двѣнадцать спящихъ дѣвъ* есть такое произведеніе, въ которомъ выразился весь духъ и поэтическій характеръ Жуковскаго; потому что здѣсь всѣ отдѣльныя черты его, разбросанныя по другимъ произведеніямъ, совокуплены вмѣстѣ въ стройномъ, организованномъ соединеніи. Такому соединенію свойствъ и полному выраженію его духа, содѣйствовало и то обстоятельство, что поэма эта писана въ продолженіи многихъ лѣтъ, слѣдовательно подъ вліяніемъ разныхъ

возрастовъ поэта. Вся поэма раздѣлена на двѣ части или, лучше сказать, на двѣ баллады: первая — *Громобой*, написана подъ конецъ юности; а послѣдняя — *Вадимъ*, уже въ зрѣломъ мужескомъ возрастѣ. Громобой, гонимый судьбою, оскорбленный неудачами жизни, тревожимый неудовлетворенными желаніями, задумалъ самоубійство; но Асмодей, видя въ немъ неполнаго невольнаго грѣшника, захотѣлъ развернуть въ немъ всю силу грѣха и провести его по всѣмъ ступенямъ преступленій; далъ ему богатство неизчерпаемое на десять лѣтъ; а Громобой продалъ ему душу, давъ росписку кровью, и жилъ только *для* наслажденій.

Возможно все въ его очахъ,
Всему онъ повелитель:
И сильнымъ бичъ, и слабымъ страхъ,
И хищникъ, и грабитель!
Двѣнадцать дѣвъ похитилъ онъ
Изъ отческой ихъ сѣни;
Забылъ невинныхъ жалкій стонъ
И родственниковъ пѣни;
И въ годъ двѣнадцать дочерей
Имѣлъ отъ обольщенныхъ,
И былъ онъ чуждъ своихъ дѣтей
И крови узъ священныхъ.
Но чадъ оставленныхъ щитомъ
Былъ Ангелъ ихъ хранитель,
Онъ далъ имъ пристань — Божій домъ,
Смиренія обитель.

Но вотъ насталъ послѣдній годъ его веселой жизни, а съ нимъ ужасы ожиданія смерти и угрызеній совѣсти.

И вспомнилъ онъ забытыхъ чадъ:
Къ себѣ ихъ принимаетъ;
И мнитъ: онѣ Творца смягчатъ!
Невинныхъ Богъ внимаетъ.

Но въ послѣдній, ужасный часъ разплаты съ Асмодеемъ, онъ продалъ и души дочерей за отсрочку смерти

на двѣнадцать лѣтъ. Только это время онъ уже провелъ не такъ; онъ каялся, молился, благотворилъ, строилъ монастыри; это искреннее разкаяніе, а преимущественно молитвы чистыхъ дѣвъ дошли до престола Всевышняго; въ послѣдній часъ срока, когда,

Огни потухнули въ селѣ;
И рощи спятъ и волны!
И всюду тишина была!...
И вся природа, мнилось,
Предустрашенныя, ждала,
Чтобъ чудо совершилось!...
И вдругъ.... какъ будто вѣтерокъ
Повѣялъ отъ востока,
Чуть тронулъ дремлющій листокъ,
Чуть тронулъ зыбь потока....
И нѣкій гласъ промчался съ нимъ....
Какъ будто надъ звѣздами
Коснулся арфы Серафимъ
Эфирными крылами.

За симъ слѣдуетъ явленіе Святаго угодника, потомъ ужасное явленіе Асмодея; ихъ споръ, смерть грѣшника и усыпленіе дѣвъ, и все представляетъ чудную, ужасно прекрасную картину, пропикнутую живою, высокою вѣрою. Картина запустѣнія и чудный сонъ дѣвъ наводятъ на душу читателя какое-то мрачное, таинственное уныніе; и только неясную, смутную надежду поэтъ оставляетъ въ душѣ его:

Но часъ, когда поля заснутъ,
И мглой земля одѣта....
Одна изъ спящихъ дѣвъ встаетъ....
И смотритъ въ даль и ждетъ съ тоской:
Приди, приди, Спаситель!
Но даль покрыта черной мглой,
Нейдетъ, нейдетъ Спаситель!
И скоро ль, долго ль?:.. Какъ узнать?

Гдѣ вѣстникъ искупленья?
Гдѣ тотъ, кто властенъ побѣждать
Всѣ ковы обольщенья,
Къ прелестной прилѣпленъ мечтѣ?
Кто могъ бы, чистъ душою,
Небесной вѣренъ красотѣ,
Непобѣдимъ земною,
Все предстоящее презрѣть,
И съ вѣрою смиренной,
Надежды полонъ въ даль летѣть
Къ наградѣ сокровенной?...

Въ великомъ Новгородѣ Вадимъ
Плѣнялъ всѣхъ красотою,
И дерзкимъ мужествомъ своимъ,
И сердца простотою.
Его утѣха — по лѣсамъ
Скитаться за звѣрями,
Ужасный вепрямъ и волкамъ
Разящими стрѣлами,
Въ осенній хладъ и лѣтній зной
Онъ съ вѣрнымъ псомъ на ловлѣ;
Ему постелей — мохъ лѣсной,
А сводъ небесный — кровлей.

И вотъ этотъ Вадимъ, двадцатилѣтній юноша, разъ, утомленный охотою, уснулъ на берегу Волхова; во снѣ представляется ему чудный старецъ, и говоритъ:

Вадимъ! Желанное въ дали!
Вѣрь небу! Жди смиренно!
Все измѣняетъ на земли;
А небо неизмѣнно!
Стремись! Я провожатый твой!

И Вадимъ, осіянный лучемъ вѣры, подкрѣпляемый собственнымъ мужествомъ, не смотря на просьбы отца и матери, ни на какія препятствія, стремится во слѣдъ незримому вожатаю; на пути спасаетъ дочь Кіевскаго

князя. Тамъ встрѣчаютъ его опасныя очарованія: любовь прекрасной княжны и княжескій престолъ; Вадимъ все пренебрегъ, все оставилъ и вновь пустился въ путь безвѣстный, влекомый тайной силой; съ трудомъ достигаетъ запустѣлаго замка; тамъ при его появленіи чудесно совершается пробужденіе дѣвъ, вѣнчаніе его съ одною изъ нихъ и успокоеніе умершаго грѣшника отца.

Промчались вѣки вслѣдъ вѣкамъ!....
Гдѣ замокъ? гдѣ обитель?
Гдѣ, чудомъ освященный, храмъ?...
Все скрылось!... Лишь, хранитель
Давно минувшаго, живетъ
На прахѣ ихъ преданье!...
Есть мѣсто.... тамъ игривыхъ водъ
Плѣнительно сверканье,
Тамъ вѣчно зеленъ пышный лѣсъ;
Тамъ сладокъ вѣтра шепотъ,
И съ тихимъ говоромъ древесъ
Волны сліянный ропотъ.

На мѣстѣ ономъ — такъ гласитъ
Правдивое преданье —
Былъ пепелъ инокинь сокрытъ.
Въ постѣ и покояньѣ
При гробѣ грѣшника-отца
Онѣ кончины ждали,
И примиреннаго Творца
Въ молитвахъ прославляли....
И улетѣла къ небесамъ
Съ земли ихъ жизнь святая,
Какъ улетаетъ Ѳиміамъ
Съ кадилъ, благоухая.
Бываютъ тайны чудеса,
Невиданныя взоромъ:
Отшельницъ слышны голоса!
Горѣ хвалебнымъ хоромъ
Поютъ.... сквозь занавѣсъ зари
Блистаетъ крестъ; сліянны
Изъ свѣта зрятся алтари;
И, яркими вѣнчанны

Звѣздами, дѣвы предстоятъ
Съ молитвой ихъ святымъ,
И Серафимовъ тьмы кипятъ
Въ пылающей пучинѣ. —

Это древнее преданіе, безъ хитрыхъ завязокъ, подобно всѣмъ чисто-русскимъ сказкамъ и преданіямъ, изложено поэтомъ съ прибавленіемъ картинъ: то таинственно-грустныхъ, то роскошныхъ, то умилительно-прекрасныхъ, то грозныхъ и ужасныхъ, которыя всѣ вмѣстѣ развиваютъ одну мысль: *лучшій руководитель человѣка — вѣра*, или какъ онъ самъ говоритъ:

Лучшій другъ намъ въ жизни сей
Вѣра въ Провидѣнье.

Эта мысль одушевляетъ всѣ его произведенія, даже подражанія, а нерѣдко и самые переводы; по крайней мѣрѣ онъ выбиралъ для перевода произведенія преимущественно близкія къ выраженію этой мысли. Потому-то пѣснопѣнія его всегда для сердца утѣшительны: однако они не имѣютъ той сухости, которая обыкновенно бываетъ замѣтна въ произведеніяхъ, имѣющихъ назидательный тонъ.

Заслуги Жуковскаго въ нашей Литературѣ несомнѣнны: онъ сперва показалъ намъ новые образцы подражанія, открылъ, такъ сказать, новую область, новый міръ изящнаго; потомъ показалъ немногіе, но прекрасные образцы народной словесности, указалъ, такъ сказать, намъ на самихъ себя. Теперь остается рѣшить послѣдній вопросъ, относительно Жуковскаго. Его обыкновенно упрекаютъ въ однообразіи, полагая въ основаніе этого обвиненія частыя мечты его о лунѣ и привидѣніяхъ; но не въ томъ состоитъ однообразіе, что поэтъ говоритъ часто объ одномъ предметѣ; а, напротивъ, когда онъ говоритъ одинаково о различныхъ предметахъ, когда его образъ мыслей и образъ выраженія совсѣмъ не

подчиняется дѣйствію на него природы съ ея разнообразными явленіями. Какъ неоднообразны картины луны Жуковскаго — на это онъ самъ отвѣчаетъ въ *Отчетѣ о Лунѣ*. А если бы онъ вздумалъ написать отчетъ о привидѣніяхъ, то здѣсь еще болѣе обнаружилось бы его искуство разнообразить представленія одинаковыхъ предметовъ. Для опроверженія этого обвиненія стоитъ только припомнить всѣ его вѣрные, отчетистые переводы столь многихъ и столь разнохарактерныхъ произведеній, которыя принадлежатъ, прямо противоположнымъ по своему характеру, вѣкамъ и народамъ и вполнѣ выражаютъ ихъ духъ; и потомъ сравнить ихъ съ оригинальными произведеніями, которыя въ переводахъ его удерживаютъ свои характеръ и колоритъ. Но если уже нужно обвинять въ чемъ-либо Жуковскаго; то онъ, какъ кажется, виноватъ въ томъ, что, съ одной стороны удерживаемый своею излишнею скромностію и недовѣрчивостію къ собственнымъ силамъ, съ другой, увлеченный своимъ счастливымъ искуствомъ переводить и подражать, слишкомъ мало давалъ свободы своимъ творческимъ силамъ и слишкомъ мало написалъ своего оригинальнаго, и особенно въ томъ, что онъ совсѣмъ не дотронулся до живаго, народнаго быта. Онъ какъ будто не хотѣлъ, какъ будто не смѣлъ принять на себя прямое призваніе преобразователя поэзіи; потому-то и идеалы красоты, создаваемые имъ, нерѣдко носили на себѣ слѣды древняго классицизма, напримѣръ:

Младая Минвана
Красой озаряла родительскій домъ;
Какъ зыби тумана,
Зарею златимы надъ свѣжимъ холмомъ;
Такъ кудри густые
Съ главы молодой
На перси младыя,
Вiяся, бѣжали струей золотой.

Пріятнѣй денницы
Задумчивый пламень во взорахъ сіялъ;
Сквозь томны рѣсницы
Онъ сладкое въ душу смятенье вливалъ;
Потока журчанье —
Пріятность рѣчей;
Какъ роза дыханье;

Душа же прекрасный и прелестей въ ней.

Здѣсь только три стиха представляютъ три черты, отступающія отъ пластическаго изображенія красоты; когда же онъ увлекался изображеніемъ страстныхъ картинъ, то стихи его оживлялись азіатскимъ, жгучимъ пламенемъ, напримѣръ:

А витязь?... что съ его душой?...
Увы! сихъ взоровъ сладость,
Сихъ чистыхъ, подъ его рукой
Горящихъ, персей младость,
И мягкій шелкъ кудрей густыхъ,
По раменамъ разлитыхъ,
И свѣжій блескъ ланитъ младыхъ,
И устъ полуоткрытыхъ
Палящій жаръ и тихій гласъ,
И милое смятенье,
И ночи таинственный часъ,
И вкругъ уединенье —
Все чувства разжигало въ немъ!
О власть очарованья!
Уже, исполненны огнемъ
Кипящаго лобзанья,
На дѣвственныхъ ея устахъ
Его уста горѣли,
И жарче розы на щекахъ
Дрожащей дѣвы рдѣли;
И все.... Но вдругъ отпрянулъ онъ,
И въ радостномъ волненьи
Затрепеталъ.... знакомый звонъ
Раздался въ отдаленьи!...

Сафо, Анакреонъ, Овидій, всѣ Персидскіе и Аравійскіе поэты не могли бы изобразить жарче этой картѣ-

ны, написанной сѣвернымъ пѣвцемъ, всегда скромнымъ и цѣломудреннымъ. Но она была написана съ большою обдуманностью для того, чтобы показать, что долженъ былъ вытерпѣть Вадимъ въ борьбѣ съ обольщеньями.

Батюшковъ. Между современниками и литературными товарищами-соперниками Жуковскаго, первое мѣсто принадлежитъ, безъ сомнѣнія, Батюшкову. Ежели онъ не можетъ равняться съ Жуковскимъ силою таланта, то совершенно равенъ своему счастливому сопернику-другу въ любви къ искуству и превозходитъ его въ изученіи и знаніи законовъ искуства. Время Жуковскаго, Батюшкова, Крылова и товарищей ихъ было счастливѣйшею эпохою въ Исторіи Русской Литературы: столкновеніе нѣсколькихъ сильныхъ талантовъ, связанныхъ тѣсною дружбою, проникнутыхъ пламенною любовію къ общему дѣлу, любовію къ словесному искуству, представляло прекрасный, изумительный и, въ нашъ коммерческій вѣкъ, невѣроятный примѣръ дружелюбной борьбы. Одни изъ нихъ тихо доканчивали исполненіе своего призванія, дѣйствуя по указаніямъ старой теоріи — впрочемъ съ вольными и невольными отступленіями; другіе, обозрѣвая новыя стези, осторожно прокладывали путь потомству и создавали повые образцы, устаповляя повые законы; третіе отважно и даже самоувѣренно разширяли и продолжали эти новые пути, изумляя и даже пугая осторожныхъ своевольными своими произведеніями. Но эта разнохарактерная дѣятельность совсѣмъ не представляла и тѣни того ожесточенія, той шумно-неистово-враждебной борьбы, которую мы осуждены видѣть послѣ между писателями, которые далеко не имѣютъ столь большаго различія; ибо всѣ они подражатели юной или пово-Французской школы.

Природа даетъ намъ матеріалъ, вещество, а обстоятельства отливаютъ его въ ту или другую форму. Батюшковъ отъ природы получилъ пылкую, воспріимчивую

душу; а самыя простыя обстоятельства образовали изъ него роскошно-нѣжнаго, пламеннаго и задумчиво-мечтательнаго поэта. Онъ воспитывался въ Петербургѣ, въ частномъ пансіонѣ Итальянца Жакино, человѣка не столько ученаго, сколько образованнаго, страстно любившаго своихъ единоземныхъ поэтовъ; и Батюшковъ съ дѣтства увлекся духомъ своего воспитателя; онъ полюбилъ роскошную, страстную итальянскую музу, которая чужда была и чопорной изысканности Французской и не знала еще безмѣрнаго своевольства Музы Германской; онъ съ юныхъ лѣтъ предался поэзіи, выбравъ середину между холоднымъ, ложнымъ классицизмомъ и ультра-романтизмомъ; онъ любилъ пластически изображать воспѣваемые предметы; и былъ ближе къ истинному древнему классическому вкусу. Этому направленію Батюшкова много содѣйствовалъ просвѣщенный, умный вельможа М. Н. Муравьевъ, ближній его родственникъ. Но нѣжный, чувствительный поэтъ при такомъ направленіи не былъ односторонекъ: когда онъ подъ знаменами побѣдоносныхъ войскъ нашихъ увидѣлъ дикую страну Финляндіи, тогда изобразилъ ее въ своемъ превосходномъ твореніи: *Картина Финляндіи*, воспѣлъ ея древность, какъ Оссіанъ. Послѣ точнаго, географически вѣрнаго, но живаго изображенія Финляндіи, поэтъ погружается въ сладкую задумчивость о минувшемъ и:

Въ полночный часъ
Онъ слышитъ Скальда гласъ,
Прерывистый и томный.
Зритъ: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоятъ кругомъ костровъ,
Зажженныхъ въ полѣ брани;
И древній царь пѣвцовъ
Простеръ на арфу длани;
Могилу указавъ, гдѣ вождь героевъ спитъ:
Чья тѣнь, чья тѣнь — гласитъ

Въ священномъ изступленьи, —
Тамъ съ дѣвами плыветъ въ туманныхъ облакахъ?
Се ты младой Иснель, иноплеменныхъ страхъ,
Со славой падшій на сраженьи!
Миръ, миръ тебѣ, герой!
Твоей сѣкирою стальной
Пришельцы гордые побиты....
И се ужъ налъ тобой посланницы небесъ,
Валкиріи прелестны,
На бѣлыхъ, какъ снѣга Біарміи, коняхъ,
Съ златыми копьями въ рукахъ,
Въ безмолвіи спустились!...

И потомъ онъ снова продолжаетъ изображать природу Финляндіи въ истинномъ, дѣйствительномъ ея видѣ и значеніи. Такъ Батюшковъ всегда, или почти всегда, переходитъ отъ поэзіи къ прозѣ и отъ прозы къ поэзіи. Этимъ-то свойствомъ онъ сходствуетъ съ древними писателями; онъ писалъ только то, что говорило ему сердце; онъ выбиралъ предметы не по разсчету, но по влеченію души; онъ, кажется, хотѣлъ вѣрить всякому своему представленію, всякой мысли своей. Кромѣ этой внутренней настроенности духа, на характеръ его произведеній имѣло вліяніе и раннее изученіе итальянской литературы. Итальянецъ не отдѣляетъ дѣйствительности отъ мечты; его жизнь тѣсно сливается съ поэзіею; потому онъ не имѣетъ ни чистой прозы, ни чистой поэзіи; онъ вѣритъ своимъ мечтамъ, какъ дѣйствительности; и Батюшковъ развилъ свой поэтическій духъ подъ вліяніемъ генія Италіи. Такимъ образомъ, отъ двойственнаго вліянія внутреннихъ и внѣшнихъ силъ, направленіе его таланта сдѣлалось такъ твердо, что даже бурная военная жизнь не измѣнила его. — Во время отечественной войны и войны за освобожденіе Европы, онъ нерѣдко брался за лиру. Онъ воспѣлъ *Переходъ черезъ Рейнъ* и пѣснь его звучна, сладка для сердца и наполняетъ душу гордымъ восторгомъ:

Межъ тѣмъ, какъ воины вдоль идутъ по полямъ,
Завидя вдалекѣ твои, о Реинъ, волны,
Мой конь, веселья полный,
Отъ строя отдѣлясь, стремится къ берегамъ:
На крыльяхъ жажды прилетаетъ,
Глотаетъ хладную струю,
И грудь, усталую въ бою,
Желаннои влагои обновляетъ....
О радость! я стою на реинскихъ водахъ!
И жадные съ холмовъ въ окрестность брося взоры,
Привѣтствую лѣса и горы,
И замки рыцарей въ туманныхъ облакахъ,
И всю страну обильну славой,
Воспоминаньемъ древнихъ дней....

Въ доказательство даровитости Батюшкова можно привести то обстоятельство, что онъ, бывъ соперникомъ Жуковскаго, былъ въ то же время и другомъ его; сверхъ того, онъ былъ любимъ и уважаемъ, какъ поэтъ, Карамзинымъ, Гнѣдичемъ, Давыдовымъ, Озеровымъ и другими современными ему писателями и людьми просвѣщенными. Въ доказательство разнообразности его таланта, мы вспомнимъ — во-первыхъ, что онъ былъ вѣрный, отчетливый прозаикъ и нѣжный мечтательный поэтъ; и притомъ въ прозѣ 1) онъ изображалъ, предметы какъ живописецъ; прочтите его *картину Финляндіи* и другія письма; 2) повѣствовалъ просто и занимательно, примѣромъ могутъ быть *Гризельда*, *Предслава* и *Добрыня;* 3) его философія легка и доступна всякому; но она не имѣетъ характера французскихъ энциклопедистовъ; она основывается на нравственно-религіозныхъ началахъ. 4) Въ критикѣ Батюшковъ правдолюбивъ, откровененъ, благороденъ и проникнутъ любовію къ изящному искуству; прочтите его *Письмо о сочиненіяхъ Муравьева*, *Прогулку въ Академіи Художествъ* и сравненіе *Аріоста съ Тассомъ* и друг. Эти статьи должно читать, изучать всякому и особенно молодому человѣку, желающему вступить

на литературное поприще. Во вторыхъ Батюшковъ, какъ поэтъ, по роду поэзіи былъ лирикъ, и преимущественно элегистъ и элегистъ превозходный; а по характеру или по духу направленія, онъ такъ разнообразенъ, что всѣ элегіи его, не смотря на общую черту — чувства грусти, такъ же много между собою различаются, какъ и самые предметы, возбудившіе возторгъ пѣснопѣнія. Возьмемъ, напримѣръ: *Умирающій Тассъ, на развалинахъ замка въ Швеціи* и *Плѣнный*. Первая элегія представляетъ гордую печаль о грустной жизни генія, сопровождаемой ударами судьбы, и грустную картину безвременнаго торжества генія, встрѣтившаго смерть на порогѣ храма славы и славу — на порогѣ вѣчности.

Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ,
Гдѣ ждетъ пѣвца безвременно кладбище.
Да встрѣчу взорами холмы твои и дымъ,
О древнее Квиритовъ пепелище!...
. . . . . .
Свершилось! Я стою надъ бездной роковой,
И не вступлю при плескахъ въ Капитолій,
И лавры славные надъ дряхлой головой
Не усладятъ пѣвца смиренной доли.
Отъ самой юности игралище людей,
Младенцемъ былъ уже изгнанникъ;
Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей
Скитаясь, я, какъ бѣдный странникъ,
Какихъ не испыталъ превратностей судебъ?
Гдѣ мой челнокъ волнами не носился?
Гдѣ успокоился? гдѣ мой насущный хлѣбъ
Слезами скорби не кропился?

Вторая изображаетъ картину разрушенія и остатковъ, которые рождаютъ воспоминанія о минувшемъ величіи и грусть о настоящемъ:

Въ священномъ сумракѣ дубравы
Задумчиво брожу, и вижу предъ собой

Слѣды протекшихъ лѣтъ и славы:
Обломки, грозный валъ, поросшій злакомъ ровъ,
Столбы — и ветхій мостъ съ чугунными цѣпями,
Твердыни мшистыя съ гранитными зубцами
И длинный рядъ гробовъ.
Все тихо; мертвый сонъ въ обители глухой.
Но здѣсь живетъ воспоминанье;
И путникъ, опершись на камень гробовой,
Вкушаетъ сладкое мечтанье.
Тамъ, тамъ, гдѣ вьется плющъ по лѣстницѣ крутой,
И вѣтръ колышетъ стебль изсохшія полыни,
Гдѣ мѣсяцъ осребрилъ угрюмыя твердыни
Надъ спящею водой, —
Тамъ воинъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ,
Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый,
Готовилъ сына въ брань, и стрѣлъ пернатыхъ лукъ,
Броню завѣтну, мечъ тяжелый
Онъ юношѣ вручалъ израненной рукой,
И громко возклицалъ, подъявъ дрожащи длани:
Тебѣ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

Третья представляетъ тяжкую грусть воина о свободѣ, утраченной плѣномъ, о родинѣ, которую напоминаютъ ему всѣ предметы, встрѣчающіеся на каждомъ шагу. Такъ плѣнникъ, сидя на берегу Роны, вспоминаетъ Донъ, и въ задумчивости высказываетъ свои чувствованія:

Шуми, онъ пѣлъ: волнами Рона,
И жатвы орошай,
Но плескомъ волнъ роднаго Дона
Мнѣ шумъ напоминай!
Я въ праздности терплю время,
Душою въ людствѣ сиръ;
Мнѣ жизнь не жизнь, безъ славы — бремя,
И пустъ прекрасный міръ!
Весна вокругъ живитъ природу,
Яснѣетъ солнца свѣтъ;
Все славитъ счастье и свободу,
А мнѣ свободы нѣтъ!

Шуми, шуми волнами Рона,
И мнѣ напоминай
На берегахъ роднаго Дона
Отчизны милый край!
Здѣсь прелесть — сельскія дѣвицы!
Ихъ взоръ огнемъ горитъ,
И сквозь потупленны рѣсницы
Мнѣ радости сулитъ.
Какія радости въ чужбинѣ?
Онѣ въ родныхъ краяхъ,
Онѣ цвѣтутъ въ моей пустынѣ
И въ дебряхъ и въ снѣгахъ.

При такомъ счастливомъ разнообразіи таланта, Батюшковъ выбиралъ и разнообразные образцы въ подражаніи: онъ подражалъ Тибуллу, нѣжному пѣвцу римскому; напримѣръ:

Здѣсь Парка блѣдная конецъ готовитъ мнѣ;
Здѣсь жизнь мою прерветъ безжалостной рукой....
Неумолимая! Нѣтъ матери со мной!
Кто будетъ принимать мой пепелъ отъ костра?
Кто будетъ безъ тебя, о милая сестра,
За гробомъ слѣдовать въ одеждѣ погребальной
И муро возливать надъ урною печальной?
Нѣтъ друга моего, нѣтъ Деліи со мной.

Онъ противопоставлялъ Гезіода Омиру: воспользовавшись древнимъ преданіемъ, изобразилъ соперничество двухъ великихъ геніевъ древней Греціи, влагая въ уста ихъ пѣсни простыя, но возвышенныя, которыя очень вѣрно представляютъ характеры двухъ великихъ пѣвцевъ; но воспѣвая древнихъ поэтовъ, живущихъ въ памяти человѣчества въ продолженіи многихъ вѣковъ, обнаружилъ свой сильный талантъ и глубокомысленное искуство поэзіи и сладкозвучный стихъ; и этимъ пѣснопѣніемъ мы справедливо можемъ гордиться. Поэтъ предварительно изображаетъ картину, какимъ образомъ

Народы, какъ волны, въ Халкиду текли,
Народы счастливой Эллады!
Тамъ сильный владыка, надъ прахомъ отца
Окончивъ печальны обряды,
Ристалище славы бойцамъ отверзалъ

Послѣ общаго описанія бѣга и боя, поэтъ представляетъ споръ поэтовъ:

Гезіодъ.

Безвѣстный юноша, съ стадами я бродилъ
Подъ тѣнью пальмовой, близъ чистой Иппокрены;
Тамъ пастыря нашли прелестныя Камены,
И я въ обитель ихъ священную вступилъ.

Омиръ.

Мнѣ снилось въ юности: орелъ громометатель
Отъ Мелеса меня, играючи, унесъ
На край земли, на край небесъ,
Вѣщая: ты земли и неба обладатель.

Гезіодъ.

Тамъ лавры хижину простую осѣнятъ;
Въ пустыняхъ процвѣтутъ Темпейскія долины,
Куда вы бросите свой благотворный взглядъ,
О нѣжны дочери суровой Мнемозины!

Омиръ.

Хвала отцу боговъ! Какъ ясный сводъ небесъ
Надъ царствомъ высится плачевнаго Эреба;
Какъ радостный Олимпъ стоитъ превыше неба;
Такъ выше всѣхъ боговъ—властитель ихъ Зевесъ и т. д.

Онъ подражалъ Оссіану, Аріосту, Петраркѣ, Тассу, Парни, Шиллеру и другимъ; и всѣ подражанія его знакомятъ насъ и съ его образцами и съ нимъ самимъ. Конечно, въ Батюшковѣ мы не найдемъ такихъ возвышенныхъ красотъ и великихъ помысловъ, какъ у Державина; нѣтъ столь смѣлыхъ и сильныхъ изображеній, какъ

у Пушкина или Жуковскаго; но за то мы не найдемъ у него и такихъ грѣховъ какъ въ ихъ произведеніяхъ. Онъ отличается самымъ тонкимъ, самымъ образованнымъ вкусомъ. Ежели встрѣчаются у него картины сладострастныя, то онѣ обыкновенно бываютъ прикрыты такимъ безпечно-чистымъ выраженіемъ, что читатель, неимѣющій испорченныхъ чувствъ, при чтеніи ихъ не можетъ представить себѣ ничего дурнаго, нечистаго. Онъ не поразитъ васъ удивленіемъ, но часто заставляетъ радоваться и вздыхать; онъ груститъ тихо, умилительно, и потому не раздираетъ души ни ужасомъ, ни отчаяніемъ, но заставляетъ задуматься и мечтать съ какимъ-то сладкимъ унынiемъ. Таковъ удѣлъ Батюшкова въ области нашей Литературы, удѣлъ прекрасный! Новѣйшіе критики оспориваютъ талантъ у Батюшкова, говоря, что онъ умѣлъ только *подбирать выраженія* и *составлять звучные стихи*. Но отчего же эти стихи, составленные изъ *подборныхъ выраженій*, трогаютъ душу? отчего же новѣйшіе, журнальные стиходѣлатели не трогаютъ души, не касаются сердца? Нѣтъ, Батюшковъ былъ высоко цѣнимъ и тѣми, которые сами возхищаютъ насъ, а ихъ сердца не могли плѣняться пустыми звукаму. Пушкинъ, великій мастеръ поэтическаго дѣла, любилъ читать и зналъ наизусть его многія элегіи. Правда, внѣшняя отдѣлка всѣхъ произведеній Батюшкова придаетъ имъ много цѣнности; но эта отдѣлка не составляетъ главнаго ихъ достоинства и не была цѣлью у Батюшкова; она есть слѣдствіе его возторженной любви къ поэзіи и ко всему изящному; потому-то у него выраженія такъ гармонически сливаются съ мыслями его, что, кромѣ Пушкина, ни у кого изъ нашихъ поэтовъ не найдемъ такого сліянія мысли съ формою. Батюшковъ въ этомъ отношеніи равняется съ древними поэтами; и только они могутъ съ нимъ соперничать; новая Литература не много представитъ ему соперни-

ковъ. Онъ съ любовію Пигмаліона доканчивалъ каждое свое произведеніе; вотъ почему онъ мало написалъ; но это малое въ своемъ родѣ совершенно.

Къ этому тѣсному кругу даровитыхъ писателей, которые любили словесность болѣе, нежели выгоды жизни, у которыхъ цѣлію всей дѣятельности было искусство, принадлежитъ и Николай Ивановичъ Гнѣдичъ. Воспитывавшись въ концѣ прошедшаго столѣтія въ Полтавской Семинаріи и въ Харьковскомъ духовномъ Коллегіумѣ, онъ имѣлъ случай познакомиться съ древней классической Литературой; потомъ при этомъ прочномъ основаніи докончилъ свое образованіе въ Московскомъ Университетѣ. При постоянной страсти къ изученію древнихъ литературъ, онъ, служа почти всю жизнь въ Императорской Публичной Библіотекѣ, имѣлъ всѣ средства выполнить свою любимую мысль. Въ молодости своей, когда еще онъ не могъ отличить ложно-классической литературы отъ произведеній древней истинно-классической словесности, занимался переводами съ французскаго языка; онъ перевелъ передѣланную трагедію Шекспира: *Леаръ* или *Лиръ*, трагедію Вольтера: *Танкредъ*, написалъ нѣсколько лирическихъ стихотвореній; а въ 1817 году лирическую поэму *рожденіе Омира*; самое замѣчательное изъ оригинальныхъ его произведеній — идиллія *Рыбаки*. Идиллія или пастушеская поэзія существовала вездѣ съ незапамятныхъ временъ, и у каждаго народа древняго міра она имѣла свой особенный характеръ, который былъ совершенно сообразенъ съ характеромъ простонародной жизни. Поэты новѣйшихъ народовъ приняли идиллію чуждую, вовсе не соотвѣтствующую духу времени и народнымъ характерамъ; они, по ложному понятію о поэзіи, всячески избѣгали въ поэтическихъ произведеніяхъ изображенія житейскихъ предметовъ; идиллію посвятили простой, сельской жизни; но изображали жизнь небывалую и даже не- Гнѣдичъ.

возможную, не естественную: дикарямъ, незнавшимъ гражданской жизни, обыкновенно приписывали нравы тихіе, нѣжные, представляли ихъ полубогами. А по духу ученія Жанъ-Жака Руссо, эти понятія усвоились и разлились во всѣ роды словесности. Такое изображеніе жизни было и въ Греціи преувеличеніемъ нѣжности; но тамъ оно было все-таки ближе къ истинѣ; потому что мирные Аркадскіе пастухи, окруженные со всѣхъ сторонъ обществами, до изнѣженности образованными, могли быть нѣжнѣе нашихъ пастуховъ; и самое воспоминаніе о золотомъ вѣкѣ, сохранившееся въ ихъ религіозныхъ, миѳологическихъ преданіяхъ, тамъ могло оправдать эту идиллію. У насъ такая поэзія противорѣчила нашей исторіи, нашимъ нравамъ и даже здравому логическому смыслу. Гнѣдичъ, который уже въ лирическихъ своихъ пѣснопѣніяхъ не обращался къ музамъ и Аполлону, смѣло отвергнулъ этотъ идиллическій предразсудокъ: онъ написалъ Идиллію *Рыбаки*, въ которой, во-первыхъ изобразилъ извѣстную мѣстность, списанную съ природы (Строгановскую дачу, Каменный и Елагинъ острова), представилъ дѣйствительный русскій бытъ въ лицѣ двухъ русскихъ рыбаковъ, заставилъ ихъ думать, чувствовать, говорить и дѣйствовать по-русски. Такимъ образомъ онъ создалъ русскую идиллію, которая, имѣя драматическую форму, въ то же время можетъ быть образцемъ первоначальной, простонародной драмы. Конечно и Гнѣдичъ заплатилъ дань тому вѣку, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, давъ своимъ рыбакамъ излишнюю говорливость французскихъ дѣйствователей; но это былъ первый опытъ, и дѣло послѣдователей исправить эту ошибку; между тѣмъ Идиллія: *Рыбаки*, заставила умолкнуть нашихъ идиллистовъ; они уже перестали возпѣвать натянутую чувствительность пастушковъ.

Впрочемъ не тѣмъ Гнѣдичъ обезсмертилъ имя свое; онъ, изучивъ древне-классическую литературу, желалъ

познакомить своихъ соотечественниковъ съ лучшимъ созданіемъ древности, и потому рѣшился докончить начатый Костровымъ переводъ Иліады, которой было издано только шесть пѣсней. Но въ то время, когда Гнѣдичъ переводилъ александрійскими стихами уже одиннадцатую пѣснь, нечаянно открыты седьмая, восьмая и почти вся девятая пѣсни перевода Кострова; это обстоятельство заставило Гнѣдича пріостановить свой трудъ. Хотя переводъ Гнѣдича далеко превозходилъ его предшественника; однако, извѣстный всему ученому міру, любитель древней словесности Сергѣй Семеновичъ Уваровъ, присовѣтовалъ ему снова перевести всю Иліаду размѣромъ подлинника (греческимъ гекзаметромъ, котораго, послѣ Тредьяковскаго, никто изъ нашихъ писателей дотолѣ не употреблялъ). Гнѣдичъ сначала попробовалъ свои силы въ этомъ новомъ дѣлѣ, которое вначалѣ казалось ему очень труднымъ; но терпѣніе и твердая рѣшимость преодолѣли всѣ препятствія, и въ 1829 году онъ кончилъ свой важный трудъ; и теперь мы съ народною гордостью можемъ сказать, что ни одинъ изъ новѣйшихъ языковъ не имѣетъ такого вѣрнаго и близкаго къ подлиннику перевода Иліады, которая въ продолженіе двухъ съ половиною тысячелѣтій сохранила свою важность и которая всегда рождала возторгъ и зависть. У насъ переводъ Гнѣдича возбудилъ всеобщую радость въ образованномъ обществѣ и сильный споръ писателей о возможности въ нашемъ языкѣ гекзаметра. Рѣшеніе этого спора здѣсь неумѣстно; надобно однако же признаться, что замѣчанія Г. Сенковскаго объ этомъ стихѣ и о стилѣ перевода, кажется, во многомъ справедливы; они не должны подвергнуться общей участи журнальной критики; ихъ нужно упомнить и сообразить съ дѣломъ. Въ нашемъ языкѣ гекзаметръ можетъ быть допущенъ, можетъ со временемъ усовершенствоваться и усвоиться у насъ; но онъ не можетъ замѣнить намъ гекзаметра

греческаго, этого гекзаметра музыкальнаго, пѣвучаго, связаннаго съ свойствами языка. Гнѣдичъ, увлеченный общимъ убѣжденіемъ ученой Европы, что Иліада писана, подобно нашимъ искусственнымъ поэмамъ, языкомъ книжнымъ, въ литературномъ искусствѣ употребляемымъ, передалъ намъ это греко-народное созданіе парѣчіемъ искуственнымъ, напряженнымъ. Иліада родилась въ народныхъ преданіяхъ, сложилась въ устахъ народныхъ пѣвцовъ, сохранилась въ народной памяти, и потомъ уже собрана и спаяна въ стройное цѣлое людьми образованно-умными; и должна быть передана намъ языкомъ нашихъ народныхъ пѣсень; напр. *что не ржавчинка во болотинкѣ травку соѣдала; не кручинушка добраго молодца сокрушала; а сушитъ, крушитъ разудалаго худа слава* и т. д. Напрасно нѣкоторые думаютъ, что такимъ языкомъ можно выражать только смѣшное; нѣтъ! и въ простонародности есть также свое великое и трогательное.

Мерзляковъ. Обширна, разнообразна и во многихъ отношеніяхъ замѣчательна литературная дѣятельность *Мерзлякова*. Правда, онъ не содѣйствовалъ прямо и непосредственно преобразованію нашей Словесности; онъ, по мнѣніямъ своимъ, принадлежалъ къ самой строгой классической школѣ; это доказываютъ всѣ его критики; но, съ одной стороны, главная дѣятельность его относится къ самой кипучей эпохѣ преобразованія, когда дѣйствовалъ Жуковскій, когда явился Пушкинъ; съ другой стороны, онъ, противъ воли своей, содѣйствовалъ паденію у насъ классицизма и теоріею своею и переводами древнихъ трагиковъ. Мерзляковъ извѣстенъ въ Литературѣ нашей какъ лирикъ, какъ переводчикъ древне-классическихъ трагиковъ и другихъ поэтовъ, какъ теорикъ, ораторъ, журналистъ и, наконецъ, какъ критикъ.

Кромѣ подражанія библейскимъ пѣснопѣніямъ и пе-

реложенія ихъ въ стихи, какъ напр. *подражаніе пророку Исаіи на разрушеніе Вавилона:*

Свершилось! Нѣтъ его! – сей градъ,
Гроза и трепетъ для вселенной,
Величья памятникъ надменный
Умалъ!... Еще вдали горятъ
Остатки роскоши посмертной!
Тиранъ погибъ тиранства жертвой,
Замолкъ торжествъ и славы кличъ!
Яремъ позорный прекратился,
Желѣзный скипетръ переломился
И сокрушенъ народовъ бичъ!
Таковъ Егова царь побѣдъ!
Таковъ предвѣчный правды мститель!
Скончался въ мукахъ нашъ мучитель;
Изсякло море нашихъ бѣдъ! —
Возкресла радость, миръ блаженный,
Подвигнулся Ливанъ священный,
Главу подъемлетъ къ небесамъ;
Въ восторгѣ кедры встрепетали,
Ты умеръ наконецъ! — вѣщали:
Теперь чего страшиться намъ!. .

Кромѣ этихъ лирико-священныхъ пѣснопѣній, онъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ пѣсень, изъ которыхъ нѣкоторыя сдѣлались народными, какъ напримѣръ: *Среди долины ровныя*. Его переводы съ Латинскаго изъ *Горація, Виргилія*, съ Греческаго изъ *Эсхина, Софокла, Эврипида*, даютъ намъ точное понятіе объ этихъ великихъ поэтахъ древняго міра; тѣмъ болѣе они достойны вниманія и могутъ принести пользу, что переводчикъ прибавилъ къ нимъ свои историко-археологическія объясненія и критическія примѣчанія. О похвальномъ словѣ Императору Александру мы умолчимъ; оно недостойно ни предмета своего, ни сочинителя. Все это и многое другое Мерзляковъ дѣлалъ по любви къ Словесности, по внутреннему при-

званію; но главная его дѣятельность была устремлена и по призванію и по обязанности къ изложенію и усовершенствованію теоріи словесности и къ критикѣ. Для этой цѣли онъ перевелъ съ Нѣмецкаго: *Начертаніе теоріи всеобщей словесности — Эшенбурга*, и потомъ написалъ полный курсъ словесности; сверхъ того на университетскихъ и публичныхъ чтеніяхъ критически разобралъ всѣхъ замѣчательныхъ до того времени русскихъ писателей; эти разборы были печатаны отрывками въ *Трудахъ Московскаго общества любителей словесности*, въ *Амфіонѣ*, который онъ и издавалъ, и въ *Вѣстникѣ Европы*, который издавалъ въ то время *Каченовскій*. Критическіе разборы Мерзлякова составляютъ странное явленіе въ свое время; они, по способу изложенія, по способу воззрѣнія на изящную словесность, по образу мыслей, по противорѣчію духу, господствовавшему въ то время у насъ, въ литературѣ, которая тогда рѣшительно принимала направленіе романтическое, и даже по противорѣчію собственной его теоріи, которая склонялась къ Германскимъ мнѣніямъ объ Эстетикѣ, — были удивительнымъ анахронизмомъ; они противорѣчили и лучшимъ современнымъ произведеніямъ поэзіи и его собственнымъ практическимъ дѣйствіямъ; онъ, напримѣръ: предпочитаетъ трагедіи Сумарокова трагедіямъ Озерова, оды Петрова равнялъ одамъ Державина и т. п., однако онъ всѣхъ увлекалъ, всѣхъ возхищалъ своею критикою; такъ что даже романтическіе писатели ссылались на его мнѣнія. Главная причина этого почти всеобщаго, ложнаго увлеченія состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что общія начала всегда вѣрны, а ложныя примѣненія онъ заглушалъ краснорѣчіемъ, и во-вторыхъ, въ его необыкновенно краснорѣчивомъ, преимущественно изустномъ изложеніи своихъ мнѣній. Когда онъ говорилъ на лекціяхъ (университетскихъ и публичныхъ), то, какъ поэтъ, приходилъ въ восторгъ, и, увлекшись самъ,

увлекалъ и слушателей къ ложнымъ заключеніямъ; почти также и писалъ онъ. Такова сила дарованія!

Мерзляковъ справедливо заслужилъ названіе русскаго Лагарпа; потому что общій характеръ и самый тонъ его критики были проникнуты духомъ этого французскаго критика, — что было въ немъ прямымъ слѣдствіемъ зависимости отъ Хераскова съ пятнадцати-лѣтняго его возраста.

Давыдовъ. Давыдовъ не былъ литераторомъ; и литература не была его ремесломъ; онъ воинъ и война составляла всю его жизнь и всю его дѣятельность; однако онъ былъ поэтъ, и поэтъ съ душею, сердцемъ, умомъ, воображеніемъ и страстями. Первая страсть къ поэзіи пробудилась въ немъ, когда онъ, бывши четырнадцати лѣтъ, читалъ Аониды, издаваемыя Карамзинымъ. Военная исторія говоритъ, что Давыдовъ создалъ новый родъ войны, партизанскій; а исторія литературы должна сказать, что онъ создалъ у насъ новый родъ поэзіи. Дѣйствія этой войны онъ прекрасно изобразилъ въ своихъ запискахъ, и даже составилъ для нея особую теорію,— о которой судить мы не смѣемъ. Созданная имъ поэзія осталась въ его пѣсняхъ, элегіяхъ и посланіяхъ; въ нихъ просто, безъискуственно, но бойко и живо изображаются партизанскіе наѣзды, бивачныя разгулья, гусарскія пирушки, удовольствія дружбы и пѣга страсти. Напримѣръ, какая возторженность въ его *Бородинскомъ полѣ*:

Умолкніе холмы, долъ нѣкогда кровавый!
Отдайте мнѣ вашъ день, день вѣковѣчной славы,
И шумъ оружія, и сѣчи и борьбу.
Мой мечъ изъ рукъ моихъ упалъ. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольнымъ пахаремъ влекутъ меня на нивы....
О, рвинь меня на бой, ты, опытный въ бояхъ,
Ты, голосомъ своимъ рождающій въ полкахъ
Погибели враговъ предчувственные клики,
Вождь Гомерическій, Багратіонъ великій!

Простри мнѣ длань свою, Раевскій, мой герой!
Ермоловъ! я лечу — веди меня, я твой —
О, обреченный быть побѣдъ любимымъ сыномъ,
Покрой меня, покрой твоихъ перуновъ дымомъ!
Но гдѣ мы?... Слушаю ... Нѣтъ отзыва!... Съ полей
Умчался брани шумъ, не слышенъ стукъ мечей;
И я, питомецъ вашъ, склонясь главой у плуга,
Завидую костямъ соратника иль друга.

А какая смѣлая, ѣдкая веселость въ его *Современной пѣснѣ:*

Былъ вѣкъ бурный, дивный вѣкъ,
Громкій, величавый;
Былъ огромный человѣкъ,
Разточитель славы.
То былъ вѣкъ богатырей;
Но смѣшались шашки,
И полѣзли изъ щелей
Мошки, да букашки.
Всякій маменькинъ сынокъ,
Всякій обирало,
Модныхъ бредней дурачокъ
Корчитъ либерала.
Томы Тьера и Рабо
Онъ на память знаетъ,
И какъ ярый Мирабо
Вольность прославляетъ.
А глядишь: нашъ Мирабо
Стараго Гаврила,
За измятое жабо
Хлещетъ въ усъ, да въ рыло. и т. д.

Вяземскій. Было время, когда Кн. Вяземскій, связанный дружбою съ Жуковскимъ и Батюшковымъ, составлялъ съ ними литературный тріумвиратъ. Это время истинно можно назвать золотымъ вѣкомъ нашей словесности, конечно не по множеству писателей,—ихъ было не много,—но всѣ они отличались даровитостію; всѣ они жили во взаимной дружбѣ и въ общей любви къ словесности, не

смотря на разнохарактерность ихъ. И Кн. Вяземскій принималъ сильное участіе въ этомъ дружественномъ оживленіи Литературы. Въ области стихотворства онъ извѣстенъ сатирами, а въ прозѣ замѣчательны его характеристики отличныхъ нашихъ поэтовъ. Гречъ въ своей исторіи литературы, между прочимъ, говоритъ о немъ: «Крылловъ подслушиваетъ русскія выраженія въ общемъ употребленіи, Жуковскій находитъ оныя искуствомъ и вкусомъ, а Вяземскій беретъ ихъ при первой встрѣчѣ, если они только удачно и близко изображаютъ мысль его: онъ не всегда слушается правилъ пінтики и грамматики; и погрѣшаетъ противъ нихъ, какъ погрѣшаютъ люди съ умомъ и талантомъ. То же можно сказать и о прозаическихъ его сочиненіяхъ.» — Это опредѣленіе его формъ выраженія очень вѣрно, что можно видѣть изъ слѣдующей сатиры: *Да какъ бы не такъ:*

Пока нашъ умъ молокососъ,
И жизнь поитъ насъ полной чашей,
Судьба на каждый нашъ вопросъ
Намъ говоритъ все въ волѣ вашей!
Когда жъ сосудъ ужъ поизсякъ,
А сердце пить еще все хочетъ;
Что ни спроси, судьба бормочетъ:
Да какъ бы не такъ!

Вотъ рѣдкая душа Органъ
Всѣхъ ближнихъ братьями онъ числитъ.
И о нуждающемся онъ
Безъ слезъ и сонный не помыслитъ.
А попроси въ займы пятакъ,
Или услуги на два гроша.
Что жъ радъ себя отдать святоша?
Да какъ бы не такъ!

У дружбы есть двойчатка-лесть
Онѣ съ лица отчасти схожи;
Съ одной знакомство трудно свесть,
Съ другою знаются вельможи.

Какъ разъ жди съ нею сѣсть въ просакъ:
Что жъ, какъ разнюхаютъ сударку,
Ее по шеѣ да въ припарку?...
Да какъ бы не такъ!

Секретъ подписокъ и программъ
Есть высшій взглядъ Литературы;
Всѣ деньги прибери къ рукамъ, —
А публика? жди корректуры.
Когда народъ нашъ былъ простакъ,
Честь авторства цѣнилась строже;
Честь денегъ каждому дороже?
Да какъ бы не такъ!

Какъ міръ нашъ при свѣчахъ хорошъ!
Какъ при свѣчахъ всѣ люди гладки!
Нигдѣ пятна не разберешь,
Нѣтъ ни морщинки, ни заплатки,
Вездѣ улыбка, блескъ и лакъ;
Погасъ фонарь — и дня свѣтило
Блаженства новыя разкрыло?...
Да какъ бы не такъ.

Ѳ. Глинка.

Ѳ. Глинка, воспитанникъ 1-го Кадетскаго корпуса, былъ также дѣйствователемъ этого счастливаго времени для русской Литературы. Въ первыхъ опытахъ поэзіи Глинка подражалъ Жуковскому; но въ подражаніи своемъ онъ довелъ до мистицизма ту таинственность, которая такъ естественна у Жуковскаго; и потому чисто отвлеченныя идеи свои выражалъ въ формахъ аллегорическихъ. Лучшій трудъ и важнѣйшую заслугу его, безъ сомнѣнія составляетъ *Опытъ священной поэзіи*, (переложеніе псалмовъ въ стихи). Многіе изъ нашихъ поэтовъ принимались за это дѣло; но никто изъ нихъ, даже самъ Державинъ не всегда былъ такъ счастливъ, какъ Глинка. Дѣло въ томъ, что поэты перелагатели, увлеченные возвышенностію предмета пѣснопѣній, забывали ту истинно младенческую простоту, которая отличала боговдохновеннаго пѣснопѣвца и съ которою онъ изли-

валъ свои элегическія чувствованія и предвѣдѣнія. Глинка, по убѣжденію ли, или по простому безсознательному сочувствію, умѣлъ счастливо соединить величіе съ простотою Еврейской поэзіи и облечь ее въ Русскія формы; напримѣръ, прочтемъ его *Исканіе Бога:*

Я видѣлъ: смерклись небеса;
Земля дала глухіе стоны;
Возсталъ духъ бурь, сломилъ препоны,
Стопой, какъ жатву, смялъ лѣса;
И горы съ мѣстъ, и горъ обломки
Онъ, мощный, въ дебряхъ разметалъ!
Воззвалъ я Бога гласомъ громкимъ —
Но Бога въ буряхъ не видалъ!
И вслѣдъ за бурей — тишина;
Душа предчувствіемъ полна;
Какъ молодой зари мерцанье,
Въ дыму серебряномъ горитъ
Святое алое сіянье.
На тайный зовъ душа летитъ
И дышитъ жизнью неземною....
Все стало сладкой тишиною,
И я вдали, какъ въ дивномъ снѣ,
Услышалъ Бога — въ тишинѣ!

Посвящая досуги и минуты вдохновенія поэзіи, Глинка ревностно занимался и прозою; участвуя постоянно во многихъ современныхъ періодическихъ изданіяхъ, онъ написалъ и отдѣльно напечаталъ много значительныхъ произведеній историческихъ и чисто литературныхъ. Лучшее его прозаическое сочиненіе, которое и доселѣ еще не потеряло своей важности: *Письма русскаго офицера о Польшѣ, Австрійскихъ владѣніяхъ, Пруссіи и Франціи; съ подробнымъ описаніемъ похода Россіянъ противъ Французовъ въ 1805 и 1806 годахъ, также отечественной войны и заграничной съ 1812 по 1815 годъ*, и которое въ свое время было принято съ большимъ восторгомъ. Оно вполнѣ заслуживало этотъ

возторгъ, какъ своею свѣжестію содержанія, такъ и живымъ, яснымъ изложеніемъ. Сочинитель въ описаніи военныхъ дѣйствій безъ всякаго притязанія на тактическую и историческую важность своихъ сказаній, изображаетъ просто то, что самъ онъ видѣлъ и что слышалъ въ дружескихъ бивачныхъ бесѣдахъ отъ самовидцевъ; и эта-то простота, сообщая книгѣ легкость, содѣйствовала необыкновенному успѣху ея. Замѣчательно, между прочимъ, раннее развитіе ума въ этомъ писателѣ. Пріятнымъ стихотворцемъ можно быть въ пятнадцать лѣтъ; для этого нужно имѣть только талантъ; но для того, чтобы быть хорошимъ прозаикомъ нужно, кромѣ природныхъ силъ, много опытности, знаній и развитія умственныхъ силъ. Глинка, бывши девятнадцати лѣтъ, написалъ первые два тома этого сочиненія, которые обнаруживаютъ въ немъ вѣрный взглядъ, здравый смыслъ и мѣткія сужденія, доказывающія зрѣлое развитіе ума.

Басня до Крылова.

Исторія басни едвали не занимательнѣе исторіи всякаго другаго рода словесности; она представляетъ картину развитія ума, познающаго слабости, страсти, предразсудки и заблужденія человѣка, и слѣдовательно достоинства, добродѣтели его и истину; она разкрываетъ картину паденія нравовъ, сознаніе этого паденія, сознаніе отношеній и сближеній человѣка съ животнымъ и даже съ неодушевленнымъ міромъ. Она въ лицахъ изображаетъ народную логику и философію, народную нравственность, народныя понятія о правѣ и правосудіи, и наконецъ обнаруживаетъ богатство и бѣдность языка. Конечно, все это разкрываетъ преимущественно разсмотрѣніе баснописцевъ самостоятельныхъ, живущихъ современно-народною жизнію; однако, къ удивленію нашему, и неудачные баснописцы и подражатели сообщаютъ намъ не только отрицательныя, но и положительныя понятія о состояніи нравовъ и духа, если не цѣлаго народа, то, по крайней мѣрѣ, опредѣленнаго класса

и сословія. Первыя басни появились на Руси въ началѣ семнадцатаго столѣтія—это прямой буквальный переводъ Ѳедра, но онѣ — не говорю уже, объясненіемъ и предисловіемъ переводчика—самымъ выборомъ своимъ показываютъ отсутствіе всякаго общественнаго порядка и конечное паденіе гражданской нравственности во время крамолъ и междуцарствій. Потомъ во-второй половинѣ осмнадцатаго столѣтія, басни или *притчи Сумарокова* свидѣтельствуютъ о совершенномъ забвеніи образованнымъ сословіемъ всего народнаго, кромѣ старыхъ недостатковъ, къ которымъ были привиты еще многіе чужеземные. Здѣсь все чужое: чужой умъ, чужія понятія, чужіе нравы, чужія формы выраженія и нерѣдко чужі я слова. Напрасно знаменитый нашъ критикъ Мерзляковъ говоритъ, что *Сумароковъ нашелъ басни среди простаго народа*; онѣ ничѣмъ не напоминаютъ народа Русскаго; онѣ принадлежатъ обществу, которое представляло собою странную смѣсь Русскаго съ Французскимъ и которое предѣломъ своего образованія считало знаніе Французскаго языка и классической терминологіи. Сумароковъ списываетъ французскія басни изпорченнымъ Русскимъ языкомъ и только не многія изъ нихъ были передѣланы довольно удачно. Еще при жизни заносчиваго Сумарокова начинаетъ писать Русскія басни скромный Хемницеръ, о которомъ Мерзляковъ сказалъ, что онъ ввелъ басню въ городъ; онъ понялъ причуды, странности и недостатки Русскаго общества, наскоро выкроеннаго по образцамъ Французскаго и Нѣмецкаго, и его басни вѣрно, умно и благородно изобразили всю смѣшную сторону этого общества. Но изображенные имъ недостатки такъ были сильны, что, ослѣпленное и увлеченное ими, общество не замѣтило или не поняло насмѣшки; однако потомство поняло и оцѣнило по достоинству Хемницера. Дмитріевъ перевелъ почти всѣ басни Лафонтена и нѣсколько лучшихъ басенъ изъ Флорі-

апа на живой языкъ образованнаго общества, и та кимъ образомъ заставилъ критика сказать, что онъ *отворилъ двери басни въ просвѣщенныя образованныя общества, отличавшіяся вкусомъ и языкомъ.* Но и здѣсь не было Русскаго! Настоящая честь созданія Русской басни для всей Руси принадлежитъ Крылову.

Крыловъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ извѣстенъ и славенъ въ Русской Литературѣ, какъ баснописецъ; но не тѣмъ началъ онъ свою литературную дѣятельность. Будучи еще 16 лѣтъ, Крыловъ написалъ оперу: *Кофейница;* но эту первую попытку Крыловъ самъ скоро осудилъ на забвеніе; она никогда не была напечатана. Потомъ долго онъ занимался Драматическою Поэзіею, и написалъ еще двѣ оперы и четыре комедіи. Хотя оперы въ то время были болѣе литературнымъ дѣломъ, нежели музыкальнымъ; однако жъ все таки музыка имѣла сильное вліяніе на успѣхъ этого рода произведеній: потому его оперы, не имѣя хорошей музыки, не могли быть долговѣчны и не могли составить славу сочинителя, тѣмъ болѣе, что онѣ не имѣли ни высокихъ литературныхъ достоинствъ, ни вѣрнаго изображенія современной народности, ни того страстнаго лиризма, который необходимъ для оперы и для одушевленія пѣвцевъ. Комедіи его имѣли болѣе счастливую участь: онѣ долго держались на нашей сценѣ. Болѣе всѣхъ его комедій обращала и доселѣ обращаетъ на себя вниманіе зрителей *Модная лавка,* которую и теперь, послѣ сорока лѣтъ, играютъ съ большимъ успѣхомъ. Эта комедія проявляетъ въ сочинителѣ уже не юношу, увлекающагося блестками случайныхъ впечатлѣній, а мужа зрѣлаго, который хорошо понималъ требованіе комедіи, глубоко обдумалъ общую мысль и то дѣйствіе, которое должно развивать ее; придумалъ завязки и препятствія, создалъ частные характеры, противопоставилъ ихъ взаимно одинъ другому, далъ имъ забавно-комическія положенія, привыч-

ки, слабости и причуды, взятыя не съ частныхъ лицъ, а съ цѣлаго общества. Вотъ почему комедія—*Модная лавка* и доселѣ удержала свои достоинства, сохранила всю свѣжесть и занимательность; она принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, которыя долго не старѣются. *Урокъ дочкамъ*, конечно, не можетъ сравниться съ *Модною лавкою;* но и эта комедія имѣетъ достоинства, хотя болѣе временныя: отъ того она скорѣе первой устарѣла. Чего Русская Литература могла ожидать отъ Крылова, какъ отъ Комика, мы утвердительно сказать не можемъ; потому что хотя онъ оставилъ комедію, уже бывши сорока лѣтъ отъ роду, однако жъ геній его, неполучившій методическаго образованія и развившійся жизнію и чтеніемъ въ лѣтахъ зрѣлыхъ, вѣроятно, могъ бы еще многое сдѣлать для нашей сцены. Тѣмъ вѣроятнѣе становится это предположеніе, что онъ въ басняхъ своихъ обнаружилъ глубокое знаніе духа и страстей человѣческихъ, вѣрный взглядъ на жизнь и тонкую наблюдательность частныхъ Русскихъ нравовъ и обычаевъ. Но, съ другой стороны, есть поводы думать и о несбыточности этого предположенія. И. А. Крыловъ не имѣлъ той гибкости характера, той вкрадчивости ума, которыя необходимы для совершенства Комика, чтобы вывѣдывать и выводить на сцену семейныя черты общества, которыя даютъ комедіи главную цѣну, занимательность. И такъ, ежели бы Крыловъ, занявшись предпочтительно комедіею, сдѣлался обыкновеннымъ, хотя и остроумнымъ Комикомъ; то сколько Русская Литература потеряла бы, не получивъ, въ замѣнъ обыкновенныхъ комедій, тѣхъ прекрасныхъ басень, которыми онъ подарилъ насъ?... Одна мысль объ этомъ литературномъ несчастіи ужасаетъ любителей Русскаго слова.

Вотъ почему мы должны быть очень благодарны И. И. Дмитріеву за его высокій, истинно благородный поступокъ въ отношеніи къ И. А. Крылову. Послѣдній,

пристрастившись къ Драматической Поэзіи, не замѣчалъ, по обыкновенной своей скромности, тѣхъ прекрасныхъ свойствъ, которыми отличались его первые опыты басень: но опытный и безпристрастный цѣнитель своихъ и чужихъ произведеній, Дмитріевъ, угадалъ и оцѣнилъ великаго баснописца; будучи самъ знаменитъ въ этомъ дѣлѣ и пользуясь первенствомъ, онъ, съ благороднымъ безкорыстіемъ отвергнувъ всякое самолюбіе, указалъ Крылову истинное его призваніе, совѣтовалъ ему заняться исключительно баснописаніемъ, и такимъ образомъ приготовилъ себѣ великаго соперника, который далеко превзошелъ его: — рѣдкій, умилительный примѣръ благородства и великодушія, возможный только тогда, когда писатели любятъ свое искусство болѣе, нежели свою личность. Послѣ этого совѣта, Крыловъ, оставивъ Драматическое Искусство, совершенно предался баснѣ, и поставилъ себя на высоту недосягаемую; онъ не имѣетъ соперниковъ ни въ одной Европейской Литературѣ.

Бывши, въ продолженіе всего XVIII столѣтія, учениками Германцевъ и Французовъ, мы сдѣлались невольными подражателями ихъ въ Литературѣ. Отсюда въ насъ привычка—смотрѣть на все глазами Французовъ; не только писателей, но даже и полководцевъ своихъ иногда мы цѣнимъ и мѣряемъ оцѣнкою и мѣрою Французовъ. Такъ *Крылова* мы называемъ Русскимъ *Лафонтеномъ*, и воображаемъ, что этимъ именемъ мы не только опредѣлили всѣ красоты басень Крылова, но и возвысили его; что это похвала такая, выше которой нельзя желать ничего; что нашъ великій баснописецъ долженъ радоваться и гордиться, что его удостоили такого сравненія. Такая похвала въ глазахъ человѣка, знакомаго съ баснями Лафонтена и хорошо понимающаго басни Крылова, не имѣетъ никакого значенія. Ежели бы я и не былъ Русскимъ, и ежели бы разсматривалъ обоихъ баснописцевъ, какъ чу-

жой человѣкъ, и тогда поставилъ бы Крылова выше Лафонтена.

Конечно, не льзя много винить Лафонтена, что онъ, живя въ испорченный вѣкъ и бывъ связанъ съ Дворомъ, при которомъ порокъ открыто являлся рядомъ съ достоинствомъ, только прикрашенный блескомъ, не могъ освободиться отъ вліянія на него современнаго общества; но не льзя же пропустить безъ вниманія этихъ недостатковъ, ежели они вкрались въ его произведенія, особенно, когда идетъ рѣчь о сравненіи его съ другимъ писателемъ, которому не льзя сдѣлать подобнаго упрека. Возьмите тѣ басни, въ которыхъ Лафонтенъ и Крыловъ сходились, которыя написаны на одинъ предметъ и съ одною цѣлію, и вы тотчасъ увидите разность между ими: одинъ имѣетъ въ виду обстоятельства времени и, карая порокъ, угождаетъ сильнымъ; другой идетъ прямо къ истинѣ, не думая ни о лицахъ, ни о временныхъ обстоятельствахъ. Первый часто изображаетъ добродѣтели въ образѣ животныхъ.—Хотя изображеніе добродѣтели возвышаетъ, облагороживаетъ человѣка: но развѣ сходство человѣка съ животнымъ можетъ возвышать его?—Другой всегда стыдитъ насъ этимъ сходствомъ: ибо онъ изображаетъ въ наклонностяхъ животныхъ и въ свойствахъ неодушевленныхъ предметовъ пороки, слабости, заблужденія и злоупотребленія страстей человѣческихъ. Такъ, напримѣръ, въ баснях: *Моръ звѣрей*, *Левъ и Комаръ*, *Воспитаніе Льва*,—идея *Флоріана* — *Добрая Лиса* и другихъ, эта разность обнаруживается очень рѣзко.

Но — говорятъ — Крыловъ много обязанъ образованіемъ своего таланта Лафонтену; онъ много заимствовалъ отъ Лафонтена, много даже просто переводилъ изъ него. Крыловъ дѣйствительно заимствовалъ у Французскаго баснописца содержаніе или идею нѣкоторыхъ своихъ басень; но взгляните на эти заимствованныя произ-

веденія, сравните ихъ съ тѣми, изъ которыхъ они почерпнуты: какая огромная разность! Это не переводъ, а только подражаніе, и притомъ какое свободное подражаніе!... Какъ въ подражаніяхъ Крыловъ обязанъ своему образцу только одною общею мыслію, которую онъ излагаетъ совсѣмъ другими средствами, въ другихъ формахъ; такъ и въ переводахъ онъ беретъ содержаніе и порядокъ разсказа (опредѣляетъ отношеніе этого содержанія и разсказа къ Французскимъ правамъ; опредѣляетъ разность между Французскими и Русскими нравами), и потомъ облекаетъ разсказъ басни въ такія формы, которыя согласны съ нашими народными нравами, понятны Русскому уму и доступны Русскому сердцу. Изъ этихъ-то подражаній и переводовъ или, лучше сказать, изъ этихъ вопроизведеній Русскаго баснописца всякій — отъ старца до отрока, отъ ученаго и образованнаго до самаго простолюдина — почерпаетъ столько, сколько можетъ. Чтобъ убѣдить читателя, что не самолюбіе народное заставляетъ насъ такъ думать и всенародно высказывать свои мысли, сравнимъ нѣкоторыя басни, переведенныя изъ Лафонтена, съ ихъ подлинниками.

Прочитавъ, напримѣръ, безъ выбора, первую Басню Лафонтена: *La Cigale et la Fourmi*, и сравнивъ ее съ переводомъ Крылова — *Стрекоза и Муравей*, мы, во-первыхъ, найдемъ въ переводѣ много прекрасныхъ живописныхъ стиховъ, которыхъ совсѣмъ нѣтъ въ подлинникѣ и которые даютъ баснѣ живость и силу; напримѣръ:

Оглянуться не успѣла,
Какъ зима катитъ въ глаза.
Помертвѣло чисто поле!
Нѣтъ ужъ дней тѣхъ свѣтлыхъ болѣ,
Какъ подъ каждымъ ей листкомъ,
Былъ готовъ и столъ и домъ....

Стрекоза ужъ не поетъ;
И кому жъ на умъ пойдетъ
На желудокъ пѣть голодной?...

До того ль, голубчикъ, было?
Въ мягкихъ муравахъ у насъ
Пѣсни, рѣзвость всякій часъ...
Такъ что голову вскружило!

Во-вторыхъ, переводъ оживленъ разговорною формой басни. Правда, эту басню у Лафонтена называютъ слабѣйшею; но мы возмемъ, опять безъ выбора, слѣдующую за ней, которая принадлежитъ къ числу лучшихъ:

Le Corbeau et le Renard.

Maitre Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maitre Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à-peu-près ce langage:
Hé! bon jour, monsieur le Corbeau!
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte á votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie;
Et, pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit: Mon bon monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute;
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Ворона и Лисица.

Ужъ сколько разъ твердили міру,
Что лесть гнусна, вредна, но только все не впрокъ,
И въ сердцѣ льстецъ всегда отыщетъ уголокъ.

Воронъ гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыру.
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать-было совсѣмъ ужъ собралась,
Да призадумалась, а сыръ во рту держала.
На ту бѣду Лиса близехонько бѣжала.
Вдругъ сырный духъ Лису остановилъ;
Лисица видитъ сыръ, — *Лисицу сыръ плѣнилъ.*
Плутовка къ дереву на цыпочкахъ подходитъ;
Вертитъ хвостомъ, съ Вороны глазъ не сводитъ,
И говоритъ *такъ сладко, чуть дыша*:
«*Голубушка, какъ хороша!*
Ну что за шейка, *что за глазки!*
Расказывать, такъ право сказки!
Какія перушки! какой носокъ!
И вѣрно ангельскій быть долженъ голосокъ!
Спой, свѣтикъ, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красотѣ такой, и пѣть ты мастерица:
Вѣдь ты бъ у насъ была царь-птица!»
Вѣщуньина съ похвалъ вскружилась голова,
Отъ радости въ зобу дыханье сперло, —
И на привѣтливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыръ выпалъ — *съ нимъ была плутовка такова.*

Сравнивая эту басню съ Французскою, конечно, мы много находимъ въ нихъ общаго, и ясно видимъ, что, кто писалъ послѣ, тотъ читалъ, и читалъ внимательно, даже изучилъ первую. Но въ этой послѣ-написанной, т. е. Русской, мы находимъ много такихъ достоинствъ и красотъ, которыхъ совсѣмъ нѣтъ въ подлинникѣ: во-первыхъ, переводчикъ—ежели надобно называть Крылова переводчикомъ — далъ дѣйствующимъ лицамъ Русскія движенія ума и сердца, наприм.: *Гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ... Расказывать, такъ, право, сказки!... Отъ радости въ зобу дыханье сперло,* и проч.; во-вторыхъ, у Лафонтена Лисица слишкомъ прямо принялась хвалить Ворону; но у Крылова она, и это гораздо правдоподобнѣе,—сначала, молча, смотритъ на предметъ,

который привлекъ ея вниманіе. *Плутовка къ дереву на цыпочкахъ подходитъ, вертитъ хвостомъ, съ Вороны глазъ не сводитъ;* потомъ, какъ будто невольно платитъ дань удивленія, какъ будто про себя говоритъ *такъ сладко, чуть дыша: Голубушка! какъ хороша,* и проч., и наконецъ уже приступаетъ къ описанію красотъ Вороны. Въ-третьихъ, Французская Ворона слишкомъ скоро и легко вдается въ обманъ; услышавъ два, три льстивыя слова, она начинаетъ кричать; но Русская Ворона не такъ легкомысленна: ей описываютъ ея *шейку, глазки, перушки, носокъ,* и наконецъ, *догадываясь, что у нея ангельскій быть долженъ голосокъ,* упрашиваютъ ее *спѣть,* и съ предательскою недовѣрчивостію предполагаютъ въ ней искусство пѣнія, которое могло бы возвести ее на степень *царь-птицы,* и когда у *вѣщуньи съ похвалъ вскружилась голова* и *отъ радости въ зобу дыханье сперло,* тогда только она, отуманенная, *каркнула во все воронье горло.* Наконецъ у Лафонтена Лисица, схвативши сыръ, читаетъ Воронѣ наставленіе; а Крыловъ самымъ разсказомъ выражаетъ свое правоученіе, и разсказъ свой заключаетъ просто самымъ естественнымъ молчаніемъ Лисицы и Вороны; вся же басня разсказана въ видѣ частнаго случая, для поясненія общей мысли о томъ, какъ вкрадчива лесть.

Но ежели мы хотимъ видѣть совершенное торжество Крылова предъ Лафонтеномъ, то взглянемъ на лучшее произведеніе Французскаго баснописца, которое, въ самомъ дѣлѣ, прекрасно; это—басня: *Les Animaux malades de la peste,* и посмотримъ, что изъ нея сдѣлалъ Русскій геній: это—цѣлая драма. У Лафонтена эта басня такъ хороша, что, кажется, нѣтъ уже никакой возможности сдѣлать что-либо лучше: но Крыловъ успѣлъ и это сдѣлать. Чтобъ избѣжать помѣщенія здѣсь всей этой, очень длинной, басни въ доказательство своей мысли, ограничимся выпискою маленькаго отрывка. Фран-

цузскій баснописецъ, изобразивъ ужасное бѣдствіе звѣрей во время мора, прибавляетъ:

Le lion tint conseil, et dit: Mes chers amis,
Je crois que le ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune:
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux;
Peut-être il obtiendra la guérison commune.

Русскій баснописецъ, въ слѣдъ за описаніемъ мора, представляетъ картину шествія больныхъ звѣрей на совѣтъ, и самый монологъ Льва передаетъ живѣе; онъ говоритъ:

Въ сей крайности—совѣтъ звѣрей сзываетъ Левъ.
Тащатся шагъ за шагъ, чуть держатся въ нихъ души,
Сбрелись и въ тишинѣ, царя вокругъ обсѣвъ,
Уставили глаза и приложили уши.
«О други!»—началъ Левъ—«по множеству грѣховъ,
Подпали мы подъ сильный гнѣвъ боговъ;
Такъ тотъ изъ насъ, кто всѣхъ виновенъ болѣ,
Пускай по доброй волѣ
Дозволитъ принести себя на жертву имъ.
Быть можетъ, что богамъ мы этимъ угодимъ;
А теплое усердье нашей вѣры
Смягчитъ жестокость ихъ».

Какъ живописно Поэтъ рисуетъ, этимъ тяжелымъ теченіемъ звуковъ, тяжелый, медленный ходъ хворыхъ, пораженныхъ и болѣзнію и страхомъ, животныхъ! Какъ добродушно и благородно говоритъ Левъ! И потомъ, въ слѣдующихъ стихахъ, онъ истинно съ царскою искренностію кается въ грѣхахъ своихъ; но мелкія страсти и ловкое себялюбіе умѣли все измѣнить, и самымъ благороднымъ порывамъ безкорыстія дали беззаконное направленіе. Здѣсь въ шкурахъ звѣрей говорятъ и дѣйствуютъ людскія страсти и разыгрываютъ самую ужасную драму. Послѣ покаянія звѣрей, у Лафонтена кает-

ся Оселъ, разсуждая, имѣлъ ли онъ право ѣсть чужую траву; у Крылова:

Смиренный Волъ имъ такъ мычитъ: «И мы
Грѣшны. Тому давно, когда зимой кормы
Намъ были худы,
Па грѣхъ меня лукавый натолкнулъ:
Ни отъ кого себѣ найти не могши ссуды,
Изъ стога у попа я клокъ сѣнца стянулъ».
При сихъ словахъ поднялись шумъ и толки;
Кричатъ Медвѣди, Тигры, Волки....

Можно ли естественнѣе и приличнѣе изобразить робкое мычаніе Вола въ присутствіи Льва, Тигра и Медвѣдя?— А послѣдніе два стиха и слѣдующіе за тѣмъ какъ живо изображаютъ дикій, наглый крикъ хищниковъ, которые обрадовались нечаянному и легкому избавленію отъ гибели!

И такъ переводы Крылова превосходны; они, смѣло можемъ сказать, возвышаютъ достоинства подлинниковъ. Однако жъ, могутъ намъ замѣтить, что есть таланты, которые, умѣя разнообразными обстановками украсить и приправить чужое, не умѣютъ изобрѣсть своего: такъ не принадлежитъ ли къ числу сихъ талантовъ и Крыловъ? Показывая и доказывая превосходство переводовъ его, мы вовсе не имѣли въ виду утверждать титло переводчика за нашимъ знаменитымъ баснописцемъ; мы только хотѣли доказать, что переводить такъ, какъ онъ переводилъ, могутъ немногіе; это дѣло трудное и могущее доставить славу и тому даже, кто бы ничего не произвелъ собственнаго; а И. А. изъ ста девяноста семи басень, написанныхъ имъ, смѣло могъ назвать полтораста собственными своими, которыя во всѣхъ отношеніяхъ обязаны ему своимъ бытіемъ, значеніемъ и славою, въ мысли и исполненіи.

Потому Крылова нельзя и не должно почитать ни переводчикомъ, ни подражателемъ. Ежели мы раз-

смотримъ всѣ переведенныя и заимствованныя имъ басни; то найдемъ и убѣдимся до совершенной несомнѣнности, что всѣ эти басни подъ перомъ его приняли совсѣмъ иной характеръ. У Французскихъ писателей почти всѣ басни представляютъ легкій простодушный и остроумно поучительный разсказъ самого баснописца; они рѣдко заставляютъ дѣйствовать своихъ четвероногихъ и крылатыхъ героевъ; Крыловъ же по большей части сначала обрисуетъ сцену, потомъ, оскототворивъ страсти или пороки и слабости человѣческія, заставляетъ ихъ передъ читателемъ разыгрывать свои дѣйствія. У Флоріана есть *Лиса проповѣдница* и у Крылова также; но Флоріанъ разсказываетъ, какъ Лиса, одряхлѣлая и потерявшая силы, рѣшилась склонять звѣрей къ умѣренности и воздержанію, и какъ она у Льва, умиленнаго ея проповѣдями и желавшаго вознаградить ее, проспла индѣекъ; Крыловъ же, разсказавъ, какъ стрѣлокъ, убивъ Малиновку, оспротивилъ ея птенцевъ, какъ они страдали, томимыя голодомъ и холодомъ, заставляетъ Лису проповѣдывать состраданіе и благотворительность; убѣжденіе Лисы представлено такъ умилительно, такъ трогательно, что самое жестокое сердце должно разжалобиться: она показываетъ святость благотворительности; обращаясь къ многимъ птицамъ, объясняетъ имъ, какъ малы ихъ пожертвованія и какъ много доставятъ они счастья сиротамъ.

Какъ можно не страдать
Такое горе видя?...
Не киньте, милыя, безъ помощи дѣтей;
Хотя по зернушку бѣдняжкамъ вы снесите,
Хоть по соломенкѣ къ ихъ гнѣздушку приткните;
Вы этимъ жизнь ихъ сохраните.
Что дѣла добраго святѣй?
Кукушка! посмотри: видь ты и такъ линяешь ...
Не лучше ль дать себя немножко ощипать
И перьемъ бы твоимъ постельку имъ устлать....

Потомъ она обращается поочередно къ жаворонку, горлинкѣ, ласточкѣ, соловью съ различными увѣщаніями, прося доказать, что и въ лѣсахъ есть добрыя сердца; но когда сиротки отъ холода и голода попадали къ Лисѣ наизъ, то она

Тотчасъ ихъ съѣла
И поученья не допѣла.

И такъ гдѣ же здѣсь сходство? его нѣтъ! Оно есть только въ общей идеѣ: *Не всегда тотъ умилительно и безкорыстно чувствуетъ и дѣйствуетъ, кто умилительно и безкорыстно говоритъ.* Превосходство, ясно, на сторонѣ Крылова, и это превосходство онъ выигрываетъ драматическимъ изложаніемъ басни. Таковы всѣ подражанія Крылова! Такъ опасно служить ему образцемъ! Нѣтъ! Это не подражаніе, а борьба, счастливое соперничество!

Басни, по самому существу своему, поставляютъ сочинителей въ какое-то странное положеніе; такъ что иногда онѣ безъ всякаго заимствованія бываютъ похожи одна на другую; а люди педальновидные называютъ это подражаніемъ, заимствованіемъ. Они забываютъ, что хищникъ вездѣ походитъ на волка, смиренный — на ягненка, трусъ — на зайца, хитрецъ — на лисицу и т. д.; а эти господа волки, ягнята, зайцы и лисицы вездѣ и всегда были и будутъ одинаковы; отношенія ихъ къ страстямъ и слабостямъ человѣческимъ также не измѣняются ни отъ времени, ни отъ мѣста. Ежели могутъ тутъ быть какія-либо измѣненія, то не въ животныхъ и не въ отношеніяхъ животныхъ къ человѣческимъ грѣхамъ, а въ развитіи общежитія, въ отношеніи страстей къ жизни, въ преобладаніи того или другаго порока и вліяніи его на общество, наконецъ въ большей или меньшей испорченности правовъ. Отсюда общій характеръ басни вездѣ и всегда былъ и будетъ одина-

ковъ; а народность и современность выражаются частными ихъ уклоненіями и направленіями, и притомъ самыя эти злоупотребленія въ разныхъ странахъ имѣютъ разные характеры. Изъ этихъ-то особенностей общественной жизни Крыловъ умѣлъ создать народность Русской басни, которая свободно вылилась изъ души его, и слилась также свободно съ народнымъ умомъ и сердцемъ: потому что въ ней нѣтъ ничего чужаго; въ ней все родное: въ ней Русскіе извороты ума, Русскія движенія сердца, Русскія формы выраженія. Это—дѣло самороднаго, самобытнаго Русскаго генія.

Опредѣлить и пересказать всѣ черты и особенности Русской народности—дѣло почти невозможное: во-первыхъ, потому, что характеръ нашъ чрезвычайно обширенъ и разностороненъ; такъ что въ немъ вы найдете многія свойства, сближающія насъ съ Азіатскими народами, многія черты общія съ народами Европейскими; и притомъ есть въ немъ такія особенности, которыми Русскій народъ отличается отъ всѣхъ народовъ міра; во-вторыхъ потому, что самобытность нашего ума еще не совсѣмъ развилась; и наконецъ, въ-третьихъ, потому, что заимствованная школьная наша ученость, навязывая намъ, чуждыя нашему характеру, наклонности и привычки, и отвергая наши природныя черты, сбиваетъ насъ съ истиннаго пути самосознанія. Крыловъ, не поддаваясь вліянію привитыхъ идей, изучилъ Россію не по книгамъ: онъ, какъ истинное дитя Русской природы, съ молокомъ всосалъ всѣ ея особенности; какъ гражданинъ Русскаго міра, вмѣстѣ съ молитвами заучилъ Русскія добродѣтели и обязанности, все прекрасное и благородное; какъ самобытный геній, онъ простымъ взглядомъ замѣчалъ все дурное, ложное, смѣшное, низкое, противозаконное; какъ Христіанинъ, онъ любилъ все доброе и отвергалъ все дурное, несправедливое. Но, при кроткомъ и тихомъ характерѣ, онъ не кипѣлъ гнѣвомъ, смотря на

зло; онъ легко и спокойно опредѣлялъ, съ какимъ животнымъ сближаетъ человѣка каждый порокъ или слабость, и, смѣясь надъ этимъ сближеніемъ, облекалъ житейскіе случаи, ошибки, заблужденія, предразсудки, причуды, злонамѣренность, козни, игру страстей, упрямое слабоуміе, запосчивое невѣжество, криводушіе, потворство, пристрастіе и т. п. въ шкуру скотовъ и звѣрей, а иногда и въ человѣческіе смѣшные образы, и разсказывалъ все это просто, безъ запосчивыхъ притязаній: ибо онъ бесѣдовалъ съ друзьями своими, съ родными, съ соотечественниками, которыхъ онъ зналъ и любилъ, и которые скоро узнали и полюбили его. Да, мы любимъ его такъ, какъ никого еще не любили: потому что никто еще, ни одинъ писатель не говорилъ такъ много, такъ сладко Русскому сердцу. Всѣ наши писатели, не исключая даже Пушкина, этого любимца нашего читающаго общества, иногда напоминали своими произведеніями школу, и часто, вмѣсто чувствованій, высказывали знанія пріобрѣтенныя, выработанныя.

Въ отношеніи басень, а слѣдовательно и Крылова, есть въ обществѣ странный предразсудокъ: басни иногда называютъ *дѣтскимъ чтеніемъ*, а Крылова *дѣтскимъ писателемъ*, другомъ дѣтей. Конечно, быть дѣтскимъ писателемъ не такъ легко, какъ, можетъ быть, нѣкоторые думаютъ, и заслужить писателю названіе *друга дѣтей* очень лестно. Образовать, научить доброму новое поколѣніе—значитъ улучшить общество, дать ему новое направленіе. Этой чести немногіе счастливцы могутъ удостоиться: слѣдовательно такое титло или названіе не уменьшаетъ заслугъ и достоинствъ писателя. Однакожъ это ограниченіе дѣятельности Крылова даетъ ложное понятіе о немъ, стѣсняетъ кругъ его значенія, стѣсняетъ обзоръ его нравственно-практическаго генія: ибо нѣтъ въ обществѣ званія, нѣтъ въ мірѣ возраста, которые бы не нашли въ его басняхъ для себя высоко-

правоучительнаго урока, по выразительности своей и простотѣ формъ доступнаго и вразумительнаго всѣмъ и даже дѣтямъ; но немного у него такихъ басенъ, которыя назначены для дѣтей. Для удостовѣренія въ этой истинѣ я выпишу, изъ его басень, безъ выбора, на память, нѣсколько правоученій; напримѣръ:

Левъ и Барсъ: Кого вамъ хвалить врагъ, вътомъ, вѣрно, проку нѣтъ!

Морь звѣрей: И въ людяхъ также, говорятъ:
Кто посмирнѣй, такъ тотъ и виноватъ.

Собачья дружба: Послушать, кажется, одна у нихъ душа,
А только кинь имъ кость, такъ что твои собаки!

Ручей: Какъ много ручейковъ текутъ такъ смирно, гладко,
И такъ журчатъ для сердца сладко,
Лишь только отъ того, что мало въ нихъ воды!

Лисица и Сурокъ: Хоть по суду и не докажешь,
Но какъ не согрѣшишь, не скажешь:
Что у него пушекъ на рыльцѣ есть!

Прохожіе и Собаки: Завистники на что ни взглянутъ,
Поднимутъ вѣчно лай;
А ты себѣ своей дорогою ступай.
Полаютъ, да отстанутъ.

Ларчикъ: Случается нерѣдко намъ
И трудъ и мудрость видѣть тамъ,
Гдѣ стоитъ только догадаться —
За дѣло просто взяться.

Слонъ на воеводствѣ: Кто знатенъ и силенъ,
Да не уменъ;
Такъ худо, ежели и съ добрымъ сердцемъ онъ.

Мышокъ: Не дай Богъ, если разоритесь;
И съ вами точно такъ поступятъ, какъ съ мѣшкомъ.

Муравей: Такъ думаетъ иной затѣйникъ,
Что онъ въ подсолнечной гремитъ;
А онъ дивитъ
Свой только муравейникъ.

Гуси: Баснь эту можно бы и больше пояснить;
Да чтобъ гусей не раздразнить.

Оселъ и Соловей: Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей!

Есть у него, конечно, и дѣтскія басни, какъ напри-

мѣръ: *Бочка*, *Волкъ и Котъ*, *Листы и Корни* и нѣкоторыя другія, но ихъ немного; а большая часть таковы, что дѣти и не поймутъ ихъ. Нѣкоторыя изъ басень его, имѣя, по видимому, характеръ дѣтскій, равно поучительны для каждаго возраста, — и даже ближе и приличнѣе возрастамъ зрѣлымъ и состояніямъ высшимъ. Возмемъ для примѣра басню: *Гребень*.

Дитяти маменька разчесывать головку
Купила частый гребешекъ.
Не выпускаетъ вонъ дитя изъ рукъ обновку;
Играетъ иль твердитъ изъ азбуки урокъ,
Свои все кудри золотыя,
Волнистыя, барашкомъ завитыя,
И мягкія, какъ тонкій ленъ,
Любуясь гребешкомъ, разчесываетъ онъ.
И что за гребешекъ! не только не теребитъ,
Нигдѣ онъ даже не зацѣпитъ,
Такъ плавенъ, гладокъ въ волосахъ,
Нѣтъ гребню и цѣны у мальчика въ глазахъ.
Случись однакоже, что гребень затерялся.
Зарѣзвился мой мальчикъ, заигрался,
Всклокочилъ волосы копной.
Лишь няня къ волосамъ, дитя подыметъ вой:
Гдѣ гребень мой!
И гребень отыскался;
Да только въ головѣ, ни взадъ онъ, ни впередъ;
Лишь волосы до слезъ деретъ.
Какой ты злой, гребнишка!
Кричитъ мальчишка.
А гребень говоритъ: мой другъ, все тотъ же я,
Да голова всклокочена твоя.
Однакожъ мальчикъ мой отъ злости и досады,
Закинулъ гребень свой въ рѣку.
Теперь имъ чешутся Наяды.

Видалъ я на своемъ вѣку,
Что также съ правдой поступаютъ.

Доколѣ совѣсть въ насъ чиста,
То правда намъ мила, и правда намъ свята,
Ее и слушаютъ и принимаютъ;
Но только сталъ кривить душей,
То правду далѣ отъ ушей.
И всякой какъ дитя, чесать волосъ не хочетъ,
Когда ихъ склочетъ.

Здѣсь картина рѣзвости мальчика, игры его съ гребешкомъ и капризы изображены прекрасно и рѣшительно въ дѣтскомъ тонѣ; кажется, читаешь такую сказку, которая написана просто для забавы дѣтямъ. Но поймутъ ли дѣти смыслъ этой басни! А ежели и поймутъ изъ приложеннаго нравоученія, то можно ли значеніе ея ограничить дѣтскимъ урокомъ? Нѣтъ. Это урокъ всякому, и особенно тѣмъ, кому по обязанности, по гражданскому значенію, *правда* должна быть *мила* и *свята* для блага общества. Такихъ басень у Крылова очень много. Чтобы понимать ихъ вполнѣ, надобно читать ихъ, перечитывать, выучивать; потому-что многія изъ его басень при первомъ чтеніи какъ будто имѣютъ частное значеніе; но чѣмъ больше вникаешь въ нихъ, тѣмъ обширнѣе становится объемъ ихъ смысла. Потому-то вообще о басняхъ Крылова можно безошибочно сказать то, что древніе писатели говорили объ Иліадѣ: *въ этой книгѣ всякій можетъ почерпать столько, на сколько у него достанетъ силъ*. Эта мысль нисколько не преувеличена: ее легко доказать.

Ежели разсматривать басню, какъ только нравоучительный разсказъ, который обличаетъ наше произвольное сходство съ животными; то главная задача баснописца состоитъ въ томъ, чтобъ иносказаніе мѣтко указывало людямъ ихъ недостатки; въ такомъ случаѣ басня не требуетъ ни обширнаго вымысла, ни драматическаго изображенія столкновенія страстей; ни изящнаго Искуства въ построеніи цѣлой басни, ни глубокихъ

соображеній въ подробностяхъ сходства звѣря съ человѣкомъ; таковы басни Эзопа и Федра (*). Но ежели принять ее за изящное Искуство, примѣненное къ нравственнымъ недостаткамъ общества (а басня еще нигдѣ, ни у одного народа въ мірѣ не достигала столь высокой степени совершенства, какъ у насъ подъ перомъ Крылова); то правоученіе дѣлается уже вопросомъ второстепеннымъ: оно произтекаетъ изъ прекраснаго созданія, какъ естественное, неминуемое слѣдствіе, какъ питательность отъ вкуснаго, ароматическаго плода, который мы ѣдимъ для наслажденія. Изящное не даетъ намъ положительнаго, опредѣленнаго, размѣреннаго блага, и чѣмъ выше, чѣмъ совершеннѣе изящное произведеніе, тѣмъ оно дальше отъ положительности; оно какъ при произведеніи его, такъ и при принятіи его впечатлѣній, требуетъ *всего человѣка*, всѣхъ его естественныхъ силъ въ стройномъ соединеніи: потому одинъ, имѣя обширный возпріимчивый умъ, живое, сильное воображеніе, чистый образованный вкусъ, высокія, благородныя чувства, нѣжное, чувствительное сердце, направленное къ добру, въ изящномъ видитъ, понимаетъ пре-

---

(*) Изъ этихъ басень, кромѣ памѣка на извѣстную истину, нельзя ничего заимствовать. Вотъ напримѣръ: *Левъ* и *Лисица*.

Лиса, не видя съ роду Льва,
Съ нимъ встрѣтясь, со страстей осталась чуть жива.
Вотъ нѣсколько спустя, опять ей Левъ попался;
Но ужъ не такъ ей страшенъ показался.
А въ третій разъ потомъ
Лиса и въ разговоръ пустилася со Львомъ.

Эта, равно какъ и всѣ подобныя ей притчи, не можетъ одному дать болѣ, другому менѣе; всякій изъ нея вычитаетъ ни болѣе, ни менѣе, какъ только.

Иначе также мы боимся,
Пока къ нему не приглядимся.

красное и почерпаетъ изъ него много; другой — съ твердымъ, основательнымъ умомъ, но съ холоднымъ сердцемъ и подавленнымъ воображеніемъ, видитъ въ немъ и принимаетъ отъ него только одну основную мысль, и то въ такомъ только случаѣ, когда мысль имѣетъ близкую связь съ общежитіемъ; третій плѣняется чувственными картинами, хотя и благородными, не проникаетъ въ глубину мысли: потому что онъ не одаренъ глубокимъ соображеніемъ; и т. д. Для примѣра прочитаемъ одну басню со вниманіемъ, и разберемъ различныя степени впечатлѣнія, которое производятъ красоты умной басни на читателей.

Ручей.

Пастухъ у ручейка пѣлъ жалобно, въ тоскѣ,
Свою бѣду и свой уронъ невозвратимый:
Ягненокъ у него любимый
Недавно утонулъ въ рѣкѣ.
Услыша пастуха, Ручей журчитъ сердито:
— «Рѣка несытая! что если бъ дно твое
Такъ было, какъ мое,
Для всѣхъ и ясно, и открыто,
И всякой видѣлъ бы на тинистомъ семъ днѣ
Всѣ жертвы, кои ты столь алчно поглотила?
Я чай бы со стыда ты землю сквозь прорыла;
И въ темныхъ пропастяхъ себя сокрыла.
Мнѣ кажется, когда бы мнѣ
Дала судьба обильныя столь воды,
Я, украшеньемъ ставъ природы,
Не сдѣлалъ куринѣ бы зла:
Такъ осторожно бы вода моя текла
И мимо хижинки и каждаго кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,
И я бы освѣжалъ долины и луга;
Но съ нихъ бы не унесъ листочка.
Ну, словомъ, дѣлая путемъ своимъ добро,
Не приключа нигдѣ ни бѣдъ, ни горя,
Вода моя до самаго бы моря

Такъ докатилася чиста, какъ серебро».
Такъ говорилъ Ручей, такъ думалъ въ самомъ дѣлѣ.
И чтожъ? Не минуло недѣли,
Какъ туча сильная надъ ближнею горой
Разсѣлась.
Богатствомъ водъ Ручей сравнялся вдругъ съ рѣкой;
Но ахъ! куда въ Ручьѣ смиренность дѣлась!
Ручей изъ береговъ бьетъ мутною водой,
Кипитъ, реветъ, крутитъ нечисту пѣну въ клубы,
Столѣтніе валяетъ дубы,
Лишь трески слышны въ далекѣ;
И самый тотъ пастухъ, за коего рѣкѣ
Пенялъ недавно онъ такимъ кудрявымъ складомъ,
Погибъ со всѣмъ своимъ въ немъ стадомъ,
А хижины его пропали и слѣды.

Какъ много ручейковъ текутъ такъ смирно, гладко,
И такъ журчатъ для сердца сладко, —
Лишь только отъ того, что мало въ нихъ воды!

Мнѣ кажется, я не отступлю отъ истины, ежели скажу, что многіе изъ читателей удовольствуются тѣмъ, что, удержавъ въ памяти общую мысль басни, применятъ ее къ одному или двумъ своимъ знакомымъ, которые изъ ручейковъ сдѣлались рѣками; но многіе также удержатъ въ памяти общій характеръ скромныхъ обѣщаній ручейка и общія черты бурнаго теченія его; не мало есть и такихъ, которые, выучивъ басню наизустъ, могутъ припоминать и прикладывать каждый стихъ къ обстоятельствамъ, смѣясь надъ непостоянствомъ человѣческимъ; но найдутся и такіе читатели, которые искренно раздѣлятъ съ ручейкомъ его благородныя чувствованія, вознегодуютъ на его забвеніе прекрасныхъ обѣтовъ, и чистосердечно подтвердятъ клятвою всѣ эти обѣщанія, съ увѣренностію въ возможности исполненія ихъ. И такъ не многіе поймутъ, что баснописецъ, осмѣивая забвеніе обѣщаній, необдуманно изъявленныхъ во

время своей скромной доли, кичливую пышность и пагубно разгульное теченіе Ручья, разбогатѣвшаго водами, съ намѣреніемъ разпространяется въ изображеніи многомо скромныхъ обѣщаній; потому что сквозь эти обѣщанія, повидимому скромныя, проглядываетъ гордость и неумѣренность желаній. И тѣ изъ сихъ немногихъ, которые не имѣютъ добраго, благороднаго сердца, будутъ смѣяться и надъ обѣщаніями и надъ исполненіемъ ихъ; но тѣ, которые одарены чистымъ сердцемъ, которые посятъ въ душѣ искру благости Божіей, видя, какъ Ручей, увлеченный несчастіемъ пастуха и негодованіемъ къ обидчицѣ-Рѣкѣ, обѣщаетъ выше силъ своихъ, пожалѣютъ о неумѣренномъ и неестественномъ обѣщаніи; поймутъ, что обѣщать легче, нежели выполнять; поймутъ, что негодованіе на недостатки другихъ еще не можетъ быть вѣрнымъ ручательствомъ, что мы сами свободны отъ этихъ пороковъ; они, не одобряя ни Рѣки, ни Ручья, задумаются о слабости человѣка и съ грустію скажутъ: «Ахъ! можетъ быть и мы, съ приливомъ счастія, въ шумномъ потокѣ жизни сдѣлали бы то же самое!» Они вспомнятъ другую, похожую на эту басню: *Фортуна и Нищій.* И въ самомъ дѣлѣ, какъ естественно выражается здѣсь негодованіе бѣдняка на бурную, шумную жизнь счастливца; какъ незамѣтно этотъ бѣднякъ, по обыкновенному чувству самолюбія, переходитъ къ сравненію богача съ собою; какъ просто и легко отъ этого сравненія въ душѣ его раждаются предположенія и потомъ мечты и тайныя желанія собственнаго счастія, какіе благородные порывы волнуютъ душу бѣдняка, неизпытавшаго еще того угара и очарованія, которые обуреваютъ душу счастливца! Потомъ, когда этотъ добрый мечтатель вдругъ одаренъ всѣми благами счастія, значеніемъ, силою и богатствомъ: онъ не успѣваетъ и не умѣетъ желать; онъ, какъ невольникъ, рабъ своего счастія, не имѣетъ силъ управлять потокомъ сво-

его счастія и своей жизни. Онъ видитъ только свои успѣхи и радости, не замѣчая ничего и никого; безъ злобы и безъ намѣренія разоряетъ и губитъ все и всѣхъ, кто сталъ на пути его роскошно-страдательной жизни, и кого онъ въ безсиліи своемъ бережно обходилъ. Виноватъ ли онъ? — Да. Онъ виноватъ тѣмъ, что такъ самонадѣянно полагался на свои силы преждевременно, что такъ слѣпо поддался вліянію счастія, которое само слѣпо. И много, много мыслей могутъ родиться при размышленіи о Ручьѣ, и мысли эти будутъ прекрасны и грустны! И благо тому, кто кончитъ свои размышленія святою мыслію: *Не осуждай, не осужденъ будеши!*

Эта басня приводитъ насъ къ размышленію о паденіи человѣка, о его слабости; возбуждаетъ въ насъ грустныя чувствованія, которыя не потрясаютъ души ужасомъ. Но Крыловъ открываетъ намъ иногда такіе тайники сердца человѣческаго, которые ужасаютъ насъ и которые производятъ неизмѣримо различныя степени впечатлѣній. Для примѣра возмемъ хоть: *Добрую Лисицу*. Здѣсь Баснописецъ предварительно изображаетъ трогательную картину несчастія птенцевъ малиновки, убитой стрѣлкомъ, которые *терпятъ голодъ и холодъ; и пискомъ жалобнымъ* тщетно зовутъ къ себѣ мать свою. Лисица, усѣвшись *на камушкѣ противъ гнѣзда сиротокъ*, — слѣдовательно она уже пробовала добраться до нихъ — увлекательно убѣждаетъ птицъ помочь сироткамъ въ бѣдственномъ ихъ положеніи: сначала всѣмъ вообще говоритъ; потомъ поочередно обращается то къ Кукушкѣ, то къ Жаворонку, къ Горлинкѣ, Ласточкѣ и Соловью, говоря каждой и каждому такъ сладко, такъ умилительно, что невольно увлекаетъ къ этому святому дѣлу, и заключаетъ свою благочестивую рѣчь такимъ образомъ:

Такою нѣжностью,— я твердо вѣрю,—
Вы бъ замѣнили имъ ихъ горькую потерю.

Послушайте меня докажемъ, что въ лѣсахъ
Есть добрыя сердца, и что....

Но этими словами оканчивается ея проповѣдь, и продолжается разсказъ Баснописца.

При сихъ словахъ
Малютки бѣдныя всѣ трое,
Не могши съ голоду сидѣть въ покоѣ,
Попадали къ Лисѣ на-низъ.
Что жъ кумушка? — Тотчасъ ихъ съѣла;
И поученья не допѣла.

Не только дѣти, но нерѣдко и взрослые, при легкомъ чтеніи этой басни, смѣются; имъ кажется забавенъ столь неожиданный исходъ этого сладко-рѣчиваго убѣжденія. Но кто, читая слова Лисицы, переноситъ ихъ къ человѣку, чувствуетъ святость доводовъ этой рѣчи, тотъ, увлеченный, разтроганный и горестнымъ положеніемъ сиротъ и наружнымъ воодушевленіемъ оратора, содрогнется при неожиданыхъ словахъ: *тотчасъ ихъ съѣла!* Тогда онъ захочетъ снова прочесть всю басню; вникнетъ въ каждое выраженіе лицемѣра; тогда каждый стихъ будетъ наполнять душу его поперемѣнно то презрѣніемъ, то негодованіемъ, то отвращеніемъ, то ужасомъ; здѣсь уже не слабость, а обдуманое злодѣйство движетъ хитрымъ умомъ, коварнымъ сердцемъ и притворыми словами злаго обманщика, который играетъ святостью чувствованій человѣколюбія и благочестія. Какое дѣйствіе могутъ произвести въ подобномъ случаѣ на чистое, благородное сердце хоть эти слова:

Вы этимъ жизнь ихъ сохраните;
Что дѣла добраго святѣй?
Или. Такъ ты бы съ своего гнѣзда слетѣла,
Да, вмѣсто матери, къ малюткамъ сѣла;
А дѣтокъ бы твоихъ пусть Богъ
Берегъ!

Это коварное злоупотребленіе священнаго имени добродѣтели и даже самаго Бога переполнитъ негодованіемъ самую тихую душу. Съ какимъ искусствомъ, съ какимъ знаніемъ коварнаго сердца Баснописецъ ведетъ все это разсчетливое убѣжденіе! Лисица, убѣждая птицъ къ доброму дѣлу, Кукушкѣ предлагаетъ свое посредничество:

Кукушка, посмотри: вѣдь ты и такъ линяешь;
Не лучше ль дать себя *немножко ощипать*?...

Жаворонку совѣтуетъ спуститься пониже, а горлинкѣ— посылать дѣтей своихъ, чтобы они сами промышляли кормъ, ужь конечно, для того, что къ молодымъ, неопытнымъ подкрасться легче, нежели къ матери:

Ты, жаворонокъ, чѣмъ *по верхамъ*
Тебѣ кувыркаться, кружиться,
Ты бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамъ,
Чтобъ съ сиротами подѣлиться.
Ты, горлинка, твои птенцы ужъ подросли,
Промыслить кормъ и сами бы могли;
Такъ ты бы съ своего гнѣзда слетѣла,
Да вмѣсто матери къ малюткамъ сѣла.

Но когда Крыловъ изображаетъ мелкіе пороки, причуды и безразсудную запосчивость, или забавное невѣжество; тогда отъ души смѣешься при чтеніи его, и весело заимствуешь отъ него и мысли, и чувствованія, и свѣтлые взгляды на міръ, и желалъ бы занять искуство изображать картины, и ловкую живость переходить отъ одной картины къ другой, которыя поражаютъ читателя неожиданностію. Взгляните, напримѣръ, на эту картину въ баснѣ: *Орелъ и Паукъ*.

За облака Орелъ
На верхъ Кавказскихъ горъ поднялся;
На кедрѣ тамъ столѣтнемъ сѣлъ,
И зримымъ подъ собой пространствомъ любовался.

Казалось, что оттоль онъ видѣлъ край земли:
Тамъ рѣки по степямъ излучисто текли;
Здѣсь рощи и луга цвѣли
Во всемъ весеннемъ ихъ уборѣ;
А тамъ сердитое Каспійско море,
Какъ ворона крыло, чернѣлося вдали.
«Хвала тебѣ, Зевесъ, что, управляя свѣтомъ,
Ты разсудилъ снабдить меня такимъ полетомъ,
Что неприступной я не знаю высоты», —
Орелъ къ Юпитеру взываетъ, —
«И что смотрю оттоль на міра красоты,
Куда никто не залетаетъ».

Какая смѣлая картина! Это—геній, проникнувшій тайны міра, возносится благодарною мыслію къ Творцу, даровавшему ему такую рѣдкую силу духа; это—могущественный человѣкъ, поставленный на высокую чреду, гдѣ онъ можетъ дѣлать такъ много добра, что никто не можетъ съ нимъ сравниться; онъ, объятый чистою, высокою радостію, благодаритъ Ту власть, которая дала ему могущество благодѣтельное. Поэтъ, представивъ эту мысль, самъ, подобно Орлу своему, высоко вознесся на крыльяхъ вдохновенья, и возноситъ съ собою мыслящаго читателя. Но какимъ внезапнымъ и холоднымъ удивленіемъ объятъ былъ этотъ Орелъ, когда онъ, воображая себя совершенно однимъ, среди столь возвышенныхъ мыслей, вдругъ услышалъ хвастливое восклицаніе?

— «Какой же ты *хвастунъ*, какъ погляжу!»
Паукъ ему тутъ съ вѣтки отвѣчаетъ—
«Да нижель я тебя, *товарищъ*, здѣсь сижу?» —
Орелъ глядитъ; и подлинно, Паукъ,
Надъ самимъ имъ разкинувъ сѣть вокругъ,
На вѣточкѣ хлопочетъ,
И, кажется, Орлу заткать онъ солнце хочетъ.
— Ты какъ на этой высотѣ? —
Спросилъ Орелъ — и тѣ,
Которые полетъ отважнѣйшій имѣютъ,
Не всѣ сюда пускаться смѣютъ;
А ты, безъ крылъ и слабъ, неужъ ли ты *доползъ*? —

— Нѣтъ, *я на это бъ не рѣшился.*
— Да какъ же здѣсь ты очутился?
— Да я къ тебѣ же *прицѣпился;*
И снизу *на хвостъ* ты самъ меня занесъ;
Но здѣсь и безъ тебя умѣю я держаться;
И такъ передо мной прошу не величаться;
И знай, что я ... Тутъ вихрь, отколѣ ни возмись,
И сдунулъ Паука опять на самый низъ.

Вотъ самый простой, самый естественный и забавно поучительный урокъ неблагодарно-хвастливому невѣждѣ! Тутъ, кажется, не нужно бы и прибавлять правоученія: оно само собою очевидно; однако жъ Поэтъ прибавляетъ:

Какъ вамъ, а мнѣ такъ, кажется, похожи
На этакихъ не рѣдко Пауковъ
Тѣ, кои безъ ума и даже безъ трудовъ,
Тащатся вверхъ, держась за хвостъ вельможи.

Но это не правоученіе, а просто примѣненіе, нужное читателямъ не размышляющимъ или не желающимъ понять значенія басни; правоученіе же здѣсь видно не только изъ окончанія басни, но даже и изъ самаго разсказа и изъ разговора дѣйствующихъ лицъ. Сравните картину обзора орлинаго, его смѣлыя чувствованія и высокіе помыслы съ мелкими, неумѣстными хлопотами Паука, и вы увидите, что первый на своемъ мѣстѣ; онъ понимаетъ, гдѣ онъ, зачѣмъ здѣсь, и что̀ ему дѣлать; съ высотою мѣста у него измѣняются мысли и занятія; а другой и на этой неприступной для него высотѣ остался мелкимъ хлопотуномъ; онъ и тамъ, за облаками, тчетъ свою тонкую сѣть, которая годится только на низменныхъ долинахъ для ловли мухъ. Орелъ взлетаетъ сюда для того, чтобъ въ уединенной, ему только доступной, высотѣ дать просторъ своимъ возторженнымъ мыслямъ; Паукъ и здѣсь ищетъ пропитанія, и когда удивленный Орелъ спрашиваетъ его, какъ онъ сюда попалъ — «*Неужли ты*

доползъ?»—онъ прямо отвѣчаетъ: *Нѣтъ, я на это бъ не рѣшился.... Да я къ тебѣ же прицѣпился; и снизу на хвостѣ ты самъ меня занесъ....*» Этими отвѣтами онъ безъ собственнаго вѣдома ставитъ себя въ такую далекую противоположность съ Орломъ, и такъ роняетъ себя предъ нимъ, что самый вихрь, который невзначай сдунулъ его опять на низъ, не могъ такъ далеко и такъ низко сбросить его. Удивленіе Орла присутствію Паука на такой высотѣ и его вопросы: «*Ты какъ на этой высотѣ?... Не ужли ты доползъ?*» — кажется, очень унизительны; но они оставляютъ еще какое-то сомнѣніе, еще предполагаютъ какую-то возможность значимости; а эти отвѣты уничтожаютъ всякое подозрѣніе въ существованіи и малѣйшаго нравственнаго достоинства. Однако они очень естественны; естественны и потому, что геніи, орлы міра нравственно-гражданскаго, часто невольно, не замѣчая того, на хвостахъ своихъ возносятъ Пауковъ; естественны и потому, что эти Пауки гордятся всякимъ соприкосновеніемъ къ генію, каково бы оно ни было.

Такъ смотримъ мы на эти произведенія нашего геніальнаго Баснописца, такъ мы понимаемъ ихъ; но, безъ сомнѣнія, есть люди, которые понимаютъ ихъ глубже и обширнѣе, и могутъ указать въ нихъ болѣе значенія и красотъ. Впрочемъ, о внѣшнихъ красотахъ басень мы еще и не говорили; постараемся показать басни двѣ и въ этомъ отношеніи. Желая избѣжать разширенія этой статьи слишкомъ большими выписками, мы хотѣли бы показать красоты выраженія въ тѣхъ же самыхъ басняхъ, которыя уже разобраны здѣсь; но, боясь подозрѣнія, что мы выбрали самыя лучшія басни для своего разбора, рѣшаемся взять другія. Но у Крылова трудно выбрать лучшія произведенія; немногія можно исключить изъ числа лучшихъ. Перечтемъ, хоть съ начала первой книги, нѣсколько

басень черезъ одну: *Ворона и Лисица*—мы уже видѣли ея достоинство! — *Музыканты*, — превосходна! *Ларчикъ* — еще лучше! — *Разборчивая невѣста*, *Оракулъ*, *Огонь и Роща*, *Волкъ и Ягненокъ*, *Синица*, *Мартышка и Очки*, *Троеженецъ*, *Орелъ и Куры* и проч. всѣ эти басни, содержащіяся въ одной первой книгѣ, такъ хороши, каждая въ своемъ родѣ, что нѣтъ возможности предпочесть одну изъ нихъ другой. Ежели мы вздумаемъ перебирать и вторую книгу, то встрѣтимъ точно то же затрудненіе; и потому возмемъ по порядку три послѣднія басни изъ второй книги: *Воронепокъ*, *Слонъ на воеводствѣ* и *Оселъ и Соловей*. Содержаніе первой басни: Молодой воронъ, увидѣвъ, что орелъ изъ цѣлаго стада *выхватилъ ягненка*, рѣшился сдѣлать то же. Но онъ выбралъ самаго большаго барана, и потому, разумѣется, не могъ поднять его; а какъ у барана, на бѣду Воронепка была густая и косматая шерсть; то онъ, не могши высвободить когтей, былъ самъ пойманъ и отданъ дѣтямъ, которыя, обрѣзавъ ему крылья, стали играть имъ. Это простое и вовсе незначительное содержаніе басни Крыловъ своимъ изложеніемъ превращаетъ въ прекрасный разсказъ. Вотъ, какъ разсуждаетъ у него Вороненокъ, увидѣвшій, что Орелъ унесъ ягненка:

«Ужъ брать, такъ брать,
А то и когти что марать!
Бываютъ и Орлы, какъ видно, плоховаты.
Ну, только ль въ стадѣ, что ягняты?
Вотъ, я какъ захочу,
Да налечу,
Такъ царскій подлинно кусочикъ подхвачу!»

Эти стихи прямо намекаютъ на разсужденіе дерзкаго, но неопытнаго, молодаго человѣка, незнакомаго съ наукою жизни и съ опаснымъ своимъ ремесломъ; но за то какія удалыя замашки въ выраженіяхъ; какъ рѣзко отражается въ нихъ воронинная природа! Чего можно ожи-

дать отъ того, кто на первыхъ порахъ молодости говоритъ: *Ужъ брать, такъ брать, а то и когти что марать!* Ежели такому Вороненку не *окарнаютъ крыльевъ*, онъ далеко уйдетъ.

Потомъ Поэтъ изображаетъ полетъ хищника надъ стадомъ и его хищническую разборчивость:

Тутъ Вороненокъ поднялся надъ стадомъ,
Окинулъ стадо жаднымъ взглядомъ:
Изъ множества ягнятъ, барановъ и овецъ,
Высматривалъ, сличалъ и выбралъ наконецъ
Барана, *да какого?*
Прежирнаго, прематераго...
Изладясь, на него спустился
И въ шерсть ему, что силы есть, вцѣпился.

Эта картина дѣйствій и пріемовъ Вороненка совершенно выдерживаетъ характеръ его перваго разсужденія, и еще болѣе подстрекаетъ любопытство читателя, возбужденное его словами и сборами, и басня получаетъ занимательность повѣсти; эта занимательность раждается не только отъ придуманныхъ подробностей разсказа, но и отъ самыхъ выраженій, которыя заставляютъ ожидать чего-то необыкновеннаго; потому что они выразительностію своею и значимостію придаютъ этимъ мелкимъ подробностямъ важность и значеніе.

Содержаніе другой басни, кажется, еще проще, еще незначительнѣе, такъ что въ ней все зависитъ отъ изложенія, отъ формы; отбросьте эти стихи, этотъ слогъ Крылова; выкиньте этотъ разговоръ Слона съ Волками, и вы уничтожите басню. И такъ по необходимости должно ее всю выписать:

На воеводство былъ въ лѣсу посаженъ Слонъ.
Хоть, кажется, Слоновъ и умная порода;
Однако же въ семьѣ не безъ урода:
Нашъ Воевода

Въ родню былъ толстъ,
Да не въ родню былъ простъ:
А съ умыслу онъ мухи не обидитъ:
Вотъ добрый Воевода видитъ:
Вступило отъ овецъ прошеніе въ Приказъ:
«Что волки-де совсѣмъ сдираютъ кожу съ насъ».
— «О плуты!» — Слонъ кричитъ: «какое преступленье!
Кто грабить далъ вамъ позволенье?»
А Волки говорятъ: «Помилуй, нашъ отецъ!
Не тыль намъ къ зимѣ на тулупы
Позволилъ легонькій оброкъ собрать съ овецъ?
А что онѣ кричатъ, какъ овцы глупы:
Всего придется съ нихъ съ сестры по шкуркѣ снять;
Да и того имъ жаль отдать».
— «Ну тото-жъ», говоритъ имъ Слонъ: «смотрите!
Неправды я не потерплю ни въ комъ;
По шкуркѣ, такъ и быть, возмите;
А больше ихъ не троньте волоскомъ».

Тутъ всѣ указанія, всѣ объясненія неумѣстны; здѣсь выраженія такъ просты, такъ ясны, что объяснять ихъ —значитъ разыгрывать жалкую роль механика въ *Ларчикѣ;* однако жъ эта простота показываетъ образецъ высокаго искусства, — искусства, доведеннаго до *простоты.*

Но что же, наконецъ, сказать о послѣдней изъ этихъ трехъ басень! Содержаніе ея, конечно, можно разсказать; однако жъ разсказъ этотъ не дастъ намъ даже самаго темнаго понятія о томъ живомъ изображеніи характеровъ Осла и Соловья, о томъ чудномъ искуствѣ рисовать картины словами, звуками, которымъ владѣлъ Крыловъ. Онъ рѣдко, очень рѣдко описывалъ характеры дѣйствователей въ разсказѣ; они сами въ разговорѣ двумя, тремя словами давали о себѣ такое полное понятіе, что добродѣтелей ихъ самый услужливый другъ, а пороковъ самый злѣйшій врагъ не могли бы высказать такъ ясно и точно въ предлинныхъ рѣчахъ. Напримѣръ, кто могъ бы

такъ предательски-вѣрно заклеймить Осла, какъ онъ самъ себя оттиснулъ? — Онъ говоритъ Соловью:

Послушай-ка, *дружище!*
Ты, сказываютъ, пѣть великій *мастерище;*
Хотѣлъ бы очень я
Самъ посудить, твое услышавъ пѣнье,
Велико ли твое умѣнье?

Разсказывайте, что̀ хотите о простоватомъ и самопадѣянномъ невѣжествѣ; но больше того, что̀ говорятъ эти слова: *дружище*, *мастерище*, *самъ посудить*, *велико-ли твое умѣнье*, нельзя сказать. А теперь не угодно ли послушать, какъ Соловей на этотъ вызовъ показываетъ свое искусство?

Защелкалъ, засвисталъ
На тысячу ладовъ, тянулъ, переливался;
То нѣжно онъ ослабѣвалъ,
И томной вдалекѣ свирѣлью отдавался;
То мелкой дробью вдругъ по рощѣ разсыпался,

Крыловъ, заставляя животныхъ, такъ неумышленно, безъ собственнаго ихъ вѣдома, высказывать ихъ грѣхи и слабости, также безъ собственнаго вѣдома высказалъ себѣ такую похвалу, какую едва ли могъ бы сказать кто другой. Онъ непосредственно послѣ изображенія пѣсни Соловья рисуетъ картину вниманія и общаго изумленія, въ которое все и всѣ были приведены этимъ пѣніемъ, такъ живо и прелестно изображеннымъ въ его стихахъ. Да, первая картина есть вѣрная характеристика Соловья, а вторая высокая хвала первой, изъ которой она проистекаетъ, какъ необходимое слѣдствіе:

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры,
И прилегли стада;

Чуть чуть дыша, настухъ имъ любовался,
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушкѣ улыбался.

Что же дѣлаетъ въ это время Оселъ? — Вотъ его портретъ въ томъ положеніи, когда онъ принимаетъ на себя видъ знатока и судьи изящнаго искусства, и вотъ его рѣшительный приговоръ, за коимъ слѣдуетъ и приговоръ самого Поэта:

Оселъ, уставясь въ землю лбомъ,
«Изрядно», говоритъ: «сказать не ложно,
Тебя безъ скуки слушать можно;
А жаль, что не знакомъ
Ты съ нашимъ пѣтухомъ:
Еще бъ ты больше навострился,
Когда бы у него немного поучился».
Услыша судъ такой, мой бѣдный Соловей
Вспорхнулъ и — полетѣлъ за тридевять полей.

Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей.

Нужно ли показывать и разбирать, какая мѣткая живопись въ словахъ: *уставясь въ землю лбомъ;* съ какою рѣзкою и отчетливою вѣрностію выраженъ судъ самоувѣреннаго невѣжи, особенно совѣтомъ *немного поучиться у пѣтуха*, и словами: *изрядно*, *навострился;* какое благородство въ безмолвномъ отвѣтѣ оскорбленнаго пѣвца! Онъ *вспорхнулъ* и *полетѣлъ*. Неужели же спорить ему? — Онъ недоволенъ собою, зачѣмъ пѣлъ, да и какъ пѣлъ!

Между многими достоинствами Крылова, которыя едва ли можно всѣ опредѣлить, однимъ изъ важнѣйшихъ можно поставить то, что онъ умѣлъ соединить высшую степень народности съ міровою общностію. Читая его басни, думаешь, что онѣ понятны только для Русскихъ; кажется, онъ почерпалъ содержаніе ихъ

только изъ Русскаго міра, изъ Русской жизни, назначалъ ихъ только для Русскаго общества; но, вникая въ мысль и значеніе ихъ, находишь, что онѣ всегда и вездѣ могутъ быть поняты и приложены, и чѣмъ глубже проникаешь, чѣмъ подробнѣе изучаешь ихъ, тѣмъ обширнѣе и многозначительнѣе онѣ представляются уму читателя. Возмемъ для образца нѣсколько такихъ басень, которыя болѣе другихъ отличаются Русскимъ тономъ, какъ то: *Крестьянинъ и Работникъ*, *Волкъ и Котъ*, *Заяцъ на ловлѣ*, *Крестьянинъ и Топоръ*, *Крестьянинъ въ бѣдѣ*, *Курица и Ворона* и т. п. Прочтемъ и разсмотримъ первую:

Старикъ-Крестьянинъ съ батракомъ
Шелъ, подъ-вечеръ, лѣскомъ
Домой, въ деревню, съ сѣнокосу,
И повстрѣчали вдругъ медвѣдя носомъ къ носу.
Крестьянинъ ахнуть не успѣлъ,
Какъ на него медвѣдь насѣлъ.
Подмялъ Крестьянина, ворочаетъ, ломаетъ,
И, гдѣ бъ его почать, лишь мѣсто выбираетъ;
Конецъ приходитъ старику.
«Степанушка родной, не выдай, милый!»
Изъ-подъ медвѣдя онъ взмолился батраку.
Вотъ, новый Геркулесъ, со всей собравшись силой,
Что только было въ немъ,
Отнесъ полчерепа медвѣдю топоромъ,
И брюхо прокололъ желѣзной вилой.
Медвѣдь взревѣлъ, и замертво упалъ;
Медвѣдь мой издыхаетъ.
Прошла бѣда; крестьянинъ всталъ,
И онъ же батрака ругаетъ.
Опѣшилъ, бѣдный мой Степанъ.
«Помилуй,» говоритъ «за что?»—За что, болванъ!
Чему обрадовался сдуру?
Знай колетъ всю испортилъ шкуру!

Что можетъ быть частнѣе этого разсказа? Кажется, онъ списанъ съ частнаго случая; кажется, это простой

анекдотъ, взятый изъ простонародной, сельской Русской жизни; здѣсь вы видите такія случайности, подробности, которыя, кажется, потому только занимательны, что онѣ сначала страшны, а потомъ смѣшны; и притомъ изложены такимъ языкомъ, что невольно обращаютъ на себя вниманіе. Но прочтемъ примѣненіе этого разсказа и всмотримся въ значеніе его, и мы увидимъ, что каждый изъ насъ можетъ быть уже бывалъ, если не на мѣстѣ *Крестьянина*, то на мѣстѣ *Работника Степана:*

Когда у насъ бѣда надъ головой,
То рады мы тому молиться,
Кто вздумаетъ за насъ вступиться,
Но только съ плечъ бѣда долой,
То избавителю отъ насъ же часто худо:
Всѣ въ запуски его пѣнятъ;
И если онъ у насъ не виноватъ,
Такъ это чудо!

Это такое общее правило, которое обнимаетъ все человѣчество отъ отрока до старца, отъ Алеута до Англичанина, отъ Степана до цѣлаго народа; мы найдемъ безчисленные примѣры и старичковъ-Крестьянъ и Степановъ, какъ въ дѣйствительной современной жизни, такъ и въ Исторіи народовъ. Ежели эта басня и многія подобныя ей, которыя имѣютъ такую частную народную внѣшность, выражаютъ столь общія, обширныя мысли; то о другихъ мы не считаемъ нужнымъ и говорить. Конечно, можно найти нѣсколько исключеній: у Крылова есть и такія басни, которыя преимущественно могутъ быть приложены къ нашимъ недостаткамъ нравовъ; но этихъ исключеній не много, и они, съ измѣненіемъ нравовъ, съ истребленіемъ тѣхъ слабостей и пороковъ, которые въ нихъ осмѣиваются, конечно, по содержанію своему, устарѣютъ. Впрочемъ, и эти устарѣлыя басни будутъ служить свидѣтельствомъ того, какъ

геній дѣйствуетъ на улучшеніе человѣчества; притомъ искусство изложенія и красоты формъ басень Крылова никогда не устарѣютъ. Доказательствомъ послѣдней мысли могутъ служить тѣ его басни, которыя написаны были за сорокъ пять лѣтъ предъ симъ: онѣ такъ свѣжи, такъ новы, какъ будто нынѣ вышли изъ-подъ пера; тогда какъ современныя имъ произведенія другихъ писателей уже устарѣли во многихъ отношеніяхъ: причина заключается въ томъ, что Крыловъ писалъ языкомъ народнымъ.

Говорятъ, что Крыловъ многія свои басни списывалъ съ частныхъ случаевъ. Мы не хотимъ ни утверждать, ни отрицать этой мысли; потому что ни для того, ни для другаго нѣтъ положительныхъ доказательствъ; однако жъ, соглашаясь съ тѣмъ, что, можетъ быть, частные случаи подавали ему поводъ къ сочиненію басень, пробуждали въ немъ идею, надѣемся доказать, что онъ не изображалъ этихъ случаевъ съ ихъ дѣйствительными особенностями, но представлялъ ихъ въ идеальныхъ видахъ, олицетворялъ или осуществлялъ пороки и слабости человѣческія въ свойствахъ, дѣйствіяхъ и образахъ животныхъ; такъ что они не могутъ быть точными портретами ни одного человѣка, и вмѣстѣ съ тѣмъ похожи на всѣхъ, кто поддается этимъ слабостямъ и порокамъ. Возмемъ хоть басни: *Гуси*, *Лжецъ* и друг., къ сочиненію которыхъ, какъ говорятъ, подали поводъ Крылову особенные частные случаи.

И въ самомъ дѣлѣ, видите ли жалкаго хвастуна безъ заслугъ и безъ способностей имѣть гражданское значеніе, который жалуется на несправедливость судьбы и хвалится предками, — вы невольно вспоминаете: *Да наши предки Римъ спасли;*—слышите ли вы, какъ мелкій правнукъ извѣстнаго прадѣда кричитъ, что его начальникъ, сынъ бѣднаго разночинца, безъ всякаго уваженія заставляетъ его работать, — вамъ приходитъ на умъ:

мужикъ такъ нами помыкаетъ, и насъ, гусей, какъ птицъ простыхъ гоняетъ.

Нѣтъ ничего легче, какъ прилагать эту басню къ частнымъ случаямъ, въ которыхъ нѣтъ недостатка; но при всей умѣстности примѣненія, она не можетъ заключать въ себѣ ни одной черты личности. Указаніе на Капитолійскихъ гусей удаляетъ здѣсь всякую возможность сближенія всей басни съ какимъ-нибудь частнымъ случаемъ предпочтительно; по тѣмъ не менѣе эта басня жестоко караетъ всякаго, кто имѣетъ слабость, столь естественную и столь общую, прикрывать свою ничтожность заслугами и славою своихъ предковъ.

Наконецъ послѣдняя и чрезвычайно важная заслуга нашего великаго Баснописца состоитъ въ томъ, что онъ разкрылъ геній Русскаго языка, исполнилъ то, къ чему стремились другіе: онъ познакомилъ образованныя сословія съ роднымъ языкомъ. Давно уже, сначала Кіево-Латинская школа, а потомъ Нѣмецкая засорили и испортили нашъ языкъ; а Французская Литература, съ помощію гувернеровъ, вытѣснила его изъ высшаго общества. Ломоносовъ, воспитанный подъ непосредственнымъ вліяніемъ тѣхъ же школъ, не могъ возкресить народнаго парѣчія: онъ ограничился созданіемъ языка книжнаго. Послѣдователи Ломоносова едва могли идти по слѣдамъ его. Карамзинъ разширилъ кругъ языка Ломоносовскаго; прибавилъ къ его измѣненіямъ изгнаніе Латино-Нѣмецкаго словотеченія и устройства предложеній; но сдѣлать болѣе онъ не могъ. Дмитріевъ, до робости осторожный въ литературной своей дѣятельности, образовалъ для басень и сказокъ своихъ особенный языкъ, — языкъ простой и легкій, но все же составленный изъ началъ книжнаго языка; Дмитріевъ искалъ легкаго языка, и хотѣлъ, по соображеніямъ своимъ, составить его. Но Крыловъ геніяльнымъ своимъ инстинктомъ прямо отверг нулъ общій вѣковой предразсудокъ противъ народности

и народнаго языка. Умъ, со всѣми своими движеніями, есть внутренній языкъ, а языкъ со всѣми своими видоизмѣненіями есть внѣшній умъ: слѣдовательно вся постепенность взглядовъ ума на предметы можетъ и должна быть выражена словами; тонъ и характеръ мыслей даютъ тонъ и характеръ выраженію вообще, а слѣдовательно и языку. А эта разность въ мысляхъ столько же зависитъ отъ разности предметовъ размышленія, сколько отъ качества и силы размышляющаго ума. Вотъ почему Крыловъ, когда въ баснѣхъ ведетъ разсказъ, измѣняетъ характеръ языка и слога, сообразуясь съ свойствами предметовъ и возбуждаемыхъ ими мыслей; а когда заставляетъ говорить самихъ дѣйствователей, то даетъ имъ и слова и обороты и даже связь выраженій, согласные съ нравственнымъ характеромъ и съ свойствами ихъ. На зло гонителямъ раздѣленія слога на *высокій*, *средній* и *простой*, Крыловъ раздѣлилъ его самымъ дѣломъ такъ рѣзко, какъ никто еще не дѣлилъ его въ теоріи.

Вотъ нѣсколько изображеній, представляющихъ картины различной важности:

Насупилось и почернѣло море;
Покрылись тучею тяжелой небеса;
Валы вздымаются и рушатся какъ горы;
Громъ оглушаетъ слухъ; слѣпитъ блескъ молній взоры;
Борей реветъ и рветъ въ лоскутья паруса....

По дебрямъ гнался Левъ за Серной;
Уже ее онъ настигалъ,
И взоромъ алчнымъ пожиралъ
Обѣдъ себѣ въ ней сытный, вѣрный.
Спастись, казалось, ей не льзя никакъ;
Дорогу обоимъ пересѣкалъ оврагъ;
Но Серна легкая всѣ силы натянула,
Подобно изъ лука стрѣлѣ,

Надъ пропастью она махнула,
И стала супротивъ на каменной скалѣ....

Набравъ валежнику, порой холодной, зимней,
Старикъ, изсохшій весь отъ нужды и трудовъ,
Тащился медленно къ своей лачужкѣ дымной,
Кряхтя и охая подъ тяжкой ношей дровъ.
Несъ, несъ онъ ихъ и утомился,
Остановился;
На землю съ плечъ спустилъ дрова долой,
Присѣлъ на нихъ, вздохнулъ и думалъ самъ съ собой.

Свинья подъ дубомъ вѣковымъ
Наѣлась жолудей до-сыта, до отвала;
Наѣвшись, выспалась подъ нимъ;
Потомъ, глаза продравши, встала,
И рыломъ подрывать у дуба корни стала.

Вотъ, братцы! Заяцъ отвѣчалъ:

Да изъ лѣсу-то кто жъ? все я его пугалъ,
И къ вамъ поставилъ прямо въ поле
Его, сердечнаго дружка

Эта разность описаній даетъ ясное понятіе о разности колорита въ языкѣ или слогѣ. Но всей постепенности и всѣхъ оттѣнковъ языка Крылова показать не возможно; для этого нужно было бы дѣлать слишкомъ много выписокъ. А чтобы видѣть все разнообразіе разговорнаго языка, достаточно припомнить разобранныя здѣсь басни: это разнообразіе изумительно, неизмѣримо! Есть ли какое-либо сходство въ живомъ, бѣгломъ языкѣ безпечно-болтливой *Стрекозы*, въ рѣчахъ вкрадчивой, льстивой *Лисы*, великодушно-откровеннаго *Льва*, благородно-гордаго *Орла*, обозрѣвающаго неизмѣримыя пространства съ неприступныхъ высотъ Кавказа, безстыдно-хвастливаго *Паука*, сладкозвучнаго *Соловья*, грубо-самонадѣяннаго *Осла*, простодушнаго *Слона-воеводы*?...

И такъ Крыловъ великъ, какъ переводчикъ: потому что онъ свои переводы поставилъ выше прекрасныхъ подлинниковъ славнаго Лафонтена; великъ, какъ подражатель: его подражанія далеко превозходятъ образцы. Но выше всего онъ является тогда, когда самостоятельно почерпаетъ мысли изъ природы, изъ дѣйствительнаго міра: тогда — онъ глубокомысленный философъ, вѣрный другъ природы, предъ которымъ она открываетъ всѣ свои тайны; тогда онъ поэтъ въ мысляхъ, въ картинахъ, въ формахъ языка и въ сочетаніяхъ звуковъ. Онъ разгадалъ нравственный міръ и опредѣлилъ всѣ его изгибы, всѣ пути и уклоненія; онъ —

Памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный, —
Металловъ крѣпче онъ и выше пирамидъ....

Мы уже невидимъ Крылова; но духъ его витаетъ надъ нами; пройдутъ годы, а мы будемъ помнить его также живо, какъ и теперь; явятся новыя поколѣнія, которыя не увидятъ и насъ, но будутъ знать его, будутъ помнить; пройдутъ вѣки, возстанутъ новые роды, которые, можетъ быть, не увидятъ и тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ жилъ съ нами, но также будутъ помнить и знать его. Такъ, онъ будетъ жить, пока будетъ существовать на землѣ Русское слово; и памятованіе о немъ всегда будетъ чисто, свѣтло, какъ чистъ и свѣтелъ его геній.

Пушкинъ. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, современникъ нашъ, при самомъ появленіи своемъ на литературномъ поприщѣ, удивилъ все читающее общество и раздѣлилъ голоса на двѣ противоположныя стороны, которыя во все продолженіе его литературной дѣятельности не переставали бороться между собою. Но мнѣнія и убѣжденія каждой изъ этихъ партій такъ были измѣнчивы и непостоянны, что ихъ нельзя даже счесть продолженіемъ одной борьбы: съ появленіемъ каждаго новаго творенія Пушкина, какъ приверженцы, такъ и противники его

болѣе или менѣе измѣняли свои убѣжденія, то сближаясь, то отдаляясь между собою. Наконецъ, когда преждевременная и вовсе неожиданная смерть уничтожила всѣ отношенія, которыя нерѣдко даютъ направленіе сужденіямъ о писателяхъ, равно какъ и о дѣйствователяхъ всякаго рода, читатели стали судить о произведеніяхъ Пушкина съ бо́льшимъ безпристрастіемъ; но эти сужденія все еще основываются на личныхъ или частныхъ взглядахъ на литературу. И теперь, между многими мнѣніями, болѣе или менѣе ложными, болѣе или менѣе произвольными, можно преимущественно остановиться на двухъ: одни думаютъ, что Пушкинъ былъ только счастливый стихотворецъ, который умѣлъ прекрасно рисовать живыми, легкими стихами отдѣльныя сцены или картины; они *приводятъ* въ примѣръ многіе отрывки и даже *цѣлыя* произведенія; другіе утверждаютъ, что Пушкинъ былъ исполинъ-поэтъ, которому вся наша исторія литературы не можетъ противопоставить равнаго и который ничѣмъ не обязанъ своимъ предшественникамъ, нисколько не зависѣлъ ни отъ кого изъ нихъ; онъ создалъ свою собственную литературу, вовсе не существовавшую у насъ. Конечно тѣ и другіе имѣли свои основанія, свои причины; но и тѣ и другіе сильно ошибались. Если же необходимо держаться одного изъ этихъ мнѣній, то мы никакъ бы не рѣшились пристать къ сторонѣ послѣднихъ, не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ отвергали талантъ Пушкина; но, во 1-хъ, потому что это мнѣніе слишкомъ заносчиво и оскорбительно для другихъ, и во 2-хъ, потому что Пушкинъ, рано кончилъ свою поэтическую жизнь и дѣятельность, не вполнѣ развилъ свои великія дарованія, и то, что онъ намъ оставилъ, есть только богатый залогъ того, что бы онъ могъ сдѣлать; онъ много, много обѣщалъ для нашей литературы; но обѣщаніе не исполненіе. Однако назвать Пушкина только стихотворцемъ, хотя бы даже и великимъ, есть великій литературный грѣхъ, который можетъ

произойдти только отъ совершеннаго незнанія сущности поэзіи; въ произведеніяхъ его все дышетъ свѣтлою поэзіею. Съ другой стороны, неменьшимъ грѣхомъ можно почесть и ту мысль, что Пушкинъ явился въ нашемъ литературномъ мірѣ такъ, какъ будто бы прежде его *никто* у насъ *ничего не писалъ*. (?) Нѣтъ! это неправда! Въ мірѣ нравственномъ, равно какъ и въ мірѣ физическомъ, все есть слѣдствіе предшествовавшаго и начало послѣдующаго; все имѣетъ непрерывную послѣдовательность. Въ исполненіе этого закона, Пушкинъ, еще бывши ребенкомъ, возхищался Державинымъ, любовался Батюшковымъ, задумывался надъ Жуковскимъ, мечталъ съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ.

Онъ раздѣлялъ съ своими современниками, и старшими и сверстниками, всѣ вѣковыя заблужденія и предразсудки, раздѣлялъ ихъ знанія и опытность.

Во всемъ этомъ онъ самъ признается. Вспомнимъ только его разсказъ о встрѣчѣ своей съ Державинымъ на лицейскомъ экзаменѣ; вспомнимъ, какое дѣйствіе произвело на гордую душу Пушкина одобреніе угасавшаго генія.—Неужели такое благоговѣніе къ старцу-поэту было случайно? Неужели оно не оставило никакихъ слѣдовъ на возпріимчивой душѣ юнаго поэта?— Неужели напрасно онъ сказалъ:

Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ?

Зачѣмъ же онъ говоритъ Жуковскому:

Блаженъ кто знаетъ сладострастье,
Высокихъ мыслей и стиховъ,
Кто наслажденіе прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,
И твой возторгъ уразумѣлъ
Возторгомъ пламеннымъ и яснымъ?...

Зачѣмъ онъ въ одномъ изъ прелестныхъ эпизодовъ въ *Русланѣ и Людмилѣ* обращается къ нему же:

Поэзіи чудесный геній,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могилъ и рая вѣрный житель,
И *Музы вѣтренной моей*
Наперсникъ, пѣстунъ и хранитель!
Прости мнѣ, сѣверный Орфей,
Что въ повѣсти моей забавной
Теперь во слѣдъ тебѣ лечу,
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу?...

Нѣтъ, не только смѣлые помыслы Державина, мечтательно задумчивыя изображенія Жуковскаго, сладкозвучные стихи Батюшкова дѣйствовали на его юную воспріимчивую душу; но даже разсказы болтливыхъ нянекъ и вялая теорія классической риторики имѣли на него сильное вліяніе;—даже возмужалый онъ поддался вліянію чуждаго генія Байрона.—Мы ясно увидимъ отраженіе всѣхъ этихъ вліяній въ первомъ его произведеніи: *Русланъ и Людмила*. А въ повременномъ изложеніи его послѣдующихъ созданій разсмотримъ постепенное его измѣненіе, которое было съ одной стороны необходимымъ слѣдствіемъ встрѣчи его съ новыми обстоятельствами, которыя въ свою очередь производили въ душѣ новыя впечатлѣнія; а съ другой, столь же необходимымъ слѣдствіемъ возраста, успленія и укрѣпленія его таланта, стремившагося къ самостоятельности.

Пушкинъ, бывши еще въ лицеѣ, страстно любилъ поэзію, и нерѣдко смѣлыми и бойкими своими стихами обращалъ на себя общее вниманіе всѣхъ знавшихъ его; когда же на лицейскомъ экзаменѣ Державинъ угадалъ въ немъ геніальнаго поэта, преемника своего, и благословилъ его на подвиги и славу; тогда всѣ окружавшіе

Пушкина поняли его высокое значеніе, и онъ самъ ясно уразумѣлъ свое призваніе. Его первыя мелкія лирическія пѣснопѣнія были ознаменованы сильнымъ талантомъ— самобытнымъ; но эта сила и самобытность несравненно болѣе обнаружились въ *Поэмѣ: Русланъ* и *Людмила*. Здѣсь мы видимъ отчаянную борьбу великаго таланта, подкрѣпляемаго естественнымъ чувствомъ изящнаго съ ложными теорическими знаніями, и сильной русской души, проникнутой чувствомъ народности, съ тѣми впечатлѣніями, которыя онъ получилъ отъ чуждыхъ ей иноземныхъ образцевъ и которыя поработили умъ его. Пушкинъ съ дѣтства любилъ слушать народныя сказки; онѣ сильно врѣзались въ юную память его, и совершенно ей усвоились, такъ, что всѣ эти образы сказочныхъ дѣйствователей и картины ихъ дѣйствій и страданій слились въ пестройныя группы. И въ душѣ двадцатилѣтняго поэта родилась мысль создать Русскую эпопею; онъ выполнилъ эту мысль стихами сладкозвучными. Когда явилась въ свѣтъ поэма-сказка, всѣ были изумлены смѣлыми картинами, живыми изображеніями лицъ и дѣйствій, забытыхъ русскимъ обществомъ и возобновленныхъ теперь въ памяти сердца и въ воображеніи. Всѣ видѣли въ творцѣ *Руслана* и *Людмилы* сильный, смѣлый, самобытный талантъ; но одни называли его совершеннымъ, и Пушкина провозгласили преобразователемъ нашей поэзіи; другіе, признавая талантъ писателя, осуждали направленіе его, и пугали читателей упадкомъ вкуса; однако и тѣ и другіе ошибались. Пушкинъ не ронялъ вкусъ, а возстановлялъ его; между тѣмъ поэма его, имѣя всѣ притязанія на полное выраженіе народности, не совсѣмъ была русская; формы поэмы много походятъ на классико-эпическія произведенія; изображенія дѣйствователей представляютъ многія черты западно-рыцарскія. Пушкинъ въ послѣдствіи и самъ это замѣтилъ; онъ сдѣлалъ многія перемѣны въ пользу рус-

спцизма; и въ этомъ отношеніи особенно достойно замѣчанія предисловіе или прологъ къ *Руслану* и *Людмилѣ*, въ которомъ поэтъ, выражая общій характеръ русскихъ сказокъ, представляетъ дѣйствіе ихъ на его воображеніе, и указываетъ на первоначальный зародышъ *Руслана* и *Людмилы:*

У лукоморья дубъ зеленый;
Златая цѣпь на дубѣ томъ;
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ;
Идетъ на право, — пѣснь заводитъ,
На лѣво — сказку говоритъ.
Тамъ чудеса; тамъ лѣшій бродитъ;
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ песчаный и пустой...
. . . . . .
Тамъ ступа съ бабою-ягой
Идетъ, бредетъ сама собой:
Тамъ Царь Кащей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ русскій духъ.... тамъ Русью пахнетъ?
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ;
У моря видѣлъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сидѣлъ; и котъ ученый
Свои мнѣ сказки говорилъ.
Одну я помню, — сказку эту
Повѣдаю теперь я свѣту.

Да, здѣсь Русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ! Въ самомъ дѣлѣ, кто знаетъ духъ преданій, кто знакомъ съ русскими сказками, съ русскою народностію; тотъ никогда не забудетъ этихъ живыхъ прелестныхъ стиховъ, которые могли вылиться только изъ Русской души. Потомъ поэтъ разсказываетъ:

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

Въ толпѣ могучихъ сыновей,
Съ друзьями въ гридницѣ высокой
Владиміръ — солнце пировалъ;
Меньшую дочь онъ выдавалъ
За князя храбраго Руслана,
И медъ изъ тяжкаго стакана
За ихъ здоровье выпивалъ....
. . . . . .
Но вдругъ раздался гласъ пріятный
И звонкихъ гуслей бѣглый звукъ;
Всѣ смолкли, слушаютъ баяна:
И славитъ сладостный пѣвецъ
Людмилу—прелесть и Руслана
И Леля свитый имъ вѣнецъ.

Едва кончился свадебный пиръ, какъ вдругъ поднимается буря и гроза; Людмилу похищаетъ злой волшебникъ, *Черноморъ*; Владиміръ, въ гнѣвѣ на несчастнаго Руслана, проситъ, умоляетъ, кричитъ:

Скажите, кто изъ васъ согласенъ
Скакать за дочерью моей?
Чей подвигъ будетъ не напрасенъ,
Тому — терзайся, плачь, злодѣй!
Не могъ сберечь жены своей —
Тому я дамъ ее въ супруги
Съ полцарствомъ прадѣдовъ моихъ....

На этотъ вызовъ съ жаромъ соглашаются всѣ прежніе безнадежные искатели Людмилы: Рогдай, Ратмиръ и Фарлафъ; само собою разумѣется, что Русланъ не отсталъ отъ нихъ. Всѣ они отправляются на поискъ княжны; и каждый ищетъ ее, какъ можетъ. Въ судьбѣ Руслана, какъ благороднѣйшаго изъ витязей, по духу Русскихъ сказокъ, принимаетъ участіе добрый волшебникъ *Финнъ*. Начинается борьба ихъ съ *Черномо-*

ромъ и злою *Наиной*: Судьба этой борьбы неразрывно связана съ судьбою Руслана; такъ что Финнъ, не смотря на свое неестественное могущество, могъ побѣдить враговъ своихъ только при содѣйствіи нравственной силы человѣка съ твердою непреклонною волею, дѣйствующаго своими естественными средствами. Таковъ духъ всѣхъ Русскихъ преданій и сказаній, всего русскаго баснословія! Въ нашихъ повѣрьяхъ и сказкахъ допускается сверхъестественная сила, которою владѣютъ колдуны, кудесники и волшебницы; но могущество ихъ подчинено силѣ нравственной: добрые волшебники тогда только могутъ дѣлать все, когда дѣйствуютъ въ союзѣ съ нравственно-свободной силой, направленной къ добру; а злые тогда только могутъ губить человѣка, когда онъ падаетъ духомъ, или поддается господству животныхъ чувствъ. Руланъ устоялъ противъ всѣхъ искушеній, не убоялся никакихъ ужасовъ, не отступилъ ни отъ какихъ преградъ, и съ помощію Финна и таинственнаго меча, вышелъ изъ этой борьбы побѣдителемъ. Та же идея выражена и въ Вадимѣ Жуковскаго; только тамъ она имѣетъ характеръ Русско-Христіанскій; а здѣсь у Пушкина Русско-языческій, чувственный; и притомъ въ Русланѣ не только общая мысль поэмы, но и всѣ частности, и вся обстановка чисто Русскія; онѣ не выдуманы поэтомъ, а почерпнуты изъ народныхъ сказаній. Здѣсь нѣтъ хитро придуманныхъ завязокъ, нѣтъ запутанностей; все просто, а между тѣмъ все занимательно; каждый эпизодъ самъ по себѣ полонъ и милъ, и нуженъ для стройности цѣлаго. Напримѣръ, эпизодъ Финна съ небольшею передѣлкою превращенъ въ хорошую драму—Княземъ Шаховскимъ; встрѣча Руслана съ очарованною головою богатыря и разсказъ ея еще болѣе занимательны; но какъ прелестно изображены прибытіе и пребываніе Ратмира въ замкѣ *двѣнадцати дѣвъ*! Какъ прекрасно описаніе послѣдней битвы Руслана съ Печенѣгами!

Еще въ бездѣйственномъ покоѣ
Дремало поле боевое;
Вдругъ сонъ прервался; вражій станъ
Съ тревогой шумною возпрянулъ;
Внезапный крикъ сраженій грянулъ;
Смутилось сердце Кіевлянъ;
Бѣгутъ нестройными толпами,
И видятъ: въ полѣ межъ врагами,
Блистая въ латахъ, какъ въ огнѣ,
Чудесный воинъ на конѣ
Грозой несется, колетъ, рубитъ. ..
То былъ Руслань. Какъ Божій громъ,
Нашъ витязь палъ на басурмана;
Онъ рыщетъ съ карлой за сѣдломъ
Среди изпуганнаго стана.
Гдѣ ни просвищетъ грозный мечъ,
Гдѣ конь сердитый ни промчится,
Вездѣ главы слетаютъ съ плечъ,
И съ воплемъ строй на строй валится;
Въ одну минуту бранный лугъ
Покрытъ холмами тѣлъ кровавыхъ,
Живыхъ, раздавленныхъ, безглавыхъ,
Громадой копій, стрѣлъ, кольчугъ.
На трубный звукъ, на голосъ боя
Дружины конныя Славянъ
Помчались по слѣдамъ героя —
Сразились.... гибни, басурманъ!
Объемлетъ ужасъ Печенѣговъ;
Питомцы бурные набѣговъ
Зовутъ разсѣянныхъ коней;
Противиться не смѣютъ болѣ,
И съ дикимъ воплемъ въ пыльномъ полѣ
Бѣгутъ отъ Кіевскихъ мечей....
Ликуетъ Кіевъ.... Но по граду
Могучій богатырь летитъ;
Въ десницѣ держитъ мечъ побѣдной;
Копье сіяетъ, какъ звѣзда;
Струится кровь съ кольчуги мѣдной;
На шлемѣ вьется борода;
Летитъ, надеждой окрыленный,
По стогнамъ шумнымъ въ княжій домъ.

. . . . . .
. . . . . .

И, бѣдствій празднуя конецъ,
Владиміръ въ гридницѣ высокой
Запировалъ въ семьѣ своей.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой!

Напрасно называютъ это произведеніе романтическою поэмой; оно можетъ быть названо прекраснымъ, но все таки *первымъ опытомъ Русской эпопеи*; потому что въ немъ соединена значительная часть *древнихъ Русскихъ преданій*, которыя изложены въ смѣшенныхъ классико-романтическихъ формахъ.

По прошествіи двухъ лѣтъ, когда Пушкинъ, изпытавъ ударъ рока, судьбою заброшенъ былъ на Кавказъ, онъ написалъ къ этой поэмѣ *эпилогъ*, который также можетъ служить *прологомъ* къ другому его произведенію (написанному имъ въ 1822): *Кавказскій плѣнникъ*. Поэтъ, очарованный возвышенными красотами грозной и дикой природы и дикими правами бурныхъ жителей Кавказа, возпѣлъ въ этой поэмѣ и природу и человѣка той новой для него страны. *Кавказскій Плѣнникъ*, по какому-то странному случаю, имѣлъ болѣе благопріятное дѣйствіе для поэта, и былъ хорошо принятъ тѣми, которые осудили первое его созданіе; онъ, помирившъ ихъ съ Пушкинымъ, заставилъ признать въ немъ талантъ сильный, великій. Впрочемъ, при внимательномъ соображеніи дѣла, мы найдемъ это предпочтеніе *Кавказскаго Плѣнника Руслану и Людмилѣ* совершенно неосновательнымъ. Правда, здѣсь видны новыя высокія черты поэта: картины возвышеннѣе, смѣлѣе и зрѣлѣе обдуманныя, краски свѣжѣе, чувствованія сильнѣе, глубже и теплѣе, нежели въ первой поэмѣ; но это превозходство картинъ происходитъ частію отъ того, что онѣ списаны поэтомъ съ

живой дѣйствительной природы, частію отъ превосходства предметовъ, и наконецъ отъ совершеннаго отсутствія народныхъ Русскихъ преданій, которыя носятъ свой, такъ сказать, готовый колоритъ и стѣсняютъ своевольный талантъ поэта; а глубокость и сила чувствованій произходили отъ собственнаго случайнаго положенія поэта, а не отъ восторга поэтическаго. Въ Русланѣ видимъ цѣлое стройное созданіе, идеею котораго поэтъ былъ проникнутъ, и которое онъ любилъ, лелѣялъ, какъ творецъ свое созданіе; въ Кавказскомъ Плѣнникѣ, напротивъ, видимъ минутную вспышку огорченнаго поэта, который увлекся новою для него природой и дикими своевольными нравами, согласными съ настроенностію его чувствъ. Тамъ — творческій восторгъ поэта; здѣсь — негодованіе человѣка, огорченнаго судьбою; отъ того въ первой поэмѣ роскошь и нѣга картинъ, съ любовію отдѣланныхъ; отъ того въ послѣднемъ произведеніи чувство разочарованія, отъ того и недостатокъ цѣлости; это превосходный эпизодъ изъ неконченной поэмы — жизни самаго поэта. Но отдѣльныя картины здѣсь прекрасны; напримѣръ, картины забавъ и игръ Черкескихъ, которыя однакожъ не трогали угрюмаго плѣнника.

Но Русскій равнодушно зрѣлъ
Сіи кровавыя забавы.
Любилъ онъ прежде игры славы,
И жаждой гибели горѣлъ.
Невольникъ чести безпощадной,
Вблизи видалъ онъ свой конецъ
На поединкахъ твердый, хладный,
Встрѣчая гибельный свинецъ.
Быть можетъ, въ думу погруженный,
Онъ время то вспоминалъ.
Жалѣлъ ли онъ о дняхъ минувшихъ,
О дняхъ, надежду обманувшихъ,
Иль, любопытный, созерцалъ
Суровой простоты забавы,

И дикаго народа нравы
Въ семъ вѣрномъ зеркалѣ читалъ?—
Таилъ въ молчаньи онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на челѣ его высокомъ
Не измѣнялось ничего.
Безпечной смѣлости его
Черкесы грозные дивились;
Щадили вѣкъ его младой,
И шепотомъ между собой
Своей добычею гордились.

Когда Пушкинъ, по волѣ судьбы прихотливой, былъ въ Крыму; тамъ воспомпнанія грозныхъ явленій нравственнаго міра подавили собою всѣ впечатлѣнія, производимыя красотами внѣшней природы; когда въ Бахчисараѣ онъ слушалъ мѣстныя преданія, въ воспріимчивой душѣ его родилась новая поэма, но поэма страстей, чувствованій, а не мечтаній и картинъ, какъ двѣ первыя. Эта поэма: *Бахчисарайскій Фонтанъ*. Конечно и новое произведеніе не можетъ быть названо полнымъ созданіемъ, выражающимъ зрѣлую, глубоко обдуманную мысль, и здѣсь видны недокончанность, недосказанность; оно также есть только порывъ разтроганной души, но разтроганной чувствомъ благороднымъ, безкорыстнымъ, чувствомъ скорби и соболѣзнованія къ чистой невинной жертвѣ ревниваго самоуправства, и къ жалкой жертвѣ справедливой мести или варварскаго правосудія. Основа *Бахчисарайскаго Фонтана*—преданіе о любви Хана Гирея къ плѣнной Польской Княжнѣ, Маріи и о гибели ея отъ руки ревнивой Заремы. Содержаніе слишкомъ скудно для поэмы; и оно еще скуднѣе кажется отъ того, что поэтъ, увлекшись чувствомъ, мало рисуетъ картинъ, которыя такъ легко создаются подъ его перомъ. Картинъ здѣсь мало, но онѣ также прекрасны, и особенно отъ того, что согрѣты страстями, чувствованіями.—Вотъ какъ поэтъ даетъ отчетъ въ произведеніи *Бахчисарайскаго Фонтана:*

Я посѣтилъ Бахчисарая
Въ забвеньѣ дремлющій дворецъ;
Среди безмолвныхъ переходовъ
Бродилъ я тамъ, гдѣ бичъ народовъ,
Татаринъ буйный пировалъ,
И послѣ ужасовъ набѣга
Въ роскошной лѣни утопалъ...
Еще донынѣ дышитъ нѣга
Въ пустыхъ покояхъ и садахъ;
Играютъ воды, рдѣютъ розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещетъ на стѣнахъ.
Я видѣлъ ветхія рѣшетки,
За коими, въ своей веснѣ,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены въ тишинѣ.
Я видѣлъ ханское кладбище,
Владыкъ послѣднее жилище.
Сіи надгробные столбы,
Вѣнчанны мраморной чалмою,
Казалось мнѣ, завѣтъ судьбы
Гласили внятною молвою.
Гдѣ скрылись ханы? Гдѣ гаремъ?
Кругомъ все тихо, все уныло,
Все измѣнилось.... Но не тѣмъ
Въ то время сердце полно было:
Дыханье розъ, фонтановъ шумъ
Влекли къ невольному забвенью,
Невольно предавался умъ
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тѣнью
Мелькала дѣва предо мной....

Чью тѣнь, о други, видѣлъ я?
Скажите мнѣ: чей образъ нѣжный
Тогда преслѣдовалъ меня,
Неотразимый, неизбѣжный?
Маріи ль чистая душа
Явилась мнѣ, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустѣлаго гарема?...

Каждое новое произведеніе Пушкина болѣе и болѣе обнаруживало въ немъ силу души и какое-то непріязненное чувство къ обществу; но доселѣ нигдѣ еще ни сила таланта его, ни это чувство не обнаруживались въ такой степени, какъ въ поэмѣ: *Братья Разбойники*. Только, къ сожалѣнію, вся эта дѣятельность генія въ этомъ произведеніи напрасно потрачена; потому что объ немъ безошибочно можно сказать: эта, такъ называемая, поэма— сильное, но чудовищное созданіе могучаго таланта; оно выражаетъ ложную идею; и противорѣчитъ само себѣ.—Поэтъ изображаетъ *разбойника*, ожесточеннаго противъ человѣчества, который жаждетъ убійства, грабежа; кровь—его забава. Этотъ человѣкъ во всю жизнь не имѣлъ ни одной привязанности; никого и ничего не любилъ, кромѣ брата, съ которымъ дѣлилъ всѣ горести, всѣ ужасно-преступныя радости, на которомъ были сосредоточены всѣ его чувствованія. Этотъ братъ, любимый имъ, умеръ, и въ предсмертныхъ мучительныхъ грезахъ высказалъ жгучія угрызенія совѣсти, жаловался на брата, научившаго его убійству:

«Не онъ ли самъ отъ мирныхъ пашень
Меня въ дремучій лѣсъ сманилъ,
И ночью тамъ, могучъ и страшенъ,
Убійству первый научилъ?....»
То снова разгорались въ немъ
Докучной совѣсти мученья:
Предъ нимъ толпились привидѣнья,
Грозя перстомъ изъ-далека.
Всѣхъ чаще образъ старика,
Давно зарѣзаннаго нами,
Ему на мысли приходилъ;
Больной, зажавъ глаза руками,
За старца такъ меня молилъ:
«Братъ! Сжалься надъ его слезами!
Не рѣжь его на старость лѣтъ....
Мнѣ дряхлый крикъ его ужасенъ....
Пусти его — онъ не опасенъ;

«Въ немъ крови теплой капли нѣтъ.
Не мучь его.... авось, мольбами
Смягчитъ за насъ онъ Божій гнѣвъ!...»
Онъ видѣлъ пляски мертвецовъ,
Въ тюрьму пришедшихъ изъ лѣсовъ;
То слышалъ ихъ ужасный шепотъ,
То вдругъ погони близкій топотъ;
И дико взглядъ его сверкалъ;
Стояли волосы горою,
И весь, какъ листъ, онъ трепеталъ;
То мнилъ ужъ видѣть предъ собою
На площадяхъ толпы людей
И страшный ходъ до мѣста казни,
И кнутъ, и грозныхъ палачей....

Онъ умеръ въ такихъ томительныхъ мукахъ, и братъ, пылкій, страстный, любившій только его одного въ цѣломъ мірѣ, спокойно разсказываетъ объ этомъ въ кругу разбойниковъ, новыхъ товарищей; потому что онъ снова принимается за свое ремесло. — Это не естественно, не въ природѣ человѣка! Послѣ подобной смерти любимаго брата, для него оставалось два пути: или *раскаяніе* или *самоубійство*. — Это произведеніе было отраженіемъ *мизантропическихъ идей Байрона*. Но къ счастію, здѣсь мы видимъ послѣдній предѣлъ, до котораго доходило это направленіе Пушкина; въ послѣдующемъ произведеніи — *Цыгане* — совершился переломъ его *мизантропіи*.

Когда геній Пушкина развернулся и созрѣлъ; когда поэтъ обогатился опытами жизни; когда онъ увидѣлъ и узналъ различныя страны, съ ихъ нравами и разнообразными, но необходимыми условіями общежитія; онъ видѣлъ вольныя полудикія толпы кочующихъ, почти безобщественныхъ *Цыганъ*;—его плѣнила эта безпечная, дикая, веселая жизнь, и поэтъ воображеніемъ своимъ перенесся во времена патріархальныя; и юность, не совсѣмъ еще простывшая, шептала ему: *здѣсь свобода, здѣсь счастіе*!

А умудренная опытность говорила: *нѣтъ счастія для разнузданныхъ страстей!* И поэтъ въ эпилогѣ поэмы говоритъ:

Встрѣчалъ я посреди степей,
Надъ рубежами древнихъ становъ,
Телѣги мирныя Цыгановъ,
Смиренной вольности дѣтей.

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ изодранными шатрами
Живутъ мучительные сны;
И ваши сѣни кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ;
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ!

Вотъ мысль, которая поставила въ борьбу умъ и чувство поэта; и онъ развилъ ее дѣйствіемъ подъ кочевыми шатрами Цыганъ. Онъ представилъ молодаго человѣка себялюбиваго, разочарованнаго, который не ужился съ людьми, которому наскучилъ свѣтъ, потому что люди и свѣтъ служатъ только тому, кто имъ служитъ; тому не можетъ быть просторно, кто не даетъ простора другимъ. Его преслѣдуетъ законъ; онъ хочетъ быть Цыганомъ. Алеко, такъ зовутъ его, находитъ тихій пріютъ и жаркую любовь подъ тѣпью цыганскаго шатра. Ему говорятъ:

Будь нашъ, привыкни къ нашей долѣ,
Бродящей бѣдности и волѣ;
А завтра, съ утренней зарей,
Въ одной телѣгѣ мы поѣдемъ.
Примись за промыселъ любой
Желѣзо куй, или пѣсни пой
И села обходи съ медвѣдемъ...
. . . . . .
Прошли два лѣта. Также бродятъ

Цыганы мирною толпой...
. . . . . .
Старикъ лѣниво въ бубны бьетъ;
Алеко съ пѣньемъ звѣря водитъ;
Земфира поселянъ обходитъ,
И дань ихъ вольную беретъ!
Настанетъ ночь; они всѣ трое
Варятъ нежатое пшено.

Обстоятельства между тѣмъ начинаютъ перемѣняться вовсе не въ пользу пропзвольнаго цыгана.

Старикъ на вешнемъ солнцѣ грѣетъ
Ужъ остывающую кровь;
У люльки дочь поетъ любовь,
Алеко внемлетъ и блѣднѣетъ.

Пѣсня:

Старый мужъ, грозный мужъ,
Рѣжь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другаго люблю;
Умираю, люблю.

—

За этою пѣснію естественно слѣдуютъ споры, раздоры, подозрѣнія, преслѣдованія, безсонныя ночи, страшныя мучительныя грѣзы, безполезныя утѣшенія старика, кипѣніе страстей: любви, ревности, отчаянія, ненависти, мщенія, и наконецъ убійство.

Востокъ, денницей озаренный,
Сіялъ. Алеко за холмомъ,
Съ ножемъ въ рукахъ, окровавленный,
Сидѣлъ на камнѣ гробовомъ.

Два трупа передъ нимъ лежали;
Убійца страшенъ былъ лицемъ;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу въ сторонѣ копали;
Шли жены скорбной чередой,
И въ очи мертвыхъ цаловали.
Старикъ отецъ одинъ сидѣлъ,
И на погибшую глядѣлъ
Въ нѣмомъ бездѣйствіи печали;
Подняли трупы, понесли,
И въ лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрѣлъ
На все. Когда же ихъ закрыли,
Послѣдней горстію земной,
Онъ молча медленно склонился,
И съ камня на траву свалился.
Тогда старикъ, приблизясь, рекъ
Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ;
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли;
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ;—
Мы робки и добры душею,
Ты золъ и смѣлъ;—оставь же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою.

Никогда еще Пушкинъ не выражалъ столь сильнаго кипѣнія страстей, какъ въ этой поэмѣ. Доселѣ Пушкина почитали поэтомъ картинъ словесной живописи; а въ изображеніи страстей долго предпочитали ему Баратынскаго; но здѣсь онъ показалъ и силу и искуство изображать душу съ ея тайными изгибами чувствъ; и утвердилъ за собою рѣшительное первенство между всѣми современными Русскими поэтами. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь мы видимъ, напримѣръ, скорбь отъ самой ти-

хой печали о давномшнувшемъ до ревниваго отчаянія. Старикъ Цыганъ, утѣшая Алеко въ подозрѣваемой измѣнѣ, разсказываетъ, какъ мать Земфиры измѣнила ему:

Ахъ, быстро молодость моя
Звѣздой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрѣе; только годъ
Меня любила Маріула.

Но когда старикъ, извиняя измѣну своей Маріулы, съ тихою грустію говоритъ о необходимости прощать женскія слабости, Алеко возклицаетъ:

Я не таковъ! Нѣтъ, я, не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О нѣтъ! Когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя;
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго бъ толкнулъ,
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшенъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Нѣкоторые критики находятъ или, по крайней мѣрѣ, говорятъ, что Алеко есть изображеніе самого поэта. Правда, что онъ до сихъ поръ былъ свѣтскимъ мизантропомъ, что поэты иногда невольно въ произведеніяхъ своихъ навязываютъ дѣйствователямъ свои мысли и чувствованія; но Пушкинъ здѣсь не думалъ знакомить насъ съ самимъ собою въ изображеніи Алеко. Если же мы непремѣнно хотимъ искать отраженія характера поэта въ какомъ либо изъ его дѣйствователей; то скорѣе всего найдемъ это отраженіе въ *Эвгеніи Онѣгинѣ*. Эта поэ-

ма (романъ) написана имъ почти въ продолженіи десяти лѣтъ; въ направленіи образа мыслей, въ способѣ воззрѣнія на предметы и на людей здѣсь можно найти большую разность между началомъ и концемъ: въ началѣ поэмы обнаруживается болѣе силы воображенія, потомъ болѣе силы страстей, наконецъ — зрѣлости ума, обдуманности и художественной отдѣлки и даже болѣе свободнаго отступленія отъ условій классицизма, которому онъ невольно платилъ дань въ началѣ поэмы. Да и въ самомъ языкѣ можно замѣтить большую разность между первыми и послѣдними главами Онѣгина; въ первой главѣ онъ находился еще подъ сильнымъ вліяніемъ языка исторіи Карамзина и языка Жуковскаго; здѣсь нѣтъ той чудной бойкости и свободы въ выраженіи, которыми онъ обладалъ въ послѣдствіи, напримѣръ:

Мои богини, что вы? гдѣ вы? —
Внемлите мой печальный *гласъ*
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрюли Русской *Терпсихоры*
Душой исполненный полетъ?
Иль взоръ унылый не найдетъ
Знакомыхъ лицъ на сценѣ скучной,
И, устремивъ *на чуждый* свѣтъ
Разочарованный лорнетъ,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зѣвать,
И *о быломъ вспоминать?*

Эта смѣсь Славянизма съ Парнасскою терминологіею и съ модными выраженіями романтизма непріятно дѣйствуетъ на слухъ. Но потомъ съ каждою главою онъ становился все свободнѣе и живѣе въ выраженіи; такъ что наконецъ достигъ того неподражаемаго искуства, ему свойственнаго, выражаться такъ, какъ думалъ и чувствовалъ.

Онѣгинъ, разочарованный повѣса, чудакъ, наскучившій жизнію и преслѣдуемый хандрою, пренебрегаетъ людей и требованія общества; а между тѣмъ, онъ поклонникъ моды и рабъ свѣтскихъ условій, который изъ шалости и ложнаго стыда убилъ на поединкѣ друга своего; онъ испорченъ, развращенъ, но въ немъ есть сѣмя добра; онъ радостно шутитъ надъ смертію дяди, оставляющаго ему богатое наслѣдство, но глушается лицемѣріемъ:

Мой дядя самыхъ честныхъ правилъ,
Когда не въ шутку занемогъ,
Онъ уважать себя заставилъ, —
И лучше выдумать не могъ;
Его примѣръ другимъ наука.
Но, Боже мой, какая скука —
Съ больнымъ сидѣть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживаго забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
«Когда же чертъ возметъ тебя!»

Онѣгинъ непрочь поиграть, позабавиться милымъ кокетствомъ милой *барышни*; но когда Татьяна довѣрчиво и легкомысленно написала къ нему страстное признаніе въ любви; онъ съ благородною откровенностью остановилъ и предостерегъ ее, открывъ пропасть, въ которую она, неопытная, невинная, увлеклась было страстію. Онъ говоритъ:

Вы ко мнѣ писали,
Не отпирайтесь. Я прочелъ
Души довѣрчивой признанье,
Любви невинной изліянья.
Мнѣ ваша искренность мила;
Она въ волненье привела

Давно умолкнувшія чувства;
Но васъ хвалить я не хочу;
Я за нее вамъ отплачу
Признаньемъ также безъ искуства;
Примите исповѣдь мною —
Себя на судъ вамъ отдаю.

Когда бы жизнь домашнимъ кругомъ
Я ограничить захотѣлъ;
Когда бъ мнѣ быть отцемъ, супругомъ
Пріятный жребій повелѣлъ;
Когда бъ семейственной картиной
Плѣнился я хоть мигъ единой;—
То вѣрно бъ, кромѣ васъ одной,
Невѣсты не искалъ иной.
Скажу безъ блестокъ мадригальныхъ:
Нашедъ мой прежній идеалъ,
Я вѣрно бъ васъ одну избралъ
Въ подруги дней моихъ печальныхъ,
Всего прекраснаго въ залогъ,
И былъ бы счастливъ... сколько могъ!

Но я не созданъ для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Ихъ вовсе недостоинъ я.
Повѣрьте — совѣсть въ томъ порукой, —
Супружество намъ будетъ мукой.
Я, сколько ни любилъ бы васъ,
Привыкнувъ, разлюблю тотчасъ;
Начнете плакать. ваши слезы
Не тронутъ сердца моего,
А будутъ лишь бѣсить его.
Судите жъ вы, какія розы
Намъ заготовитъ Гименей —
И можетъ быть, на много дней.

Что можетъ быть на свѣтѣ хуже
Семьи, гдѣ бѣдная жена
Груститъ о недостойномъ мужѣ
И днемъ и вечеромъ одна,

Гдѣ скучный мужъ, ей цѣну зная,
(Судьбу однакожъ проклиная),
Всегда нахмуренъ, молчаливъ,
Сердитъ и холодно-ревнивъ!
Таковъ я. И того ль искали
Вы чистой пламенной душей,
Когда съ такою простотой,
Съ такимъ умомъ ко мнѣ писали?
Ужели жребій вамъ такой
Назначенъ строгою судьбой?

Мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата;
Не обновлю души моей...
Я васъ люблю любовью брата
И, можетъ быть, еще нѣжнѣй.
Послушайте жъ меня безъ гнѣва.
Смѣнитъ не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты·
Такъ деревцо свои листы
Мѣняетъ съ каждою весною.
Такъ видно небомъ суждено.
Полюбите вы снова; но..
Учитесь властвовать собою,
Не всякой васъ, какъ я, пойметъ;
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ!

Евгеній, уступая вліянію ложнаго стыда, убилъ на поединкѣ друга; но онъ въ отчаяніи отъ этого убійства; онъ не можетъ забыть его; съ горя отправляется путешествовать. Возвращается на родину совсѣмъ съ другимъ образомъ мыслей. Такъ въ Евгеніи мы видимъ возрастаніе генія, переходъ его отъ чувственно-легкихъ мечтаній къ идеямъ глубоко обдуманнымъ. Еще въ VI главѣ Онѣгина, которая вышла въ свѣтъ въ 1829, Пушкинъ говоритъ:

Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость?
Гдѣ вѣчная къ ней рифмы младость?
Ужель и вправду наконецъ,
Увялъ, увялъ ея вѣнецъ?

Ужель и впрямь, и въ самомъ дѣлѣ,
Безъ элегическихъ затѣй,
Весна моихъ промчалась дней,
(Что я шутя твердилъ доселѣ)
И ей ужель возврата нѣтъ?
Ужель мнѣ скоро тридцать лѣтъ?

Такъ, полдень мой насталъ, и нужно
Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я.
Но, такъ и быть, простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За всѣ, за всѣ твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревогъ и въ тишинѣ,
Я насладился... и вполнѣ;
Довольно! Съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Дай оглянусь. Простите жъ сѣни,
Гдѣ дни мои текли въ глуши,
Исполнены страстей и лѣни
И сновъ задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй;
Не дай остыть душѣ поэта,
Ожесточиться, очерствѣть...
И наконецъ окаменѣть
Въ мертвящемъ упоеньи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ..

Такъ зрѣлъ, укрѣплялся и мужалъ нашъ поэтъ; такъ переходилъ отъ своевольныхъ эксцентрическихъ мечтаній и чувствованій, не знавшихъ предѣла, кромѣ предѣловъ силы, незнавшихъ цѣли, кромѣ самихъ себя, къ мечтамъ и чувствованіямъ общественнымъ, нравствен-

но-человѣческимъ. Отселѣ всѣ его произведенія принимаютъ характеръ болѣе покорный судьбѣ, законамъ здраваго смысла и законамъ общественности, и основываются на идеяхъ нравственно-высокихъ. Были исключенія, коихъ немного, напримѣръ,—*Графъ Нулинъ* и другія поэтическія шалости, которыя болѣе *прелестны*, нежели *изящны*.

Между тѣмъ Пушкинъ, какъ прежде этого перелома, такъ и послѣ его, часто дарилъ общество *прекрасными* лирическими пѣснопѣніями различныхъ видовъ и наименованій: *пѣсень*, *романсовъ*, *элегій*, *посланій*, *одъ* и проч. Напримѣръ: *Наполеонъ*, *Андрей Шеньe*, *Черепъ*, *Клеветникамъ Россіи*, *Сербскія пѣсни*, *Лицейскія годовщины*, *Бородинская годовщина*, *Полководецъ*, *къ Жуковскому*, *къ Овидію* и многія другія. Всякое сравненіе здѣсь неумѣстно; оно ничего не объяснитъ и ни къ чему не поведетъ; мы и не думаемъ сравнивать Пушкина съ кѣмъ нибудь изъ нашихъ лириковъ. Было время, когда и самые вдохновенные, самые возторженные лирики начинали свои пѣснопѣнія обращеніями къ музамъ, къ Аполлону или какимъ либо мнимымъ видѣніямъ, которыя называли внушеніями музъ, Аполлона и даже Минервы; и эти-то обращенія, съ просьбами о вдохновеніи, составляли необходимый приступъ къ Одѣ. Въ слѣдствіе такого разсчитаннаго формальнаго вступленія, и продолженіе стихотвореній надобно было устроивать по извѣстной формѣ, подобно ораторской рѣчи. Конечно, Державинъ нерѣдко нарушалъ этотъ условный законъ; но его современники, да и самъ онъ, ежели явно открыто не порицали этихъ отступленій, то, по крайней мѣрѣ, не почитали это достоинствомъ.—Жуковскій и Батюшковъ съ сознаніемъ отвергли этотъ ложный путь; однакожъ часто противъ воли обращались въ этимъ музамъ; — но Пушкинъ смѣло почерпалъ вдохновенія или изъ генія своего или изъ предмета пѣснопѣнія; напримѣръ:

Наполеонъ.

Чудесный жребій совершился:
Угасъ великій человѣкъ!
Въ неволѣ мрачной закатился
Наполеона грозный вѣкъ...

19 Октября 1825 года.

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ;
Сребритъ морозъ увянувшее поле;
Проглянетъ день какъ будто по неволѣ,
И скроется за край окружныхъ горъ...

Клеветникамъ Россіи.

О чемъ шумите вы, народные витіи?
Зачѣмъ анаѳемой грозите вы Россіи?
Что возмутило васъ?...

Бородинская Годовщина.

Великій день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «шли же племена,
«Бѣдой Россіи угрожая,»...

Лицейския Годовщина.

Была пора. нашъ праздникъ молодой
Сіялъ шумѣлъ и розами вѣнчался,
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался,
И тѣсною сидѣли мы толпой...

Это обстоятельство достойно замѣчанія; оно свидѣтельствуетъ о самостоятельности таланта Пушкина, и составляетъ важную услугу его въ окончательномъ преобразованіи лиризма: но не здѣсь главное поприще Пушкина. — Повѣствовательная поэзія составляла любимое и преимущественное его занятіе; кипѣніе страстей, дѣятельность воли, борьба желаній — вотъ предметы пѣс-

нопѣній его. Когда онъ впдѣлъ полтавской битвы поле, геній его, окрыленный Русской славой, ожпвленной въ крови сей битвы, возсоздалъ минувшую грозновелпкую годпну съ ея дѣйствователями; онъ возпѣлъ Полтаву! возпѣлъ Петра съ его славой, страдальца Кочубея съ его несчастною семьей, предателя Мазепу съ его клевретами, и великаго рыцаря — чудака Карла. Это пропзведеніе есть полная поэма; она, подобно *Руслану и Людмилѣ*, имѣетъ начало и конецъ; исполнена посредствомъ развитія частныхъ мыслей и второстепенныхъ случаевъ, которые даютъ ей полноту и цѣлость и не допускаютъ читателя предложить дѣльный вопросъ, неразрѣшенный самимъ разсказомъ. Но главное преимущество *Полтавы* предъ другими его поэмами состоитъ въ томъ, что она доставляетъ полное наслажденіе всѣмъ спламъ человѣка, и для созданія своего требовала всѣхъ силъ поэта—*всего человѣка*. Поэтъ тогда только можетъ трогать согласно умъ, сердце и волю, когда, при силѣ творчества, онъ проникнутъ любовію къ истинѣ, уваженіемъ къ человѣчеству и чувствомъ благочестія; и Пушкинъ въ первый разъ здѣсь прямо выражаетъ ненависть или негодованіе къ злу, къ пороку и высокое стремленіе къ добру. Народный интересъ этой поэмы заключается въ предательскихъ замыслахъ *Мазепы*, въ мученической смерти *Кочубея*, обличавшаго предательство; въ борьбѣ *Петра Великаго съ Карломъ*, въ побѣдѣ перваго и бѣгствѣ послѣдняго; общечеловѣческій интересъ—въ похищеніи Мазепою Маріи, дочери Кочубея, въ ея заблужденіи, въ странной, прихотливой ея страсти къ дряхлому старику, въ ея сумасшествіи. А какъ прекрасны, какъ живописны здѣсь картины:

Кто при звѣздахъ и при лунѣ
Такъ поздно ѣдетъ на конѣ?

Чей это конь неутомимой
Бѣжитъ въ степи необозримой?
Козакъ на сѣверъ держитъ путь,
Козакъ не хочетъ отдохнуть
Ни въ чистомъ полѣ, ни въ дубравѣ,
Ни при опасной переправѣ.
Какъ стекло булатъ его блеститъ;
Мѣшекъ за пазухой звенитъ;
Не спотыкаясь, конь ретивой
Бѣжитъ, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булатъ потѣха молодца,
Ретивый конь потѣха тоже —
Но шапка для него дороже.
За шапку онъ оставитъ радъ
Коня, червонцы и булатъ;
Но выдастъ шапку только съ бою,
И то лишь съ буйной головою.
Зачѣмъ онъ шапкой дорожитъ? -
Загѣмъ, что въ ней доносъ зашитъ,
Доносъ на Гетмана злодѣя
Царю Петру отъ Кочубея.

И какъ много подобныхъ мѣстъ въ *Полтавѣ!* Напримѣръ: ревнивый разговоръ Маріи съ Мазепою, разговоръ Орлика съ Кочубеемъ въ темницѣ, разговоръ Маріи съ матерью, описаніе казни Кочубея и Искры, описаніе Полтавской битвы, сумасшествіе Маріи, когда она, нашедъ Мазепу—бѣглеца, разсказываетъ, между прочимъ, темныя вспоминанія о казни отца:

«Я помню поле... праздникъ шумный...
И чернь и мертвыя тѣла...
На праздникъ мать меня вела...
Но гдѣ жъ ты былъ?... Съ тобою розно
Зачѣмъ въ ночи скитаюсь я?...
Пойдемъ домой... Скорѣй — ужъ поздо...
Ахъ, вижу,... голова моя
Полна волненія пустаго:

Я принимала за другаго
Тебя, старикъ... Оставь меня.
Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ.
Ты безобразенъ, онъ прекрасенъ;
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ его рѣчахъ такая нѣга!
Его усы бѣлѣе снѣга,
А на твоихъ засохла кровь.»

И съ дикимъ смѣхомъ завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побѣжала
И скрылась въ темнотѣ ночной.

Домикъ въ Коломнѣ легкая шутка безъ идеи. *Мѣдный всадникъ* также не выражаетъ никакой общей мысли; но здѣсь есть прекрасныя отдѣльныя картины, какъ напримѣръ, описаніе наводненія, или начало повѣсти:

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася: бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ топкимъ берегамъ,
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго Чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ...

Анджело, драматическая поэма, исполнена превосходно, и оживлена сильными страстями; между дѣйствующими лицами, сильнѣе всѣхъ поражаетъ и очаровываетъ читателя характеръ Изабелы, которая, оставивъ монастырскую келью, идетъ спасать брата преступника; она встрѣчаетъ соблазны міра, побѣждаетъ обольщенія властителя и предсмертную боязнь брата, не смотря на

возторженную любовь къ нему. Этотъ характеръ милъ, живъ, силенъ, простъ, естественъ и высокъ.

Баллады Пушкина нельзя ставить въ сравненіе съ балладами Жуковскаго; во-первыхъ—потому, что эти два поэта по общему характеру мечтаній и по направленію идей такъ разходятся между собой, что здѣсь никакой параллели быть не можетъ; во-вторыхъ—потому, что Жуковскій, создавая у насъ балладу, заимствовалъ первые образцы ея отъ Германцевъ; отъ того у него въ самыхъ оригинальныхъ народныхъ балладахъ замѣтна нѣмецкая мечтательная таинственность; и притомъ онъ все еще по вліянію классицизма, отъ котораго не совсѣмъ освободился, не хотѣлъ и не могъ низойдти до простонародности. Пушкинъ, идя по слѣдамъ уже его и освободившись отъ этого школьнаго вліянія, далъ намъ прекрасные образцы чисто Русской баллады и высокой и простой; образцами первой могутъ быть: *Русалка*, *Черная шаль*, *Вѣщій Олегъ;* а послѣдней — *Женихъ*, *Утопленникъ*, *Бѣсы*, *Гусаръ*. Онѣ еще и тѣмъ отличаются отъ балладъ Жуковскаго, что, кромѣ *Вѣщаго Олега*, *Гусара*, *Жениха и Утопленика*, и по объему и по лирическому способу изложенія болѣе походятъ на пѣсни, нежели на эпическіе разсказы; но въ замѣнъ того онѣ, по частному значенію своего содержанія, всѣ, кромѣ Олега, ближе къ истинной балладѣ, которая основывается на мѣстныхъ повѣрьяхъ, нежели произведенія Жуковскаго. Къ разряду балладъ Пушкина безошибочно можно отнести большую часть стихотвореній его, извѣстныхъ подъ названіемъ: *Пѣсни западныхъ Славянъ*, которыя отличаются совершенно особымъ характеромъ, который свойственъ всѣмъ Славянскимъ племенамъ и который полагаетъ рѣзкую черту различія между ними и другими Европейскими народами.

Странно было бы, кажется, возобновлять теперь вопросъ о возможности и невозможности существованія

въ нашемъ мірѣ и въ нашемъ вѣкѣ *эпической поэмы*;— это дѣло считается рѣшеннымъ; однако, если разсмотрѣть съ добросовѣстною откровенностію всѣ голоса и мнѣнія объ этомъ предметѣ; то на повѣрку откроется, что вопросъ этотъ совсѣмъ не рѣшенъ еще; по тому что одни, безусловно утверждая возможность *Эпопеи* въ наше время, не замѣтили даже и того, что ихъ понятіе объ Эпопеѣ не имѣетъ ничего общаго ни съ Иліадой, ни съ другими образцами этого рода поэзіи; а тѣ, которые отвергаютъ возможность ея, думаютъ совершенно замѣнить *Эпопею романомъ*. Но вѣдь романъ обнимаетъ только одну отрасль жизни и дѣятельности новаго міра: *жизнь семейную*, которая у насъ освящена догматами вѣры. Этой жизни древніе народы не имѣли; а мы, развивши ее, не совсѣмъ потеряли и ту отрасль жизни, изъ которой у древнихъ проистекала *Эпопея*: мы также имѣемъ свои народныя сказанія, преданія и повѣрья, которыя частію, какъ остатки язычества, составляютъ народныя суевѣрія, предразсудки и заблужденія. Эти-то преданія и повѣрья, какъ истинныя, такъ и ложныя, могутъ дать предметъ и основу для новой эпопеи. Ежели геніальный поэтъ выберетъ такую баснословно-историческую эпоху, когда новыя вѣрованія, тѣсня старыя языческія, вступали съ ними въ борьбу; и ежели просвѣщенный геній, вникнувъ въ духъ тѣхъ и другихъ вѣрованій, въ отношенія ихъ къ быту, жизни и дѣятельности народной, съумѣетъ противопоставить ихъ одни другимъ; то въ такомъ случаѣ новая эпопея не только возможна, но ее должно желать и ожидать, какъ народной славы. Но ежели бы мы захотѣли имѣть эпопею подобную древней; — это желаніе было бы странно, нелѣпо, несбыточно.

Эпопея есть исторія поэтической жизни народа; слѣдовательно она не можетъ быть частнымъ вымысломъ поэта; она составляется изъ народныхъ сказаній, кото-

рыя пріуготовляются и разработываются для поэмы въ *сказкахъ и баллядахъ*; но и *сказки* и *баллады*— тѣ же *эпопеи*, только—частныя, мелкія, пріуготовительныя.— Онѣ къ правильной поэмѣ имѣютъ такое же отношеніе, какъ частныя областныя исторіи и исторіи эпохъ и лицъ къ общей исторіи народа или государства. Вотъ почему главнымъ достоинствомъ сказокъ должно почитать современную ихъ содержанію народность. Онѣ тогда только хороши, когда простонародьямъ преданіямъ, повѣрьямъ и разсказамъ даютъ изящныя формы; точно такъ и поэма эпическая тогда только можетъ составлять народное достояніе, когда она является стройнымъ, органически-образованнымъ сводомъ народныхъ сказаній.

Смотря съ этой точки зрѣнія на сказки Пушкина, нельзя найдти ихъ удовлетворительными, вполнѣ соотвѣтствующими своему назначенію; во-первыхъ, потому, что содержаніе ихъ представляетъ смѣсь азіятскаго съ славянскимъ, кромѣ сказокъ: о *Купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ, и о Рыбакѣ и рыбкѣ*, а въ нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, въ *Царѣ Салтанѣ* и *Золотомъ пѣтушкѣ*, замѣтно рѣшительное преобладаніе азіятизма; во-вторыхъ —всѣ они выражаютъ слишкомъ частныя черты дѣйствователей или семейную жизнь ихъ; здѣсь нѣтъ ни одной черты религіозной дѣятельности и очень мало гражданской. Въ этомъ отношеніи баллады его стоятъ несравненно выше сказокъ, особенно пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ; тамъ видны остатки древнихъ повѣрій и нѣкоторыя черты баснословія. Но за то какой разсказъ въ этихъ сказкахъ!—простой, естественный, легкій, живой, игривый, живописный и чисто-русскій не только по значенію словъ, но и по звукотеченію. Какъ просто и естественно придуманы подробности и обстановка общихъ картинъ и обстоятельствъ! Читая ихъ, хочешь вѣрить самымъ сверхъестественнымъ дѣламъ.

Потому-то жаль и досадно, что Пушкинъ не выбиралъ для своихъ сказокъ нашихъ историкосказочныхъ богатырей: *Илью Муромца*, *Соловья Разбойника*, *Добрыню Никитича* и другихъ, въ изображеніи дѣятельности которыхъ можно изображать жизнь народа. Общій порокъ нашихъ писателей-Поэтовъ — незнаніе отечественной исторіи, отечественныхъ нравовъ; это извѣстное и доказанное равнодушіе ко всему отечественному у нѣкоторыхъ талантливыхъ поэтовъ доходитъ до антипатіи. Потому-то, когда они хотятъ написать что либо патріотическое, произведенія ихъ бываютъ холодны, натянуты; вмѣсто чувствованій истинно народныхъ, прямо падающихъ на сердце, мы часто слышимъ громкія, но пустыя возклицанія. Все это происходитъ отъ того, что мы совсѣмъ не изучаемъ Русской старины, народныхъ преданій, нравовъ и повѣрій, и даже языка. Пушкинъ своимъ геніальнымъ инстинктомъ многое разгадалъ въ духѣ и геніи народа по нѣкоторымъ даннымъ чертамъ, узнаннымъ изъ слышанныхъ имъ въ дѣтствѣ сказокъ, изъ исторіи, изъ живой дѣятельности и живаго языка народа Русскаго; потому онъ далеко превзошелъ всѣхъ нашихъ поэтовъ, кромѣ Крылова, въ изображеніи Русской народности. Хотя вы нигдѣ не найдете у него этихъ возгласовъ: *о Русь, о Русское! мы Русскіе!* однако онъ трогаетъ сердце. Прочтемъ эти простые, но согрѣтые чувствомъ стихи:

Вы помните: текла за ратью рать;
Со старшими мы братьями прощались,
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ.... И племена сразились;
Русь обняла кичливаго врага,
И заревомъ московскимъ озарились
Его полкамъ готовые снѣга.

Или:

Предъ ними
Ужъ бѣлокаменной Москвы,

Какъ жаръ крестами золотыми,
Горятъ старинныя главы.
Ахъ братцы! Какъ я былъ доволенъ,
Когда церквей и колоколень,
Садовъ, чертоговъ полукругъ
Открылся предо мною вдругъ!
Какъ часто въ горестной разлукѣ,
Въ моей блуждающей судьбѣ,
Москва, я думалъ о тебѣ!
Москва .. какъ много въ этомъ
Звукѣ для сердца Русскаго слилось!
Какъ много въ немъ отозвалось!

Но угадать можно только общее, а частныя опредѣленныя черты народности не угадываются; ихъ нужно узнать, изучить; ихъ никакой геній не разгадаетъ. И такъ, доколѣ мы не сбросимъ съ себя этого равнодушія, доколѣ не изучимъ народныхъ сказаній и повѣрій, дотолѣ мы не можемъ имѣть Русской эпопеи; а можемъ имѣть только попытки подобныя Руслану и Людмилѣ, которыя такъ же могутъ быть прекрасны въ частяхъ, очаровательны по внѣшней отдѣлкѣ, но такъ же мало будутъ говорить Русскому сердцу.

Пушкинъ, сознавая возможность, необходимость и значеніе *Русской эпопеи*, пытался произвести ее, пытался разработать для нея матеріалы; но также пробовалъ свои силы и въ произведеніи Русскаго романа. Первымъ опытомъ въ этомъ родѣ, какъ мы уже видѣли, былъ *Евгеній Онѣгинъ*, написанный стихами и оконченный въ 1833 году; а въ 1831 году онъ издалъ нѣсколько мелкихъ повѣстей подъ вымышленнымъ именемъ *Ивана Петровича Бѣлкина*. Между этими повѣстями первая—*Выстрѣлъ*—замѣчательна необыкновенною силою характера одного изъ дѣйствующихъ лицъ—*Сильвіо*, а третья —*Гробовщикъ*—достойна вниманія по своему необыкновенно-игривому разсказу, въ которомъ стройно соединено рѣдкое остроуміе съ благородствомъ и простотою въ тонѣ

мыслей и выраженія. Потомъ въ 1834 году, въ Библіотекѣ для чтенія явилась новая повѣсть: *Пиковая Дама*. По общему составу и организаціи, эта повѣсть также, какъ и первыя, не имѣетъ полноты и цѣлости, и представляетъ собою какъ бы отрывокъ или эпизодъ изъ большаго полнаго романа. Въ этой повѣсти характеръ инженернаго офицера—*Германа*, есть такое дивное созданіе, такой чудный образъ, который такъ сильно поражаетъ воображеніе, что его ни какъ нельзя забыть. Этотъ человѣкъ, во всемъ холодный, ко всему равнодушный, не знаетъ ни тревогъ, ни волненій, ни радостей; всѣ его мысли, всѣ желанія сосредоточены въ жаждѣ обогащенія; это не страсть, а голодъ; и онъ твердо, неуклонно идетъ къ своей цѣли; ничто не останавливаетъ его на этомъ пути; въ этомъ стремленіи, онъ употребляетъ людей такъ точно, какъ шашки и карты: они падаютъ, гибнутъ нравственно, страдаютъ, умираютъ предъ его глазами; онъ спокойно вывѣдываетъ три вѣрныя карты, на которыя можетъ выиграть разсчитанную сумму; но игра внѣ его страсти; она— только вѣрное средство къ цѣли, къ которой онъ идетъ не рыскуя; къ рыску онъ не способенъ. Ужасный, но естественный, полный истины, характеръ! Туть есть и другіе, превозходно набросанные, образы, но они предъ Германомъ блѣдны, тусклы!

Романъ—*Капитанская дочка*, — основанный на анекдотѣ изъ временъ Пугачевскихъ, ни въ какомъ отношеніи нельзя сравнивать съ прежними его повѣстями; во-первыхъ, потому что тамъ мы видимъ только отдѣльные характеры, которые представляются намъ отрывками или картинами изъ большой картины, а здѣсь цѣлое стройное. Конечно, Рафаэля знатоки узнавали и по одной чертѣ, проведенной имъ; и отдѣльныя головки Брюлова очаровательны. Да! и мощный геній Пушкина видѣнъ въ Германѣ; однако намъ пріятнѣе видѣть выраженіе полной мысли; и эта-то полная мысль зрѣло обдумана

и отчетливо выражена въ *Капитанской дочкѣ*. Здѣсь въ такой тѣсной рамѣ такъ много изображено лицъ, съ такою полнотою и отчетливостію, съ такою живостію, что, кажется, всѣ проходятъ предъ нами живые. Каждое лице такъ вѣрно самому себѣ во всѣхъ положеніяхъ, что ни однимъ поступкомъ, (ни однимъ дѣйствіемъ), ни одною мыслію, ни однимъ словомъ не измѣняетъ своему характеру; каждый дѣйствователь совершенно выполняетъ свое назначеніе; и всѣ они необходимо нужны для общей цѣли, какъ въ Божіемъ мірѣ нужны всѣ части его для стройнаго движенія цѣлаго.—Ни одна черта характера не повторяется въ другомъ лицѣ. Но всѣ эти отличія и превозходства произведенія могутъ быть общими и другимъ романамъ, потому что они выполняютъ общіе законы изящнаго искуства; собственно же характеръ генія Пушкина выражается здѣсь въ необыкновенномъ искуствѣ разсказывать самые простые повседневные случаи, въ какомъ-то не объяснимомъ тактѣ простоты, соединенной съ приличіемъ и даже съ благородствомъ, и особенно въ естественномъ знаніи Руси, которое онъ почерпалъ не изъ книгъ, а изъ сердца, изъ жизни; или, лучше сказать, онъ не зналъ Россіи, какъ мы не знаемъ самихъ себя; а когда говорилъ о чемъ нибудь Русскомъ, то думалъ и чувствовалъ по-Русски, какъ всѣ мы думаемъ по своему. Потому-то многія черты, которыя другой писатель не осмѣлился бы употребить, почитая ихъ мелкими, ничтожными, у него составляютъ высокую красоту; напримѣръ, Гриневъ, разсказывая объ отправленіи своемъ на службу, говоритъ между прочимъ: «Матушка отыскала мой паспортъ, хранившійся въ ея шкатулкѣ *вмѣстѣ съ сорочкою, въ которой меня крестили.*» Такое же знаніе языка, какъ и народныхъ чувствованій, давало ему счастливую возможность щеголять тѣмъ, что другихъ писателей роняетъ до грязнаго, особенно

въ описаніи простаго домашняго быта; напримѣръ—Капитанша, изображая свое простое мирное счастіе, прибавляетъ: » *одна бѣда; Маша,—дѣвка на выданьи, а какое у нея приданое?—Частый гребень, да вѣникъ, да алтынъ денегъ (прости Богъ!) съ чѣмъ въ баню сходить.*»

Давно Пушкинъ задумалъ написать трагедію: *Борисъ Годуновъ;* еще въ 1825 году напечатанъ былъ отрывокъ или сцена въ *Сѣверныхъ цвѣтахъ*; но окончательно вся она напечатана въ 1831 году. Приверженцы Пушкина назвали его тогда Русскимъ Шекспиромъ за эту драму; а противники прокричали тогда же о его паденіи; но люди безпристрастные, имѣющіе свой независимый взглядъ на искуство, не согласились ни съ тѣми, ни съ другими. Разсматривая *Бориса Годунова*, какъ трагедію или высокую драму, мы найдемъ въ ней множество недостатковъ, несообразностей, нарушеній то условныхъ, то коренныхъ существенныхъ законовъ искуства; но если взглянемъ на это произведеніе просто, какъ на созданіе своевольнаго прихотливаго гепія, желавшаго оживить въ памяти и воображеніи читателя великое событіе; то найдемъ и въ творцѣ великія геніальныя силы и въ твореніи — (хотя также не безъ недостатковъ) — высокія красоты, которыя изумляютъ умъ, возвышаютъ волю, плѣняютъ воображеніе и радуютъ сердце. Первый и главный недостатокъ драмы состоитъ въ томъ, что въ ней нѣтъ единства дѣйствія: въ началѣ дѣйствуетъ Годуновъ, и все здѣсь вращается около него; въ четвертой сценѣ является новое лицо; *Григорій Отрепьевъ*, который и самъ еще не знаетъ своего значенія; но съ пятой сцены онъ становится главнымъ дѣйствователемъ, и Борисъ дѣлается совсѣмъ страдательнымъ лицемъ; только изрѣдка пробуждается въ немъ сила духа; а въ двадцатой и остальныхъ двухъ сценахъ Бориса уже нѣтъ; между тѣмъ дѣйствіе все еще продолжается Слѣдовательно, если отбросить три первыя сцены, отъ

чего трагедія совсѣмъ не теряетъ цѣлости, то ее надобно будетъ назвать не *Борисъ Годуновъ*, *а Григорій Отрепьевъ* или *Самозванецъ*. И такъ здѣсь есть сцены, которыя не нужны для цѣлости произведенія; есть лица, которыя вовсе не содѣйствуютъ общему ходу драмы; напримѣръ: Патріархъ, Игуменъ, Маржеретъ, Розенъ.

Теперь хотите ли видѣть это созданіе, какъ свободную идею Поэта о давноминувшемъ времени, какъ картину необыкновеннаго событія?—Хотите ли видѣть частныя красоты этого созданія? И предъ вами оживаютъ люди Русскіе, свободные отъ всякой чужеземщины, кромѣ нѣкоторыхъ татарскихъ замашекъ, съ Русскимъ умомъ и Русскимъ сердцемъ своего времени. Это—хроника сердца Русскаго! Вотъ предъ нами сцена въ Чудовомъ монастырѣ; — въ ней два лица: старецъ Пименъ и молодой чернецъ Григорій. Какъ величественно умилительна бесѣда старца, который смотритъ на длинный рядъ минувшаго, съ юнымъ инокомъ, который буйно грозитъ будущимъ! Какъ просто и трогательно Пименъ представляетъ свое смиренное призваніе лѣтописца; какъ, стоя между минувшимъ и будущимъ, изображаетъ первое для втораго, какъ простодушно разсказываетъ онъ о покаяніи и смерти Іоанна!

Еще одно послѣднее сказанье –
И лѣтопись окончена моя!
Исполненъ долгъ, завѣщанный отъ Бога
Мнѣ грѣшному. Не даромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искуству вразумилъ...
. . . . . .
На старости я съизнова живу;
Минувшее проходитъ предо мною. —
Давно ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся, какъ море-окіанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно.
Не много лицъ мнѣ память сохранила;

Не много словъ доходитъ до меня;
А прочее погибло невозвратно!...
Но близокъ день, лампада догораетъ —
Еще одно послѣднее сказанье...

Короткая сцена между Патріархомъ и Игуменомъ Чудова монастыря въ ходѣ драмы не имѣетъ ни какого значенія; но она представляетъ драгоцѣнныя черты современности; въ немногихъ словахъ живо рисуетъ понятія вѣка; напримѣръ, между прочимъ, Игуменъ говоритъ объ Отрепьевѣ. «И былъ онъ весьма грамотенъ, читалъ наши лѣтописи, сочинялъ канопы Святымъ; *но знать грамота далась ему не отъ Господа Бога....*»

Патріархъ.

«Ужъ эти мнѣ грамотѣи! Что еще выдумалъ! *буду царемъ на Москвѣ*! Ахъ, онъ сосудъ діавольскій! Поймать, поймать врагоугодника, да и сослать въ Соловецкій на вѣчное покаяніе. Вѣдь это ересь отецъ, игуменъ?»

Игуменъ.

«Ересь, святый владыко, сущая ересь.»

Эта сцена, равно какъ и нѣсколько другихъ, написана не стихами, но рѣчью обыкновенной; потому что онѣ не были плодомъ вольной фантазіи, возторженной величіемъ событія и кипѣніемъ страстей тѣхъ дѣйствователей, которыхъ прахъ давно уже изчезъ; онѣ списаны или съ вѣчнаго и неизмѣннаго духа народнаго, или съ лѣтописей; онѣ, какъ исторія, изображаютъ народъ и принадлежатъ народу. Но тамъ, гдѣ поэтъ изображалъ движенія душъ и страстей дѣйствователей, тамъ онъ предавался свободнымъ мечтамъ, и свои идеи выражалъ своимъ современнымъ языкомъ и звучными легкими стихами. Между этими страстными сценами особенно замѣчательны: девятая, которая начинается раз-

говоромъ Царя съ Царевичемъ, и потомъ продолжается разговоромъ Царя съ Шуйскимъ, двѣнадцатая, которая происходитъ, въ саду у фонтана, между Самозванцемъ и Мариною; и тринадцатая—на литовской границѣ, между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ, и девятнадцатая —между Царемъ Борисомъ и Басмановымъ, и потомъ смерть Царя. Напримѣръ — въ тринадцатой сценѣ молодой Курбскій, горя нетерпѣніемъ видѣть отечество изгнаннаго опальнаго своего отца, подскакавъ къ границѣ, въ забытьи говоритъ:

Вотъ, вотъ она, вотъ Русская граница!
Святая Русь! Отечество! я твой!
Чужбины прахъ съ презрѣньемъ отряхаю
Съ моихъ одеждъ, пью жадно воздухъ новый;
Онъ мнѣ родной. Теперь твоя душа,
О мой отецъ! утѣшилась, и въ гробѣ
Опальныя возрадуются кости!
Блеснулъ опять наслѣдственный нашъ мечъ,
Сей славный мечъ—гроза Казани темной,
Сей добрый мечъ—слуга Царей Московскихъ!
Въ своемъ пиру онъ загуляетъ
За своего надежду-Государя...

Самозванецъ.

(Идетъ тихо съ поникшей головой.)
Какъ счастливъ онъ! Какъ чистая душа
Въ немъ радостью и славой разыгралась!
О, витязь мой, завидую тебѣ!
Сынъ Курбскаго, воспитанный въ изгнаньи,
Забывъ, отцемъ снесенныя, обиды,
Его вину за гробомъ искупивъ,
Ты кровь излить за сына Іоанна
Готовишься; законнаго царя
Ты возвратишь отечеству... ты правъ;
Душа твоя должна пылать весельемъ.

Курбскій.

Ужели ты не веселишься духомъ?
Вотъ наша Русь! Она твоя, царевичъ.
Тамъ ждутъ тебя сердца твоихъ людей,
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.

Самозванецъ.

Кровь Русская, о Курбскій, потечетъ!
Вы за царя подняли мечъ, вы чисты.
Я къ васъ веду на братьевъ; я Литву
Позвалъ на Русь; я въ красную Москву
Кажу врагамъ завѣтную дорогу!
Но пусть мой грѣхъ падетъ не на меня,
А на тебя, Борисъ-цареубійца!
Впередъ!

Курбскій.

Впередъ! и горе Годунову!

И такъ *Борисъ Годуновъ*—Пушкина—есть такое созданіе, въ которомъ Поэтъ обнаружилъ великія силы; здѣсь творчество его стало на высокую степень, до какой онъ прежде сего не доходилъ; но искусство слабо. Ясно, что Пушкинъ не созрѣлъ еще для драмы; потому, что она требуетъ отъ поэта, кромѣ силъ естественныхъ, много средствъ пріобрѣтенныхъ: опытности въ жизни, знанія людей, знанія исторіи, изученія міра искусствъ во всей его обширности. Главный недостатокъ этой трагедіи—невыдержаніе или даже отсутствіе всякаго характера въ Борисѣ. Всѣ дѣйствователи драмы, не исключая самаго Пимена, безстрастнаго свидѣтеля злодѣйства, говорятъ о Годуновѣ, какъ о великомъ человѣкѣ съ могучимъ умомъ и сильною волею; между тѣмъ самъ онъ не обнаруживаетъ ни какой силы духа; въ большой части сценъ онъ слабъ, боязливъ и нерѣшителенъ, и только из-

рѣдка, и то на минуту, пробуждается въ немъ сила души — Энергія, какъ, напримѣръ, въ сценѣ съ Басмановымъ. Этотъ недостатокъ произошелъ отъ излишней довѣренности поэта къ Карамзину. Историкъ изобразилъ Бориса умнымъ и смѣлымъ злодѣемъ, твердымъ, рѣшительнымъ царедворцемъ, но слабымъ и боязливымъ царемъ. У Карамзина въ двухъ большихъ томахъ, наполненныхъ краснорѣчивыми описаніями, эти противорѣчія теряются; ихъ можно замѣтить только при многократномъ повтореніи чтенія; а здѣсь—въ шести сценахъ, въ которыхъ Борисъ является, это противорѣчіе слишкомъ явно выдается. Характеръ Самозванца очерченъ превосходно; онъ несравненно сильнѣе Борисова; Самозванецъ ясно понимаетъ свое значеніе. Это видно изъ его словъ:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,
Димитріемъ изъ гроба нарекла;
Вокругъ меня народы возмутила,
И въ жертву мнѣ Бориса обрекла.
Царевичъ я. Довольно, стыдно мнѣ
Предъ гордою Полячкой унажиться.
Прощай на вѣкъ. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширныя заботы
Тоску любви, надѣюсь, заглушатъ...
. . . . . .
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что болѣе повѣрятъ Польской дѣвѣ,
Чѣмъ Русскому Царевичу! Но знай,
Что ни Король, ни Папа, ни вельможи
Не думаютъ о правдѣ словъ моихъ.
Димитрій я, иль нѣтъ—что имъ за дѣло?
Но я предлогъ раздоровъ и войны...

Пушкинъ самъ понялъ свою неудачу и недостатокъ; и, послѣ *Бориса Годунова*, началъ развивать и укрѣплять свой геній въ мелкихъ сценическихъ попыткахъ, чтобъ утвердить его въ правильномъ развитіи страстей и въ вѣрномъ выраженіи ихъ; онъ написалъ

нѣсколько прекрасныхъ драматическихъ сценъ, страстныхъ, кипучихъ; — лучшими изъ нихъ, безъ сомнѣнія, можно почесть: *Скупой Рыцарь* и *Моцартъ и Сальери*. Въ первомъ твореніи онъ изобразилъ бореніе естественныхъ чувствъ между отцемъ и сыномъ съ алчнымъ сребролюбіемъ, а во второмъ — борьбу генія съ завистію. — Но смерть остановила успѣхи генія, и онъ умеръ, не достигши совершеннаго развитія.

Изъ этого обозрѣнія всѣхъ значительнѣйшихъ поэтическихъ произведеній Пушкина мы ясно видимъ, что онъ въ началѣ своей литературной дѣятельности шелъ, уступая только внутренней тревогѣ духа; онъ сознавалъ въ себѣ силу; но ни степени этой силы, ни характера, ни опредѣленнаго назначенія ея не сознавалъ; онъ пѣлъ потому, что не могъ не пѣть. Потомъ онъ, сознавъ свое призваніе, старался образовать характеръ своей дѣятельности; старался пополнить то, чего литературѣ нашей недоставало и къ чему она была уже подготовлена предшественниками его; при этомъ сознаніи и совершенства и недостатки его получили постоянный характеръ; и онъ оказалъ Русской литературѣ великія заслуги. Пушкинъ понялъ яснѣе, нежели Жуковскій и Батюшковъ, что неестественное не можетъ быть истинно-изящнымъ, не можетъ произвести въ насъ истиннаго, некнижнаго восторга; онъ смѣлѣе ихъ и съ большею увѣренностію обратился къ простотѣ и естественности. Послѣ Крылова онъ первый сталъ писать такъ, что произведенія поэзіи могли пріятнѣе дѣйствовать и на душу свѣтскаго образованнаго человѣка, и ученаго, и смышленаго простолюдина. Онъ не старался *орыцаретворять* Русскихъ витязей, но умѣлъ найдти въ нихъ самихъ черты высокія и прекрасныя; онъ не заботился, подобно Карамзину и Жуковскому, обогащать языкъ нашъ новыми оборотами, заимствованными изъ чужеземныхъ языковъ,—займы не богатство!—а разработывалъ богатый, неизчер-

паемый рудникъ языка—народный языкъ, умѣя дать ему чистоту и благородство. Пушкинъ зналъ лучше всѣхъ нашихъ писателей, и живыхъ и мертвыхъ, какъ матеріальную часть языка, такъ и всѣ изгибы формъ его; онъ думалъ не германо-книжнымъ умомъ, и чувствовалъ не сердцемъ Жанъ-Жака Руссо, а своимъ Русскимъ умомъ, своимъ Русскимъ сердцемъ. Крыловъ и Пушкинъ, по всей справедливости, могутъ быть названы первыми народными писателями. Всѣ ихъ предшественники, какъ классики, такъ и романтики, писали для не многихъ, только для людей, образованныхъ школьнымъ способомъ; даже самые баснописцы употребляли языкъ книжный, слѣдовательно не всѣмъ понятный. Формы выраженія Пушкина такъ неопредѣлимо разнообразны, какъ могутъ быть разнообразны мысли и представленія своеправнаго генія. Повторимъ: онъ писалъ, какъ думалъ и чувствовалъ; напримѣръ:

Долина тихая дремала,
Въ ночной одѣтая туманъ;
Луна во мглѣ перебѣгала
Изъ тучи въ тучу, и курганъ
Мгновеннымъ блескомъ озаряла.

Или:

Зачѣмъ же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?
Временъ отъ вѣчной темноты,
Быть можетъ, нѣтъ и мнѣ спасенья!
Быть можетъ, на холмѣ нѣмомъ
Поставятъ тихій гробъ Руслановъ,
И струны громкія баяновъ
Не будутъ говорить о немъ!...

И въ той же самой поэмѣ мы видимъ прямую противоположность этому языку и этому стилю:

Когда за курицей трусливой
Султанъ куратника спѣсивой,

Пѣтухъ мой по двору бѣжалъ
И сладострастными крылами
Уже подругу обнималъ...

Или:

Молчи, пустая голова!
Слыхалъ я истину бывало:
Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
Я ѣду, ѣду не свищу,
А какъ наѣду, не спущу.

Такихъ противоположностей и среднихъ степеней между ними мы найдемъ множество въ каждомъ его произведеніи.

Главное достоинство поэтическихъ созданій Пушкина—согласіе идеи съ формами; видно, что у него въ самое мгновеніе рожденія мысли отъ того же движенія души раждалась и форма выраженія. Въ продолженіе всего осмнадцатаго столѣтія, съ тѣхъ поръ, какъ у насъ начали думать о словесномъ искуствѣ, форма брала перевѣсъ предъ идеей; и этотъ недостатокъ былъ господствующимъ во всѣхъ ложно-классическихъ литературахъ; отъ того всѣ наши стихотворцы и поэты того времени, не исключая самаго Державина, болѣе или менѣе обнаруживали эту общую черту. Жуковскій, какъ уже извѣстно, первый поработилъ форму идеи. Но какъ онъ образовался и изучалъ поэтическое искуство по образцамъ Германской и Англійской литературъ, и внесъ къ намъ идеи *христіанороматическія*; а формы выраженія изучалъ по образцамъ нашихъ старыхъ писателей—поэтовъ, слѣдовавшихъ *ложно-классическому* направленію (полугреческому, полуфранцузскому); то у него произошла новая ошибка—преобладаніе идеи предъ формою, которая какъ бы не досказываетъ мысли и заставляетъ такимъ образомъ разгадывать ее. Отъ того многія стихотворенія его отличаются темнотою и таинственностію. Подражатели Жуковскаго, не понявъ дѣла и причины

его, безпрестанно жаловались и грустили, что *человѣческій языкъ недостаточенъ и слишкомъ скуденъ для выраженія ихъ мыслей и чувствованій.* Жалкая уловка бездарныхъ и безъидейныхъ писателей! Жуковскій только одинъ разъ, и то въ молодости, да при томъ, кажется, болѣе для рнемы сказалъ: *но гдѣ для страсти выраженья?* — а они подобными жалобами старались прикрыть пустоту души своей. Пушкинъ, полный мыслей, идей, мечтаній и чувствованій, которыя, раждаясь въ душѣ его свободно, безъ всякихъ насильственныхъ потуговъ, также легко и свободно раждали съ собой и слово, доказалъ, что языкъ человѣческій равенъ уму его, что нѣтъ мысли безъ словъ, что слово есть внѣшняя мысль и что всегда вполнѣ обнимаетъ всѣ изгибы ея. Онъ стройно согласилъ и слилъ нераздѣльно эти двѣ стихіи искуства словеснаго. Вотъ почему, читая Пушкина, не утомляешь ума; здѣсь все понятно, все ясно; нѣтъ мыслей недосказанныхъ, нѣтъ стиховъ безъ мыслей, безъ представленій; его стихи пробуждаютъ въ душѣ читателя легкіе образы; отъ того все прочитанное невольно остается въ памяти. Онъ понялъ поэзію и музыку языка.

Нѣтъ сомнѣнія, что Пушкинъ долженъ стоять въ тѣсномъ кругу первыхъ нашихъ дѣйствователей литературныхъ. Но какое назначеніе его въ исторіи Русской Литературы?—Гдѣ и въ чемъ онъ особенно проявилъ свое значеніе?—Конечно, Пушкинъ еще не кончилъ круга своей дѣятельности; еще не выполнилъ своего призванія; онъ только показалъ опыты, которые, по разнообразію своего направленія и образа мыслей, не могли ясно и опредѣлительно указать его прямаго назначенія; однако, если принять въ соображеніе быстроту хода и характеръ измѣненія его литературной дѣятельности; то можно отгадывать, что могъ бы совершить его геній, когда бы судьба отсрочила конецъ его жизни. Онъ дол-

женъ былъ возвратить насъ къ совершенному сознанію нашей первобытной народности, первоначальныхъ естественныхъ впечатлѣній и понятій, слившихся съ христіанскою вѣрою и проясненныхъ наукою и образованіемъ; ему предназначено было утвердить у насъ общій вкусъ и образовать общій идеалъ, и тѣмъ содѣйствовать къ составленію общественнаго мнѣнія въ литературѣ. Онъ обаятельно дѣйствовалъ на современное общество; онъ имѣлъ довольно силы и характера остановить мелкихъ, то заносчивыхъ и бездарныхъ, то дерзкихъ и своекорыстныхъ притязателей на законодательство вкуса; это обаяніе и эта власть надъ умами и чувствомъ безпрестанно усиливались. Но скоро ль явится подобный исполинъ съ подобною волею?...

Нейдетъ, нейдетъ спаситель!

Говорить ли здѣсь о прозѣ Пушкина? о его *Исторіи Пугачевскаго бунта* и отдѣльныхъ литературныхъ сужденіяхъ его?—Прочесть эту исторію безъ критическаго на нее взгляда можно съ удовольствіемъ; но разбирать ее изъ уваженія къ великому поэтическому таланту мы не хотимъ. Въ ней есть прекрасныя картины, которыя живо изображаютъ бѣдствія и ужасы этого времени, есть много хорошаго; но поэтъ не долженъ брать на себя степенной обязанности историка. Всѣ его критическія замѣтки о старыхъ писателяхъ и о собственныхъ произведеніяхъ отличаются болѣе остроуміемъ и смѣлостію сужденій, нежели вѣрностію взгляда. Такъ, напримѣръ, онъ справедливо замѣчаетъ, что Ломоносовъ, бывши великимъ ученымъ, былъ напыщенъ въ ораторствѣ и слишкомъ стѣсненъ подражаніемъ въ поэзіи; но, какъ поэтъ, онъ не могъ спокойно разсуждать объ этихъ недостаткахъ; онъ преувеличилъ ихъ по понятіямъ своего вѣка и по той степени искуства, на которой самъ стоялъ. Точно также, по благородной снисходительности къ со-

временнымъ поэтамъ, особенно къ *Баратынскому* и *Дельвигу*, слишкомъ высоко ставилъ ихъ достоинства; онъ дополнялъ своимъ воображеніемъ то, чего въ нихъ не доставало. Вообще между статьями, составляющими одиннадцатый томъ его сочиненій, есть такія, которыя должно сохранять съ благоговѣйнымъ уваженіемъ къ памяти сильнаго писателя, какъ, напримѣръ, его мнѣнія о собственныхъ его сочиненіяхъ, о Рославлевѣ *Загоскина* и др., хотя бы мы находили въ нихъ и нѣкоторую невѣрность въ сужденіяхъ; но мы встрѣтимъ здѣсь и много такого, что должно было бы остаться въ непзвѣстности; издатели оказали бы большую услугу, если бы не напечатали тѣхъ статей, которыя Пушкинъ писалъ не для насъ, а просто записалъ про случай. Когда геніальный писатель ошибается въ мнѣніи о какой либо частной красотѣ или мѣстномъ недостаткѣ созданія; то эта ошибка не можетъ имѣть большаго вліянія на общее мнѣніе; когда же такой писатель въ минуту дурной настроенности духа произноситъ про себя общее мнѣніе о другомъ великомъ писателѣ; то надобно съ большею осмотрительностію приводить въ извѣстность такія мнѣнія.

Нужно ли оправдывать Поэта противъ обвиненій, посягающихъ на чистоту его помысловъ? Послѣднее его стихотвореніе есть лучшая его защита:

Молитва.

Отцы-Пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь дольныхъ бурь и битвъ,
Сложили множество божественныхъ молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
Какъ та, которую священникъ повторяетъ
Во дни печальные великаго поста;
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста—
И падшаго свѣжитъ невѣдомою силой:
«Владыка дней моихъ! духъ праздности унылой,

Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
И празднословія не дай душѣ моей;
Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже! прегрѣшенья,
Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья.
И духъ смиренія, терпѣнія, любви
И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи.

Современники Пушкина.

Пушкинъ образовалъ у насъ свою литературную школу; но онъ не такъ счастливъ былъ въ своихъ послѣдователяхъ, какъ предшественникъ его Жуковскій. Конечно, ежели считать послѣдователями его всѣхъ современныхъ ему поэтовъ и стихотворцевъ, какъ нѣкоторые писатели журнальные называютъ не только *Баратынскаго* и *Дельвига*, но даже и Давыдова подражателями Пушкина; то они образовали бы значительный кругъ и по количеству и по качеству: но справедливость требуетъ отличить прямыхъ послѣдователей его отъ тѣхъ, которые случайно сошлись съ нимъ, и, увлеченные превозходствомъ его генія, незамѣтно заимствовались отъ него какими нибудь свойствами. Ежели этихъ послѣднихъ почитать послѣдователями, то мы всѣ послѣдователи его; потому что великіе таланты имѣютъ сильное вліяніе на своихъ свременниковъ. Такимъ образомъ мы не только Баратынскаго, но и Дельвига не считаемъ въ числѣ его послѣдователей; потому что Баратынскій началъ писать прежде Пушкина, и всегда сохранялъ свой особый характеръ, — можетъ быть съ небольшими уклоненіями; а Дельвигъ, не увлекаясь славою товарища и друга своего, избралъ для себя маленькій скромный кружекъ дѣятельности, и былъ въ немъ самостоятеленъ.

Баратынскій.

Нельзя не удивляться, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, почему *первыя юношескія произведенія Баратынскаго были приняты съ восторгомъ; а послѣднія, болѣе зрѣлыя, болѣе близкія къ совершенству, въ публикѣ имѣли малый успѣхъ?* Но мы не можемъ согласиться съ вели-

кимъ нашимъ поэтомъ въ тѣхъ причинахъ равнодушія общества къ Баратынскому, которыя онъ представляетъ: Онъ говоритъ, во-первыхъ, что зрѣлыя, глубоко обдуманныя, созданія Баратынскаго были выше понятій его современниковъ; во-вторыхъ—что журналисты, не понявъ ихъ сами, уронили въ общественномъ мнѣніи, которое еще не установилось и не имѣетъ голоса; въ-третьихъ—что острыя и мѣткія эпиграммы ожесточили противъ него *правителей Русскаго Парнаса*. Нѣтъ! главною и почти единственною причиной охлажденія публики къ Баратынскому были необыкновенные успѣхи Пушкина, которые занимали все и всѣхъ. Первыя созданія Баратынскаго, какъ напримѣръ, *Воспоминанія*, *Сельская Элегія*, *Финляндія*, *Больной* и многія другія, печатанныя въ *Сынѣ* отечества въ продолженіе 1820 и 21 годовъ, согрѣты были глубокимъ, истиннымъ и непритворнымъ чувствомъ, какого нельзя было найдти въ первыхъ созданіяхъ Пушкина; они были проще и естественнѣе, нежели элегіи прежнихъ поэтовъ, не исключая даже Жуковскаго и Батюшкова; потому они такъ сильно привлекли, обратили на себя вниманіе современнаго общества. Потомъ дальнѣйшее усовершенствованіе Баратынскаго шло тихо и медленно, а Пушкина—живо и быстро;—одинъ манилъ къ себѣ читателей и почитателей, а другой приковалъ ихъ къ своей торжественной колесницѣ. Пушкинъ ставитъ Баратынскаго *рядомъ съ Жуковскимъ и выше Батюшкова*, (конечно относительно элегій; ибо въ другихъ отношеніяхъ нельзя ихъ сравнивать); но безусловно рѣшить этотъ вопросъ едвали можно. Мы уже сказали, въ чемъ онъ превосходитъ прежнихъ элегистовъ, и это мнѣніе свое готовы доказать выписками изъ него; напримѣръ, вотъ какъ начинается *Сельская Элегія*.

Я возвращуся къ вамъ, поля моихъ отцевъ,
Дубравы милыя, священный сердцу кровъ;

Я возвращуся къ вамъ, домашнія иконы!...
Свободный наконецъ отъ вѣтренныхъ надеждъ,
Отъ безпокойныхъ сновъ, отъ суетныхъ желаній,
Изпивъ безвременно всю чашу изпытаній.
Не призракъ счастья, но счастіе нужно мнѣ.
Усталый труженникъ, спѣшу къ родной странѣ
Заснуть желаннымъ сномъ подъ кровлею родимой.
О домъ отеческій! о край, всегда любимой!
Родныя небеса! не звучный голосъ мой
Въ стихахъ задумчивыхъ васъ пѣлъ въ странѣ чужой.

Поэмы или повѣсти Баратынскаго не богаты содержаніемъ, не отличаются роскошными картинами; въ нихъ нѣтъ замысловатыхъ завязокъ и интригъ; нѣтъ сильной поразительной борьбы характеровъ; но есть прекрасные образы, очерченные съ любовію и вѣрнымъ искуствомъ. Надобно согласиться съ Пушкинымъ, что въ Эдѣ *женская любовь развита съ необыкновенною глубиною чувствъ*, что въ другой поэмѣ—*Балъ*—*поэтъ съ удивительнымъ искуствомъ соединилъ въ своемъ разсказѣ тонъ шуточный и страстный, Метафизику и поэзію*. Прибавимъ къ этому сужденію, что въ третьей поэмѣ—*Цыганка*—страсти изображены съ поразительною вѣрностію; но замѣтимъ, что чувствованія горькія Баратынскій изображалъ съ большею силою и вѣрностію; и доколѣ чувство грусти господствовало въ его созданіяхъ, произведенія его были естественны и трогательны. Потому-то въ элегіяхъ Баратынскій можетъ соперничать съ лучшими нашими поэтами; а въ повѣствовательной поэзіи долженъ стоять между второстепенными стихотворцами; потому что сила страстей безъ дѣйствій принадлежитъ лирикѣ, а не повѣсти; а у него вездѣ замѣтенъ недостатокъ дѣйствія.

Дельвигъ. Баронъ Дельвигъ былъ школьной товарищъ и другъ Пушкина, который зналъ его съ раннихъ лѣтъ, съ четырнадцатаго года его возраста, и до послѣдней мину-

ты жизни былъ съ нимъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ; потому въ положительныхъ извѣстіяхъ объ немъ, мы можемъ безусловно положиться на Пушкина который между прочимъ говоритъ: «Любовь къ поэзіи пробудилась въ немъ рано. Онъ зналъ почти наизустъ собраніе Русскихъ стихотвореній, изданное Жуковскимъ. Съ Державинымъ онъ не разставался. Клопштока, Шиллера и Гете прочелъ онъ съ однимъ изъ своихъ товарищей, живымъ лексикономъ и вдохновеннымъ коментаріемъ. Горація изучилъ въ классѣ подъ руководствомъ профессора. Дельвигъ никогда не вмѣшивался въ игры, требовавшія проворства и силы; онъ предпочиталъ прогулки по аллеямъ Царскаго села и разговоры съ товарищами, коихъ умственныя склонности сходствовали съ его собственными. Первыми его опытами въ стихотворствѣ были подражанія Горацію. Оды: *Къ Діону*, *къ Лилетъ*, *Дориду*, писаны имъ на пятнадцатомъ году и напечатаны въ собраніи его сочиненій безъ всякой перемѣны. Въ нихъ уже замѣтно необыкновенное чувство гармоніи и той классической стройности, которой никогда онъ не измѣнялъ.» Въ самомъ дѣлѣ, въ этихъ стихотвореніяхъ видѣнъ ранній талантъ, который особенно отличается силою воображенія и живостію чувства, которыя въ послѣдствіи онъ умѣлъ соединить съ вѣрнымъ и мѣткимъ искуствомъ стройнаго гармоническаго выраженія. Онъ при этихъ достоинствахъ пріобрѣлъ заслуженную славу въ легкихъ пѣсняхъ, которыя сдѣлались народными; напримѣръ:

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Гдѣ всю ночку пропоешь?
Кто-то бѣдная, какъ я,
Ночь прослушаетъ тебя,
Не смыкаючи очей,
Утопаючи въ слезахъ?

Ты лети, мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синія моря,
На чужія берега;
Побывай во всѣхъ странахъ,
Въ деревняхъ и городахъ;
Не найдти тебѣ нигдѣ
Горемычнѣе меня.
У меня ли у младой
Дорогъ жемчугъ на груди,
У меня ли у младой
Жаръ—колечко на рукѣ;
Въ день осенній на груди
Крупный жемчугъ потускнѣлъ;
Въ зимню ночку на рукѣ
Разпаялося кольцо!

Все это поэтъ подслушалъ у народа, усвоилъ себѣ сердцемъ, и, очистивъ, облагородивъ своимъ образованнымъ чувствомъ, снова передалъ народу въ формахъ, знакомыхъ ему, но чистыхъ, изящныхъ. Здѣсь видно преобладаніе чувства; но вотъ созданіе его воображенія или фантазіи:

Одинокъ въ облакахъ мѣсяцъ плылъ туманный,
Одинокъ воздыхалъ въ полѣ витязь бранный.
По травѣ вкругъ него конь бродилъ уныло:
«Добрый конь, вѣрный конь! понесемся къ милой!
Не къ добру сердце мнѣ что-то предвѣщаетъ,
«Не къ добру грудь моя тяжко воздыхаетъ;
Не къ добру, спутникъ мой, бродишь ты уныло!
«Добрый конь, вѣрный конь! понесемся къ милой!»
Конь вздрогнулъ. Ты душой смутенъ, витязь бранный;
Быстро мчитъ конь тебя къ сторонѣ желанной!
Мчись, лети, — но настигъ рокъ тебя суровой. —
Конь заржалъ, конь взвился надъ могилой новой.

Козловъ. Козловъ, Слѣпецъ-поэтъ, заслужилъ литературную славу также послѣ Пушкина; потому и его называютъ послѣдователемъ его; но это мнѣніе совершенно ложно. Конеч-

но Козловъ не совсѣмъ самобытный поэтъ, но и не послѣдователь Пушкина. Взгляпемъ па его поэму, или повѣсть, *Чернецъ*, и мы легко увѣримся, что она написана частію подъ вліяніемъ собственнаго чувства грусти, вопли которой усмиряются только вѣрою, частію подъ вліяніемъ духа Жуковскаго. Вотъ какъ несчастный отшельникъ, между прочимъ, говоритъ въ своей исповѣди:

Угрюмый, скорбный, одичалой,
Терзался я мечтой бывалой,
Рыдалъ о томъ, чего ужъ нѣтъ;
Ночная тѣнь, потокъ нагорной,
И бури свистъ, и вѣтровъ вой
Сливались въ тайнѣ съ думой черной,
Съ неутолимою тоской.
И горе было наслажденьемъ,
Святымъ остаткомъ прежнихъ дней;
Казалось мнѣ, моимъ мученьемъ
Я не совсѣмъ разстался съ ней.

Гдѣ сердце любитъ, гдѣ страдаетъ,
И милосердый Богъ нашъ тамъ:
Онъ крестъ даетъ, и Онъ же намъ
Въ крестѣ надежду посылаетъ.
Чрезъ семь тяжелыхъ лѣтъ
Блеснулъ и мнѣ отрадный свѣтъ.
Однажды я ночной порою
Сидѣлъ уныло надъ рѣкою;
И неба огнезвѣздный сводъ,
И тихое луны мерцанье,
И говоръ листьевъ, и плесканье
Луной осеребренныхъ водъ,
Невольно душу все плѣняло,
Все въ міръ блаженства увлекало
Своей таинственной красой.
Проснулся духъ моей сокрушенной:
«Творецъ всего! младенецъ мой
«Съ моей супругой незабвенной
«Живутъ въ странѣ твоей святой,
«И можетъ быть, я буду съ ними,

«И тамъ они на вѣкъ моими.»
Любви понятны чудеса:
Съ какимъ-то тайнымъ ожиданьемъ
Дрожало сердце упованьемъ;
Я поднялъ взоръ на небеса,
Дерзалъ ихъ вопрошать слезами...
И, мнилось, мнѣ въ отвѣтъ былъ данъ
Сей безмятежный океанъ,
Съ его нетлѣнными звѣздами.
Съ тѣхъ поръ я въ бѣдствіи самомъ
Нашелъ, отецъ мой, утѣшенье.
И тяжкимъ упованъ крестомъ
Съ ней выстрадать соединенье...

Таковъ характеръ всѣхъ произведеній Козлова; такъ ясно видѣнъ въ нихъ духъ Жуковскаго! Такъ и во всѣхъ его лирическихъ стихотвореніяхъ слышенъ вопль скорби, укрощаемый глубокою вѣрою. Тотъ же самый характеръ замѣтенъ и въ другой его повѣсти: *Наталья Долгорукая*, и даже въ переводахъ его, какъ, напримѣръ, *Абидоская невѣста*,—Лорда Байрона.

Послѣдователи Пушкина.

Веневитиновъ и Лермантовъ, два прелестные цвѣтка, еще не совсѣмъ развернувшіеся, двѣ надежды нашей словесности слишкомъ рано уничтожены завистливою судьбою! Эти два поэта, похищенные преждевременною смертію, и сверхъ того *Языковъ*, *Подолинскій*, *Тепловъ*, *Баронъ Розенъ*, *Кольцовъ* и нѣкоторые другіе, вотъ прямые послѣдователи Пушкина. Веневитиновъ, въ нѣсколькихъ прекрасныхъ опытахъ лирической поэзіи обнаружилъ высокій поэтическій талантъ, который пѣлъ не по замышленнымъ разсчетамъ, а по вдохновенію; а потому идеи его ручались за самобытность его генія; но въ формахъ очень ясно видно вліяніе Пушкина. А прозаическія статьи обличали въ немъ смѣлаго мыслителя. —Языковъ пріобрѣлъ значительную извѣстность въ нашей литературѣ живыми разгульными *пѣснями* и *посланіями*. Правда пѣсни его не всегда трезвы и цѣлому-

древны; многія изъ нихъ отзываются вакханаліями и Анакреонтизмомъ; но между ними есть и такія, которыя не оскорбятъ самаго строгаго приличія.

Вотъ, напримѣръ, стихи Языкова къ А. А. Во—ой:

На Петербургскую дорогу
Съ надеждой милою смотрю,
И путешественниковъ Богу
Свои молитвы говорю:
Пускай отъ холода и вора
Онъ днемъ и ночью васъ хранитъ;
Пускай плѣнительнаго взора
Лихая вьюга не гнѣвитъ!
Пускай зима круты овраги
Засыплетъ бисеромъ своимъ,—
И кони, полные отваги,
По гладкимъ долямъ снѣговымъ,
Подъ голубыми небесами,
Быстрѣй поэтовой мечты,
Служа богинѣ красоты,
Летятъ съ уютными санями...

Клянусь моими божествами:
Я не притворно васъ зову!
Ужъ долго грѣшными мечтами
Я занималъ свою молву!
Вы сильны дать огонь и живость
Пѣвцу, молящемуся вамъ,
И благородство и стыдливость
Его уму, его мечтамъ.
Прошу съ улыбкой ваши узы;
Не буду пѣть моихъ проказъ!
Я, видя васъ,—любимецъ музы!
Я только трубадуръ безъ васъ!

Подолинскій, не имѣя глубокости мыслей Веневитинова и бойкости стиха Языкова, обладаетъ живымъ воображеніемъ, теплотою чувствъ и легкостію вымысла. Подолинскій.

Доказательствомъ этого мнѣнія о Подолинскомъ можетъ служить его стихотворная повѣсть: *Нищій*, и да-

же это коротенькое стихотвореньеце: *Смерть на чужбинѣ.*

Кого положили тутъ въ землю сырую?
Надъ кѣмъ эти вѣтви связали крестомъ?
Жилья тутъ не видно,—могилу другую
Очами далеко не встрѣтишь кругомъ.
Здѣсь умеръ прохожій не здѣшняго края,
Двойной онъ окончилъ нечаянно путь!
Никто не заплакалъ... но всѣмъ намъ родная
Земля и пришельцу *отверзнула* грудь!

Давно позабыли о бѣдномъ чужіе,
Межъ тѣмъ, какъ далеко, *въ предѣлѣ* иномъ—
Быть можетъ—подруга, друзья и родные
Ждутъ милаго гостя, ждутъ вѣсти о немъ...
Узнаютъ когда-то... и слезы польются —
Но къ милому праху слеза не прильнетъ!
Къ могилѣ ихъ вздохи по вѣтру пошлются,
Но вѣтръ охладитъ ихъ, пока донесетъ!

Пусть спитъ одинокій! Ему на чужбинѣ
Сонъ не былъ бы миренъ средь общихъ гробовъ,
Гдѣ сестры о братѣ, гдѣ матерь о сынѣ,
Гдѣ плачутся дѣти надъ прахомъ отцевъ!
Къ могилѣ жъ пустынной — семьею цвѣтущей—
Фіалки тѣснятся подъ тѣнью вѣтвей,
И райскую пѣсню о жизни грядущей,
Надъ нею, что вечеръ, поетъ соловей.

Лермантовъ. Кратковременна была литературная дѣятельность Лермантова; но сильный талантъ его успѣлъ уже отличить себя произведеніями замѣчательными. Превосходство Лермантова предъ многими современными поэтами несомнѣнно. Въ немъ мы видимъ не одну способность переимчивости, но и силу самостоятельной дѣятельности; однако, признавая смѣлый, сильный талантъ и творческую силу въ Лермантовѣ, мы не можемъ безусловно согласиться съ журнальными возгласами и временнымъ увлеченіемъ моднаго мнѣнія, что онъ могъ бы вполнѣ

замѣнить Пушкина. Лермантовъ, конечно, бывши истиннымъ сыномъ настоящаго вѣка, такъ сближенъ былъ съ нимъ своими понятіями, что можно назвать его справедливо представителемъ (его времени) новѣйшаго поколѣнія; но эта самая сближенность или, лучше сказать, безусловная зависимость отъ безхарактернаго, безидейнаго времени, которое онъ такъ живо изобразилъ въ своей *думѣ*, прямо намекаетъ на его безидейное направленіе и слабость поэтическаго характера. Вотъ какъ онъ говоритъ о своемъ времени:

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и поздними ихъ умомъ;
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникѣ чужемъ;
Къ добру и злу постыдно равнодушны;
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;
. . . . . .
. . . . . .
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый;
И часъ ихъ красоты — его паденья часъ!
Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный,
Невѣріемъ осмѣянныхъ, страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшій сокъ на вѣки извлекли.
Мечты поэзіи, созданія искуства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства —
Зарытый скупостью и безполезный кладъ.

И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ни чѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви;
И царствуетъ въ груди какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ съ строгостію судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Поэтъ въ этомъ ужасномъ, но вѣрномъ изображеніи сознаетъ пустоту своего поколѣнія, онъ скорбитъ о немъ, и между тѣмъ влечется по слѣдамъ его. Прочтите *Герой нашего времени*, который, по мнѣнію его приверженцевъ, есть лучшее его созданіе; — и вы не найдете ни основной идеи, ни силы творчества, ни очарованія искуства; это простой, но вѣрный списокъ съ самой дурной натуры, которая не стоитъ искуства; — это осмѣянный имъ міръ! Такова большая часть его произведеній. Но когда онъ выходилъ изъ этого холоднаго міра, тогда талантъ его торжествовалъ, тогда онъ творилъ, и творенія его принимали характеръ высокаго искуства. Возмите, напримѣръ, *Хаджи Абрекъ*, *Мцыри*, и даже мелкія пѣснопѣнія, какъ—*Русалка*, *Бородино*, *Новоселье*, *Молитва*. Какъ много это говоритъ сердцу!

Въ минуту жизни трудную,
Тѣснится ль въ сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизустъ.
Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,

И дышетъ непонятная
Святая прелесть въ нихъ.
Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко —
И вѣрится и плачется
И такъ легко, легко....

Кольцовъ, истинный сынъ природы, также слишкомъ рано похищенъ у Русской литературы смертію; этотъ самородный талантъ былъ совершенно чуждъ науки и искуства; онъ самъ себя образовалъ; и потому, когда онъ пѣлъ природу, простую сельскую жизнь, и пѣлъ просто по влеченію чувства — пѣсни его были прекрасны, просты, естественны, милы; онѣ трогали душу, потому что лились прямо изъ души; когда же онъ хотѣлъ имѣть притязанія на высокое искуство, выходя изъ того круга, въ который поставили его обстоятельства, тогда подражательныя его пѣсни выказывали усиліе, и — если можно такъ сказать — онъ пѣлъ хрипло. Можетъ ли быть что нибудь естественнѣе, проще, милѣе, народнѣе этой пѣсни! Кольцовъ.

Что ты спишь мужичекъ?
Вѣдь весна на дворѣ;
Вѣдь сосѣди твои
Работаютъ давно.
Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты былъ, и что сталъ,
И что есть у тебя?
На гумнѣ — ни снопа,
Въ закромахъ—ни зерна,
На дворѣ — по травѣ
Хоть шаромъ покатись.
Изъ клѣтей домовой
Соръ метлою посмелъ,
И лошадокъ за долгъ
По сосѣдямъ развелъ
И подъ лавкой сундукъ
Опрокинутъ лежитъ,

И, погнувшись, изба,
Какъ старушка, стоитъ.
Вспомни время свое:
Какъ катилось оно
По полямъ и лугамъ
Золотою рѣкой;
Со двора и гумна
По дорожкѣ большой,
По селамъ, городамъ,
По торговымъ людямъ!
И какъ двери ему
Разтворяли вездѣ;
И въ почетномъ углу,
Было мѣсто твое!
А теперь подъ окномъ
Ты съ бѣдою сидишь,
И весь день на печи
Безъ просыпу лежишь.
А въ поляхъ сиротой
Хлѣбъ не скошенъ стоитъ;
Вѣтеръ точитъ зерно;
Клюетъ птица его!
Что ты спишь мужичекъ?
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ.
Въ слѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ;
Путь снѣжкомъ порошитъ,
Подъ санями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ везутъ, продаютъ;
Собираютъ казну, —
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Ежели бы Кольцовъ написалъ не болѣе двухъ подобныхъ пѣсень; то и тогда онъ заслуживалъ бы извѣстность самобытнаго поэта! Въ мысляхъ, въ картинахъ, въ теченіи звуковъ, въ музыкальности стиха, во всемъ чудная живая прелесть поэзіи!

Въ настоящее время мы имѣемъ и еще нѣсколько замѣчательныхъ талантовъ поэтическихъ, какъ напримѣръ: *Бенедиктовъ*, который особенно обращаетъ на себя вниманіе гармоническою звучностію своего лирическаго стиха, *Тимофѣевъ*, который богатъ вымысломъ и др.; но какъ они мужаютъ и совершенствуются; то предоставимъ времени оцѣнить ихъ достоинства и заслуги литературныя.

Романъ.

Въ началѣ настоящаго столѣтія, т. е. въ самую эпоху новаго періода Русской Словесности, все вниманіе читающаго общества поглощено было политикою и газетными извѣстіями объ отчаянной борьбѣ цѣлой Европы и объ утвержденіи ея независимости; потомъ вдругъ оно увлечено было романомъ, который нѣсколько времени составлялъ почти исключительное чтеніе всей образованной части Европейскаго народонаселенія. Грозная и ужасно-великая существенность событій, совершившихся въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣковъ, вывели Европейскій умъ и воображеніе изъ мечтательно-идиллическаго міра, склонили поэтическую дѣятельность къ созданію историко-политическаго романа, и политикою приготовили души къ принятію наслажденія отъ историческихъ романовъ, которые поработили всѣ умы. Но мало помалу усилились, стѣснили права романа и раздѣлили съ нимъ вниманіе общества журналистика и театръ, которые и теперь оспориваютъ у него и другъ у друга господство надъ вниманіемъ образованнаго общества. Вотъ почему мы должны показать, по крайней мѣрѣ, въ общихъ, но ясныхъ очеркахъ эти три отрасли литературной дѣятельности, разкрыть ихъ постепенный ходъ, успѣхъ и степень совершенствованія.

Обзоръ романа въ исторіи Русской Словесности необходимъ не только потому, что произведенія этого рода долго составляли единственное и теперь еще составляютъ любимое чтеніе всего образованнаго общества; но и по-

тому что посредствомъ романа, во-первыхъ, Англійская Литература имѣла сильное вліяніе на нашу словесность, и во-вторыхъ, мы снова возвратились къ подражанію французской литературѣ; и притомъ романъ имѣетъ сильное вліяніе на вкусъ и нравы общества. Въ то время, когда вся Европа думала подражать древнегреческой литературѣ, она создавала новый родъ словесности — романъ, который не могъ быть у древнихъ народовъ. Романъ по значенію своему долженъ почерпаетъ содержаніе изъ современнаго семейнаго быта; но, по ложнымъ понятіямъ объ изящныхъ искуствахъ, писатели не смѣли изображать этотъ бытъ въ дѣйствительномъ видѣ и, такъ сказать, съ настоящимъ колоритомъ, въ естественномъ порядкѣ дѣлъ и вещей. Потому романисты обыкновенно представляли своихъ дѣйствователей въ какомъ-то идиллическомъ, небываломъ мірѣ съ характерами неестественно добрыми и неестественно злыми. Къ концу осмнадцатаго вѣка, нѣкоторые Германскіе писатели начали отступать отъ этого ложнаго пути, и изображеніе романическихъ характеровъ стали приближать къ дѣйствительному общественному человѣку; въ самомъ началѣ девятнадцатаго столѣтія появились первые полуисторическіе романы, какъ напримѣръ: *Куно фонъ-Кибургъ*, *Аристоменъ и Горгъ*. Но честь совершеннаго и окончательнаго преобразованія романа въ западной Европѣ принадлежитъ Англійскому или, лучше сказать, Шотландскому поэту, — Вальтеръ-Скотту. У насъ въ Россіи, когда Карамзинъ, занявшись исторіею, пересталъ писать повѣсти, эта ортасль словесности совсѣмъ остановилась; люди, болѣе образованные, знавшіе языки, читали романы на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а другіе должны были довольствоваться дурными переводами съ французскаго ложно-чувствительныхъ романовъ *Жанлисъ*, *Котень*, *Дюкре-дюминиля*, съ англійска-

го—*Радклифъ*, съ нѣмецкаго—*Августа Лафонтена*, *Коцебу* и сатирическими, впрочемъ умными, только не всегда благопристойными произведеніями *Крамера*. Было романа два-три и полуоригинальныхъ Русскихъ—Бунина и Извѣковой, но въ нихъ ничего не было Русскаго, кромѣ словъ. Уже въ Англіи *Вальтеръ-Скоттъ* далъ роману историческое направленіе, указавъ ему значеніе дополненія къ Исторіи, которое поэтъ отгадываетъ по даннымъ историческимъ фактамъ; уже въ Сѣверной Америкѣ явился подражатель-соперникъ его, *Куперъ*; уже *Байронъ*, возкресивъ героевъ *Жанъ-Жака Руссо*, облекалъ ихъ въ формы болѣе сильныя, болѣе смѣлыя и поразительныя; но мы мало знали объ этихъ измѣненіяхъ, потому что Англійская Литература была незнакома намъ. Переворотъ былъ такъ смѣлъ, рѣшителенъ и скоръ, что живые, воспріимчивые французы, на которыхъ большинство нашихъ читателей смотрѣло какъ, на непогрѣшительныхъ указателей, еще не успѣли принять его, чему впрочемъ много содѣйствовала недавняя, еще незабытая, вражда народная. Потому-то у насъ до 1823 года Вальтеръ-Скоттъ былъ почти вовсе неизвѣстенъ.

Между тѣмъ, независимо отъ этого литературнаго переворота на западѣ, у насъ зрѣлъ и развивался самобытный талантъ, который, не бывши еще знакомъ съ произведеніями Шотландскаго поэта, думалъ объ измѣненіи романа. *Нарѣжный*, видя съ одной стороны, что общее увлеченіе къ чтенію романа не могло быть случайно, съ другой, замѣчая, что это чтеніе, не смотря на свою всеобщность, почитается какъ бы запрещеннымъ по силѣ общественныхъ нравовъ, и производится, если не тайно, то тишкомъ, рѣшился дать роману значеніе дѣльное и болѣе важное; онъ обратилъ свое вниманіе не на французскіе образцы, а на особенности частной жизни Русскаго, неофранцузившагося человѣка и преиму-

Нарѣжный.

щественно на Малоросса; наблюдалъ нравы, подмѣчалъ живыя и безпрестанно измѣняющіяся пружины частныхъ и домашнихъ интересовъ,—и создалъ Русскій романъ, основанный на дѣйствительной жизни, безконечно-разнообразной, но никогда не отступающей отъ общаго единства нравовъ, которое даетъ роману народную занимательность. Первымъ произведеніемъ его въ этомъ родѣ были разсказы — *Славянскіе вечера*, которые были напечатаны въ 1809 году, когда еще и помину не было о Вальтерѣ-Скоттѣ; потомъ, послѣ долгаго молчанія, онъ издалъ романъ *Аристіонъ или перевоспитаніе*. Впрочемъ, въ этотъ двѣнадцатилѣтній промежутокъ онъ написалъ два романа, изъ которыхъ одинъ—*Горскіе Князья* или *Черный день*—напечатанъ уже послѣ смерти его, а другой и доселѣ не напечатанъ—*Русскій Жилблазъ*; — потомъ явился *Бурсакъ*, *Два Ивана* и нѣсколько повѣстей. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ видѣнъ сильный, самостоятельный, творческій талантъ; вездѣ обнаруживается глубокое знаніе нравовъ и тонкая наблюдательность, и такая степень искуства, которая опередила свое время. Ежели Нарѣжный не вполнѣ былъ понятъ, ежели онъ не имѣлъ большаго успѣха; то причины этой безуспѣшности заключались не въ недостаткѣ таланта, не въ недостаткахъ произведеній, не въ направленіи и не въ характерѣ романовъ и повѣстей его, а въ случайныхъ обстоятельствахъ: общество наше, выученное и образованное по чужеземнымъ и устарѣлымъ теоріямъ, почуждымъ взглядамъ на все, даже на самого себя, по чуждымъ образцамъ, не знало Русскихъ нравовъ и Русской жизни, столь разнообразной, столь видоизмѣнчивой, что она вполнѣ никогда неуловима для того, кто не выросъ въ ней, кто не жилъ ею. Могло ли это общество понять Нарѣжнаго, узнать въ его произведеніяхъ свое родное, когда это свое, это родное было ему совершенно незнакомо и чуждо? Нарѣжный, желая дать

своему роману какъ можно болѣе Русской особенности, вызывалъ дѣйствователей для него преимущественно изъ такихъ участковъ общества, которые были совершенно свободны отъ всякой чужеземной подражательности, кромѣ усвоенныхъ имъ бурсацки-рыцарскихъ замашекъ, приправленныхъ Русскимъ удальствомъ, и которые были близки къ первобытной патріархальной нашей простотѣ. А этотъ родъ жизни и дѣятельности не могъ быть занимателенъ для читателей чувствительно-идиллическихъ сказочекъ, въ которыхъ и злѣйшіе враги вѣжливы и изверги человѣчества сладкорѣчивы. — Нарѣжный, выбирая для повѣстей и романовъ своихъ дѣйствователей простонравныхъ бурсаковъ и подобныхъ имъ обитателей Украйны, конечно не могъ быть разборчивъ въ формахъ выраженія и въ оборотахъ языка. А этотъ недостатокъ не могли простить ему даже и тѣ, которые понимали его. Они, вопреки желанію своему, по инстинктивной привычкѣ винили его; потому что изысканность выраженій почиталась тогда главнымъ условіемъ изящества. Кто зналъ бурсацкій міръ и бытъ мелкаго Русскаго дворянства, для тѣхъ *Бурсакъ* и *Два Ивана* превосходны; здѣсь все истинно, все естественно, просто, стройно; это — сама природа, приведенная въ опредѣленные размѣры и формы. Кто же не зналъ этого міра, тѣ конечно не могли понимать и красотъ созданія, извлеченныхъ изъ него; а въ тогдашнемъ читающемъ обществѣ было слишкомъ мало людей, знавшихъ этотъ особый міръ, на который, такъ называемое, образованное наше общество не хотѣло смотрѣть, или смотрѣло съ презрѣніемъ. Самый существенный недостатокъ, который также не мало препятствовалъ успѣху произведеній Нарѣжнаго — какая-то ученическая робость и неловкость въ оборотахъ выраженій, которыя рѣзко противорѣчили щегольскому языку Карамзина и его послѣдователей.

Булгаринъ и Загоскинъ.

Хотя успѣхъ романовъ Нарѣжнаго въ мнѣніи современнаго ему общества далеко не соотвѣтствовалъ внутреннимъ ихъ достоинствамъ; однако мы помнимъ его заслуги, и вѣроятно позднее потомство не скоро забудетъ ихъ; потому что онъ указалъ новый путь, и вызвалъ къ дѣятельности другихъ воздѣлывателей этой отрасли словесности. Еще онъ дѣйствовалъ, а на это поприще выступилъ новый писатель съ меньшимъ талантомъ, но съ бо́льшею смышленостію, дѣятельный, неутомимый *Булгаринъ*. Онъ, помня блестящій успѣхъ Карамзина, видя передъ собою неполную удачу Нарѣжнаго, и понимая также, что нельзя уже идти по слѣдамъ перваго, старался по возможности соединить условія успѣшности того и другаго; потому-то онъ бралъ содержаніе для своихъ повѣстей изъ дѣйствительнаго міра и преимущественно изъ временъ близкихъ, и облекалъ его въ формы Карамзинскія. Смѣтливый, осторожный и сознававшій степень силъ своихъ, онъ началъ свою дѣятельность мелкими разсказцами, почерпнутыми преимущественно изъ отечественной войны; потомъ, когда уже пріобрѣлъ извѣстность и утвердилъ за собою значительное довѣріе общества, рѣшился написать большой сатирическій или нравоописательный романъ—*Иванъ Ивановичъ Выжигинъ*. Успѣхъ его былъ обезпеченъ прекраснымъ, предварительно напечатаннымъ началомъ — *Сиротка*. Конечно *Выжигинъ*, какъ романъ, не выдержитъ и легкой критики; но какъ рядъ картинъ, списанныхъ съ темныхъ угловъ общества, имѣетъ несомнѣнныя достоинства и можетъ стать между лучшими произведеніями этого рода. Потомъ Булгаринъ, познакомившись съ романами Вальтеръ-Скотта, написалъ историческій романъ, *Дмитрій Самозванецъ*, который вызвалъ на соперничество писателя, извѣстнаго дотолѣ драматическими сочиненіями, *Загоскина;* онъ почти въ одно время съ нимъ издалъ свой историческій романъ, *Юрій*

Милославскій, взятый почти изъ той же эпохи. Послѣ того оба романиста, подстрекаемые духомъ соперничества, выбрали ближайшую къ намъ эпоху—1812 годъ, и написали изъ нее по роману: Булгаринъ—*Петръ Ивановичъ Выжигинъ*, который можетъ служить продолженіемъ Ивана Ивановича, а Загоскинъ — *Рославлевъ;* этимъ и кончилось ихъ прямое соперничество; они разошлись по разнымъ путямъ: Булгаринъ послѣ того написалъ историческій романъ — *Мазепа*, и нравоописательный—*Записки Чухина;* а Загоскинъ, кромѣ малыхъ повѣстей, написалъ полуисторическій романъ, *Асколь-дова могила*, фантастическій—*Искуситель*, и нравоописательный—*Мирошевъ*. Эта голословная перечень не можетъ опредѣлять ни ихъ относительныхъ достоинствъ и недостатковъ, ни особенностей ихъ; отсюда видно только одно весьма важное обстоятельство: выборъ 1812 года для основы романа доказываетъ, что они оба имѣютъ, или, по крайней мѣрѣ, имѣли ложное понятіе объ историческомъ романѣ. Подобныя эпохи не могутъ дать хорошаго содержанія для романовъ; для этого нужно выбирать междоусобія и внутреннія волненія, которыя раздѣляютъ и друзей и родныхъ и любящихъ съ любимыми, которыя имѣютъ вліяніе на дѣла семейныя и сами зависятъ отъ нихъ. А во времена, подобныя 1812 году, всѣ частныя, личныя и семейныя отношенія должны умолкнуть. Потому-то у Булгарина мы безпрестанно должны видѣть неумѣстныя встрѣчи Петра Ивановича съ Наполеономъ, у Загоскина весь романъ состоитъ изъ сценъ и анекдотовъ, неимѣющихъ отношеній къ роману. Нѣтъ сомнѣнія, что оба эти писатели дѣйствовали на оживленіе и ходъ литературы, на развитіе вкуса въ современномъ обществѣ къ чтенію: Булгаринъ, хотя самъ былъ подражателемъ сначала Карамзину и Нарѣжному, потомъ Вальтеръ-Скотту; однако онъ и вызывомъ соперничества и непосредственно собствен-

ными произведеніями дѣйствовалъ на идеи общества. Многіе даровитые писатели далеко потомъ превзошли его; однако зачѣмъ же они не догадались приняться за это дѣло прежде? Загоскинъ, хотя выступилъ на поприще романиста въ слѣдствіе соперничества и подраженія; однако, при самомъ началѣ, въ первомъ своемъ произведеніи обнаружилъ самостоятельность таланта и особенное искуство въ изображеніи характеровъ. Булгаринъ умѣетъ хорошо изображать картины въ родѣ Фламандской школы, какъ напримѣръ: *Сиротка въ большемъ барскомъ домѣ*,—*бытъ Жидовъ*,—*Польская конфедерація;* иногда онъ въ романѣ удачно рѣшаетъ историческіе вопросы, какъ, напримѣръ, онъ рѣшилъ или разгадалъ равнодушіе Русскаго народа при борьбѣ *Самозванца* съ *Годуновымъ:* но у него нѣтъ сильныхъ занимательныхъ характеровъ; романическій вымыселъ какъ-то разходится съ Исторіею; это особенно замѣтно въ *Петрѣ Ивановичѣ Выжигинѣ:* здѣсь Наполеонъ и Пертъ Ивановичъ—два лица совершенно равносильныя; они безпрестанно сходятся и стараются превзойти другъ друга въ великодушіи, какъ будто Наполеонъ за тѣмъ приходилъ въ Россію; короче: Булгаринъ не поэтъ; и потому его романы одинъ разъ прочтешь охотно, но въ другой читать не хочется. Вы видите умъ, разсудительность и глубокую обдуманность сочинителя; но дѣйствователи васъ не увлекаютъ, не очаровываютъ; потому что это умная и очень правильная проза.

Загоскинъ мастерски изображаетъ характеры и преимущественно драматическими средствами въ разговорахъ, такъ, что сочинитель какъ будто совсѣмъ не участвуетъ въ этихъ характеристикахъ; дѣйствователи сами себя высказываютъ въ своихъ желаніяхъ, привычкахъ, ухваткахъ и страстяхъ, обнаруживая вмѣстѣ съ тѣмъ общія черты народныя; каждое лице возбуждаетъ занимательность, и заставляетъ принимать въ се-

бѣ участіе или симпатическое или антипатическое. Но не рѣдко у него встрѣчаются анахронизмы; и очень часто замѣтенъ недостатокъ искуства или, лучше сказать, недостатокъ художнической любви, этой отеческой привязанности къ своему произведенію, которая находитъ наслажденіе въ совершенствѣ его, и которая въ Булгаринѣ доходитъ до слабости; короче, у Загоскина болѣе силы, нежели охоты къ созданію; потому-то судьба дѣйствователей въ его романахъ находитъ невольный отголосокъ въ сердцѣ; но критическій умъ рѣдко бываетъ имъ доволенъ. А какъ сердечныхъ наслажденій ищетъ всякій, критикуютъ же не многіе; то Загоскина читаютъ и недовольные; лучшій его романъ — *Мирошевъ*, слабѣйшій — *Искуситель*.

Послѣдующіе романисты.

Всякая новая дѣятельность, даже и неудачная вызываетъ новыхъ дѣятелей. Такъ, успѣхъ нашихъ первыхъ романистовъ возбудилъ къ соревнованію и смѣлые самостоятельные таланты и завистливую бездарность и умную смышленость. Первые повели искуство далѣе, поставили его выше; и исторія русской словесности должна съ уваженіемъ и признательностію говорить о нихъ; потому что дѣятельность талантовъ— даже ошибочная—поучительна. Вторыхъ исторія клеймитъ поруганіемъ, или изъ жалости забываетъ, ежели они мирно трудились, не унижая другихъ; запосчивая бездарность часто принимаетъ тонъ законодательный: тогда она не должна падѣяться пощады. Третьи, не смотря на свою полезность, имѣютъ мѣсто въ Исторіи потому только, что, идя по слѣдамъ первыхъ, поддерживаютъ ихъ могущество и усиливаютъ ихъ вліяніе на образованіе общественнаго вкуса. Въ числѣ первыхъ у насъ могутъ стоять *Ложечниковъ*, *Полевые*, *Марлинскій*, *Степановъ*, а въ послѣдствіи *Кукольникъ*, *Гоголь*, и *Зенеида Р*; въ ряду послѣднихъ *Ушаковъ*, *Массальскій*, *Жукова* и другіе, о которыхъ еще рано говорить,

Ложечниковъ.

Ложечниковъ выбралъ на свою долю собственно историческій романъ. *Послѣдній Новикъ* доставилъ ему первую блестящую извѣстность. Содержаніе этого романа почерпнуто изъ временъ Петра Великаго; большая часть дѣйствователей — лица историческія; но общая идея, планъ романа, и даже нѣкоторые характеры заимствованы изъ *Шпіона Купера*. Слѣдовательно это подраженіе великому литературному произведенію. Да, это счастливое подражаніе, которое можетъ стоять выше многихъ хорошихъ оригинальныхъ произведеній; потому что Русскій романистъ сдѣлалъ многія важныя измѣненія противъ своего образца, которыя даютъ бо́льшую стройность цѣлому. Такъ напримѣръ: Куперъ, увлеченный возторженнымъ патріотизмомъ, создалъ въ *Биршѣ* лице неестественное, противорѣчащее истинѣ и природѣ человѣческой. *Шпіонъ* Ложечникова, лице таинственное, но понятное: Онъ съ бурными, дикими страстями въ юности, избалованный счастіемъ, вовлеченный въ государственное преступленіе, и спасенный отъ казни, бѣжалъ изъ родины; но послѣ, понявъ всю тяжесть вины своей, онъ жертвуетъ всѣмъ для примиренія съ своею совѣстію и чтобы заслужить прощеніе великаго Царя. Здѣсь множество характеровъ сильныхъ, даже великихъ, удивительныхъ; но они всѣ вѣроятны, естественны и такъ истинны, что кажется, инаковыми они и быть не могутъ. Второстепенные дѣйствователи, равно какъ и мелочные случаи, вводимые въ разсказъ, имѣютъ такое же значеніе, какъ мелкія колеса въ большой многосложной машинѣ, безъ которыхъ она точно также не можетъ имѣть ходу, какъ и безъ большихъ; напримѣръ: *Маркитантша Лизба* и сама по себѣ занимательнѣе, и по значенію своему въ общемъ ходѣ дѣйствія важнѣе, нежели *Маркитантша* Купера, которая служила образцомъ Лизбы. Для соблюденія исторической истины и

для развитія всей разности историческихъ обстоятельствъ между завоеваніемъ Лифляндіи и освобожденіемъ Америки, Ложечниковъ долженъ былъ многія лица ввести въ свой романъ, которыхъ у Куппера совсѣмъ нѣтъ, значеніе нѣкоторыхъ дѣйствователей измѣнить, и всѣмъ вообще характерамъ и обстоятельствамъ дать другой колоритъ, который бы соотвѣтствовалъ мѣсту и времени; и все это онъ выполнилъ съ удивительнымъ успѣхомъ, который подражанію даетъ характеръ самобытный.

Второе произведеніе его, *Ледяной домъ*, представляетъ живую дѣятельную картину борьбы между русскимъ барствомъ и бироновщиною. Для любителей легкаго чтенія, которые не отдаютъ себѣ строгаго отчета въ томъ, что читаютъ, *Ледяной домъ* всегда станетъ выше *Послѣдняго Новика*; потому что въ немъ болѣе движенія страстей; дѣйствіе не такъ обширно и не такъ сложно; потому нѣтъ надобности въ напряженіи вниманія; не требуется отъ читателя глубокаго соображенія; за то этотъ романъ не выдержитъ строгой критики; характеры главныхъ дѣйствователей неровны, напримѣръ, *Волынскій* сначала дѣйствуетъ сильно, смѣло, благородно и умно и производитъ какое-то обаяніе на всѣхъ; потомъ, когда, кажется, совсѣмъ уже подавляетъ врага своего, вдругъ дѣлается робкимъ, вялымъ, безразсуднымъ; отъ того самая погибель его не возбуждаетъ того грустнаго, тоскливаго участія, какое должно бы овладѣть душею читателя при его паденіи; участіе, которое мы принимаемъ въ Волынскомъ, становится чисто историческимъ; такъ что второстепенныя лица сплою воли и живостію дѣйствій сильнѣе привязываютъ къ себѣ, нежели главныя, и возбуждаютъ въ каждомъ читателѣ личное, страстное участіе; такова преимущественно предъ всѣми *Цыганка*.

Третій романъ Ложечникова *Басурманъ*. Въ немъ большая часть лицъ принадлежитъ исторіи; а главное лице

врачъ *Отто* или, какъ его называли Русскіе, *Антонъ*, нѣмецъ, котораго, по духу того времени (Іоанна III) считали *Басурманомъ*. Этотъ человѣкъ, заброшенный злой-судьбою въ далекій край міра, чуждый ему по рожденію, по обрядамъ вѣры, по воспитанію, по правамъ, понятіямъ и по языку, сообщаетъ произведенію высокую и трогательную занимательность. Ежели разбирать этотъ романъ по отдѣльнымъ частямъ; то мы найдемъ здѣсь такіе случаи, картины и положенія лицъ, которые могутъ счастливо соперничать съ лучшими мѣстами *Послѣдняго новика* и подъ которыми не постыдился бы подписать свое имя самъ творецъ историческаго романа, Вальтеръ-Скоттъ; напримѣръ, начальный эпизодъ о безразсудномъ поступкѣ молодаго богатаго графа противъ врача, которому чрезъ нѣсколько лѣтъ судьба представила случай ужасно отмстить знатному обидчику; врачъ спасаетъ въ роковую минуту и мать и раждающагося младенца, принуждаетъ графа клясться посвятить сына врачебному искуству и званію. Этотъ эпизодъ, изъ котораго проистекаетъ весь романъ, поразительно ужасенъ, и совершенно согласенъ съ духомъ времени; и это мѣсто не единственное въ романѣ. Если же разбирать все созданіе, какъ *единое* цѣлое, которое должно имѣть единство мысли, единство общаго дѣйствія, единство народнаго характера, выраженныя въ разнообразныхъ подробностяхъ; то здѣсь найдется много несообразностей: даже характеръ самаго *Іоанна*, лица по преимуществу историческаго, изображенъ до странности невѣрнымъ; онъ сначала романа осторожёнъ, нерѣшителенъ; на него имѣетъ сильное вліяніе В. К. *Софія*; онъ уважаетъ *Холмскаго*, любитъ самаго иноземнаго молодаго врача, презрительно смѣется надъ татарскимъ мурзою; потомъ, не смотря ни на какія просьбы *Софіи*, *Холмскаго*, *Аристотеля* и другихъ сильныхъ людей, ни на любовь къ самому *Анто-*

ну, отдаетъ его за какія-то подозрѣнія этому презрѣнному Татаршну, который зарѣзалъ его всенародно, какъ барана. Эта несообразность слишкомъ поразительна! Какъ бы то ни было, только Ложечниковъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ талантовъ нашего времени, который одинаково обладаетъ и силою творчества и силою искуства; а недостатки его — прямыя слѣдствія ложнаго взгляда на историческую жизнь Русскаго народа, отъ того у него и романизмъ худо спаивается съ исторіею.

Но первый изъ нашихъ писателей понялъ частную жизнь Русскаго народа и отношеніе ея къ жизни исторической *Н. А. Полевой*; онъ это доказалъ своимъ романомъ: *Клятва при гробѣ Господнемъ*. Это первый истинно Русскій историческій романъ. Вся наша историческая жизнь и дѣятельность состоитъ въ борьбѣ патріархальной раздѣльности и гражданскаго стремленія къ государственному единству. Первая стихія, само собою разумѣется, имѣетъ начало въ жизни частной семейной. И такъ Русскій историческій романъ, особенно до временъ смутнаго междуцарствія, долженъ изобразить черты этой частной жизни и вліяніе ея въ ходѣ и развитіи жизни и дѣятельности государственной. *Полевой* выбралъ эпоху послѣдней, самой жестокой, самой упорной борьбы семейной за великокняжеское достоинство, въ которую, кромѣ древнихъ вѣковыхъ предразсудковъ, вмѣшались татарщина, утвердившаяся въ русскихъ правахъ двумя столѣтіями, и личныя страсти. Въ этомъ романѣ главное дѣйствующее лице Русь съ ея обычаями, съ ея правами, съ ея полузакопами; эта Русь стремится къ развитію силъ своихъ, къ окрѣпленію, къ возмужалости, и въ стремленіи своемъ встрѣчаетъ препятствія въ предразсудкахъ патріархальности, въ татарщинѣ, въ частныхъ цѣляхъ самыхъ исполнителей своихъ, въ ихъ слабостяхъ, въ непрочности постановленій; люди здѣсь только орудія или второстепенныя

Н. Полевой.

лица, исполнители ея видовъ и представители вѣковыхъ народныхъ добродѣтелей и пороковъ. Потому-то сочинитель въ началѣ романа изображаетъ намъ характеръ Руси, ея бытъ, ея понятія, ея духъ, ея буйную нестройность, ея разгульную безпечность, ея заносчивую самонадѣянность, изображаетъ перепалку Русскаго ума на пиру, гдѣ русскій человѣкъ является весь нараспашку; потомъ уже выводитъ совмѣстниковъ—дѣйствователей, которые чисто за семейный домашній разладъ подняли вверхъ дномъ всю государственную систему Россіи, приводя ее этимъ хаотическимъ броженіямъ, путями жестокостей, убійствъ, кровопролитій и пожаровъ къ той цѣли, къ которой она стремилась. Исполнители этихъ видовъ ея: *В. К. Софія*, сынъ ея В. К. *Василій*, въ послѣдствіи *Темный*, Князь *Юрій Дмитріевичъ* и сыновья его: *Василій Косой* и *Дмитрій Шемяка*, таинственный *Гудочникъ* или *Скоморохъ* или *Паломникъ* и другіе менѣе важные дѣйствователи. Эта длинная галлерея историческихъ портретовъ, которые, ежели въ отдѣльности не всегда вѣрны и несовершенно сходны съ своими частными подлинниками, то, по крайней мѣрѣ, всѣ вообще, вмѣстѣ взятые, представляютъ картину общей жизни народа, изумительно вѣрную; каждое лице, будучи необходимо для цѣлости картины, представляетъ собою какую либо народнорусскую черту: добродѣтель, страсть или порокъ, и предразсудокъ или слабость, которые своимъ столкновеніемъ и борьбою составляютъ жизнь дѣятельную, кипучую, бурную. Хотя *В. К. Софія*, *В. К. Василій Васильевичъ* и К. *Юрій Дмитріевичъ* имѣютъ характеры болѣе общіе — только съ нѣкоторыми проблесками Русскаго духа; однако и въ нихъ видно много народности. Софія здѣсь не мать Государя, которую подданные чтутъ или боятся ея вездѣ и всегда одинаково, и которая на счастіи народа утверждаетъ счастіе сына; это — старшая въ родѣ, или, что называется, *большая въ домѣ*,

которая, при личной заносчивости, спѣшитъ властвовать, пока сынъ еще молодъ; и въ поддапныхъ, по патріархальному простоправію, за обильною трапезой и веселою бесѣдой отозвались родственники—гости. Василій, при личной робости, чувствуя присутствіе стариковъ, какъ-то неловко держитъ власть свою; но когда возмужалъ въ несчастіяхъ и измѣнахъ, онъ жестокъ, какъ татаринъ, и неутомимъ въ преслѣдованіи самыхъ мнимыхъ враговъ. Юрій, дряхлый старикъ, ищущій спокойствія, давно привыкшій къ покорности, при словахъ, что онъ *старшій въ родѣ*, становится и бодръ и властолюбивъ. Но самые смѣлые и живые образы Русскихъ свойствъ, добродѣтелей и пороковъ, мы видимъ въ *Иванѣ Гудочникѣ*, *Шемякѣ*, *Косомъ*, *Дмитріи Красномъ*, *Ряполовскихъ*, *Юріи Патрикѣевичѣ*. Хотите ли видѣть умъ смѣтливый, изворотливый, живой, развязный, находчивый въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, умъ человѣка *бывалаго*, при твердой волѣ, умъ изощренный опытами и знаніями многихъ странъ, искушенный татарскою тираніею, но удержавшій русскія формы и русскій характеръ,—это *Иванъ Гудочникъ*, Русскій пройдоха, стремящійся къ опредѣленной, тайной, но благородной, по крайней мѣрѣ, безкорыстной цѣли. Василій Косой есть первообразъ Русскаго властолюбца и, по духу времени, представляетъ *забіяку—сорви-голова*, образовавшагося подъ вліяніемъ татарской нравственности; но братъ и товарищъ его *Шемяка*, высокій и ужасный образецъ русскаго рыцаря (*витязя*), безпечный гуляка, безстрашный удалецъ, смѣлый до сумасбродства, довѣрчивый до простоты, благородный до самозабвенія, чувствительный до мечтательности, справедливый до упрямства; вѣрный другъ, нѣжный братъ, благочестивый христіанинъ; но дикій звѣрь въ гнѣвѣ, неукротимый мститель вѣроломства и неправды; по сердцу, по душѣ для него есть родина, есть родичи и родные,

есть друзья и враги, есть люди и христіане, которыхъ онъ любитъ и жалѣетъ; но по вліянію духа времени для него нѣтъ ни отечества, ни соотечественниковъ, ни любви для нихъ. Потому онъ всегда игрушка судьбы и людскихъ страстей, при всемъ своемъ могуществѣ внѣшнемъ и внутреннемъ. Образцами истиннаго прямаго благородства—братья *Ряполовскіе*, но благородства русскаго, нѣсколько жесткаго, грубоватаго, упрямаго. Взгляните наконецъ на К. *Юрія Патрикіевича*; вотъ образецъ истинно русскаго слабодушія, но слабодушія барскаго; онъ чистое воплощеніе пословицы: *намъ, кто ни попъ, тотъ батька.* Василій Васильевичъ — Великій Князь; ему угражаетъ опасность истинная или мнимая, все равно; и К. Юрій Патрикіевичъ клянется отъ души, что положитъ животъ свой за него, и онъ не хитритъ; онъ вѣритъ своей клятвѣ, и готовъ исполнить свою клятву, ежели бы это было не страшно; Василій, всѣми оставленный, бѣжалъ; въ Москву вступаетъ Юрій Дмитріевичъ; и тотъ встрѣчаетъ его съ хлѣбомъ-солью, отъ души и раболѣпно служитъ ему, и тѣ же клятвы въ опасностяхъ, и та же безхитростная встрѣча съ хлѣбомъ съ солью, когда Василій Васильевичъ возвращается въ Москву; и при всѣхъ перемѣнахъ онъ все тотъ же и не измѣненъ; это живой вѣчный образъ мягкаго бездушія. Но онъ не отвратителенъ, а жалокъ и смѣшенъ; это не то, что коварный угодникъ К. Туголукой, или смотритель тюремъ.

Всѣ эти лица и многія другія, кромѣ бездомнаго Гудочника, изображены въ своемъ частномъ быту, который рѣзко отражается въ ихъ общественной дѣятельности, и всѣ они то въ общихъ столкновеніяхъ, то въ поочередной дѣятельности представляютъ вѣрное изображеніе Руси XV вѣка въ ея частной и общественной жизни. Кто прочелъ эту поэму только одинъ разъ; тотъ не можетъ составить себѣ точнаго понятія объ этомъ произве-

денін. Это созданіе глубоко обдуманное, и требуетъ глубокаго изученія. Картины старинаго русскаго быта такъ вѣрны, какъ сама дѣйствительность; напримѣръ—*пированіе* Русскихъ барынь съ ихъ жеманствомъ, важничаньемъ и скромною разгульностію; или *сговоръ Шемяки съ княжною Заозерскою*. Все это даетъ намъ живое истинное понятіе о старинномъ русскомъ *житьѣ-бытьѣ;* здѣсь русская жизнь, русская дѣятельность, русскія страсти, русскія доблести, русскіе пороки и предразсудки! Остается только желать, чтобы сочинитель исполнилъ обѣщаніе и подарилъ насъ другимъ романомъ, который долженъ составить окончаніе этого. Въ романѣ: *Аббадонна,* Полевой хотѣлъ выразить борьбу поэзіи съ дѣйствительностію, и сначала эта мысль была послушна сочинителю и легко укладывалась въ формы, созданныя имъ; но къ концу романа она совсѣмъ потеряна изъ виду; и сверхъ того самые образы дѣйствователей остались недокопченными. Въ повѣстяхъ Полеваго много силы страстей, много поразительныхъ характеровъ; но нерѣдко забывается *естественность* и родныя ея сестры: *простота* и *истина;* а гдѣ нѣтъ ихъ, тамъ нѣтъ и изящнаго. Въ дѣйствительной природѣ нѣтъ усилія; а потому и въ міръ изящнаго искуства оно не допускается.

Ксенофонтъ Полевой, братъ перваго, написалъ только одинъ романъ: *Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ;* но этого достаточно, чтобъ имя писателя сохранилось въ потомствѣ. Онъ оказалъ намъ двойную услугу: во-первыхъ, подарилъ два тома прекраснаго, легкаго, занимательнаго чтенія о временахъ и людяхъ близкихъ намъ; во-вторыхъ, онъ познакомилъ насъ съ геніемъ Ломоносова. Нынѣ съ нѣкотораго времени у журналистовъ вошелъ въ моду совѣтъ *изучать* нѣкоторыхъ писателей; и особенно этотъ совѣтъ намъ кажется не только мудрымъ, но и мудренымъ, когда эти господа говорятъ: *Ло-* К. Полевой.

моносова и *Державина читать нельзя и не должно*, но ихъ *надобно изучать*. Что же такое *изучать*?—Объ этомъ никто ни слова. К. Полевой *изучилъ* Ломоносова; и это изученіе свое передалъ намъ ясно и отчетисто въ живомъ, вѣрномъ разсказѣ. Прочитавъ *Михаила Васильевича Ломоносова*, мы видимъ и видимъ ясно, что этотъ необыкновенный человѣкъ былъ поэтъ не только потому, что онъ писалъ стихи; но его дѣтство, его игры, его ученіе грамотѣ, его образованіе, его мысли, чувствованія, вся жизнь, вся дѣятельность, есть великая занимательная поэма; а потому-то его версификація, рѣомы, покрой стиховъ и *одъ*, пріемы стихотворства точно устарѣли, и они брошены; но его идеи и представленія, его горніе полеты, его смѣлые помыслы никогда не устарѣютъ; самыя оды его, какъ пѣсни временъ Елисаветы, устарѣли только для того, кто не учился и не знаетъ исторіи. Взгляните на портретъ Ломоносова: какъ смѣшенъ этотъ огромный напудренный *парикъ*, этотъ *шитый золотомъ кафтанъ*! Но развѣ это самъ Ломоносовъ? тотъ великій создатель самого себя и всего, что онъ дѣлалъ? Но и этотъ смѣшной *разшитый кафтанъ* не смѣхъ, а благоговѣніе будетъ возбуждать въ насъ, когда мы вспомнимъ, что онъ замѣнилъ собою старый *овчинный полушубокъ*, въ которомъ едва не замерзъ будущій панегиристъ и исполнитель завѣтовъ Петра Великаго, просвѣтитель созданнаго царемъ общества! Вотъ въ чемъ заслуга К. Полеваго! Онъ познакомилъ насъ съ Ломоносовымъ!

Марлинскій. Писатель, извѣстный подъ именемъ *Марлинскаго*, составляетъ важный вопросъ въ Исторіи нашей Литературы. Когда онъ, послѣ долгаго молчанія, снова появился на поприщѣ литературной дѣятельности, то повѣстями своими: *Испытаніе*, *Наѣзды*, *Лейтенантъ Бѣлозоръ*, и др. возбудилъ всеобщее вниманіе, такъ что онъ съ Пушкинымъ раздѣлялъ любовь читаю-

щаго общества, и преждевременная смерть его почти столько же опечалила всѣхъ читателей, какъ и смерть этого любимаго поэта. Не прошло и пяти лѣтъ, какъ раздалось смѣлое и неумѣренное, безусловное осужденіе его таланта и его произведеній, и новѣйшее поколѣніе безусловно подчинило свое мнѣніе этому приговору. Не разбирая всѣхъ его произведеній, мы постараемся объяснить эту, слишкомъ скорую и, кажется, не совсѣмъ основательную, перемѣну убѣжденій въ достоинствѣ его сочиненій. Марлинскій еще въ молодости заслужилъ— въ то время щегольство въ выраженіяхъ и блестки краснорѣчія были въ модѣ—справедливое вниманіе своимъ блестящимъ талантомъ. Злой рокъ его и безумныя мечты выбросили его изъ общества, и онъ не могъ слѣдить общественнаго измѣненія вкуса и мнѣній. Новое появленіе его съ прежнею, еще усиленною изысканностію и щеголеватостью выраженій, но съ талантомъ уже болѣе зрѣлымъ, между писателями повѣстей, неимѣющими рѣшительнаго дарованія, увлекло всѣхъ къ нему; такъ что плѣнясь силою характеровъ, смѣлостію изображеній и бойкостію разсказа, или не хотѣли замѣчать въ немъ или прощали ему анахронизмы внѣшнихъ украшеній. Когда же онъ умолкнулъ, новые критики, не разбирая отношеній и положенія писателя, стали сравнивать его произведенія съ новѣйшими послѣдними произведеніями юныхъ талантовъ, образовавшихся подъ вліяніемъ иныхъ понятій, иначе вкуса. Находя въ разсказахъ Марлинскаго умышленное усиліе остроумія и нерѣдко изысканность и излишнюю искуственность въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ, выгнанную уже изъ новаго общества, они объявили и характеры дѣйствователей натянутыми, изысканными; а случайное повтореніе остротъ и часто непонятыя необыкновенно тонкія черты характеровъ дали поводъ имъ говорить, что характеры у него повторяются. Но ошибка или своенравіе критика не уронитъ

достоинства писателя, и Марлинскій, не смотря на его недостатки и излишества, всегда удержитъ за собою права сильнаго таланта.

Гоголь и Кукольникъ.

Нельзя утвердительно сказать, соперничаютъ ли между собою два сильные современные писатели: *Кукольникъ* и *Гоголь*; по крайней мѣрѣ достовѣрно то, что читатели и чтители ихъ находятся въ какой-то странной и даже смѣшной враждѣ; но это слѣдствіе журнальнаго вліянія и неумѣстнаго усердія друзей само собою изгладится. Оба они замѣчательны въ настоящее время; оба въ потомствѣ займутъ почетныя мѣста въ Исторіи русской Словесности; но эти два сильныя дарованія совершенно разнохарактерны и по природѣ своей и по образованію. Всѣ произведенія Гоголя обнаруживаютъ въ немъ самоувѣренность, стремленіе къ самодѣятельности, какое-то умышленное, насмѣшливое пренебреженіе къ прежнимъ знаніямъ, опытамъ и образцамъ; онъ читаетъ только книгу природы, изучаетъ только міръ дѣйствительный; потому-то идеалы его слишкомъ естественны и просты до наготы; они, по выраженію *Ивана Никифоровича*, одного изъ его созданій, являются предъ читателями *въ натурѣ*. Красоты его созданій всегда новы, свѣжи, поразительны, ошибки чуть не отвратительны; онъ какъ будто, забывъ исторію, подобно древнимъ, начинаетъ новый міръ искуствъ, вызывая его изъ небытія въ простонравное хаотическое состояніе; потому-то его *искуство* какъ будто не знаетъ, не понимаетъ стыдливости; онъ великій художникъ, не знающій исторіи и невидавшій образцевъ искуства! Онъ писатель для міра древняго *однополаго*. Это не жрецъ искуства, а шаловливый предатель природы, который подсматриваетъ, подстерегаетъ ее, и въ расплохъ разкрываетъ предъ нами; отъ того красоты его произведеній принадлежатъ не искуству, а природѣ, и характеръ ихъ совершенно зависитъ отъ тѣхъ предме-

товъ, которые онъ изображаетъ. Въ выборѣ же предметовъ онъ не совѣтуется со вкусомъ; потому что не имѣетъ въ виду искуства: онъ, какъ химикъ, не видитъ въ природѣ нечистаго; одинаково разлагаетъ все: и то, что радуетъ чувства, и то, что отвратительно оскорбляетъ ихъ; это анатомикъ, который съ одинаковымъ чувствованіемъ разсѣкаетъ члены трупа: и высокое чело, это сѣдалище ума, и орудія нечистыхъ естественныхъ отправленій. Нравственную же природу онъ преимущественно теперь полюбилъ въ изключеніяхъ, въ болѣзненномъ ея состояніи, или въ минуты ея паденія и господствованія надъ ней животной природы. Потому-то въ *Тарасъ Бульбѣ* онъ изумительно высокъ, въ *Вечерахъ на Хуторѣ*—занимательно забавенъ, въ *Старосвѣтскихъ помѣщикахъ*—простодушно милъ, въ *Чичиковѣ*, *Собакевичѣ*, *Плюшкинѣ*, *Ноздревѣ* и другихъ подобныхъ, оскорбительно вѣренъ *кличкамъ* этихъ *героевъ*. Словомъ: Гоголь теперь даетъ искуству направленіе хирургіи, которая не хочетъ знать здоровыхъ членовъ, и ищетъ только гнилыхъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ великій мастеръ!

Гоголь сильный, смѣлый, но упрямый талантъ, который вовсе не имѣетъ или не хочетъ употреблять ни фантазіи, ни памяти, ни науки; онъ имѣетъ взглядъ и вѣрное точное воображеніе; Кукольникъ представляетъ прямую противоположность Гоголя: онъ какъ будто не вѣритъ самобытности силъ своихъ; онъ подчинилъ свою природу наукѣ, знаніямъ, образцамъ; его фантазія витаетъ въ минувшемъ, въ мірѣ исторіи, въ области поэзіи и искуствъ. Первое произведеніе его вызвано изъ этого міра фантазіи; *Торквато Тассо*, *дитя* и наперсникъ поэзіи, питомецъ музъ скромныхъ, цѣломудренныхъ, былъ предметомъ его пѣснопѣнія. Хотя это произведеніе имѣетъ форму драматическую, но оно — поэма. А нынѣ Кукольникъ принялся за романы; онъ написалъ уже нѣсколько повѣстей и романовъ: *Альфъ и Альдона*,

Эвелина де Вальероль, *Дурочка Луиза*, *Историческая Красавица*, и повѣсти изъ временъ Петра Великаго; всѣ онѣ отличаются обширною начитанностію, глубокимъ изученіемъ образцевъ и соображеніемъ съ прежними и новыми образцами. — Кукольникъ не принадлежитъ ни къ одной изъ извѣстныхъ литературныхъ школъ, но и не думаетъ образовать свою особенную школу; онъ старается соединить въ себѣ всѣ черты хорошихъ образцевъ. До какой степени онъ успѣлъ въ этомъ многотрудномъ дѣлѣ, современники рѣшить не могутъ; мы можемъ только видѣть его общія достоинства и недостатки, произшедшіе отъ этого стремленія—соединить въ себѣ достоинства разныхъ вѣковъ и народовъ. Главное отличительное свойство Кукольника—художническая страсть къ своимъ созданіямъ, которыя онъ съ творческою любовію старается усовершенствовать, такъ, что каждый характеръ онъ очерчиваетъ съ анатомическою точностію и каждому лицу даетъ совершенно особенный колоритъ, и отъ этой-то излишней заботливости произходитъ главный недостатокъ его: въ его произведеніяхъ нѣтъ степеней важности лицъ; они всѣ равно важны, и слѣдовательно всѣ равно занимательны; отъ того вниманіе читателя, находясь въ безпрерывномъ напряженіи, утомляется и развлекается.

Зенеида Р., которой настоящее имя *Елена Ганъ*, урожденная *Фадѣева*, представляетъ собою чудное проявленіе женской природы. Хотя, къ несчастію, литературная дѣятельность ея была слишкомъ кратковременна, слишкомъ рана была прервана внезапною смертію; однако и тѣхъ не многихъ ея произведеній достаточно для того, чтобъ имя ея со славою перешло въ позднее потомство. Она уже кончила свою дѣятельность; но мы все еще находимся подъ вліяніемъ ея очарованія, и это очарованіе такъ сильно, что мы не можемъ спокойно обдумывать ея созданій. Одно вспоминаніе,

напримѣръ о *Напрасномъ дарѣ*, наполняетъ душу мучительно-скорбными мыслями и чувствованіями. Время уравновѣшиваетъ и соглашаетъ впечатлѣнія ума и сердца, и даетъ возможность произносить сужденія, болѣе свободныя отъ пристрастія.

Драма и театръ.

Театръ и драматическое искуство у древнихъ Грековъ, по начальному произхожденію своему, имѣли значеніе богослужебное; потомъ они сдѣлались самою строгою школой нравовъ; у новоевропейскихъ народовъ сначала они составляли благочестивое препровожденіе времени, потомъ училище вкуса; а теперь на театральной сценѣ борются между собою и оспориваютъ ее политика, дѣла семейныя и простая потѣха, которая не заботится о чистой нравственности. И мы Русскіе, еще доселѣ неуспѣвшіе возстановить самостоятельность и самодѣятельность русскаго ума, часто увлекаемся этою борьбою и доселѣ еще не видимъ ясно значенія драмы и театра; а потому и поддаемся то тому, то другому, то третьему направленію ихъ, какъ будто закрывая глаза отъ нашихъ родныхъ, хотя не многихъ, но истинныхъ образцевъ драматическаго искуства и отъ удачныхъ опытовъ подражанія имъ. Хотя раньше всѣхъ другихъ искуствъ, еще среди минувшаго періода драма наша, по крайней мѣрѣ, *комедія*, проявила свой истинный характеръ сначала подъ перомъ *Визина* въ *Недорослѣ*, потомъ *Судовщикова*—въ *Честномъ Секретерѣ* и *Капниста*—въ *Ябедѣ;* однако и доселѣ эта отрасль словесности у насъ очень бѣдна; и нѣтъ надежды, чтобы она скоро могла сравняться съ другими отраслями.

Напрасно думаютъ многіе критики, что эта бѣдность драматической литературы происходитъ отъ недостатка талантовъ. Нѣтъ! причины ея находятся частію въ самой сущности драмы, которая по своему значенію требуетъ и отъ писателя и отъ общества бо̀льшой опытности, бо̀льшихъ знаній, бо̀льшаго общественнаго

развитія и самосознанія, нежели всѣ другіе роды словесности; частію въ организаціи нашей общественности, по которой не только актеры, эти исполнители драматическихъ произведеній, но и самые писатели совершенно отчуждены отъ высшихъ обществъ, и въ свою очередь также чуждаются низшихъ обществъ, гдѣ бы они могли подмѣчать черты нравовъ, привычки, причуды и предразсудки для комедіи; отъ того въ нашихъ театральныхъ представленіяхъ вельможи смахиваютъ на спѣсивыхъ чиновниковъ, барыни на запосчивыхъ чепорныхъ провинціялокъ, провинціялы проявляются въ *Бобчинскихъ и Добчинскихъ*, простолюдины *въ Филаткахъ и Мирошкахъ;*—частію въ ложномъ понятіи о минувшей жизни Русскаго народа, которую историки наши хотятъ выкроить по Иродоту и Титу Ливію; отъ того наши *герои* въ высокой драмѣ или трагедіи походятъ на Ахилловъ, Агамемноновъ и Цезарей или Брутовъ. И такъ доколѣ мы не изучимъ нашей исторіи съ настоящей точки зрѣнія, въ самыхъ ея источникахъ, доколѣ не поймемъ главныхъ пружинъ нашей исторической жизни и дѣятельности; дотолѣ не будемъ имѣть высокой исторической драмы, и тѣ трагедіи, содержаніе которыхъ почерпается изъ чужой исторіи, всегда будутъ удачнѣе тѣхъ, которыя взяты изъ Русской исторіи; доколѣ не сблизятся всѣ сословія общества или не явятся писатели во всѣхъ сословіяхъ, не узнаютъ отечественныхъ нравовъ, не разгадаютъ семейныхъ и общественныхъ добродѣтелей и пороковъ; дотолѣ мы не будемъ имѣть комедіи народной, русской.—Частныя удачи составляютъ только изключенія.

К. Шаховской.

Первый по времени и самый плодовитый драматическій писатель былъ *Князь Шаховской*. Любовь его къ драматическому искуству доказывается огромнымъ количествомъ его произведеній: одно простое поименованіе всего, что онъ написалъ, перевелъ и передѣлалъ съ

французскаго языка, займетъ нѣсколько страницъ. Самыя замѣчательныя его произведенія: библейская трагедія, *Дебора* или *торжество вѣры*, написанная и представленная въ соперничество съ Озеровымъ, комедіи: *Липецкія воды, или урокъ кокеткамъ*, *Своя семья* или *замужняя невѣста*, въ сочиненіи которой участвовали *Жандръ и Грибоѣдовъ; Пустодомы*, *Палубарскія затѣи*, *Ссора или два соѣзда*, *Езопъ у Ксанфа* и наконецъ *Аристофанъ или представленіе Аристофаной комедіи: Всадники*, произведеніе, написанное въ духѣ Греческой комедіи; водевили: *Казакъ стихотворецъ* и *Ломоносовъ или рекрутъ стихотворецъ*, *Фениксъ* или *утро журналиста*, и романтическое представленіе, *Финнъ*, сдѣланное изъ эпизода въ Русланѣ и Людмилѣ. Заслуги Шаховскаго неоспоримы и очень важны: первая его заслуга состоитъ въ томъ, что онъ обогатилъ и оживилъ нашъ репертуаръ новыми, свѣжими произведеніями, изображающими современные живые нравы, или историческія воспоминанія, которыя имѣютъ современный интересъ; вторая—онъ вытѣснилъ съ нашей сцены устарѣвшія и потерявшія вкусъ и занимательность, комедіи Сумарокова и Княжнина, а преимущественно вытѣснилъ комедіи Коцебу, чуждыя нашимъ нравамъ, и его идиллическія, ложночувствительныя, съ натянутыми неестественными характерами, драмы; третья—положительная заслуга—онъ, послѣ Крылова, оставившаго впрочемъ рано сценическую литературу, и слѣдовательно не успѣвшаго утвердить нововведенія, указалъ нашимъ комикамъ, что не одни подьячіе и дурные стихотворцы могутъ быть изображаемы въ комедіи, что много, много есть смѣшнаго у насъ, кромѣ этихъ двухъ несчастныхъ разрядовъ людей, осмѣянныхъ со всѣхъ сторонъ: *страсть къ тяжбамъ*, плодъ исторической нашей жизни, *страсть мѣщанства къ дворянству*, а—мелкаго *дворянства къ барству*, плодъ также удѣльнаго соперниче-

ства въ жизни; *страсть къ подражанію* иностранцамъ, *дурное воспитаніе* дѣтей, *остатки татарскаго важничанья* и многое другое; указалъ смѣшныя причины семейныхъ ссоръ, привычки разныхъ сословій: *ученыхъ*, *журналистовъ*, *актеровъ* и т. д. Этимъ онъ возстановилъ многихъ соперниковъ, которые, ежели далеко не сравнялись съ нимъ въ количествѣ произведеній; то не рѣдко равнялись съ нимъ, и даже далеко превозходили его достоинствомъ своихъ созданій. Впрочемъ, многіе изъ комедій и водевилей его, при первомъ своемъ появленіи, имѣли успѣхъ необыкновенный, блестящій, но скоро забыты были совсѣмъ; причины этого шумнаго, но слишкомъ скоротечнаго успѣха очень просты: Шаховской, по страстной любви къ театру, много содѣйствовалъ совершенствованію русскихъ артистовъ; и такимъ образомъ узнавъ хорошо ихъ характеры, онъ часто писалъ, для большаго успѣха любимыхъ имъ актеровъ и актрисъ, *комедіи*, *водевили* и даже *оперы* по характерамъ ихъ; отъ того, пока всѣ эти артисты были на сценѣ, піесы шли превозходно, потому что артисты представляли сами себя; а по мѣрѣ того, какъ артисты, служившіе ему образцами, оставляли сцену, представленіе этихъ драмъ дѣлалось труднѣе, труднѣе и наконецъ онѣ падали.

Загоскинъ, Хмѣльницкій и Кокошкинъ.

Въ то время, когда князь Шиховской, по окончаніи отечественной войны, оставивъ военную службу, снова принялся за драматическую поэзію, онъ встрѣтилъ, хотя и недѣятельнаго, однако счастливаго соперника въ *Загоскинѣ*. Шаховской пишетъ комедію, *Липецкія воды* или *Урокъ кокеткамъ*, Загоскинъ пишетъ *Урокъ волокитамъ* или *комедія противъ комедіи*. Это искусное, умное произведеніе, которое самымъ ходомъ своего дѣйствія критикуетъ *Урокъ кокеткамъ*, по случайнымъ обстоятельствамъ не имѣло достойнаго успѣха на театрѣ; но оно по новости завязки, по бойкости разговора,

ясно изображающаго характеры лицъ, по занимательности нѣкоторыхъ сценъ и по истинно-комическимъ положеніямъ дѣйствователей обнаружило сильный талантъ въ молодомъ писателѣ. *Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ*, *Богатоновъ въ деревнѣ*, *Урокъ холостымъ или наслѣдники*, и другія его комедіи оправдали эту надежду; но лучшимъ его произведеніемъ всегда останется комедія: *Богатоновъ или провинціалъ въ столицѣ*, которая очень удачно изображаетъ барскія замашки богатаго помѣщика, который привыкъ покровительствовать провинціальной мелочи и который думаетъ сохранить то же значеніе и въ столицѣ. *Хмельницкій* и *Кокошкинъ* подарили намъ нѣсколько комедій, очень хорошихъ, передѣланныхъ съ Французскаго на Русскій языкъ и русскіе нравы; произведенія ихъ не рѣдко имѣютъ видъ оригинальныхъ, не теряя достоинствъ своихъ подлинниковъ, какъ напримѣръ: Хмельницкаго—Воздушные замки и Кокошкина—Мизантропъ. Но странно, что всѣ эти даровитые писатели—переводчики и передѣлыватели не умѣли характеризировать русскихъ слугъ, и преимущественно служанокъ, которые у нихъ по понятіямъ и пріемамъ своимъ всегда равняются съ господами.

Все это, казалось, было хорошо, а иногда и очень хорошо; но все это, при критическомъ вниманіи, отзывалось болѣе или менѣе чужеземнымъ, заимствованнымъ; какъ вдругъ является въ 1824 новая истинно русская комедія: *Горе отъ ума*, которая сначала долго ходила въ рукописяхъ, а потомъ явилась на сценѣ и въ печати, созданіе Грибоѣдова, который дотолѣ былъ извѣстенъ только переводомъ съ Французскаго (вмѣстѣ съ Жандромъ) драмы, *Мнимая невѣрность*, участіемъ въ сочиненіи комедіи съ Шаховскимъ *Своя семья* и сочиненіемъ маленькой комедіи: *Молодые супруги*. Комедія: *Горе отъ ума*, какъ и всѣ геніальныя произведенія, изумила всѣхъ своею необыкновенностію; только изумленіе это было

Грибоѣдовъ.

совсѣмъ не одинаково: многіе почитали комедію Грибоѣдова дерзостью, какъ противъ формъ комедіи, которыя требовали замысловатой завязки, опредѣленнаго хода и развязки, такъ и преимущественно противъ живыхъ современныхъ нравовъ, которые слишкомъ живо въ ней отразились; нѣкоторые находили, что характеры въ ней слишкомъ частны, такъ что были люди, которые узнавали то себя, то своего знакомаго. На все это можно отвѣчать: 1) Завязка и развязка должны быть въ каждомъ повѣствованіи и въ каждой драмѣ; безъ того не можетъ быть занимательности; и *въ Горѣ отъ ума* есть и то и другое; только надобно знать, что эти существенныя условія драмы должны быть согласны съ нравами народа, съ его историческимъ бытомъ и характеромъ: завязка Французской комедіи должна быть остроумна, Нѣмецкой—замысловата, запутанна, Русской—проста; отъ того и развязка ея должна быть проста и естественна, и для тѣхъ, кто не знаетъ или не изучилъ всѣхъ изгибовъ Русскаго сердца и страстей, Русскаго духа и характера, совершенно не ожиданна. 2) Комедія тогда только можетъ имѣть цѣль и значеніе, когда она, по образу мыслей, по направленію страстей, по жизни, по правиламъ, причудамъ и замашкамъ своихъ дѣйствователей походитъ на современное, живое дѣйствительное общество. 3) Въ дѣйствительной жизни трудно найдти людей, которые бы были то олицетворенною добродѣтелію безъ пятенъ какой либо слабости, то олицетвореннымъ зломъ или порокомъ безъ малѣйшихъ отблесковъ или остатковъ добра; а потому комедія, какъ во исполненіе этихъ законовъ нравственной природы, такъ и для достиженія цѣли искуства, всегда долженствующаго возбуждать занимательность и участіе, должна изображать добрыхъ и почтенныхъ людей съ тѣми—хотя малыми — недостатками, которые свойственны ихъ добротѣ, переходящей границы, а злыхъ,

смѣшныхъ и низкихъ съ нѣкоторыми гражданскими, семейными или естественно-умственными достоинствами, которыя бы возбуждали вмѣстѣ съ смѣхомъ и даже презрѣніемъ или сожалѣніе или надежду и ожиданіе чего либо порядочнаго отъ нихъ. *И въ Горѣ отъ ума* всѣ лица таковы; каждое изъ нихъ, при всѣхъ недостаткахъ и странностяхъ, имѣетъ въ себѣ дѣйствительное или только возможное, положительное или отрицательное добро.

Гоголь.

Нѣкоторые критики сравниваютъ эту комедію съ *Ревизоромъ Гоголя*, и даже иногда послѣднему отдаютъ преимущество. Прежде всего надобно сказать, что комедіи Гоголя носятъ на себѣ всѣ достоинства и недостатки его повѣстей. Когда взглянемъ въ первый разъ на его созданіе, то оно поражаетъ насъ своею смѣлостію, силою; многія частности врѣзываются въ память, и часто, даже слишкомъ часто, невольно представляются воображенію въ частныхъ случаяхъ жизни. Это первое свойство геніальности писателя. Но гдѣ же въ Ревизорѣ искуство? Гдѣ эта творческая любовь къ его произведенію? Гдѣ истина, гдѣ та природа, по законамъ которой выполнено это произведеніе? Слѣдовательно гдѣ торжество генія надъ природою, которую онъ, не нарушая общихъ ея законовъ, подчиняетъ своимъ идеямъ!—Геній-комикъ, понимая законы нравственной природы, истинное значеніе человѣка въ обществѣ, но видя, что многіе члены общества или произвольно отступаютъ отъ своего назначенія, или робко и безъ борьбы уступаютъ случайнымъ трудностямъ жизни, или лѣниво отдаются теченію обстоятельствъ, или наконецъ необдуманно и совсѣмъ несоразмѣрно силамъ своимъ вступаютъ въ борьбу съ такими препятствіями, которыхъ преодолѣть не могутъ, онъ негодуетъ и скорбитъ или смѣется объ этомъ произвольномъ паденіи человѣка; онъ знаетъ, что эти частности то для ограниченныхъ умовъ быва-

ютъ незамѣтны и непонятны, то совсѣмъ теряются въ общей дѣятельности дѣйствительнаго міра; потому онъ создаетъ идеалы различныхъ характеровъ, которые олицетворяютъ собою слабости и недостатки современнаго общества; потомъ создаетъ или составляетъ изъ нихъ особый міръ, который въ опредѣленное время стоитъ, дѣйствуетъ и движется этими характерами. Этотъ свободно созданный міръ хотя и наполненъ зломъ, пороками, слабостями и недостатками людей; однако же это зло должно быть въ безпрерывной борьбѣ то съ добромъ, то съ самимъ собою. Таковъ міръ дѣйствительный, только въ огромныхъ, неопредѣленныхъ размѣрахъ, которые для большей части людей необъятны! Таковъ онъ и въ комедіи: *Горе отъ ума*; таковы всѣ дѣйствователи въ ней; каждый изъ нихъ за клейменъ какимъ нибудь порокомъ, слабостію, странностію, но въ каждомъ просвѣчивается что нибудь доброе или что-то человѣческое. Напримѣръ *Чацкій* пылокъ, нетерпѣливъ, не умѣетъ ужиться съ людьми, но онъ уменъ, благороденъ; *Фамусовъ* суетенъ, мелочепъ, низкопоклонникъ, но онъ хорошій родственникъ,

Какъ станетъ представлять къ кресту или къ мѣстечку,
Ну какъ не порадѣть родному человѣчку....

Молчалинъ низокъ по натурѣ и по воспитанію; онъ говоритъ, что ему отецъ завѣщалъ угождать всѣмъ:

Начальнику, придется съ кѣмъ служить,
Хозяину, гдѣ въ домѣ будешь жить,
И дворнику, во избѣжанье зла,
Собакѣ дворника, чтобъ ласкова была....

но онъ дѣловой человѣкъ и въ немъ есть какое-то чувство, которое удержало его отъ неблагодарности противъ благодѣтеля. Въ немъ есть два таланта; *умѣренность и*

аккуратность. *Репетиловъ* смѣшенъ и жалокъ; онъ готовъ наклеветать на самого себя, лишь бы что нибудь поговорить; но опъ не золъ и въ немъ есть остатки ума. Такъ и другіе дѣйствователи представляютъ смѣсь добра со зломъ, смѣшную и достойную сожалѣнія. Каждый изъ нихъ дорожитъ своимъ именемъ, — разумѣется, по своему; — и потому для нихъ насмѣшка страшна; это чисто комическія лица. Разговоръ ихъ такъ естественъ, такъ выразительно уменъ, что невольно остается въ памяти, и многіе стихи сдѣлались пословицами въ образованномъ обществѣ. Въ Ревизорѣ всѣ лица также имѣютъ какую-то занимательность, потому что всѣ они необыкновенно оригинальны и забавны; но всѣ они или таковы, что подлежатъ болѣе мѣрамъ исправительной полиціи, нежели сатирѣ; или таковы, что имъ *законъ не писанъ:* они ниже литературнаго міра; въ нихъ нѣтъ ни искры ума, ни искры совѣсти. Выраженія ихъ также могутъ быть поговорками, но только на дружеской пирушкѣ. Это міръ нравственныхъ уродовъ, которые или не поймутъ насмѣшки, или она не пройметъ ихъ; здѣсь самый смышленый человѣкъ лакей, и надобно удивляться его скромности; только эта непонятная скромность, да холопская лѣнь мѣшаютъ ему въ этомъ глупобезсовѣстномъ мірѣ принять тонъ диктаторскій. Нѣтъ! это не комедія, а пустая трата сильнаго таланта. Въ *Женитьбѣ* болѣе комическаго; тамъ есть положенія разительно забавныя, но есть также и такія черты, которыя, возбуждая смѣхъ безотчетныхъ весельчаковъ, не разсмѣшатъ человѣка съ образованнымъ вкусомъ.

Водевиль.

Теперь у насъ совсѣмъ, или почти совсѣмъ, нѣтъ комедіи: ее вытѣсняютъ и стараются замѣнить *водевилемъ*. Что же такое водевиль? Ему нельзя дать логическаго опредѣленія; это игрушка шаловливаго ума французовъ; но такая игрушка, которая естественно вылилась изъ обстоятельствъ, изъ характера и даже изъ потребностей

французскаго народа. Сначала водевилями назывались остроумныя пѣсеньки; когда же французы менѣе нежели въ четверть вѣка потерпѣли столько коренныхъ измѣненій въ составѣ гражданскомъ и въ обычаяхъ, что у нихъ уже совсѣмъ не было постоянныхъ нравовъ, которые бы могли быть предметомъ комедіи; то они не могли уже изображать полныхъ характеровъ комическихъ. Потому въ замѣнъ комедіи явились комическія сцены, приправляемыя остроумными куплетами. Этотъ новый родъ представленій также названъ водевилемъ; онъ нравится французамъ и по новости своей и по легкости, которой въ полной и длинной комедіи нельзя соблюсти. Но мы, осужденные какимъ-то злымъ рокомъ на всегдашнее подражаніе французамъ, не разсуждая о томъ, въ какой мѣрѣ можетъ существовать у насъ водевиль, въ какомъ видѣ и съ какимъ характеромъ онъ долженъ явиться на нашей сценѣ, съ жадностію ухватились за эти представленія. Конечно, нельзя сказать, чтобы у насъ не было хорошихъ водевилей; но ихъ слишкомъ мало относительно всего количества. У французовъ водевиль есть начальное броженіе стихій новаго искуства, стремленіе къ созданію новой комедіи, которая бы была сообразна съ характеромъ новаго, еще образующагося, общества; у насъ онъ—цѣль искуства. Лучшіе водевили наши принадлежатъ актерамъ; эти люди, бывая часто жертвами недостатка у насъ самостоятельнаго вкуса и страдательными свидѣтелями нашей всегда неумѣренной и всегда непостоянной возторженности ко всему чужеземному, поняли лучше, нежели писательское наше сословіе, эту смѣшную перекидчивость вкуса, эту страсть высшаго общества перенимать все чужее и еще болѣе смѣшную страсть низшихъ классовъ тянуться за этими измѣнчивыми и всегда подражательными образцами. Это непостоянство вкуса, порабощаемаго модой—лучшій предметъ нашего Русскаго водевиля; потому что онъ

долженъ осмѣивать именно эти мимолетныя причуды современнаго общества, въ противоположность комедіи; она изображаетъ полное развитіе въ дѣйствіи характеровъ, олицетворяющихъ, хотя современные, но уже утвердившіеся, и постоянные пороки, слабости, причуды и предразсудки общества. Передѣланные съ Французскаго языка водевили въ родѣ *Двухъ Маргаритъ*, *Суматохи въ Щербаковомъ переулкѣ* и др. под. значительно уменьшаютъ щекотливость нашихъ чувствъ. Потомство наше съ обиднымъ изумленіемъ будетъ читать въ лѣтописяхъ театра объ успѣхахъ подобныхъ уродовъ драматическаго искуства. Давно ли мы жестоко осуждали геніальное произведеніе Грибоѣдова—*Горе отъ ума*—за первую сцену; а теперь въ ней не видимъ ничего страннаго, и спокойно смотримъ на самыя соблазнительныя сцены. Вотъ прямое вліяніе Французскаго водевиля на наши нравы и на вкусъ! Хорошо ли оно?

Трагедія.

Высокая драма въ настоящее время у насъ нѣсколько счастливѣе; она имѣетъ двухъ и талантливыхъ и усердныхъ дѣлателей: *Кукольника* и *Полеваго*, которые хотя изрѣдка дарятъ насъ удачными опытами своихъ трудовъ; но какъ дѣятельность ихъ на этомъ поприщѣ еще не установилась, и по временамъ являются новыя ихъ драмы, не совсѣмъ похожія на прежнія; то мы не можемъ представить полнаго и положительнаго отчета объ ихъ произведеніяхъ; потому что каждый изъ нихъ можетъ еще измѣнить и характеръ и направленіе своей дѣятельности, и слѣдовательно можетъ заставить перемѣнить о немъ мнѣніе. Впрочемъ, не произнося рѣшительнаго сужденія, можно указать на нѣкоторыя общія отличительныя черты ихъ произведеній: *Полевой* обладаетъ искуствомъ, — которое нынѣ въ большой модѣ—производить въ зрителяхъ сильныя ощущенія или *эффекты*; но, увлеченный ли этою

современною потребностію, или требованіемъ своего частнаго вкуса и энтузіастическаго характера, онъ слишкомъ неумѣренно пользуется этимъ искуствомъ; отъ того не рѣдко въ его драмахъ замѣтны натянутыя сцены, напыщенные монологи и высокопарныя выраженія; у Шекспира можно учиться многому, а подражать ему нельзя, опасно. Но въ созданіи характеровъ Полевой—замѣчательный и сильный талантъ. *Кукольникъ* въ драмѣ имѣетъ тѣ же достоинства и недостатки, какъ и въ романѣ; но главный, собственно драматическій его недостатокъ состоитъ въ излишествѣ лиризма, которое конечно мало по малу проходитъ и наконецъ совсѣмъ пройдетъ само собою; это необходимая принадлежность молодости; потому-то въ послѣднихъ его произведеніяхъ этой лирической восторженности менѣе, нежели въ первыхъ. *Ободовскій*, какъ поэтъ, конечно, не можетъ равняться ни съ Полевымъ, ни съ Кукольникомъ ни въ какомъ отношеніи; но онъ имѣетъ болѣе заботливости объ отдѣлкѣ своихъ произведеній и болѣе сценическаго знанія; словомъ у него искуство беретъ перевѣсъ передъ творчествомъ.

Журналистика.

Журналистика съ самаго появленія своего въ Россіи сильно дѣйствовала на разпространеніе образованія и преимущественно на развитіе вкуса; но въ послѣднее время она поглотила у насъ всю литературную дѣятельность, и слѣдовательно завладѣла всѣмъ вліяніемъ на умы; потому-то успѣхи и дѣятельность ея нужно изложить нѣсколько подробнѣе. Еще въ началѣ настоящаго столѣтія, въ 1805 году, Карамзинъ началъ издавать *Вѣстникъ Европы*, который постоянно продолжался болѣе тридцати лѣтъ, и который, переходя отъ одного редактора къ другому, часто перемѣнялъ свое направленіе, характеръ и тонъ мнѣній. У *Карамзина*, при идиллическомъ направленіи, онъ отличался скромностію и умѣренностію сужденій; въ рукахъ *Жуковскаго* онъ былъ

первымъ проводникомъ новыхъ мнѣній и разпространителемъ первыхъ созданій романтической школы; но во все то время, когда онъ находился подъ редакціею *Каченовскаго*, онъ служилъ главнымъ пристанищемъ и органомъ классической партіи во время борьбы ея съ романтиками; отсюда безпрестанно раздавались то грозные, то жалобные вопли противъ романтизма. Между тѣмъ, послѣ Вѣстника Европы, основывалось много другихъ журналовъ, которые впрочемъ были всѣ очень недолговѣчны, напримѣръ: *Сѣверный Вѣстникъ*, *Лицей*—*Мартынова*; *Цвѣтникъ*—*Никольскаго*, *Улій*—*Сопикова*; *Сѣверный Меркурій*, *Духъ Журналовъ* и др ; но всѣ они, по кратковременности своего сушествованія, не могли имѣть значительнаго вліянія на успѣхи образованія и характеръ словесности. А въ 1812 году Гречъ началъ издавать журналъ, и нынѣ еще существующій, *Сынъ Отечества*. Этотъ журналъ, основанный подъ вліяніемъ великихъ политическихъ событій, первые годы своего существованія, пока не кончились эти событія, имѣлъ характеръ преимущественно политическій; такъ что литература въ немъ была уже на второмъ планѣ. Потомъ, по мѣрѣ того, какъ затихали и удалялись обстоятельства, произведшія этотъ журналъ, характеръ его измѣнялся, и онъ мало по малу принималъ болѣе значеніе литературное. Главною обязанностію онъ себѣ поставилъ—сторожить грамматическую правильность языка; и надобно отдать ему справедливость: онъ въ этомъ отношеніи оказалъ большую заслугу нашей словесности. — Въ 1822 году Булгаринъ началъ издавать историко-статистическій журналъ: *Сѣверный Архивъ*, который въ три года своего отдѣльнаго существованія привелъ въ извѣстность много историческихъ и статистическихъ матеріаловъ и показалъ хорошіе образцы исторической критики, какъ напримѣръ, разборъ десятаго и одиннадцатаго томовъ Исторіи Государства Россійскаго. Когда же явился

Московскій Телеграфъ, чисто романтическій журналъ, съ новыми идеями, съ новыми взглядами; то между всѣми журналами завязалась сильная, упорная и продолжительная борьба. *Телеграфъ* смѣло и даже слишкомъ смѣло напалъ на литературные предразсудки, на старыя убѣжденія и прежнія знаменитости; противъ него первый возсталъ съ своимъ двадцатилѣтнимъ авторитетомъ *Вѣстникъ Европы*, а потомъ и *Сынъ Отечества*. Впрочемъ эти два журнала, дѣйствуя противъ *Московскаго Телеграфа*, во многомъ были не согласны и даже часто сталкивались между собой, и это столкновеніе было очень естественно; главною причиною раздора было новое направленіе литературы: *Вѣстникъ Европы* держался строго классическихъ правилъ, и напрягалъ всѣ свои силы, чтобъ поддержать одряхлѣвшій классицизмъ; а *Сынъ Отечества*, привѣтствовавъ при первомъ появленіи *Пушкина* и *Баратынскаго*, этихъ открытыхъ романтиковъ, не могъ уже быть прямымъ защитникомъ классическихъ предразсудковъ; онъ старался держаться середины. Телеграфъ сильно поражалъ застой идей и неподвижность мнѣній; но и самъ иногда терпѣлъ пораженія по петвердости своей въ грамматической тактикѣ. На помощь *Сыну Отечества*, соединеннаго въ то время съ *Сѣвернымъ Архивомъ* — впрочемъ это соединеніе было только въ титулѣ — явилась новая газета, *Сѣверная Пчела*, основанная и издаваемая Гречемъ и Булгаринымъ, и слѣдовательно дѣйствовавшая въ томъ же духѣ. Эта борьба часто заходила за предѣлы литературы, однако была полезна во многихъ отношеніяхъ, какъ для общества, такъ и для самыхъ журналовъ: Сынъ Отечества, оставаясь почти при тѣхъ же самыхъ идеяхъ литературныхъ, какія за двѣнадцать лѣтъ предъ тѣмъ онъ принялъ себѣ въ основаніе, конечно во многомъ уже отсталъ отъ современныхъ понятій, и бывши дотолѣ главнымъ указателемъ мнѣній,

задерживалъ самое общество; а Московскій Телеграфъ, выступивъ на литературную дѣятельность съ новыми взглядами, имѣлъ самое странное понятіе о формахъ выраженій; онъ, кажется, совершенно пренебрегалъ законы грамматики. Но въ этомъ спорѣ обѣ стороны, упорно защищаясь и нападая другъ на друга, невольно поддавались взаимному вліянію одной на другую: Телеграфъ, заставивъ Сынъ Отечества подвинуться впередъ въ идеяхъ, въ замѣну этого научился отъ него языку и правильности выраженія. Вліяніе Телеграфа не ограничилось только измѣненіемъ понятій соперничествующаго журнала; оно было такъ обширно и такъ важно, что ни одинъ Русскій журналъ ни прежде, ни послѣ не производилъ такого сильнаго вліянія на измѣненіе идей. Мы уже видѣли, какъ быстро измѣнился характеръ нашей поэзіи; но проза, въ тѣсномъ значеніи этого слова, то есть образъ мыслей, способы воззрѣнія на предметы и литературные взгляды оставались почти неподвижны, или, по крайней мѣрѣ, это измѣненіе было слишкомъ незначительно. Мы и *Ломоносова* и *Карамзина* почитали безошибочными, какъ будто они были во всемъ согласны между собою; мы равно возхищались и *Херасковымъ* и *Жуковскимъ*, какъ будто бы между ними было какое нибудь сходство. Мы не думали о писателяхъ, а вѣрили авторитетамъ, какъ источникамъ вѣчныхъ, неприложныхъ истинъ. Телеграфъ поколебалъ эту вѣру въ совершенство старыхъ поэтовъ, въ вѣчную несостаримость Ломоносова, въ безошибочность Карамзина. Правда, онъ часто доходилъ въ своихъ мнѣніяхъ до излишества, до крайности; онъ съ ожесточеніемъ нападалъ на старыхъ писателей и какъ будто мстилъ имъ за долговременное торжество, за продолжительную вѣру въ нихъ старыхъ обществъ; нерѣдко, на ряду съ недостатками, охуждалъ и то, что не заслуживало охужденія; особенно онъ во многомъ погрѣшилъ противъ Карамзина; но

онъ пробудить въ насъ самосознаніе, и, научивъ насъ смотрѣть на все собственными глазами и думать объ всемъ своимъ умомъ, подвергся той самой критикѣ, которая отвергаетъ всякое довѣріе въ чужой умъ, хотя и сама дѣйствуетъ подъ посторонннимъ вліяніемъ. Главная ошибка Телеграфа состояла въ томъ, что, при оцѣнкѣ старыхъ писателей, онъ не хотѣлъ принимать въ разсчетъ тѣхъ обстоятельствъ, въ которыхъ они находились; онъ цѣнилъ ихъ, судилъ и осуждалъ по понятіямъ своего времени; онъ не оцѣнилъ тѣхъ трудовъ и усилій, которые они употребляли, чтобъ проложить дорогу себѣ и своимъ преемникамъ и послѣдователямъ, преодолѣвая тѣ препятствія, которыя они встрѣчали и въ упрямствѣ языка, еще неразработаннаго, и въ умахъ своихъ современниковъ, и даже въ своихъ собственныхъ понятіяхъ первоначальныхъ, съ которыми они выросли, и которыя нерѣдко противорѣчили и чистому вкусу и школьному ихъ ученію; онъ не оцѣнилъ и тѣхъ трудовъ,—хотя часто пустыхъ,—которые они изпытали въ пріобрѣтеніи этой школьной учености, столь не согласной съ ихъ чувствами и съ понятіями, въ дѣтствѣ пріобрѣтенными отъ окружающаго ихъ міра.

Между тѣмъ появлялись другіе журналисты, особенно въ Москвѣ, и всѣ они вступали въ соперничество съ Телеграфомъ, и всѣ падали — *Московскій Вѣстникъ*, *Аѳеней*, *Галатея*, *Молва*; долѣе всѣхъ держался *Московскій Телескопъ*, который былъ подъ редакціею сильнаго таланта—*Надеждина*. Разсматривая составъ и дѣйствія этого журнала, нельзя не удивляться и не жалѣть о томъ, что онъ выбралъ себѣ направленіе совершенно случайное, не выражавшее ни какой постоянной мысли; онъ рѣшился противорѣчить всѣмъ журнальнымъ мнѣніямъ; а потому часто противорѣчилъ и самому себѣ. Здѣсь вы найдете не только въ каждой книжкѣ; но

почти въ каждой ученой и критической статьѣ самыя мѣткія, изумительно вѣрныя сужденія о предметахъ темныхъ и спорныхъ, и самые странные, до невѣроятности легкомысленные промахи въ сужденіяхъ о предметахъ болѣе общеизвѣстныхъ, особенно въ сужденіяхъ объ изящныхъ искуствахъ; отъ того этотъ журналъ, имѣвши значительное число читателей, мало имѣлъ такихъ возторженныхъ приверженцевъ, какъ Телеграфъ, и почти никакого вліянія не произвелъ въ общественномъ мнѣніи; между тѣмъ какъ Телеграфъ не только истинныя, но даже самыя ложныя свои убѣжденія усвоилъ читателямъ, опъ до такой степени увлекалъ всѣхъ, что и противники его приняли многія идеи, утвержденныя имъ. При всемъ однакоже разногласіи, всѣ Московскіе журналы имѣли одну общую черту: всѣ они были ревностными защитниками германской туманной философіи. Мы далеки отъ мысли и желанія отвергать пользу философіи; но позволяемъ себѣ думать, что кто не можетъ ясно высказать своихъ мыслей, тотъ неясно думаетъ, неясно понимаетъ свой предметъ. Началась эта философія у насъ не въ журналахъ; она прежде явилась на каѳедрахъ, а оттуда перешла уже въ журналы, которые разпространили ее и дали ей модное значеніе не только въ разсужденіяхъ, но и въ повѣстяхъ; этому разпространенію содѣйствовали и Телеграфъ и Телескопъ, а болѣе всѣхъ хлопоталъ Атеней.

Вдругъ (въ 1834 году) является новый журналъ, врагъ этой философіи, Библіотека для Чтенія. — При первоначальномъ основаніи этого журнала въ первый разъ соединились всѣ наши извѣстные писатели и въ немъ сосредоточили свою дѣятельность. Ихъ соединила всеобщая довѣренность къ основателю и первому издателю журнала, умному, трудолюбивому, честному и безкорыстно-предпріимчивому книгопродавцу *Смирдину*, который, по одной любви къ отечественной словесности,

въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ всѣми своими средствами обезпечивалъ труды извѣстныхъ и неизвѣстныхъ писателей. Одно уже названіе журнала, давно знакомое всему читающему Русскому обществу по *Библіотекѣ для чтенія Плавильщикова* и потомъ *Смирдина*, впушало общее довѣріе къ нему а соединеніе всѣхъ талантливыхъ и ученыхъ писатей еще болѣе утвердило это довѣріе. Отвѣтственными редакторами журнала были сначала *П. И. Гречъ*, потомъ *И. А. Крыловъ*, а наконецъ *О. И. Сенковскій*, который впрочемъ всегда былъ главнымъ дѣйствователемъ въ составленіи его и въ направленіи идей. Хотя Московскій Телеграфъ давно уже разширилъ кругъ журнальной дѣятельности и старался принять энциклопедическій характеръ; однако онъ, по малости объема, а можетъ быть, и по недостатку вещественныхъ средствъ, не достигалъ этой цѣли и оставался учено-литературнымъ журналомъ. Библіотека для чтенія, созданная благонамѣренностію Смирдина, по своимъ огромнымъ средствамъ, которыя давалъ ей ревностный издатель, сдѣлалась журналомъ вполнѣ энциклопедическимъ: въ составъ ея вошли всѣ роды знаній, почти со всѣми ихъ отраслями. Богатство и разнообразіе содержанія, обширность разнородныхъ знаній, свѣжесть ученыхъ, литературныхъ и современно историческихъ извѣстій, ясность сужденій и выраженія подавили всѣ другіе литературные журналы. Успѣхъ Библіотеки для чтенія такъ былъ великъ, что подписчики ея считались тысячами, слѣдовательно она имѣли читателей многіе десятки тысячъ, и большая часть этихъ читателей подчинялась вліянію ея съ увлеченіемъ, съ энтузіазмомъ; мнѣнія и приговоры ея почитались изрѣченіями оракула и рѣшеніемъ самой судьбы. И въ самомъ дѣлѣ, этотъ журналъ имѣлъ и доселѣ еще имѣетъ неоспоримыя достоинства: онъ отличается свѣтлыми, ясными взглядами на всѣ предме-

ты учености; онъ неумолимо гналъ и гонитъ всякую темноту и туманность понятій, сужденій, заботится о легкомъ и естественномъ способѣ выраженія; онъ удачно умѣлъ сблизить глубокую ученость съ легкою свѣтскостію, — а это есть главное назначеніе журналистики. Лучшими отдѣлами въ этомъ изданіи были до послѣдняго времени, особенно въ первые пять лѣтъ: *Изящная Словесность*, *Науки и Художества и Смѣсь*. Читатели легко и даже съ пріятностію почерпнули въ этихъ отдѣлахъ множество полезныхъ свѣдѣній. Здѣсь мы видѣли и прочли (не по журнальному), читали и перечитывали со вниманіемъ множество такихъ статей, которыя имѣютъ высокія достоинства глубокой учености, явившейся предъ нами въ первый разъ въ легкой изящной формѣ, которая не испугаетъ даже свѣтскую читательницу, имѣющую ясный умъ; напримѣръ: *о мірѣ и его Создателѣ*, *о лунѣ*, *о зодчествѣ насѣкомыхъ*, *Эразмъ Родтердамскій*, *Скандинавскія Саги* и м. д. которыя врезались въ память. Это высокая неоцѣненная заслуга! Истинный учитель не туманитъ ума, а проясняетъ его! Не въ томъ дѣло, чтобъ сообщить читателю высокія, безусловныя истины; это не всегда зависитъ отъ воли человѣка; надо развивать и прояснять умъ читателя и возбуждать его къ самостоятельной дѣятельности. — Но между многими достоинствами Библіотека для чтенія имѣетъ свои капитальные недостатки: она, заключая въ себѣ особенный отдѣлъ подъ названіемъ *Критики*, всегда смѣялась надъ критикою и особенно надъ безпристрастіемъ ея; весь разборъ книгъ въ ней состоялъ въ извлеченіи содержанія и въ выпискахъ съ прибавленіемъ шутокъ; а *Литературная Лѣтопись* ввела и утвердила какой-то особый родъ критики, которая теперь въ большой модѣ; всѣ наши журнальные критики хотятъ быть весельчаками, хотятъ смѣяться и смѣшить; но какъ это ремесло не

такъ легко, какъ они воображаютъ,—оно не многимъ дается; то большая часть изъ нихъ вовсе не весело смѣшитъ. Литературная Лѣтопись лѣтъ пять шутила умно, остро и занимательно, но наконецъ притупилась. Это нововведеніе имѣло дурныя слѣдствія. Почти тоже можно сказать и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ грамматическихъ свойствахъ языка, особенно о бѣлорусскомъ родительномъ падежѣ, который у насъ можетъ быть допущенъ только въ односложныхъ словахъ. Ежели гоненіе на *сей и оный* есть намекъ на славенизмъ; то онъ имѣетъ въ себѣ много правды. Но къ чему такое ожесточеніе? Къ чему крайности? и къ чему вообще самовластный топъ въ критикѣ?

Честный, умный и благонамѣренный издатель Библіотеки для чтенія, Смирдинъ первый замѣтилъ неограниченную монополію созданнаго имъ журнала, и для большаго оживленія литературной дѣятельности и для необходимой борьбы мнѣній возстановилъ старый заслуженный журналъ: *Сынъ Отечества*, который подъ редакціею Н. А. Полеваго выросъ до объема Библіотеки и по вещественной величинѣ и по содержанію; онъ, не вдаваясь въ крайность противорѣчій, старался утвердить равновѣсіе мнѣній и остановить безусловность приговоровъ Библіотеки; два года дѣйствовалъ онъ съ блестящимъ успѣхомъ, который имѣлъ вліяніе и на улучшеніе Библіотеки; но на третій годъ медленность выхода книгъ—можетъ быть, были и другія причины, неизвѣстныя намъ—уронили его; а въ 1841 году онъ сдѣлался почти прибавленіемъ къ Библіотекѣ для чтенія; въ 1842 году подъ редакціей К. П. Масальскаго снова оживился и снова упалъ.

Съ паденіемъ однихъ періодическихъ изданій, появлялись другія, напримѣръ: *Репертуаръ* и *Пантеонъ*, тихій—совсѣмъ не по духу времени—*Современникъ*, заносчивый проповѣдникъ и учитель смиренія *Маякъ*, и

друг. Преимущественно же мы должны обратить внимание на возобновление двухъ старыхъ журналовъ, радуясь успѣху одного изъ нихъ и сожалѣя о прекращеніи другаго; это *Отечественныя Записки* и *Русскій Вѣстникъ*. Послѣдній, нѣкогда издаваемый извѣстнымъ патріотомъ С. Н. *Глинкою*, по возобновленіи своемъ выходилъ только два года. Но и въ это короткое время онъ успѣлъ много сдѣлать; любители Русской Исторіи и Русской Словесности найдутъ въ книжкахъ его много статей, достойныхъ любопытства и знанія, и съ прискорбіемъ должны думать, что наше читающее общество, готовое поддерживать все чужеземное или свое легкое и забавное, не всегда поддерживаетъ полезное трудолюбіе, если оно не сопровождается шумомъ и блескомъ. Однако и редакторы въ свою очередь не совсѣмъ были правы предъ читателями.—Для чего имъ было отступать отъ частнаго значенія своего изданія?—Для чего имъ было давать своему журналу объемъ содержанія и значеніе, общіе всѣмъ пыпѣшнимъ журналамъ, и такимъ образомъ, волею или не волею, входить въ соперничество съ ними?—Удержи они за своимъ журналомъ чисто историческое значеніе, въ обширномъ смыслѣ этого слова, т. е. гражданскомъ и литературномъ,— и журналъ ихъ, бывши самостоятельнымъ, обратилъ бы на себя общее вниманіе; онъ устранилъ бы отъ себя всякое соперничество журналовъ, уже получившихъ большую или меньшую значительность въ мнѣніи общества.

Отечественныя Записки, также какъ и Русскій Вѣстникъ, давно издавались извѣстнымъ нашимъ путешественникомъ и писателемъ, *П. П. Свиньинымъ*; но тогда онѣ имѣли частный характеръ историко-географическій; и въ этомъ отношеніи совершенно соотвѣтствовали своему названію. Теперь же этотъ журналъ только въ двухъ или трехъ отдѣленіяхъ сохранилъ характеръ

приличный его названію; а въ остальныхъ отдѣлахъ не имѣетъ ничего отечественнаго. Конечно, при твердомъ желаніи и знаніи средствъ, можно издавать превосходный журналъ. не противорѣча этому его названію; впрочемъ, книга можетъ имѣть самое странное и ни съ чѣмъ несообразное названіе, и при всемъ томъ можетъ имѣть внутреннія достоинства: занимательность и полезность. Разсматривая *Отечественныя Записки* со всевозможнымъ безпристрастіемъ, прежде всего надобно вспомнить одно очень важное обстоятельство: онѣ возобновлены и начали издаваться въ настоящемъ своемъ видѣ въ то время, когда *Библіотека для Чтенія* пользовалась большою довѣренностію и совершенно господствовала надъ вниманіемъ и мнѣніями читателей; когда *Московскій Наблюдатель* имѣлъ свою—хотя небольшую—партію; когда *Сынъ Отечества*, обновленный, издавался уже цѣлый годъ съ большимъ успѣхомъ, а этого, при многихъ другихъ литературныхъ и ученыхъ спеціальныхъ журналахъ было достаточно для ограниченнаго числа нашихъ читателей. При всемъ этомъ Отечественныя Записки выдержали соперничество, и теперь идутъ очень успѣшно, занимая одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду всѣхъ періодическихъ изданій и владѣя умами юнаго поколѣнія; слѣдовательно по одному этому успѣху надобно признать въ нихъ большія достоинства. Иначе, гдѣ же причины этого успѣха!—Не будемъ въ этомъ случаѣ несправедливы къ современному обществу, подобно Отечественнымъ Запискамъ, которыя часто отвергаютъ всякій талантъ у такихъ писателей, которые въ свое время увлекали общее вниманіе. Что нравится многимъ, то должно имѣть достоинства, ежели не вѣчныя, то по крайней мѣрѣ временныя, условныя; такъ и Отечественныя Записки имѣютъ свои достоинства, какъ истинныя или существенныя, такъ и условныя, временныя. Изящная

Словесность въ этомъ журналѣ, съ самаго возобновленія его и доселѣ обращаетъ на себя общее вниманіе читателей, и вполнѣ заслуживаетъ и оправдываетъ эту внимательность. Здѣсь напечатано много прекрасныхъ повѣстей и романовъ, какъ переведенныхъ, такъ и оригинальныхъ. Произведенія Купера, Дикенса, Жоржъ-Занда и другихъ современныхъ талантовъ передавались Отечественными Записками во всей ихъ полнотѣ, и знакомили съ характерами своихъ творцевъ ту часть Русскаго читающаго общества, которая не можетъ или не имѣетъ случая читать эти произведенія въ подлинникахъ. Не рѣдко здѣсь встрѣчали мы превосходныя статьи и въ ученомъ отдѣленіи; но къ сожалѣнію, онѣ много теряли отъ этой варварской учено-кабалистической терминологіи, которая всегда дѣлала науку кабинетнымъ занятіемъ и школьнымъ ремесломъ. Литературная критика этого журнала, если вѣрить слухамъ, находится въ рукахъ одного писателя и, кажется, имѣетъ одно направленіе; но ежели внимательно слѣдить ее, то въ ней откроются такія противорѣчія самой себѣ, что нѣтъ ни какой возможности согласить ихъ. Она самостоятельна до упрямства, оригинальна до чудовищности; потому-то она—то превосходна, то ужасно дика; но всегда слишкомъ многорѣчива, и часто представляетъ смѣсь самыхъ закоренѣлыхъ предразсудковъ классической школы съ самымъ необузданнымъ своевольствомъ новѣйшаго романтизма. Идеалы ея: *Гете* и *Жоржъ-Зандъ*; а Гете не только съ Жоржъ-Зандомъ, но и съ самимъ собою нельзя согласить. Главный и существенный ея порокъ—фанатическая нетерпимость; съ чѣмъ она не согласна, то уничтожаетъ. Вообще Отечественныя Записки, при многихъ важныхъ достоинствахъ, имѣютъ двѣ главныя ошибки: Какой-то *аристократическій тонъ* въ мнѣніяхъ, сужденіяхъ и разсказахъ обо всемъ, что относится къ жизни, и

увлеченіе модою или *послѣднею современностію, новизною.*—Да позволено будетъ мнѣ здѣсь сказать одну жесткую истину почти всѣмъ нашимъ журналистамъ и большей части сочинителямъ повѣстей: всѣ они прикидываются, ежели не аристократами, то, по крайней мѣрѣ, хорошо знающими высшій кругъ общества; но, увы!... часто, очень часто... одинъ тонъ журнальныхъ перебранокъ обличаетъ жалкое незнаніе самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ приличій, необходимыхъ въ званіи артистовъ и художниковъ. Кому, напримѣръ, наши журналы показываютъ образцы модъ?—Тѣмъ, которые совсѣмъ не читаютъ Русскихъ книгъ и журналовъ, а получаютъ извѣстія о модахъ каждую недѣлю прямо изъ Парижа или изъ живыхъ источниковъ, изъ магазиновъ. Этотъ почти общій порокъ журнальныхъ писателей сильно отзывается въ Отечественныхъ Запискахъ: Онѣ не говорятъ о гостинныхъ, а только о *салонахъ*. Отечественныя Записки увлекаются послѣднею модою въ литературѣ; и это увлеченіе свое оправдываютъ тѣмъ, что онѣ идутъ рядомъ съ временемъ. Прекрасно! всякій образованный человѣкъ долженъ слѣдить духъ времени; но слѣдить его, наблюдать, а не слѣдовать за нимъ слѣпо. Не все новое хорошо, и хорошее не потому хорошо, что ново; есть и въ старомъ хорошее, и въ новомъ дурное. Журналъ современнаго образованія предполагаетъ соединеніе многихъ умовъ сильныхъ, подкрѣпляемыхъ знаніемъ; слѣдовательно онъ долженъ имѣть смѣлость, силу и средства бороться со всякимъ увлеченіемъ, передавать обществу все только хорошее современное, не уничтожая въ немъ стараго, потому только, что оно старо; онъ долженъ не увлекаться стремленіемъ общества, а удерживать его отъ ложныхъ увлеченій. Обличайте въ немъ старые предразсудки и заблужденія, гоните ихъ; но неужели цѣлыя поколѣнія у насъ прошли безъ значительныхъ дарованій? Не

ужели нѣсколько поколѣній увлекалось только бездарностію и пустословіямъ прежнихъ писателей?—Ихъ формы выраженія, какъ и покрой ихъ платья, для насъ не образцы, это правда; но смѣяться надъ ними, издѣваться могутъ только такіе люди, которые, не зная исторіи, видятъ только настоящее. Нужно ли говорить, что самоуваженіе требуетъ отъ всякаго журнала, чтобъ онъ видѣлъ хорошее и въ томъ, что ему не нравится по какимъ либо отношеніямъ или случайнымъ признакамъ? Да, благородный человѣкъ уважаетъ и враговъ своихъ. Пусть *Отечественныя Записки* оставятъ эти произвольные общіе недостатки; и онѣ будутъ лучшимъ у насъ журналомъ. Частные грѣхи и случайные промахи—необходимая дань человѣческой природѣ!

Исторія общаго просвѣщенія и образованія въ Россіи должна разсматривать съ глубокимъ вниманіемъ спеціальные журналы, издаваемые министерствами, которые большею частію содержатъ въ себѣ два главныя отдѣленія: *дѣйствія правительства и ученыя статьи* по какой-либо отрасли знаній; но исторія литературы не обязана разбирать эти журналы. Нельзя сказать, чтобъ они не имѣли никакого отношенія къ литературѣ; но они не имѣютъ прямаго, непосредственнаго вліянія на словесное искуство. Одинъ только журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія изключается изъ этого общаго правила; онъ, кромѣ частной своей цѣли сильно дѣйствуетъ и на пользу просвѣщенія вообще и на пользу литературы, стараясь указаніями и примѣрами дать имъ направленіе, согласное съ духомъ нашей народной жизни; но, по временамъ принимая участіе трудами своими въ литературѣ этого журнала, я считаю не совсѣмъ приличнымъ говорить много въ пользу его.

Измѣненіе прозы.

Первыя впечатлѣнія произведеній истинной поэзіи всегда сильно поражаютъ читателя, и нерѣдко потря-

сают душу его восторгомъ; потому, увлеченные порывами чувствъ, мы удивляемся поэту, и искуство его ставимъ выше, нежели искусство прозаика. Но спокойное размышленіе объ этихъ двухъ искусствахъ и историческое сравненіе ихъ убѣждаютъ насъ въ превосходствѣ и большей трудности искусства прозаическаго. Ежели народъ въ минувшей своей жизни видѣлъ нѣсколько славныхъ событій, которыя льстятъ его гордости; ежели онъ въ памяти своей сохранилъ преданія и повѣрья предковъ; ежели настоящее его свѣтло и весело, и ежели среди такого народа являются мечтательно-чувствительные таланты съ общимъ образованіемъ и развитіемъ ума: то въ такомъ состояніи народа могутъ являться поэты и могутъ быть такія произведенія поэзіи, которыя удовлетворятъ требованіямъ взыскательнаго вкуса; потому что сила творчества— источникъ поэзіи — при такихъ условіяхъ можетъ возвышаться до созданія высокихъ и прекрасныхъ идеаловъ. Но проза, какъ выраженіе знаній, не довольствуется общимъ образованіемъ и развитіемъ ума, который при этихъ условіяхъ можетъ блеснуть наборомъ общихъ мыслей; она требуетъ положительныхъ свѣдѣній, безпрерывно разширяющихся, безпрерывно новыхъ; требуетъ твердаго навыка выражать свои мысли вѣрно, отчетливо, послѣдовательно; такъ чтобъ читатель почерпалъ изъ сочиненія столько, сколько сочинитель хотѣлъ ему сообщить. А это положительное искусство,—хотя оно дается природою бо́льшему числу людей, нежели искусство поэтическое — для возведенія его на высокую степень, требуетъ многихъ условій, какъ отъ писателя, такъ и отъ общества, требуетъ обширнѣйшихъ средствъ, какъ естественныхъ, такъ и пріобрѣтенныхъ. Потому-то вездѣ во всѣхъ странахъ поэты являлись раньше, нежели прозаики; потому-то у насъ, когда были уже Богдановичъ, Державинъ, Визинъ, Хемни-

церъ, Дмитріевъ, Озеревъ; когда явились уже Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Шаховской, Пушкинъ, Грибоѣдовъ и другіе современные имъ таланты, — послѣ Ломоносова—Карамзинъ оставался почти одинъ; а другіе значительные и даже сильные умы прошли незамѣченными, по причинамъ, заключающимся въ нихъ самихъ и въ обществѣ. Поэзія получаетъ характеръ отъ чувствъ и фантазіи; а проза отъ ума; фантазія и чувства легко увлекаются сильными и смѣлыми изображеніями; а умъ упрямъ, настойчивъ, осмотрителенъ. Вотъ почему и преобразованіе поэзіи совершается легче и скорѣе, нежели преобразованіе прозы. Такъ Жуковскому, при содѣйствіи обстоятельствъ, легко было увлечь молодыхъ мечтателей и пробудить въ нихъ новый образъ мечтаній и чувствованій; но проза оставалась все еще при прежнемъ направленіи и при старомъ характерѣ, и потомъ медленно и лѣниво измѣнялась; потому что дать и усвоить обществу новую философію, новый взглядъ на вещи и преимущественно на жизнь и дѣятельность людей, новый образъ мыслей, новый характеръ знаній — дѣло трудное и продолжительное, требующее большихъ усилій. Борьба классической и романтической поэзіи давно уже кончена; а борьба мнѣній не только за измѣненіе прозы, но и поэзіи и доселѣ еще продолжается; что такое наши журнальные споры, за изключеніемъ мелкихъ личныхъ перебранокъ, какъ не борьба за образъ мыслей? Это дѣло почти вѣковое. Конечно, вопросъ: быть или не быть новому образу мыслей, слѣдовательно, новой прозѣ, давно рѣшенъ; но гдѣ предѣлъ этому измѣненію? Проза, въ обширномъ своемъ значеніи, должна опредѣлить и новую теорію не только словесныхъ, но и вещественныхъ искуствъ, и оградить ихъ отъ всѣхъ злоупотребленій своевольнаго ума. А мы согласились только въ томъ, что старая теорія не годится; но вся ли

она должна быть отвергнута и замѣнена совершенно новою, или измѣнена только въ частяхъ? Вотъ вопросъ, о рѣшеніи котораго мы еще очень мало думали. Гдѣ же сужденія наши о художествахъ? Мы ждемъ, что скажутъ французы!

Исторія. Знакомство съ романтико-германскою и потомъ съ англійскою литературами рано заставило насъ сомнѣваться въ вѣрности прежняго идиллическаго образа мыслей и взгляда на предметы, преимущественно историческіе. Но сильный, ловко владѣвшій прежнимъ искуствомъ, талантъ Карамзина и смѣлая, рѣшительная критика Мерзлякова опять остановили насъ на вѣрованіи въ непогрѣшимость старыхъ авторитетовъ; такъ что даже Жуковскій и Пушкинъ, эти представители новой словесности, часто разсуждали, наперекоръ своимъ дѣйствіямъ, по старымъ теоріямъ и какъ будто боялись противорѣчить Карамзину и его школѣ. Говоря о журналистикѣ, мы уже замѣтили, какъ смѣло возсталъ Н. А. Полевой противъ литературныхъ предразсудковъ; мы также видѣли и ошибку его, эту жесткость тона и страстное ожесточеніе, съ которымъ онъ гналъ все несогласное съ его образомъ мыслей; онъ хотѣлъ замѣнить исторію Карамзина своею исторіею; но не успѣлъ и не могъ успѣть въ этомъ; онъ забылъ, что образъ мыслей народа измѣняется медленно, и новыя произведенія не замѣняютъ старыхъ, а только дополняютъ сумму ихъ, возводя искуство на высшую степень. Идея Полеваго прекрасна — написать исторію народа критическую; но онъ выполнялъ ее неспокойно, подъ вліяніемъ негодованія на застой мыслей; и потому отступилъ отъ главной своей цѣли. Его исторія проявила собою не стремленіе къ совершенствованію, а соперничество съ Карамзинымъ; отъ того въ нее вкралось множество ошибокъ частныхъ, которыхъ при спокойномъ расположеніи духа легко было бы избѣгнуть. Общество, при-

выкшее къ безусловному вниманію и уваженію Карамзина не простило этого Полевому; и исторія его, не смотря на вѣрность общаго взгляда, имѣла успѣхъ только временной по своей новизнѣ, такъ, что краткая или дѣтская его исторія принята съ бо́льшимъ вниманіемъ, и она вполнѣ заслуживаетъ этотъ пріемъ. Заслуга Полеваго состоитъ въ томъ, что онъ своею исторіею убилъ идиллическій взглядъ на древнюю Русь и показалъ намъ разность между западными рыцарями и дѣйствователями нашей древности. Заслуга Великая, еще доселѣ неоцѣненная! — Всѣ исторіи и историческія сочиненія, написанныя на Русскомъ языкѣ и изданныя въ продолженіе послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ, были, каждая въ свою очередь, болѣе или менѣе полезны; а нѣкоторыя изъ нихъ долго еще сохранятъ свою полезность, пока не будутъ замѣнены лучшими произведеніями, болѣе сообразными съ современнымъ образованіемъ юнаго общества; но почти всѣ онѣ имѣютъ одинъ общій недостатокъ: въ нихъ нѣтъ собственнаго, самостоятельнаго взгляда ни на частныя событія, ни на исторію вообще: и потому онѣ слишкомъ мало подвинули впередъ историческое искуство, и ни сколько не объяснили темныхъ мѣстъ въ Русской исторіи. Полевой у насъ одинъ!

Описательная отрасль нашей положительной прозы довольно богата хорошими путешествіями, изъ которыхъ каждое имѣетъ свои особенныя достоинства и въ свое время знакомило или знакомитъ наше общество съ различными странами міра, — съ физической природой, съ нравами народовъ, съ успѣхами образованія во всѣхъ частяхъ свѣта, при различныхъ обстоятельствахъ, подъ различными вліяніями. Какъ большая часть этихъ путешествій совершена съ особенными цѣлями, и описанія ихъ составлены сообразно этимъ частнымъ цѣлямъ: то мы должны ограничиться только указаніями на тѣ

Путешествія.

изъ описаній путешествій, которыя замѣчательнѣе другихъ, особенно въ литературномъ отношеніи. Описаніе путешествія *Крузенштерна*, которое онъ первый изъ Русскихъ мореходцевъ совершилъ кругомъ свѣта въ первыхъ годахъ настоящаго столѣтія, отличается вѣрностію взгляда на предметы важные и полезные для мореплавателей;—*Лисянскаго*, который плавалъ кругомъ свѣта въ одно время съ Крузенштерномъ, замѣчательно разнообразіемъ содержанія; *Хвостова и Давыдова* — романтическою занимательностію приключеній, случившихся съ ними; *Головнина* — обширными знаніями, богатствомъ легко изложенныхъ и разсказанныхъ наблюденій и извѣстій о народахъ и странахъ, дотолѣ совершенно неизвѣстныхъ намъ; и въ этомъ отношеніи особенно замѣчательно его первое путешествіе и пребываніе его въ плѣну у Японцевъ; оно имѣетъ всѣ достоинства положительности и всю занимательность лучшаго романа;—*Рикорда* отличается наблюдательнымъ умомъ и мѣткостію замѣчаній самостоятельныхъ и не зависящихъ отъ общихъ предразсудковъ. За этими первыми Русскими путешественниками кругомъ свѣта слѣдуетъ длинный рядъ другихъ, которые дѣлаютъ честь Русскому флоту и записки которыхъ можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ и съ пользою; у каждаго найдемъ много новаго и занимательнаго, какъ напримѣръ: *Лазарева, Муравьева, Котцебу, Литка, Б. Врангеля* и др.

Между многими сухопутными путешественниками особенное вниманіе мы должны обратить на описанія путешествій *Муравьева-Апостола по Тавридѣ, Тимковскаго въ Китай, Капитана Муравьева въ Туркменію и Хиву, Бронникова, Норова и Муравьева ко святымъ мѣстамъ*. Давно уже Таврида, эта Русская Италія, принадлежала намъ; но мы долго не знали ее; въ 1820 году подробно разсмотрѣлъ и отчетливо, живописно описалъ намъ ее Муравьевъ-Апостолъ; онъ смотрѣлъ на эту стра-

ну какъ политико-экономъ, какъ философъ и даже какъ поэтъ; кто можетъ отдѣлить устарѣлыя формы выраженій и жесткость многихъ словъ, вышедшихъ уже изъ употребленія, отъ вѣрныхъ и занимательныхъ мыслей, тотъ можетъ читать это путешествіе съ большимъ удовольствіемъ. Тимковскій провожалъ Русскую миссію въ Китаи до самаго Пекина; проѣзжая чрезъ Монголію, онъ имѣлъ случай многое видѣть въ этихъ странахъ и сообщилъ намъ богатыя свѣдѣнія, какъ о мѣстахъ, дотолѣ непзвѣстныхъ Европейцамъ, такъ и о жителяхъ, о ихъ правахъ и образѣ жизни. Правда, здѣсь читатель не найдетъ литературнаго искуства, но за то онъ найдетъ богатое содержаніе. Капитанъ Муравьевъ былъ посланъ въ Туркменію и Хиву для переговоровъ съ тамошними правительствами и для выкупа плѣнныхъ; потому онъ имѣлъ возможность узнать не только страны, посѣщенныя имъ, обычаи и нравы жителей, но и самыя правительства, и все, что онъ могъ узнать, по стѣсненнымъ обстоятельствамъ и по непрпступной варварской политикѣ, изобразилъ съ большимъ искуствомъ. *Зубовъ* доставилъ намъ множество свѣдѣній о Закавказскомъ Краѣ, объ этой Колхидѣ, гдѣ готовится для насъ новое золотое руно, которое теперь съ такимъ успѣхомъ завоевывается у многоглавой гидры, безпрестанно поражаемой. Путешествіе Бронникова ко Святымъ мѣстамъ замѣчательно не столько по литературному искуству, сколько по чистотѣ чувствованій и возвышенности благочестивыхъ помысловъ(*). Много есть еще сочиненій въ этомъ родѣ, до-

(*) Этотъ путешественникъ-простолюдинъ, простосердечно описывавшій тѣ мѣста, гдѣ проходилъ свою земную жизнь Христосъ Спаситель, былъ свидѣтелемъ перваго возстанія Грековъ и съ неподдѣльнымъ участіемъ и простосердечіемъ разсказываетъ волненіе Грековъ архипелажскихъ и патріотизмъ всѣхъ сословій, а преимущественно духовенства.

стоиныхъ прочтенія и глубокаго вниманія; но по большинству мнѣній, лучшими описаніями путешествій почитаются сочиненія *Муравьева, Путешествіе ко святымъ мѣстамъ* и другое—*По святымъ мѣстамъ Русскимъ*. Эти сочиненія справедливо обратили на себя всеобщее вниманіе: они замѣчательны и по чувствованіямъ молодаго путешественника и по просвѣщеннымъ взглядамъ на святыя мѣста, ознаменованныя дѣлами нашего Небеснаго Учителя и великихъ подвижниковъ, послѣдователей Его, и по искуству живо и занимательно разсказывать о предметахъ, много разъ описанныхъ, и по новости описанія и извѣстій о Русскихъ Святыхъ мѣстахъ, которыя такъ близки намъ и такъ мало были извѣстны. Все это высоко ставитъ путешествія Муравьева и даетъ ему почетное мѣсто въ исторіи Русской литературы; но этимъ не ограничились его заслуги; онъ оказалъ намъ высокую заслугу неоцѣненную разборомъ всѣхъ путешествій ко Святымъ мѣстамъ, начиная отъ перваго Русскаго Паломника, Игумена Даніила, до Бронникова. Этотъ разборъ путешествій, напечатанный въ первой части его сочиненія, можетъ служить прекрасною исторіею путешествій Русскихъ людей по Святымъ землямъ. Наконецъ послѣднее *путешествіе по Святой землѣ, Норова*, можетъ счастливо соперничать во многихъ отношеніяхъ съ сочиненіемъ Муравьева. Мы не говоримъ о томъ, что Норовъ первый позаботился объ изяществѣ своего путешествія; онъ украсилъ его многими прекрасными картинами, отлично нарисованными и отгравированными, которыя, при словесныхъ указаніяхъ и описаніяхъ, даютъ самыя живыя понятія о мѣстахъ священныхъ для всякаго Христіанина. Этой живости представленій никогда нельзя достигнуть одними словесными изображеніями. Но главное и существенное превозходство путешествія Норова состоитъ въ историческихъ изыскані-

яхъ о многихъ предметахъ Священной Исторіи; возмемъ, напримѣръ, разысканія путей, по которымъ шли Израильтяне изъ Египта въ обѣтованную землю; какъ ясны и убѣдительны эти изслѣдованія! Мы живемъ въ вѣкѣ скептицизма, когда все подвергается вопросамъ и сомнѣніямъ; а потому такія изслѣдованія не только утѣшительны, но и необходимы.

Учебно-словесныя книги.

Въ общемъ очертаніи этого періода сказано нѣсколько словъ о бѣдности нашей дидактической прозы, какъ ученой, такъ и учебной. Но это не значитъ, что у насъ совсѣмъ нѣтъ ученыхъ и учебныхъ книгъ. Нѣтъ! Каждая отрасль знаній имѣетъ свою исторію, которая должна излагать ихъ развитіе и успѣхи. Здѣсь же говорится только о сочиненіяхъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ изящной словесности. Въ этомъ родѣ, кромѣ журнальныхъ статей, можно остановиться только на *умозрительныхъ и опытныхъ основаніяхъ Словесности*—*Глаголева*, на *чтеніяхъ о словесности*—*Давыдова* и *на изслѣдованіяхъ о Русскомъ языкѣ*—*Протоіерея Павскаго*. Конечно, первыя два сочиненія не внесли въ науку новыхъ истинъ или началъ знаній; но они имѣютъ свои достоинства: первое замѣчательно и полезно тѣмъ, что въ немъ изложенъ новый способъ воззрѣнія на предметъ науки; и ежели бы сочинитель глубже вникнулъ въ идею и планъ своей системы, ежели бы онъ съ большею любовію изложилъ свои умозрѣнія и наблюденія надъ словомъ; то книга его могла бы имѣть значительное вліяніе на способъ ученія словесности; а теперь во многихъ мѣстахъ видна въ ней поспѣшность, недокончанность и даже несвязность. Вторая книга замѣчательна тѣмъ, что въ ней развиты съ большею ясностію и вѣрностію эмпирическія начала ученія словесности Англійскаго теорика, *Блери*, который во многихъ отношеніяхъ можетъ почесться лучшимъ учителемъ общей теоріи словесности. Изслѣдованія Павскаго можно назвать истинною сокровищницею

знанія Русскаго языка; только послѣ такихъ глубокихъ изысканій о свойствахъ языка, можно написать хорошую систематическую грамматику, которая можетъ быть основана не на произвольномъ употребленіи модныхъ писателей, а на существенныхъ свойствахъ языка.

Много было споровъ и печатныхъ и непечатныхъ о грамматикахъ, написанныхъ *А. Хр. Востоковымъ* и *Н. И. Гречемъ;* но что рѣшили эти споры? — Почти ничего! Труды Востокова и Греча, не смотря на единство ихъ предмета и цѣли, совершенно различны: Обѣ грамматики Востокова — и *пространная* и *краткая* — содержатъ въ себѣ рядъ филологическихъ выводовъ изъ историческаго измѣненія Русскаго языка и изъ сродства его съ другими Славянскими нарѣчіями. Гречь только въ *пространной* своей грамматикѣ смотрѣлъ на языкъ въ историко-филологическомъ отношеніи; а въ *практической*, въ сокращеніи ея, т. е. *краткой грамматикѣ* и въ урокахъ своихъ онъ указывалъ только на употребленіе лучшихъ писателей и преимущественно на употребленіе Карамзина. Слѣдовательно оба они имѣли односторонній взглядъ на языкъ; оба они также забыли, что есть еще языкъ живой народный, который имѣетъ множество такихъ особенностей, которыя до Крылова совсѣмъ не были извѣстны въ области Литературнаго искуства, устроившаго Русскій языкъ по чуждымъ формамъ. Впрочемъ Востоковъ и Гречь первые прокладывали трудный путь къ приведенію въ систему законовъ Русскаго языка, и труды ихъ достойны уваженія и всегдашняго памятованія; они много, очень много сдѣлали для будущихъ грамматиковъ: черновая работа вся сдѣлана ими! Но продолжителей еще нѣтъ.

Между лицами, содѣйствовавшими успѣхамъ Русской словесности надобно вспомнить съ большою благодарностію *Сахарова*, который собралъ и издалъ нѣсколько томовъ *Сказаній о частной жизни Русскаго народа*,

его *пѣсень*, *пословицъ*, *игръ*, *повѣрій* и прочаго. Эту благодарность питаетъ къ нему всякій, кто хочетъ знать русскій бытъ и духъ народа; въ этихъ Сказаніяхъ весь Русскій человѣкъ; но нельзя не замѣтить Сахарову, что онъ напрасно объясняетъ, а иногда даже изправляетъ Русскія пѣсни, игры и поговорки по теоріи, предварительно придуманной. Что была какая нибудь система въ древне-языческомъ баснословіи Славянскомъ, и что слѣдовательно была господствующая мысль во всѣхъ повѣрьяхъ Славянъ, за это ручается всеобщій законъ человѣческаго смысла; но этотъ же самый законъ смысла отвергаетъ новопридуманную *систему семибожія* Славянскаго, которую Сахаровъ допускаетъ вслѣдъ за *Снѣгиревымъ*. Для отысканія истинной системы баснословія нужно изучать всѣ повѣрья народа и отношенія ихъ къ древнеязыческой вѣрѣ, нужно изучать частныя свойства боговъ и взаимную ихъ связь; но произвольныя толкованія не приблизятъ къ истинѣ, а только удаляютъ отъ нея.

Энциклопедическій лексиконъ.

Въ ряду явленій, которыя обнаруживаютъ степень и характеръ нашей любознательности и общее стремленіе къ пріобрѣтенію и разширенію знаній, занимаетъ первое и важнѣйшее мѣсто изданіе *Энциклопедическаго Лексикона*. Едва только открылись матеріальныя средства къ этому обширному предпріятію, какъ собралось огромное число ученыхъ писателей, изъявившихъ готовность и желаніе ревностно участвовать въ исполненіи этого многосложнаго дѣла; число это было такъ велико, что его достаточно было бы для выполненія нѣсколькихъ подобныхъ предпріятій; и общество читателей съ своей стороны показало всю готовность поддержать этотъ многосложный трудъ. Слѣдовательно не равнодушіе писателей и общества составляетъ причину скудости нашей прозы; но съ одной стороны недостатокъ средствъ

вещественныхъ—капитала, который бы могъ разрушить недовѣріе между писателями и читателями; съ другой стороны, какое-то чудовищное стремленіе выказать свою разрушительную силу нашихъ критиковъ, которые, не изпытавъ, что значитъ создавать, все разрушаютъ; они требуютъ самовольно придуманнаго ими какого-то недосягаемаго совершенства; они не знаютъ, что всякая степень совершенствованія достигается медленно, въ слѣдствіе многихъ опытовъ и ошибокъ; они забываютъ, что между требованіями и выполненіемъ ихъ иногда бываетъ такая же разность, какъ между грезами и дѣйствительностію; требовать можетъ все даже слабоумый, а выполнять очень мало могутъ и умнѣйшіе люди. Въ четыре года вышло Энциклопедическаго Лексикона шестьнадцать томовъ, которые содержатъ въ себѣ огромный запасъ всѣхъ родовъ знаній отъ астрономіи до земледѣлія, отъ эстетики до ариѳметики, отъ исторіи до баснословія. Нашъ энциклопедическій Лексиконъ имѣетъ то важное преимущество предъ всѣми изданіями этого рода, что редакція его, имѣя въ виду всѣ извѣстныя энциклопедіи, сличала ихъ составъ и содержаніе, пользовалась тѣми свѣдѣніями, которыя онѣ предлагаютъ, изправляла ошибки и пополняла многіе пропуски свѣдѣній относительно Россіи и всего вообще возтока. Потому-то онъ имѣетъ интересъ новости нетолько для насъ, но и для иностранцевъ; здѣсь открывается цѣлый *новый міръ сѣверовостока*, который очень мало извѣстенъ западнымъ ученымъ. Но къ всеобщему сожалѣнію, недостатокъ вещественныхъ или денежныхъ средствъ заставилъ прекратить это полезнѣйшее изданіе, которое могло бы составить истинную славу нашему времени. И такъ намъ нужны люди, которые, обладая вещественными средствами, были бы предпріимчивы и любили бы Русскую словесность, подобно Смирдину, которые бы находили удовольствіе соединять просвѣ-

щенные таланты и трудолюбивую ученость, направляя ихъ къ одной благородной цѣли.

Духовная Литература.

Литература духовная, имѣя предметомъ своимъ предпочтительно дѣла церкви и лицъ, непосредственно служащихъ ей, не довольствуется разпространеніемъ новыхъ знаній въ обществѣ; она прямо дѣйствуетъ на утвержденіе христіанскихъ правовъ. Изящество формъ не чуждо ей; но оно составляетъ здѣсь только второстепенное качество; потому на нее должно смотрѣть совсѣмъ съ другой точки зрѣнія. Она составляетъ спеціальную дѣятельность людей духовныхъ; потому мы здѣсь говоримъ о ней очень мало, и только для полноты общей картины. Мы раздѣлимъ ее на три отрасли: *описательно-Историческую*, *Догматическую и Ораторскую*.

Въ духовноисторической литературѣ въ это время три лица обращаютъ на себя особенное вниманіе: *Евгеній Болховитиновъ*, бывшій Кіевскій Митрополитъ, обогатилъ эту отрасль словесности описаніями многихъ монастырей и храмовъ съ историческими изслѣдованіями о времени построенія и украшенія ихъ и о лицахъ, участвовавшихъ въ томъ; какъ, напримѣръ, описаніе *Кіевопечерскаго монастыря*, *Кіевософійскаго Собора и Псковскихъ монастырей*. Во всѣхъ этихъ описаніяхъ видно глубокое знаніе дѣла; всѣ они одушевлены просвѣщенною и высокою любовію къ изящнымъ памятникамъ Русской старины и благочестія; жаль только, что языкъ этихъ сочиненій не имѣетъ современной свѣжести и чистоты; часто славянизмъ въ нихъ доходитъ до излишества; впрочемъ недостатокъ этотъ вознаграждается мѣткостію и вѣрностію взглядовъ. Но важнѣйшая заслуга Митрополита Евгенія состоитъ въ составленіи біографическаго словаря всѣхъ *писателей духовнаго чина*. Трудъ великій, который требовалъ обширныхъ знаній, глубокихъ соображеній, усидчивой работы и терпѣнія самаго Нѣмецкаго; потому что

этотъ предметъ былъ совсѣмъ не разработанъ; — и ученый Іерархъ съ честію побѣдилъ всѣ затрудненія; онъ выполнилъ дѣло добросовѣстно и съ большимъ успѣхомъ: собралъ всѣ свѣдѣнія съ стоическимъ терпѣніемъ любителя отечественной словесности, и разсказалъ жизнь и дѣйствія духовныхъ писателей съ спокойнымъ безпристрастіемъ истиннаго лѣтописца. — Между историками собственно самой Церкви первое мѣсто принадлежитъ нынѣшнему Митрополиту Московскому, *Филарету Дроздову*, который, бывши еще Ректоромъ и Профессоромъ Санктпетербургской духовной Академіи, написалъ исторію ветхозавѣтной Церкви; окончаніе же этого высокаго произведенія, составлявшаго и составляющаго красу нашей духовной литературы, т. е. Исторію новозавѣтной Церкви написалъ, бывшій въ то время Ректоромъ Санктпетербургской Семинаріи, Епископъ Пензенскій *Иннокентій Смирновъ*. Это произведеніе во всѣхъ отношеніяхъ достойно быть дополненіемъ перваго, хотя въ слогѣ ихъ и замѣтна значительная разность. Въ числѣ многихъ догматическихъ писателей самое почетное мѣсто занимаетъ тотъ же Митрополитъ *Филаретъ*, какъ сочинитель *Записокъ на книгу Бытія*, какъ переводчикъ *сей книги на Русское нарѣчіе* и какъ сочинитель-*Христіанскаго Катихизиса Православной восточной Церкви*, принятаго въ руководство при изученіи Закона Божія.

Проповѣдники.

Въ продолженіе всего этого періода, когда свѣтская Русская литература, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, оживилась народностію, и *духовное ораторство* также шло впередъ; многіе изъ старыхъ проповѣдниковъ еще продолжали дѣйствовать на семъ Священномъ поприщѣ; но явилось много новыхъ подвижниковъ Слова Божія, которые должны поучать новыя поколѣнія. *Августинъ Виноградскій*, Архіепископъ Московскій, извѣстный стихотворными и прозаическими правоучительными сочиненіями, особенно прославилъ себя *Рѣчью*, кото-

рую онъ произнесъ по случаю годичнаго поминовенія воиновъ, павшихъ на Бородинскомъ полѣ; одна эта рѣчь можетъ обезсмертить имя его. Изобразивъ въ трогательныхъ и умилительныхъ картинахъ и подвигъ самоотверженія храбрыхъ, и утѣшеніе родителей, вдовъ и сиротъ, онъ заключаетъ рѣчь свою такъ: «Земля отечественная! Храни въ нѣдрахъ своихъ любез«ные остатки поборниковъ и спасителей отечества, не «отягчи собою праха ихъ; вмѣсто росы и дождя окро«пятъ тебя благодарныя слезы сыновъ Россійскихъ. Зе«ленѣй и цвѣти до того великаго и просвѣщеннаго дня, «когда возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ вся сущая во гробѣхъ. Аминъ.» Вотъ истинная сила краснорѣчія, которая двигаетъ умомъ и волею, проникаетъ въ сердце и оживляетъ воображеніе; это дружное соединеніе религіи, философіи и поэзіи! *Амвросій Протасовъ*, бывшій Епископомъ Тульскимъ, потомъ Архіепископомъ Казанскимъ и наконецъ Тверскимъ, умѣлъ соединить величіе духовнаго краснорѣчія съ примѣненіемъ его къ житейскимъ обстоятельствамъ и гражданскимъ добродѣтелямъ, которыя для истиннаго Христіанина должны быть святы, ежели онѣ не противорѣчатъ религіи. — *Михаилъ Десницкій*, Митрополитъ Санктпетербургскій и Новгородскій далъ духовному краснорѣчію патріархальную простоту; его *Бесѣды*, часто произносимыя имъ безъ писменнаго приготовленія, были чужды теорическаго искуства; онѣ проистекали прямо изъ сердца, утвержденнаго опытомъ жизни и высокимъ христіанскимъ благочестіемъ, и были разтворяемы кроткими увѣщаніями отца своей паствы. Но первенство между всѣми духовными Ораторами современными принадлежитъ Московскому Митрополиту *Филарету*, и Харьковскому Архіепископу, *Иннокентію*. Преосвященнѣйшій Филаретъ достоинъ памятованія въ исторіи нашей литературы не только какъ *историкъ*, *догматикъ* и *ораторъ*,

но и какъ *образователь новой школы* духовныхъ догматиковъ и проповѣдниковъ; почти всѣ прославившіеся нынѣ богословы и проповѣдники одолжены ему непосредственно или посредственно своимъ образованіемъ: Архіепископы — Григорій Тверской, *Гавріилъ* Рязанскій; Оберъ-священники и Протоіереи: *Кутневичъ*, *Павскій*, *Маловъ*, *Кочетовъ*, *Боженовъ* и многіе другіе писатели разныхъ духовныхъ чиновъ. Его собственныя проповѣди отличаются необыкновеннымъ глубокомысліемъ, обширными богословскими знаніями; а привѣтственныя рѣчи—особенною краткостію, которая не противорѣчитъ полнотѣ, и поразительною силою мыслей, извлеченныхъ изъ обстоятельствъ. Вотъ, какъ онъ оканчиваетъ одно изъ своихъ Словъ, произнесенное имъ въ Великій Пятокъ надъ плащаницею Божественнаго нашего Изкупителя: «О человѣкъ, влекомый благодатію «Господа Твоего на небо, но погрязающій плотію въ мі- «рѣ! виждь образъ твой въ человѣкѣ, погружающемся «въ водахъ и противоборствующемъ потопленію; онъ не- «престанно возобновляетъ въ членахъ своихъ образъ «креста, и такимъ образомъ превозмогаетъ враждебныя «волны. Воззри на птицу, когда она желаетъ вознестися «отъ земли; она простирается въ крестъ, и возлетаетъ. «Ищи и ты въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и «вознестися къ Богу. *Слово Крестное спасаемымъ сила «Божія есть.*» И вотъ какъ онъ привѣтствуетъ Государя Императора, великодушно спѣшившаго утѣшить Москву, бѣдствовавшую отъ холеры, которая въ то время почиталась заразительною: «Благочестивѣйшій Государь! «Цари обыкновенные любятъ являться царями славы, «чтобъ принимать почести. Ты являешься нынѣ среди «насъ, какъ Царь подвиговъ, чтобъ опасности раздѣ- «лять съ народомъ твоимъ, чтобъ трудности препобѣж- «дать. Такое царское дѣло выше славы человѣческой; «поелику основано на добродѣтели Христіанской. Царь

«небесный провидитъ сію жертву сердца Твоего, и Ми-«лосердый хранитъ Тебя, и долготерпѣливо щадитъ «насъ. Съ крестомъ срѣтаемъ Тебя, Государь, да идетъ «съ Тобою воскресеніе и жизнь.»—Преосвященный *Иннокентій* обладаетъ труднымъ искуствомъ, которое дается не многимъ, говорить просто, сильно и увлекательно; что можетъ быть столь поразительно-приличнѣе слѣдующаго Слова въ Великій Пятокъ: «Одному благочести-«вому старцу надлежало сказать что либо братіи, ожи-«давшей отъ него наставленія. Проникнутый глубокимъ «чувствомъ бѣдности человѣческой, старецъ, вмѣсто «всякаго наставленія, возклицнулъ: «Братіе, давайте «плакать.» «И всѣ пали на землю и пролили слезы.»

«Знаю, братія, что и вы ожидаете теперь Слова нази-«данія; но уста мои невольно заключаются, при видѣ «Господа, почивающаго въ гробѣ. Кто осмѣлится разгла-«гольствовать, когда Онъ безмолвствуетъ!... И что мож-«но сказать намъ о Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и его «неправдѣ, чего сто-кратъ сильнѣе не говорили бы сіи «язвы? Кого не тронутъ онѣ, тотъ тронется ли отъ сла-«баго слова человѣческаго? На Голгоѳѣ не было пропо-«вѣди; тамъ только рыдали и били въ перси своя. И у «сего гроба мѣсто не разглагольствію, а покаянію и сле-«замъ.

«Братія! Господь и Спаситель нашъ во гробѣ; начнемъ «же молиться и плакать.»

Это Слово есть вопль души вѣрующей и пораженной созерцаніемъ образа Сына Божія, пострадавшаго, распятаго за грѣхи людей! Оно ясно и вразумительно говоритъ объ ораторѣ то, чего не могутъ высказать ни какіе подробные разборы его. Будемъ же и мы, вмѣсто критическаго *разглагольствія*, чувствовать красоты подобныхъ рѣчей и уважать подобныхъ проповѣдниковъ!

КОНЕЦЪ.

...утека
СОЦІАЛИСТИЧЕСКОЙ
...ЕМИИ